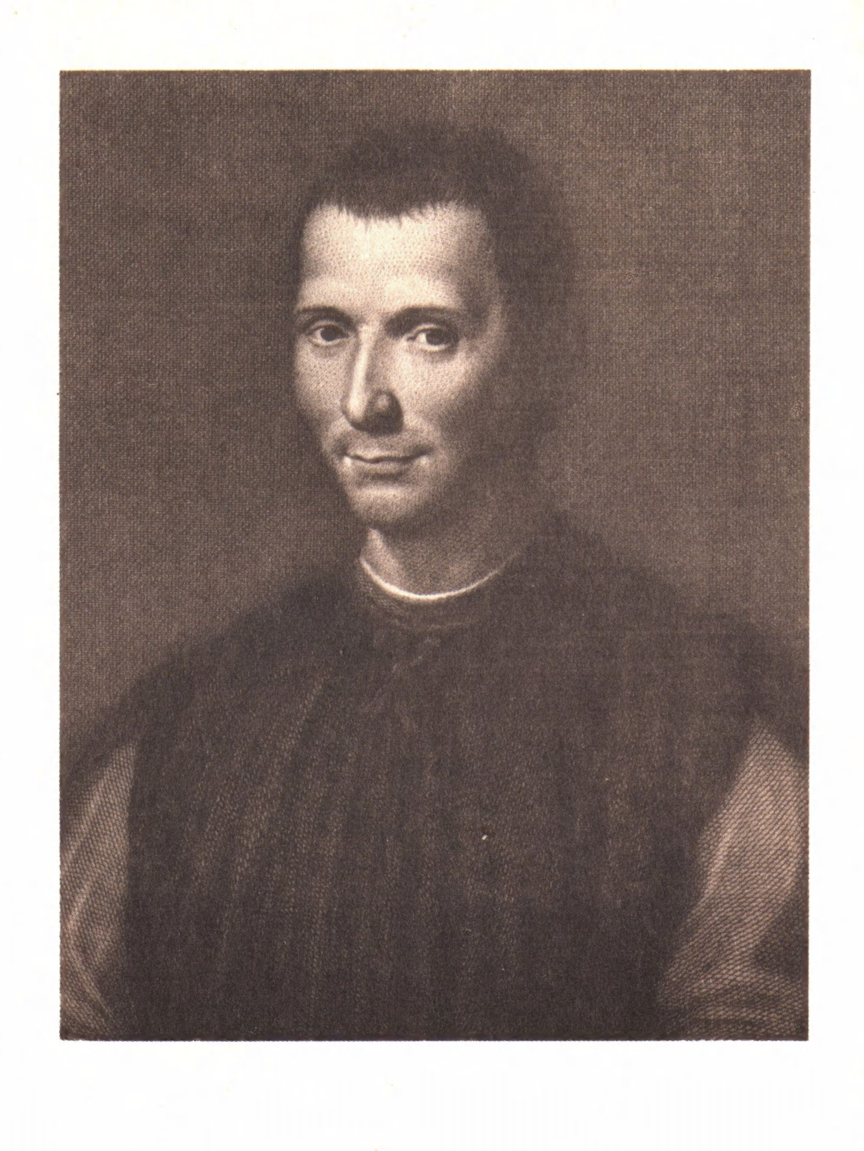

НИККОЛО
МАКИАВЕЛЛИ
ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ



НИККОЛО

МАКИАВЕЛЛИ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Переводы
с итальянского



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

И(Ит)
М15

Вступительная статья
К. ДОЛГОВА

Составление **Р. ХЛОДОВСКОГО**

Комментарии **М. АНДРЕЕВА**
Р. ХЛОДОВСКОГО

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

М $\frac{4703000000-367}{028(01)-82}$ 138-81

ГУМАНИЗМ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Макиавелли – один из самых трудных для понимания и истолкования мыслителей. Не случайно уже на протяжении четырех с половиною столетий вокруг его основного произведения «Государь» ведутся полемические бои, а его доктрина и взгляды, чудовищно извращенные многочисленными разнообразными и разнокалиберными противниками, спрессовались в резкий негативный термин «макиавеллизм» – синоним политического, гражданского и человеческого коварства, двуличия, лицемерия, предательства, аморализма, жестокости и т. д.

При всей необоснованности и несправедливости подобных обвинений в адрес Макиавелли они воспринимались и еще продолжают восприниматься многими пишущими о нем по поводу и без повода как нечто само собой разумеющееся, очевидное и не требующее доказательств. Словом, Макиавелли и «макиавеллизм» до сих пор пользуются самой дурной славой, получившей в общественном сознании, благодаря длительной и все расширяющейся традиции, прочность социально укорененного и мистифицированного предрассудка, против которого очень трудно бороться.

Он первый и в своем роде единственный мыслитель эпохи Возрождения, который сумел достаточно определенно постичь смысл основных тенденций этой эпохи, смысл ее политических требований и устремлений, сформулировать и изложить их таким образом, что они не просто становились высказываниями, максимами или афоризмами, а самым активным способом воздействовали на тех, кто еще смутно ощущал эти требования, но кто стремился к преобразованию существующего положения вещей, существующих порядков, кто сгорал от желания увидеть преображенную Италию.

Личность и творчество Макиавелли привлекали к себе внимание Маркса и Энгельса, которые были хорошо знакомы с его основными сочинениями и основными идеями. Они видели в нем идеолога восходящей буржуазии, последовательного и бескомпромиссного про-

тивника феодального строя, папства и католической церкви, военного писателя и теоретика. Но прежде всего Макиавелли вызывал интерес своими политическими и историческими произведениями, в которых достаточно определенно выражались требования нового класса и новой эпохи: «Государь», «История Флоренции», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и «О военном искусстве».

Маркс давал самые высокие оценки Макиавелли и его произведениям. В одном из писем Энгельсу он писал: «...я лучше привезу тебе том Макиавелли. Его история Флоренции, это – шедевр»[1]. Что касается самой личности Макиавелли, то Маркс ставил его в один ряд с Данте и Гарибальди: «Гарибальди, который с огненной душой соединяет частицу того тонкого итальянского гения, какой можно обнаружить в Данте не менее, чем в Макиавелли»[2]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодой Маркс самым серьезным образом изучает произведения Макиавелли, делая из них для себя выписки[3].

Энгельс, познакомившийся с сочинениями Макиавелли благодаря Марксу, обращает внимание на его политические, правовые, военные и антиклерикальные взгляды. Он писал: «Начиная с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей нового времени, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как основа права»[4].

Специально занимаясь изучением военных вопросов, связанных с историей армии, играющей важную роль в экономическом и социальном развитии человеческого общества, в развитии производительных сил и производственных отношений, Энгельс неоднократно ссылается на Макиавелли. Например: «Сражение при Форново (1495 г.), выигранное благодаря французской полевой артиллерии, навело ужас на всю Италию, и новый род войск был признан неотразимым. Сочинение Макиавелли «Искусство войны» было написано специально с той целью, чтобы указать средства, как нейтрализовать его воздействие искусным расположением пехоты и кавалерии»[5].

Энгельс подчеркивал важное значение антиклерикальной направленности взглядов Макиавелли: «Еще Макиавелли в своей «Истории Флоренции» видел в господстве папы источник упадка Италии»[6].

Наконец, касаясь эпохи Возрождения, Энгельс среди титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености – Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Лютера и других – называет

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, с. 154.

[2] Там же, т. 15, с. 190.

[3] См.: «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Книга четвертая. М. – Л., 1929, с. 347 – 351.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 314.

[5] Там же, т. 14, с. 200.

[6] Там же, т. 13, с. 444.

и Макиавелли: «Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени»[1].

Впервые в истории человеческой мысли Макиавелли дает политическую идеологию и политическую науку в форме своеобразного мифа, когда фантастическая и художественная форма позволяют воплотить теоретический и рациональный элемент как бы в легко ощутимом, наглядно зримом, чувственно и интеллектуально доступном и осязаемом образе – фигуре – кондотьере – пластическом и антропоморфном символе «коллективной воли», имеющей совершенно определенную, исторически необходимую и обусловленную цель.

История дает нам немало свидетельств, когда самые честные, самые благородные, самые умные и высоконравственные люди осуждались за аморализм, за покушение на существовавшие нравственные устои, правила, нормы и законы. Вспомним Сократа, Эпикура, Джордано Бруно, Спинозу, Томаса Мора, Коперника, Кампанеллу и других рыцарей истины и нравственности, которых самые аморальные из представителей морально разложившихся обществ обвиняли в безнравственности. Когда моралью занимаются, преподают и пишут о ней аморальные люди, когда знание, наука находятся в руках людей темных и невежественных, ненавидящих свет знания, просвещения и образования, когда политикой занимаются люди с нечистой совестью, грязными душами и грязными руками – мелкие авантюристы, жулики, проходимцы, политиканы, стоит ли удивляться тому, что они возненавидят знающего, мудрого, честного и благородного человека, глубоко понимавшего и выражавшего требования своей эпохи, предвосхитившего развитие многих областей человеческого знания, равно как и развитие человека и человеческого общества?

Но наша речь идет не о них, они не стоят этого. Как справедливо говорится об этих жалких душах, которые прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел, у Данте:

Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина...

Их память на земле невоскресима;
От них и суд и милость отошли!
Они не стоят слов: взгляни – и мимо!

А Макиавелли и его «Государь» навсегда остались в памяти человечества и, благодаря глубоким идеям, мыслям и прозрениям, прочно вошли в сокровищницу мировой культуры.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 344–346.

I

Почти все работы о Макиавелли так или иначе связаны с характеристикой эпохи и с оценкой Гуманизма и Возрождения.

Пожалуй, самый наглядный пример, выражающий эти тенденции, представляют две книги: Якова Буркхардта – «Культура Италии в эпоху Возрождения»[1] и Де Санктиса – «История итальянской литературы».

Книга Буркхардта, переведенная на многие языки, в том числе и на итальянский, вызвала большой резонанс в Европе и в других странах. Она оказала заметное воздействие на последующие толкования Гуманизма и Возрождения, породила огромную литературу о художниках и кондотьерах Возрождения, литературу глубоко индивидуалистическую, в которой провозглашались права личности на прекрасную и героическую жизнь, на свободу действий, независимо от моральных, нравственных норм и правил. Возрождение олицетворялось в таких фигурах, как кондотьер Сиджисмондо Малатеста, Чезаре Борджа, Лев X, Аретино, Макиавелли, Микеланджело и другие. В самой Италии подобное истолкование Возрождения представлял Д'Аннунцио.

Произведение Буркхардта явилось своеобразной энциклопедией жизни Италии в эпоху Возрождения, в которой достаточно подробно рассматривались проблемы общества, государства, личности, морали, религии и так далее. Не случайно исследователи эпохи Возрождения обращались и обращаются к этому ставшему уже классическим труду, заимствуя из него не только эмпирический материал, но нередко идеи и обобщения.

В Италии книга Буркхардта была встречена положительно, ибо она вскрывала в Возрождении тенденции, враждебные папской курии, что совпадало с итальянскими политическими и культурными тенденциями в период Рисорджименто. Итальянцам импонировал и другой элемент Возрождения, освещенный Буркхардтом, – индивидуализм и создание нового склада ума. Uomo singolare и новый склад ума рассматривались в Италии как оппозиция средневековью, воплощенному в папстве.

Если Буркхардт в целом рассматривал Возрождение как исходный момент новой, прогрессивной эпохи европейской цивилизации, то Де Санктис считал Возрождение, с точки зрения итальянской истории и применительно к Италии, отправным пунктом регресса. Он подчеркивал в эпохе Возрождения мрачный колорит политического и морального разложения, поэтому, несмотря на все положи-

---

[1] Яков Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения, т. I–II. СПб., 1905–1906.

тельные стороны Возрождения, оно, согласно Де Санктису, разрушило Италию и сделало ее рабой иноземных захватчиков. Важно, что и Буркхардт и Де Санктис признавали формирование нового склада ума, разрыв со всеми средневековыми связями в отношении к религии, авторитету, родине, семье существенными элементами Возрождения.

Уже современники и ближайшие к Буркхардту люди – его ученики и сотрудники – понимали значение этого произведения. Так, переработчик многих изданий «Культуры Италии в эпоху Возрождения» Людвиг Гейгер в предисловии к седьмому изданию писал: «Буркхардт представил гуманизм как переходную эпоху от средних веков к новому времени и таким образом проложил новый путь; он дал возможность убедиться, что гуманизм заключал в себе не одно только возрождение древней литературы, но и преобразование культуры во всем ее объеме. Толчок, данный первым его опытом, имел огромное значение. Некоторые противоречия и ошибки в подробностях не умаляют в общем значении этого драгоценного труда»[1].

Однако в ходе дальнейших исследований труды Буркхардта и Де Санктиса вызывали все больше и больше возражений как в концептуальном отношении, так и по частным вопросам и наблюдениям.

При рассмотрении эпохи Возрождения неизбежно встает вопрос о соотношении Гуманизма и Возрождения.

Прежде всего вставал вопрос о сущности самой эпохи Возрождения и о ее соотношении с Гуманизмом. В этом вопросе не было ясности. Одни исследователи отождествляли Возрождение и Гуманизм, другие полагали, что без Гуманизма не было бы и Возрождения, а третьи считали, что, возможно, без Гуманизма не было бы Возрождения, но Возрождение по своему значению и последствиям превосходит Гуманизм.

Споры по этим вопросам продолжаются и в настоящее время. Ученые высказывают различные точки зрения и по существу и по содержанию Возрождения и Гуманизма и по их соотношению.

Сущность и содержание эпохи Возрождения и Гуманизма достаточно основательно рассмотрены в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, а также Грамши.

Суть этой концепции состоит в том, что это движение рассматривается в тесной связи с развитием производительных сил и производственных отношений, с развитием способа производства, определившего соответствующее социально-экономическое, политическое и культурное развитие Италии и – несколько позже – других европейских стран.

[1] Яков Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения, т. I, с. XXII.

Рассматривая возникновение и формирование эпохи Возрождения, Энгельс отмечает, что уже в конце средневековья вместо узкой культурной полосы вдоль побережья Средиземного моря, которая лишь кое-где протягивала свои ветви в глубь материка и по Атлантическому побережью Испании, Франции и Англии и которая поэтому легко могла быть разорвана и смята с севера и с юго-востока другими народами, появляется одна сплошная культурная область – вся Западная Европа со Скандинавией, Польшей и Венгрией. Вместо противоположности греков, римлян и варваров появляются шесть культурных народов с культурными языками (не считая скандинавский и другие), которые были настолько развиты, что могли участвовать в могучем литературном подъеме XIV века и обеспечили гораздо бо́льшую разносторонность образования, чем уже пришедшие в упадок в конце древности греческий и латинский языки.

Энгельс отмечает несравненно более высокое развитие промышленного производства и торговли, созданных средневековым бюргерством: производство стало более многообразным, а торговые отношения – значительно более развитыми, судоходство со времени саксов, фризов и норманнов стало несравненно более смелым. С другой стороны – масса изобретений и импорт изобретений с Востока, которые не только сделали возможным импорт и распространение греческой литературы, морские открытия, а также буржуазную религиозную революцию, но и придали им несравненно больший размах и ускоренный темп. Сверх этого, они доставили массу научных фактов, о которых никогда даже не подозревала древность: магнитная стрелка, книгопечатание, льняная бумага, порох, очки, механические часы и т. д. Кроме того, материал, доставленный путешествиями, гораздо большее распространение общего образования и т. д. Все это вместе взятое подготовило наступление новой эпохи. «Вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность. С падением Константинополя неразрывно связан конец средневековья. Новое время начинается с возвращения к грекам. – Отрицание отрицания!»[1]

В характеристике Энгельса раскрывается диалектическая взаимосвязь производительных сил и производственных отношений, определяющая роль способа производства по отношению к социально-политическому и культурному развитию, а также обратное воздействие научных изобретений, образования, культуры на дальнейшее развитие производительных сил и производственных отношений.

Действительно, после X века начинается реакция против феодального режима, который с помощью земельной аристократии и духовенства безраздельно господствовал во всех сферах жизни Италии и

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 507.

других европейских стран. В последующие два-три века достаточно глубоко изменяется экономический, политический и культурный строй общества: укрепляется сельское хозяйство, оживают, расширяются и упорядочиваются промышленность и торговля; возникает буржуазия как новый руководящий класс, кипящий политической страстью и сплотившийся в мощные финансовые корпорации; образуется государство-коммуна с возрастающим духом независимости. Правда, «государство» применительно к государству-коммуне имело ограниченное, «корпоративное» значение, вследствие чего развитие этого государства-коммуны не могло выйти за пределы того среднего периода феодализма, который последовал за периодом феодальной анархии, за периодом феодализма без третьего сословия, существовавшего до XI века, на смену которому приходит абсолютная монархия в XV веке, существовавшая уже вплоть до Французской революции. Как заметил Грамши, «органический переход от Коммуны к строю, который не был уже феодальным, имел место в Нидерландах, и только в Нидерландах. В Италии Коммуны не сумели выйти за пределы корпоративной фазы; феодальная анархия одержала победу в форме, соответствовавшей новому положению, а затем установилось иностранное господство»[1].

Противоречивость экономического, политического и социального развития эпохи Возрождения определила и противоречивость развития ее культуры.

Рассматривая Возрождение как движение огромного исторического значения и важности, Грамши считает Гуманизм и Возрождение в узком смысле слова двумя завершающими моментами этого движения, главный центр которых находится в Италии, между тем как исторический процесс в целом носит не узкоитальянский, а общеевропейский характер. «Главным центром Гуманизма и Возрождения как литературного выражения этого общеевропейского исторического движения была Италия, но прогрессивное движение после X века, хотя оно и сыграло большую роль благодаря Коммунам, пришло в упадок именно в Италии и именно вместе с Гуманизмом и Возрождением, которые в Италии стали регрессивными, между тем как в остальной Европе общее движение нашло свое завершение в национальных государствах, а затем в мировой экспансии Испании, Франции, Англии, Португалии. В Италии национальным государствам в этих странах соответствовала организация Папства как абсолютистского государства, установленного Александром VI, – организация, которая разъединила остальную Италию и т. д. То, что Возрождение не может быть таковым без создания национального государст-

[1] Antonio Gramsci. Il Risorgimento. Opere, v. 4, Einaudi, Torino, 1954, p. 18.

ва, в Италии понимал Макиавелли, но как человек он теоретически обобщает не итальянские события, а то, что происходит за пределами Италии».

Отсюда видно, что Возрождение, возникшее в Италии гораздо раньше, чем в других европейских странах, захлебывается, застревает и приходит в упадок вместе с захирением и упадком городов-коммун, которые так и не вышли за рамки феодальных отношений.

Если в европейских странах Возрождение характеризовалось возникновением крупных централизованных, объединенных государств, в которых королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество, то в Италии в это время возникает организация Папства – своеобразная форма абсолютистского государства, космополитические функции которого не только не способствовали объединению страны, но, напротив, содействовали ее дальнейшему разъединению и исключали принципиально какое бы то ни было объединение Италии, постоянно углубляя существовавший отрыв господствующих классов от народа, постоянно обостряя социальные, классовые противоречия.

Классовые противоречия существовали не только между господствующими и порабощенными классами. Антагонистические противоречия стали характерны и для внутриклассовых отношений, в частности для отношений внутри интеллигенции. «Возрождение, – пишет Грамши, – можно рассматривать как выражение в области культуры исторического прогресса, в ходе которого в Италии образуется новый класс интеллигентов, получивший европейское значение, класс, который делится на две группы: одна выполняла в Италии космополитическую функцию, будучи связана с папством и имея реакционный характер; другая сформировалась из политических и религиозных изгнанников и выполняла прогрессивную космополитическую функцию в различных странах, где они обосновались, или принимала участие в образовании современных государств в качестве технического элемента в войсках, в политике, в инженерном деле и т. д.».

Поскольку буржуазия не могла сохранить корпоративный строй, не могла управлять народом только с помощью насилия, то в Италии возникают синьории, основная роль которых состояла в примирении непримиримых классовых антагонизмов. Если, например, во Франции буржуазия объединяется с городской беднотой и с крестьянами, чтобы уничтожить феодализм, феодальные классы, то в Италии происходит дальнейший разрыв между правящими классами и народом. В этих условиях оперирование категориями «итальянский дух», «итальянская нация», «национальные синьории», «единый итальянский язык» и тому подобными было пустым и бессмысленным занятием досужих

теоретиков, так как в Италии тогда не могло быть и не было «нации» как таковой, она формировалась вместе с развитием капитализма.

Основные экономические, политические, классовые противоречия пронизывали все сферы итальянского общества того времени. Именно в Италии Возрождение не только возникло раньше, чем в других странах, но и получило наивысшее развитие. Согласно Грамши, неверно рассматривать Гуманизм и Возрождение только как художественные явления, неверно связывать их с поисками и открытиями законов и истин в области литературы и искусства, неверно сводить Гуманизм и Возрождение только к явлениям художественной культуры. «Может быть, действительно Гуманизм зарождается в Италии как изучение романизма, а не классического мира вообще (Афины и Рим); но тогда необходимо делать различие. Гуманизм был «политико-этическим», а не художественным, – подчеркивает Грамши, – он был исследованием основ того «итальянского Государства», которое должно было возникнуть одновременно и параллельно с возникновением государства во Франции, Испании и Англии; в этом смысле Гуманизм и Возрождение имеют своего наиболее выразительного представителя в лице Макиавелли».

На первый взгляд это утверждение Грамши представляется парадоксальным: Возрождение и Гуманизм связываются не с литературой и искусством, не с художественной культурой вообще, а с политико-экономическими и нравственными проблемами, а самым выдающимся и ярким представителем Гуманизма и Возрождения называется Макиавелли, за которым уже несколько сот лет продолжает сохраняться слава самого аморального, беспринципного, жестокого и коварного политического деятеля и мыслителя. Уж не перевертывает ли Грамши существовавшие до него взгляды и концепции на Возрождение и Гуманизм? Да, перевертывает, и именно благодаря диалектико-материалистическому анализу объективных факторов, определяющих смену общественно-экономических формаций, анализу объективных факторов, определяющих изменение структуры самой общественно-экономической формации, всех ее элементов – от экономики и политики до литературы, искусства и культуры в целом.

Благодаря четкому классовому анализу, Грамши различает гуманизм прогрессивный, к которому он без всяких колебаний относит прежде всего Макиавелли, и гуманизм реакционный, связанный с реакционными силами и классами, гуманизм, оторвавшийся от народа и народной жизни и по существу направленный против народа. «Спонтанно возникшее итальянское Возрождение, которое начинается после X века и в художественном отношении достигает расцвета

в Тоскане, было задушено Гуманизмом и Возрождением в культурном смысле, возрождением латыни в качестве языка интеллигентов в противоположность народному языку и т. д. Бесспорно, что это спонтанно возникшее Возрождение (в особенности начиная с XIII века) можно сравнить только с расцветом греческой литературы, между тем как «политицизм» XV – XVI веков является таким Возрождением, которое может быть отнесено к романизму».

Грамши ведет анализ гуманизма не с точки зрения того, был или не был направлен гуманизм против церкви, не с позиций обсуждения индивидуалистического характера гуманизма, а именно с классовых позиций, с точки зрения творчества того или другого гуманиста в общем контексте исторического развития культуры, позволяющей вскрывать разрыв между основной массой народа и образованными людьми.

Действительно, гуманистам было присуще сознание ничем не восполнимого разрыва между образованным человеком и толпой. Начиная с XI века последовательно формируется слой интеллигентов, остро и тонко чувствующих античность и возрождающих ее, но которые в процессе этого возрождения все более и более отдаляются от народной жизни. Основная причина этого – в упадке и деградации итальянской буржуазии вплоть до XVIII века. Католическая церковь способствовала этому отрыву культуры от народа, начавшемуся с возвращения к латыни, ибо она считала такое возвращение здоровой реакцией против всякого рода недисциплинированной мистики. На этом основании Грамши делает вполне аргументированный вывод: «Гуманизм от Данте до Макиавелли – это самостоятельная, самодовлеющая эпоха и, в противоположность распространенному мнению, обладает отнюдь не чисто внешним сходством со Схоластикой, разделяя с ней антидемократические и антиеретические тенденции... С концом Гуманизма рождается ересь, и вне Гуманизма оказываются Макиавелли, Эразм, Лютер, Джордано Бруно, Декарт, Янсений».

Установление связи Гуманизма с экономическими и политическими факторами тогдашней Италии – переход к княжествам и синьориям, потеря буржуазией активности, превращение бюргеров в земельных собственников – позволили Грамши сделать еще более радикальный вывод: «Гуманизм был фактом реакционным в культуре, потому что все итальянское общество становилось реакционным»[1].

Обращение к анализу языка не только доказывает справедливость этого вывода, но и раскрывает сущность, содержание и противоречия гуманизма как литературного, художественного и общественно-политического и идеологического явления.

---

[1] «Контекст 1973. Литературно-теоретические исследования». М., 1974, с. 367.

Грамши исходит из положения, имеющего методологическое значение: «Всякий язык представляет собой цельное мировоззрение, а не только одеяние, которое равнодушно служит формой любого содержания. Но тогда не означает ли это, что имела место борьба между двумя мировоззрениями – буржуазно-народным, излагавшимся на народном языке, и аристократически-феодальным, излагавшимся на латыни и обращавшимся к римской древности, и что Возрождение характеризуется именно этой борьбой, а не безмятежным созиданием торжествующей культуры?»

Борьба языков, борьба культур, борьба мировоззрений. Так ли это? Нет ли здесь хотя бы доли упрощения и вульгаризации? И позволяет ли установление такой связи между языком, мировоззрением и культурой вскрыть и суть каждого из этих элементов, и их взаимоотношения друг с другом?

Грамши призывает к тому, чтобы видеть различия и даже разрыв между средневековой латынью и латынью гуманистической как между двумя различными языками, выражавшими в определенном смысле два противоположных мировоззрения, несмотря на то, что эти языки были распространены только в среде интеллигенции.

Разрыв между средневековой латынью и латынью гуманистической означал лишь то, что речь может идти именно о разных языках и о разных мировоззрениях. Предгуманизм в лице Петрарки еще отличается от гуманизма, хотя Петрарка сочетает в себе оба языка и оба мировоззрения, поскольку является человеком переходного периода[1]. Когда он творит на народном языке, он поэт буржуазии, но как писатель, пользующийся латынью, как «оратор», как политический деятель он духовный представитель антибуржуазной реакции (синьорий, папства). Это объясняет также явление «петраркизма» в XVI веке и его неискренность, его искусственность, его чисто книжный характер, потому что чувства, которые породили поэзию «нового сладостного стиля» и поэзию самого Петрарки, не господствуют больше в общественной жизни, как не господствует больше буржуазия коммун, вновь загнанная в свои лавки и в свои мануфактуры, переживающие упадок. В политическом отношении господствует аристократия – в значительной своей части всякого рода парве-

---

[1] Вот что писал о Данте Энгельс: «Первой капиталистической нацией была Италия. Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это – итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 г., наступает новая историческая эра. Даст ли нам Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения этой новой, пролетарской эры?» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 382).

ню, – которая группируется при дворах синьоров и находится под охраной отрядов наемников; она создает культуру XVI века и поддерживает партии, но политически она ограничена и кончает тем, что попадает под иностранное господство.

В отличие от ряда буржуазных исследователей, Грамши считает, что «для гуманистов народный язык был диалектом, то есть не имел национального характера, и что поэтому гуманисты были продолжателями средневекового универсализма – разумеется, в других формах, – а не национальным элементом; они были космополитической кастой, для которой Италия представляет, вероятно, то, чем является область в рамках современной нации, – и ничего больше и лучше: они были аполитичны и анациональны».

Грамши соглашается с тем, что наиболее интересным аспектом гуманизма были цели всестороннего воспитания человеческого духа, а не религиозно-моралистические цели, но именно этот самый интересный аспект гуманизма, самая оригинальная, интересная и имеющая будущее его черта в Италии не получила развития. «Он (Гуманизм. – *К. Д.*) имел характер реставрации, но, как всякая реставрация, он усвоил и развил – лучше, чем революционный класс, который он задушил политически, – идеологические принципы побежденного класса, не сумевшего выйти за корпоративные границы и создать все надстройки цельного общества. Только эта разработка «повисла в воздухе», осталась достоянием касты интеллигентов, не имевшей контакта с народом-нацией. И когда в Италии реакционное движение, необходимой предпосылкой которого был гуманизм, развилось в Контрреформацию, оно задушило и новую идеологию, и гуманисты (за немногим исключением) клятвенно отреклись от нее перед кострами. Идеологическое содержание Возрождения получило развитие за пределами Италии – в Германии и во Франции, в политических и философских формах, но новое Государство и новая философия были привнесены в Италию, потому что наши интеллигенты были анациональны и космополитичны – как в Средневековье – в других формах, но в тех же самых общих отношениях».

Анализ классовых отношений позволяет Грамши улавливать парадоксы истории. Например, в Сицилии торговая буржуазия развивалась под эгидой монархии и благодаря Фридриху II была вовлечена в проблему «Священной Римской империи германской нации»; Фридрих II был абсолютным монархом в Сицилии и на Юге, но он был также средневековым императором. Сицилийская буржуазия, как и французская, в культурном отношении развилась более быстро, чем тосканская; сам Фридрих II и его сыновья слагали стихи на народном языке, и с этой точки зрения они приняли участие в новом этапе человеческой деятельности, начавшемся с XI века, но и не только с этой точки зрения; в действительности тосканская и болон-

ская буржуазия в идеологическом отношении была более отсталой по сравнению с Фридрихом II, средневековым императором. Таковы парадоксы истории.

Рассматривая истоки народной литературы и поэзии, Грамши задается вопросами: разве не естественно, чтобы нарождающаяся новая культура принимала примитивные «народные» формы и чтобы носителями ее были «скромные люди»; и разве это не было особенно естественно для той эпохи, когда культура и литература были монополией замкнутых каст, и разве существовали великие художники и писатели даже среди образованных людей во времена Угуччоне да Лоди? И Грамши следующим образом отвечает на поставленные им самим вопросы: «Первые элементы Возрождения были не придворного и не схоластического, а народного происхождения; они были выражением всеобщего культурного и религиозного восстания (патария) против средневековых институтов – Церкви и Империи. Поэтический рост этих ломбардских писателей был не очень высок, но от этого не уменьшается их историко-культурное значение».

Грамши разъясняет, что нельзя смешивать два момента истории: разрыв со средневековой цивилизацией, важнейшим проявлением которой было появление народных языков, и разработку «volgare illustre» – единого итальянского литературного языка – факт, вызвавший известную централизацию различных групп интеллигенции, профессиональных литераторов. Эти моменты связаны друг с другом, но не совпадают полностью.

Вначале народными языками пользовались от случая к случаю (военные присяги, судебные показания, которые крестьяне, не знавшие латыни, давали на родном языке). Затем появляются факты, имеющие важное значение: на родном языке создаются литературные произведения, среди местных диалектов тосканский диалект становится главенствующим, в Ломбардии появляется письменный народный язык, и другие. Обобщая значение этих фактов, Грамши приходит к выводу, что «нарождающаяся буржуазия действительно вводит собственные диалекты, но ей не удается создать национальный язык. Если такой язык и возникает, то он ограничивается кругом литераторов, которые поглощаются реакционными классами и дворами государей; таким образом, они являются уже не «буржуазными литераторами», а придворными. И это поглощение происходит не без противодействия. Гуманизм показывает, что «латынь» еще очень сильна. Это культурный компромисс, а не революция».

Утверждения, что истоки «новой итальянской цивилизации» нужно искать и находить в XIII веке, Грамши считает чисто риторическими и преследующими современные практические интересы. «Новая цивилизация является не «национальной», а классовой, и она примет не унитарную, а «коммунальную» и локальную форму не только

политически, но и «культурно». Поэтому она рождается как «диалектальная» и должна ожидать высшего расцвета тосканского XIV века, чтобы прийти, в известной степени, к языковому единству. Культурное единство не было заранее данным фактором. Совсем наоборот! Существовала «европейская культурно-католическая универсальность», и новая цивилизация реагирует на этот универсализм, базой которого являлась Италия, с местными диалектами и выдвижением на первый план практических интересов муниципальных групп буржуазии. Следовательно, мы имеем дело с периодом разрушения и распада существующего культурного мира, поскольку новые силы не только не стараются включиться в этот мир, но выступают, хотя и бессознательно, против него. Эти силы представляют собой эмбриональные элементы новой культуры».

Грамши критикует те концепции Возрождения, согласно которым гуманисты якобы предсказали культурное господство Италии над миром. Он считает это началом «риторики» – риторики как национальной формы. «В это утверждение вкладывают истолкование «космополитической функции итальянских интеллигентов», и эта функция является чем угодно, только не «культурным господством» национального характера: напротив, она является именно доказательством отсутствия национального характера культуры».

На основе анализа эпохи Возрождения Грамши вырабатывает предельно широкую, действительно универсальную концепцию культуры:

«Мысль Де Санктиса: «Недостает силы воли, ибо недостает веры. И недостает веры, ибо недостает культуры». Но что значит в этом случае – «культура»? Она, несомненно, означает последовательную, единую, получившую национальное распространение «концепцию жизни и человека», «светскую религию», философию, которая стала именно культурой, то есть породила определенную этику, определенный образ жизни, определенное гражданское и личное поведение. Все это требовало прежде всего объединения «культурного класса»... но особенно это требовало новой позиции по отношению к народным классам, нового понимания – «национального»... более широкого, менее нетерпимого...»[1]

Эта концепция, во-первых, предполагает прежде всего совершенно иное отношение к народным массам, к подлинным творцам и носителям культуры. Эта концепция, во-вторых, предполагает совершенно иное отношение к самой культуре, которая уже никогда не должна довольствоваться ролью политического декора, а, напротив, должна быть основой подлинно народной политики, направленной на

---

[1] «Контекст 1973. Литературно-теоретические исследования», с. 352.

вовлечение всего народа в активную трудовую, политическую и культурную деятельность. В-третьих, эта концепция предполагает превращение культуры в философию и философии – в культуру. В-четвертых, эта концепция культуры призвана породить такую этику, такую нравственность и такой образ жизни, которые создают условия для приведения в гармоническое состояние социального и индивидуального, гражданского и личного, национального и интернационального.

Несомненно, подобная концепция культуры вырабатывалась им во многом в ходе размышлений над проблемами эпохи Возрождения и над проблемами современной жизни.

Что же касается обращения к античности, то Грамши считал это явление просто политическим средством, которое само по себе не может создать культуры. Возрождение волей-неволей должно было разрешиться в Контрреформацию (поскольку социальная основа Возрождения иная, чем у Контрреформации), то есть стать поражением буржуазии, вызванной к жизни коммунами, и триумфом романизма – как власти папы над сознанием и как попытки возвращения к Священной Римской империи: фарс после трагедии.

С этих позиций становится понятным, почему Грамши так много внимания уделял изучению эпохи Возрождения, изучению Гуманизма и в особенности изучению творчества Макиавелли.

II

Лучшей пропедевтикой к «Государю» Макиавелли могли бы быть страницы из работ Спинозы и Гегеля, посвященные истолкованию проблем, содержащихся в знаменитом произведении великого флорентийца.

Спиноза дает следующую характеристику Макиавелли и сущности его идей: «Что касается средств, какими должен пользоваться князь (Princeps), руководящийся исключительно страстью к господству, чтобы упрочить и сохранить власть, то на них подробно останавливается проницательнейший Макиавелли; с какой, однако, целью он это сделал, представляется не вполне ясным. Но если эта цель была благой, как и следует ожидать от мудрого мужа, она заключалась, по-видимому, в том, чтобы показать, сколь неблагоразумно поступают многие, стремясь устранить тирана, в то время как не могут быть устранены причины, вследствие которых князь превращается в тирана, но, наоборот, тем более усиливаются, чем большая причина страха представляется князю: это бывает тогда, когда народ расправился с князем, желая дать пример другим, и кичится цареубийством как славным делом. Может быть, он хотел также показать, насколько

свободный народ должен остерегаться абсолютно вверять свое благополучие одному лицу; если последний не тщеславен и не считает себя способным угодить всем, то он должен каждодневно бояться козней, и потому ему поневоле приходится более оберегать самого себя, народу же, наоборот, скорее строить козни, чем заботиться о нем. И что меня еще более укрепляет в моем мнении об этом благоразумнейшем муже, так это то, что он, как известно, стоял за свободу и дал неоценимые советы также для ее укрепления»[1].

Гегель мастерски описывает состояние Италии того времени, когда все ее части завоевали суверенитет, когда она перестала быть государством и превратилась в беспорядочное смешение независимых государств, внутри которых по воле случая устанавливалось монархическое, аристократическое или демократическое правление или устанавливалось на короткое время перерождение этих форм в виде тирании, олигархии и охлократии. Правда, подобное состояние, как считает Гегель, нельзя называть анархией, поскольку множество противоположных партий выступали здесь в виде организованных государств. Часть земель Италии объединялись для сопротивления императору, а другие – во имя его интересов. Это относилось прежде всего к враждовавшим между собой партиям гибеллинов и гвельфов.

Как только Италия превратилась в конгломерат сотен государств в лице отдельных независимых городов, она стала ареной войн, которые иноземные державы стали вести за ее земли: немцы, испанцы, французы, швейцарцы постоянно нападали на Италию и грабили ее. Италия и предоставляла средства для ведения этих войн, и одновременно была их целью. Она искала свое спасение в вероломном убийстве, отравлениях, предательстве и фантазиях пришлого сброда, всегда разорительного для тех, кто его нанимал.

В эти страшные годы появляется Макиавелли со своими произведениями, и прежде всего с «Государем».

После сочувственного цитирования почти половины последней XXVI главы «Государя» Гегель пишет: «Вряд ли можно сомневаться в том, что человек, чьи слова полны такой подлинной значительности, не способен ни на подлость, ни на легкомыслие. Между тем уже само имя Макиавелли носит, по мнению большинства, печать отверженности, а макиавеллизм отождествляется обычно с гнусными принципами. Идея государства, созданного народом, столь настойчиво заглушалась безрассудными призывами к так называемой свободе, что всех бедствий Германии в Семилетней войне и в последней войне с Францией, всего прогресса разума и опыта, почерпнутого из неистовства, охватившего Францию в ее стремлении к свободе, вероятно, недостаточно для того, чтобы та простая истина, согласно

[1] Б. Спиноза. Избранные произведения, т. II. М., 1957, с. 313.

которой свобода возможна только в государстве, созданном объединившимся на правовой основе народом, проникла в умы людей и утвердилась в качестве основного принципа науки о государстве. Даже цель Макиавелли – поднять Италию до уровня государства – слепо отвергается теми, кто видит в творении Макиавелли лишь призыв к тирании, зеркало в золотой оправе для тщеславного поработителя. Если же эта цель принимается, то объявляются отвратительными предлагаемые им средства, и тут-то открывается широкий простор для морализирования и высказывания различных тривиальностей вроде того, что цель не оправдывает средства и т. п. Между тем здесь не может быть и речи о выборе средств, гангренозные члены нельзя лечить лавандовой водой. Состояние, при котором яд, убийство из-за угла стали обычным оружием, не может быть устранено мягкими мерами противодействия. Жизнь на грани тления может быть преобразована насильственными действиями»[1].

Гегель полностью оправдывает выставленный Макиавелли принцип объединения раздробленной, рассеянной, ограбленной, опустошенной и униженной Италии в единое, мощное государство. С точки зрения этого принципа государственности действия «Государя» предстают совершенно в ином свете. То, что отвратительно в качестве поступка одного частного лица по отношению к другому, одного государства по отношению к другому государству или другому частному лицу, становится заслуженной карой, ибо содействие анархии является единственным преступлением против государства, поскольку оно включает в себя все остальные государственные преступления. У государства нет более высокого долга, чем уничтожить всеми имеющимися у него средствами всех, кто угрожает безопасности и самому существованию государства. Выполнение этого высокого долга – уже не средство, замечает Гегель, а кара, и кара справедливая.

По сей день сохраняет свою ценность и значение требование Гегеля подходить к чтению и изучению «Государя» Макиавелли исторически. «Весьма неразумно рассматривать идею, сложившуюся под непосредственным впечатлением о состоянии Италии, как некий безучастный компендиум морально-политических принципов, пригодный для любых условий, другими словами ни для чего не пригодный. «Государя» надо читать под непосредственным впечатлением исторических событий, предшествовавших эпохе Макиавелли и современной ему истории Италии, и тогда это произведение не только получит свое оправдание, но и предстанет перед нами как истинно великое творение подлинного политического ума высокой и благородной

---

[1] Гегель. Политические произведения. М., «Наука», 1978, с. 151–152.

направленности»[1]. В этом требовании строгого следования принципу историзма содержится и верное понимание значения «Государя» Макиавелли, и самая высокая оценка этого произведения как истинно великого творения подлинного политического ума высокой и благородной направленности, то есть высшая нравственная оценка, которую когда-либо давал Гегель политическому произведению, принадлежащему перу политического деятеля. Существенным дополнением к этой оценке является следующее замечание Гегеля: «Вряд ли будет излишним указать в нескольких словах на то, что обычно не замечают, читая Макиавелли; мы имеем в виду те поистине идеальные качества, которыми он наделяет выдающегося князя и которыми за истекшее с тех пор время не обладал ни один правитель»[2].

Гегель называет интересным в своеобразной судьбе «Государя» тот факт, что при общем непонимании и ненависти к этому произведению будущий монарх Фридрих II, вся жизнь и деятельность которого явились ярчайшей иллюстрацией к распаду Германской империи на множество независимых государств, руководствуясь своего рода инстинктом, взял в качестве темы для школьного сочинения Макиавелли, противопоставив ему моральные хрии, пустоту которых он сам впоследствии подтвердил как своим образом действий, так и своими произведениями. Ирония истории и судьбы: критик «Государя» Макиавелли – будущий король, который всеми своими действиями, всем своим правлением и своими писаниями с лихвой подтвердит правоту Макиавелли!

Гегель, пожалуй, единственный из буржуазных мыслителей, кто понял историческое значение «Государя» Макиавелли, гениальность его творений и его роль в будущей истории и воздал ему должное, открыто выступив против укоренившегося во многих странах, в том числе и в Германии, чудовищно несправедливого, негативного, отрицательного, фарисейского общественного мнения о Макиавелли и его произведениях, особенно о «Государе». Гегель, воздавая должное гениальности творений Макиавелли, одновременно разоблачает всю фальшь, все фарисейство и ханжество современного ему общества. «Творение Макиавелли останется в истории важным показанием, которое он засвидетельствовал перед своим временем и своей собственной верой, что судьба народа, стремительно приближающегося к политическому упадку, может быть предотвращена только гением. ...Впрочем, наше утонченное общество, – с сарказмом писал Гегель, – которое не могло не отметить гениальность творений Макиавелли, но, обладая высокими моральными достоинствами, неспособно было и принять его принципы, решило, по своей доброте, спасти его самого;

---

[1] Гегель. Политические произведения, с. 152.
[2] Там же.

эти благожелатели вышли из сложного положения со всей присущей им честностью и тонкостью, объявив, что в своих произведениях Макиавелли совсем не излагал своих действительных взглядов, что все это – лишь тонкая сатира, ирония; нельзя не согласиться с тем, что тонкость столь восприимчивого к иронии общества достойна всяческих похвал. Голос Макиавелли затих, не оказав никакого воздействия»[1].

И тем не менее, несмотря на все усилия явных и неявных противников Макиавелли и его произведений, идеи этого великого мыслителя, особенно идеи, изложенные им в «Государе», продолжали пробивать себе дорогу и оказывать определенное воздействие на историю. Давно забыты дела, писания и имена его хулителей, а интерес к произведениям Макиавелли, к его личности не угасает. В этом еще одно доказательство бессмертия великих умов и их великих творений.

Гегель полагает, что все государства были основаны благодаря возвышенной силе великих людей. Великий человек имеет в своем облике нечто такое, благодаря чему другие повинуются ему вопреки собственной воле. Их непосредственная чистая воля есть его воля. Преимущество великого человека состоит в том, чтобы знать и выражать абсолютную волю. Все собираются под его знамя, он их бог. «Так, Тезей основал Афинское государство; так, во Французской революции ужасную силу получило (в свои руки) государство, целое вообще. Эта сила – не деспотизм, *но тирания* – чистое страшное господство; но оно *необходимо* и *справедливо*, коль скоро оно *конституирует* и *сохраняет* государство как этот *действительный индивид*. Это государство есть простой абсолютный дух, который знает самого себя и для которого не имеет силы ничто, кроме него самого, – не имеет силы понятие о хорошем и дурном, позорном и подлом, о коварстве и обмане; он выше всего этого, ибо зло примирено в нем с самим собой. В этом высоком духе написан «Государь» Макиавелли, согласно которому при конституировании государства то, что называется убийством, коварством, бесчеловечностью и т. д., не имеет значения зла, а имеет значение примиренного с самим собой. Его сочинение принимали даже за иронию, но из его предисловия и заключения видно, как глубоко чувствует он бедствия своего отечества, какое воодушевление патриотизма лежит в основе его холодного рассудительного учения! Его отечество ⟨было⟩ растоптано чужестранцами, опустошено, лишено самостоятельности; каждый дворянин, ⟨каждый⟩ предводитель, ⟨каждый⟩ город утверждал свою суверенность. Единственным средством основать государство было уничтожение этих суверенитетов;

---

[1] *Гегель.* Политические произведения, с. 154–155.

причем, так как они именно как непосредственные единичные ⟨образования⟩ хотели быть суверенными, то средством против грубости была лишь смерть зачинщиков и страх смерти остальных. Немцы больше всего ненавидели это учение, и макиавеллизм ⟨с их точки зрения⟩ выражает самое злое, потому что они болеют именно этой болезнью и от нее умерли. Но безразличие подданных по отношению к своим государям и безразличие последних по отношению к тому, чтобы быть государями, то есть вести себя как государи, делает такую тиранию излишней, так как благодаря этому своенравие князей стало бессильным. Так, по отношению к отдельным ⟨индивидам⟩, которые хотят утвердить свою непосредственную позитивную волю в качестве абсолютной, всеобщее есть войско, тиран, чистое насилие, ибо оно есть чуждое для них, и государственная власть, которая знает, что она есть, должна иметь мужество в каждом необходимом случае, где компрометируется существование целого, действовать совершенно тиранически»[1].

Исходя из своего богатого политического и жизненного опыта, Макиавелли ставит и решает моральные проблемы в тесной связи с проблемами политическими, хотя, как мы уже отмечали, одна из важнейших его заслуг состояла именно в том, что он впервые в истории отделил политику от морали и религии, сделал ее автономной, самостоятельной дисциплиной.

Продолжая свои рассуждения о том, каким надлежит быть государю, Макиавелли обращает внимание на то, как следует государю поступать и обращаться с подданными и друзьями.

Как и в других случаях, Макиавелли не боится того, что его мнения будут резко отличаться от общепринятых, ибо его задача – искать настоящую, а не воображаемую правду вещей. Последовательно придерживаясь своей позиции политического реализма, Макиавелли отбрасывает прочь бытовавшие в истории и в его время измышления относительно республик, княжеств и государей и стремится исследовать то, что существует на самом деле, в действительности, а не в воображении того или другого человека.

Можно только удивляться и поражаться его реалистическому взгляду на ход вещей, на то, как спокойно, трезво и рассудительно он рассматривает сложнейшие нравственные проблемы, проблемы, связанные с теми качествами и свойствами, которыми должен обладать или не обладать новый государь.

Макиавелли отдает себе отчет в том, что имеется большое различие между тем, что существует в жизни, и тем, что должно быть. «Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы

---

[1] Гегель. Работы разных лет, т. I. М., «Мысль», 1970, с. 357–359.

жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности».

Действительно, взгляды Макиавелли коренным образом расходились с общепринятыми нравственными максимами. Ведь все и всегда советовали быть добродетельными прежде всего другим, независимо от того, как они сами и те, кому они советовали, вели себя на самом деле. Макиавелли срывает весь этот прогнивший феодально-церковный камуфляж, прикрывавший неблаговидные дела светских государей и духовных владык, и, исходя из того, что делается в самой жизни, советует государю «научиться умению быть не добродетельным», чтобы в случае необходимости применить это уменье на пользу самому себе и своему новому государству, дабы не погубить себя и государство.

В отличие от морализирующих фарисеев, которые всегда любили и любят поучать «высокой нравственности» других, чтобы самим делать все, что им заблагорассудится, в отличие от плоских проповедников, предлагавших умилительный идеал государя, обладающего только хорошими, положительными свойствами и качествами, в отличие от подобострастных приспешников с рабской психологией, в сознании которых любой государь может обладать только превосходными качествами, Макиавелли дает реалистическую картину человеческих качеств существовавших и существующих государей и аргументированный совет – каким надлежит быть новому государю в реальной жизни.

«Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой скуп – если взять тосканское слово, ибо жадный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы называем того, кто слишком держится за свое – один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен; один честен, другой вероломен; один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нечестив, и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе все лучшие из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели,

ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность».

Из этого отрывка видна глубина мысли Макиавелли, его диалектический подход к рассмотрению человека и человеческих качеств, его бесстрашие доводить свою мысль и свой анализ до логического конца. Макиавелли рассматривает «хорошие» и «плохие» качества людей в единстве, так, как они и существуют в реальной жизни и у живых людей. Он прекрасно понимает, что трудно найти человека и особенно государя, который обладал бы всеми положительными качествами и ни одним отрицательным, но еще трудней, даже если бы такой идеальный человек или государь нашелся, проявить все эти хорошие качества, поскольку условия жизни этого не позволяют и не допускают.

Вот это соотнесение человеческих качеств с реальными жизненными условиями или с реальной действительностью составляет важнейший элемент или важнейшую сторону политического реализма Макиавелли. За явлениями он стремится вскрыть сущность, за кажимостью – реальное содержание, за единством и сочетанием противоположных качеств – живую человеческую личность, с определенным характером, сформированным определенными жизненными условиями.

Его реализм носит классовый характер, в нем выражается последовательность требований восходящего класса, революционность устремлений буржуазии, обнаженная рационалистичность ее классовых интересов, ее бескомпромиссность по отношению к феодализму, решительность в искоренении всего, что связано с этим общественным строем.

Новый Государь Макиавелли – это не просто человек, обладающий теми или иными объективными и субъективными человеческими качествами и свойствами, и не просто идеальный образ или прообраз, с которым должны соотноситься реально существующие государи, – нет, это прежде всего самая бескомпромиссная, самая решительная, самая беспощадная альтернатива нового буржуазного строя, нового буржуазного класса отживающему общественному и государственному строю феодализма, его порядкам, традициям, законам, морали, религии, философии, искусству, мировоззрению – словом, альтернатива всем формам бытия и сознания феодальной общественно-

экономической формации. Вот почему Макиавелли так основательно, строго, тщательно, всесторонне, бережно и продуманно, как истинный зодчий-демиург, выстраивает ощутимый, как бы вырастающий из самой реальной жизни, зримый, живой и притягательный образ нового Государя. Вот почему каждое качество или свойство характера нового Государя являет собою по существу социальную категорию, а проявление этих качеств и свойств в конкретной деятельности, в реальной жизни – характер политических законов или закономерностей, поскольку от этих качеств и свойств зависит судьба нового государства и всех живущих в нем людей.

Здесь за внешним антропоморфизмом скрывается логическое построение новой социально-экономической и политической системы, за, казалось бы, обычными человеческими качествами государя – интересы и требования нового класса и новой общественно-экономической формации во всех сферах материальной и духовной жизнедеятельности и, естественно, решительное отрицание интересов, традиций, требований и привилегий феодализма, из отношения к истории, теории и практики феодализма выстраивается история, теория и практика буржуазного общества, из ретроспективы как осмысления прошлого – вырастает перспектива развития нового буржуазного строя и всех его отношений.

В свете этого становится понятным, почему Макиавелли так обстоятельно рассматривает такие понятия или категории, как щедрость и бережливость, жестокость и милосердие, любовь и ненависть и т. д. и т. п. Во все эти и подобные им понятия Макиавелли вкладывает, а точнее – вскрывает в них новое содержание и новый смысл, отражающие тенденции становящегося и развивающегося капитализма. Макиавелли до предела обнажает механизм действия феодальных отношений, ставших тормозом на пути развития современного ему общества, и одновременно набрасывает смелый проект их полного уничтожения и построения отношений, способствующих развитию общества буржуазного.

Анализируя первые названные им качества: щедрость и бережливость, Макиавелли, по сути дела, выявляет наряду с хорошими законами и хорошей армией как главными основами всех государств еще одну важную опору, без которой ни одно государство не может ни процветать, ни тем более вести войны с другими государствами, – экономику, опирающуюся на хорошо отлаженную финансовую систему со строгим режимом экономии.

Обобщая исторический опыт ведения хозяйства теми или иными государями, их отношение к экономическим и финансовым вопросам, проявлявшимся прежде всего в таких их личных качествах, как щедрость или бережливость, Макиавелли замечает, что те государи, которые стремились быть щедрыми, вынуждены были в короткое время

тратить все свои богатства и сбережения на поддержание и закрепление за собой славы щедрых государей. После того как истощалась их казна, они вынуждены были идти на любые средства, чтобы выжать из своего народа путем жестоких налогов, поборов и угроз необходимые им деньги. Если государь пойдет по этому пути, то постепенно он станет ненавистным для своих подданных и в силу бедности – потеряет уважение. Таким образом, щедрость ведет к разорению государя и страны, к обиде многих и к вознаграждению лишь некоторых.

Чтобы государь не попал в подобное положение, Макиавелли советует ему не бояться прослыть скупым, ибо когда увидят, что, благодаря его бережливости, ему хватает доходов и на защиту и на походы, без того чтобы отягощать народ налогами, то его сочтут щедрым: он будет щедрым для всех, у кого ничего не берет, а таких бесконечное множество, скупым же для всех, кому не дает, то есть для немногих. «Итак, ради того чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – это один из тех пороков, которые позволяют ему править».

Правда, учитывая сложившиеся нравы, когда человек, идущий к власти, вынужден быть щедрым, чтобы добиться своих целей, Макиавелли считает возможным и даже необходимым в таких случаях не жалеть денег, особенно чужих. Если человек уже стал государем, то щедрость вредна, если же он только идет к власти, то, безусловно, необходимо считаться щедрым: «...тратить можно либо свое, либо чужое. В первом случае полезна бережливость, во втором – как можно большая щедрость.

Если ты ведешь войско, которое кормится добычей, грабежом, поборами и чужим добром, тебе необходимо быть щедрым, иначе за тобой не пойдут солдаты. И всегда имущество, которое не принадлежит тебе или твоим подданным, можешь раздаривать щедрой рукой, как это делали Кир, Цезарь и Александр, ибо, расточая чужое, ты прибавляешь себе славы, тогда как расточая свое – ты только себе вредишь. Ничто другое не истощает себя так, как щедрость: выказывая ее, одновременно теряешь самую возможность ее выказывать и либо впадаешь в бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности, разоряешь других, чем навлекаешь на себя ненависть. Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться, щедрость же ведет к тому и другому. Поэтому больше мудрости в том, чтобы, слывя скупым, стяжать худую славу без ненависти, чем в том, чтобы, желая прослыть щедрым и оттого поневоле разоряя других, стяжать худую славу и ненависть разом». Отсюда видно, что Макиавелли предла-

гает такие способы для достижения власти, ее удержания, ведения захватнических войн, которые бы наряду с режимом экономии, относительно средств государя и его подданных, предполагали бы известное, можно сказать – хищническое расточительство в расходовании чужих средств.

Здесь Макиавелли лишь констатирует то, что было узаконено в политической жизни того времени и что получит свое дальнейшее развитие в политической практике буржуазии и в обыденной повседневной жизни буржуазного общества.

Рассматривая далее такие качества государя, как жестокость и милосердие, Макиавелли сразу же указывает на то, что «каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким». Однако он тут же предостерегает против проявления этого милосердия некстати. Цезарь Борджа слыл беспощадным, но его жестокость восстановила Романью, объединила ее, вернула ее к миру и верности, а флорентийский народ, чтобы избежать нареканий в жестокости, допустил разрушение Пистойи. «Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Новый государь еще меньше, чем всякий другой, может избежать упрека в жестокости, ибо новой власти угрожает множество опасностей». В доказательство своих рассуждений Макиавелли приводит стихи Вергилия, который устами Дидоны оправдывает бесчеловечность ее правления тем, что оно ново: «Трудные обстоятельства и новизна моего царства заставляют меня предпринимать все это и широко ограждать свои пределы сторожевыми силами».

На основании этих и подобных им рассуждений Макиавелли обвиняли в жестокости. И по сей день за ним следует эта недобрая слава. Однако подобные обвинения в адрес Макиавелли вряд ли имеют под собой почву. Ведь Макиавелли никогда и нигде не писал о том, что следует везде и всюду применять жестокие меры. Напротив, он предупреждал: «Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных». Применение жестоких мер Макиавелли оправдывал только в необходимых и неизбежных обстоятельствах, и то, как мы видим, он советует при этом быть «осмотрительным и милостивым» и применять их направленно, целесообразно и карать именно тех, кто этого заслуживает.

Опираясь на свой богатый жизненный и политический опыт, Макиавелли советует государю, что всегда вернее внушить страх, чем быть любимым, ибо большинство людей неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Пока им делают добро, они выказывают свое расположение, но как только подвернется случай, они рады предать своего благодетеля и даже уничтожить его.

Макиавелли прекрасно видел, что когда-то возвышенные человеческие отношения – любовь, дружба, преданность, величие, благодарность, благородство души и т. д. теперь стали продаваться и покупаться как любые другие вещи. Поэтому новый государь должен отдавать себе отчет в этом, а также в том, что выше всех этих чувств люди стали ценить имущество, деньги, богатство. И если уж что-то люди уважают, так это силу, силу, которая внушает им страх. «И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Тем более что причин для изъятия имущества всегда достаточно, и если начать жить хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как оснований для лишения кого-либо жизни гораздо меньше и повод для этого приискать труднее.

Но когда государь ведет многотысячное войско, он тем более должен пренебречь тем, что может прослыть жестоким, ибо, не прослыв жестоким, нельзя поддержать единства и боеспособности войска».

Таким образом, Макиавелли советует применять жестокие меры только там, где это вызывается необходимостью. Принимая во внимание исторически сложившиеся реальные общественные отношения в различных государствах того времени и отношения, существовавшие

между государствами, он считает силу более надежным союзником государя, чем слова и чувства его подданных и их показная и весьма неустойчивая преданность. Только сила, которая вызывает уважение и страх как внешних, так и внутренних врагов, убережет государя и его страну от гибели. Но эту силу надо применять с умом, с мудростью и человеколюбием, вовремя, без колебаний, с достаточным оправданием и явной причиной. При этом, как истинный идеолог буржуазии, Макиавелли открыто объявляет неприкосновенность частной собственности, жилища и семьи граждан. Все остальное зависит от самого государя, которому Макиавелли советует опираться только на то, что зависит от него самого, а не на то, что зависит от других.

Недобрая слава Макиавелли и, соответственно, макиавеллизма связана во многом с содержанием XVIII главы, в которой излагаются основные принципы поведения государя.

Если понимать все, что Макиавелли советует в этой главе новому государю, буквально, то может сложиться впечатление о полном аморализме принципов, которые излагаются и защищаются Макиавелли. Надо заметить, что они так дословно и были поняты и восприняты подавляющим большинством читателей «Государя», и особенно власть имущими[1].

Макиавелли начинает главу «О том, как государи должны держать слово» с постановки проблемы, возникающей перед каждым государем: «Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?»

---

[1] См. об этом, например, статью И. С. Шарковой «Анти-Макьявелли» Фридриха II и его русские переводы» в книге «Проблемы культуры итальянского Возрождения» (Л., 1979, с. 106–111).

Из этого ясно, что Макиавелли относит законы к презумпции человека, а силу – к звериному, животному началу и происхождению. Если все это понимать буквально, то уже в постановке проблемы содержится, так сказать, аморализм, ибо государю советуют опираться не только на законы, но и на силу, и, может быть, главным образом на силу.

Однако Макиавелли не случайно вводит в свои суждения образ кентавра, – он пытается соединить то, что устанавливается человеком в человеческом обществе, с тем, что имеет естественное природное происхождение. Изучая современную жизнь, действия политических деятелей, Макиавелли убедился в непрочности, недолговечности и недостаточности даже самых хороших законов, поэтому он апеллирует к природному началу, к тому, что в лихую годину может служить надежной защитой для государя и государства, – к силе, но к силе, применяемой и используемой с умом, с хитростью, а не вслепую.

Соединение человеческого и животного, звериного должно осуществляться посредством использования самого тонкого и могучего оружия, которым располагает человек и зверь; Макиавелли советует государю быть лисицей, чтобы распознавать западню, и львом, чтобы устрашать волков, а не полагаться на голую силу. То есть Макиавелли советует государю быть в политике не романтиком и не утопистом, а реалистом: основательно изучать сложившуюся ситуацию, взвешивать сложившееся положение дел, учитывать вероломство, непостоянство, хитрость и жестокость властителей, не считающихся ни с чем для достижения своих корыстных целей.

Естественно, напрашивается вывод, что если государь будет вести себя честно среди своры других бесчестных и бессовестных государей, то он быстро окажется жертвой их вероломства и погибнет Следовательно, чтобы обезопасить себя и не погибнуть, сохранить свою жизнь и жизнь и благополучие своих подданных, государь обязан поступать так, как подсказывают ему обстоятельства. «Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же».

Отсюда видно, что Макиавелли вовсе не проповедует аморализм, он скорее констатирует аморализм существующего общества, в особенности власть имущих, и призывает государя к бдительности, к

тому, чтобы не стать жертвой палачей, жертвой тех, кто в любой момент готов нарушить данное им обещание, чтобы уничтожить своего союзника, друга и самого близкого человека в угоду своим низменным интересам и целям. Макиавелли, по существу, вскрывает аморализм уходящего феодального общества и аморализм нарождающегося буржуазного общества, вскрывает суть и содержание морали власть имущих, срывает с них все благопристойные и благообразные маски, обнажая и демонстрируя их звериную сущность. Вот почему его политическая доктрина была встречена власть имущими в штыки: они объявили его учение аморальным только потому, что он вскрывал и обнажал аморальный характер их образа мысли и их образа действий.

В этом смысле весьма показательна эволюция взглядов прусского короля Фридриха II, который называл Макиавелли дурным и жестоким политиком, а поступал так, как те политические деятели, которых описывал Макиавелли, что дало основание Вольтеру, поддержавшему в свое время замысел будущего короля написать против Макиавелли сочинение, заметить: «Вы узнаете о новой победе моего хорошего друга прусского короля, который так хорошо написал против Макиавелли и немедленно повел себя подобно героям Макиавелли»[1]. Таким героем Макиавелли считал Александра VI, который всегда и всех обманывал, меньше всего соблюдал данные им клятвы, не брезговал никакими средствами для достижения своих целей.

Макиавелли реалист: он впервые в истории пытается выработать феноменологию политического сознания и политического действия, обращенную не в прошлое, а в будущее, не к абстрактному человеку и человечеству, а к конкретному носителю политической власти – новому государю, основная миссия которого состоит в создании мощного единого национального государства.

Преобладание общих государственных интересов над частными, общеполитических целей над всеми другими определяет характер психологии нового государя, психологии, которая по мере ее развития и конкретизации постепенно теряет индивидуальные черты, все более становится психологией социальной. На формировании характера нового государя заметно сказались мечты народа об идеальном общественном и государственном устройстве. Для реализации народных устремлений Макиавелли призывает к решительным действиям и применению самых эффективных средств. Макиавелли убежден в этом потому, что в реальной жизни под прикрытием самых возвышенных слов и нравственных ценностей осуществлялись самые низменные дела. Высокие добродетели и благородные заповеди часто

---

[1] См. «Проблемы культуры итальянского Возрождения», с. 107.

служили оправданием самых кровавых и бесчеловечных злодеяний. Вот почему Макиавелли со всей откровенностью, на которую способен только глубокий и проницательный ум, добрый и мужественный человек, со всей прямотой заявляет: «Отсюда следует, что государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо. Следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». Ради достижения цели новый государь не столько должен обладать общепризнанными добродетелями, сколько казаться обладающим ими, чтобы они не сковывали его действий, чтобы, в случае необходимости, он мог пренебречь этими еще имеющими широкое хождение в обществе добродетелями и пользоваться ими, как средствами для достижения цели, по своему усмотрению. В мире, где царит несправедливость, в мире, где господствует сила, в мире, где насилие и вероломство возведено на уровень закона, в мире, где все продается и покупается, в мире, где все добродетели и все ценности давным-давно потеряли собственно человеческое содержание и стали формальными, – в этом мире все средства хороши, чтобы уничтожить этот мир и заменить его другим, более человечным и более достойным.

И все-таки, поскольку эти выхолощенные, обесчеловеченные добродетели еще имеют хождение и вызывают у людей признание и поклонение, то новому государю не следует их отбрасывать, а стоит хотя бы внешне, хотя бы формально признавать их роль и значение, во всяком случае делать вид, что он считается с ними и обладает ими. «Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на

самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство. О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством стоит государство. Один из нынешних государей, которого воздержусь называть, только и делает, что проповедует мир и верность, на деле же тому и другому злейший враг; но если бы он последовал тому, что проповедует, то давно лишился бы либо могущества, либо государства».

Достаточно много внимания Макиавелли уделяет взаимоотношению нового государя с народом.

Прежде всего он предупреждает, чтобы новый государь избегал таких дел, которые вызывали бы к нему ненависть и презрение: «Ненависть государи возбуждают хищничеством и посягательством на добро и женщин своих подданных. Ибо большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты их честь или имущество; так что недовольным может оказаться лишь небольшое число честолюбцев, на которых нетрудно найти управу. Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегаться как огня, стараясь, напротив, в каждом действии являть великодушие, бесстрашие, основательность и твердость. Решения государя касательно частных дел подданных должны быть бесповоротными, и мнение о нем должно быть таково, чтобы никому не могло прийти в голову, что можно обмануть или перехитрить государя».

Здесь Макиавелли формулирует довольно ясно и определенно неприкосновенность частной собственности и покоящихся на ней норм и правил буржуазной морали. Государю ни в коем случае не следует нарушать священных прав частной собственности и задевать честь своих подданных, в противном случае он вызовет к себе ненависть своих подданных, от которой ему будет трудно уберечься.

Столь же опасно для государя и чувство презрения со стороны подданных – ему надо делать все возможное, чтобы сохранить в народе должное к себе уважение, а если это возможно, то и любовь.

Государю, как полагает Макиавелли, страшны две опасности: одна – изнутри, от подданных, другая – извне, от иноземных государей. Против опасности извне защищаются хорошим оружием и хорошими союзами, а дела внутри страны всегда будут устойчивы, если все благополучно извне, лишь бы не начались заговоры и не пошла бы из-за этого смута.

Против заговоров у государя есть, согласно Макиавелли, одно из сильнейших средств, состоящее в том, чтобы «не быть ненавистным народу». Государю очень важно завоевать расположение народа, тогда ему нечего и некого бояться: «...государь может не опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа, и наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. Благоустроенные государства и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, кто правит». В подтверждение своих выводов Макиавелли приводит пример короля Франции, который, чтобы избежать нареканий знати за покровительство простому народу, а нареканий народа – за покровительство знати, учредил парламент, сдерживающий гордыню и властолюбие знати и ненависть народа к этой знати. Отдавая себе отчет в честолюбии и коварстве знати, а также учитывая огромную и решающую силу народа, Макиавелли формулирует положение, имеющее значение категорического императива: «Государю надлежит выказывать почтение к знати, но не вызывать ненависти в народе».

Проблеме взаимоотношения нового государя с народом и знатью Макиавелли уделяет достаточно много внимания, поскольку считает достижение определенного равновесия классовых сил одной из важнейших задач.

Исследуя эту проблему на конкретных примерах истории правления римских императоров, Макиавелли отмечает, что римские императоры не только должны были бороться с честолюбием знатных и с дерзостью народа, как это было в других государствах, но им приходилось выносить еще кровожадность и алчность солдат. В этом он усматривает одну из причин гибели многих римских императоров.

Макиавелли четко выявляет различие классовых интересов: народ дорожил спокойствием, а потому любил мирных правителей, а солдаты, естественно, любили воинственного, надменного, жестокого и хищного государя. Те императоры, которые оказались неспособными держать в узде и народ и солдат, всегда погибали. Те же из них, которые поняли, что примирить эти два противоположные течения, эти две противоположные силы невозможно, предпочитали, чтобы избежать всеобщей ненависти, встать на сторону тех, кто был могущественнее, – на сторону солдат. Шло это на пользу или нет, зависело от того, насколько император заставлял солдат уважать себя.

Макиавелли отмечает, что такие императоры, как Марк, Пертинакс и Александр – все люди скромной жизни, ревнители справедливости, враги жестокости, человечные и благожелательные, – все, кроме Марка, кончили печально.

В противоположность им императоры Коммод, Септимий Север, Антонин Каракалла и Максимин были, согласно Макиавелли, вели-

чайшими злодеями и хищниками – ради удовлетворения солдат они не останавливались ни перед каким насилием против народа. Но и все они, кроме Севера, кончили также плохо. Из этих наблюдений Макиавелли делает вывод: «...добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными, поэтому государь, как я уже говорил, нередко вынужден отступать от добра ради того, чтобы сохранить государство, ибо если та часть подданных, чьего расположения ищет государь, будь то народ, знать или войско, – развращена, то и государю, чтобы ей угодить, приходится действовать соответственно, и в этом случае добрые дела могут ему повредить». В любом случае Макиавелли советует новому государю следовать политике свирепейшего льва и коварнейшей лисицы, тогда ему удастся избежать главных причин гибели римских императоров, как, впрочем, почти всех власть имущих: ненависти или презрения подданных – народа, знати или солдат. В Римской империи солдаты были сильнее народа, поэтому императоры, как правило, заискивали перед солдатами, старались их ублажать. Современные государи должны больше угождать народу, поскольку нет постоянных войск, сросшихся с правительством и с управлением провинциями. На основании рассмотрения истории правления римских императоров Макиавелли делает еще один принципиальный вывод: важнее удовлетворить народ, чем солдат, потому что народ сильнее солдат. Этот вывод постоянно подтверждался в последующей истории, вплоть до настоящего времени. Ставка власть имущих на армию, на солдат, на вооруженные силы, на их применение в агрессивной, захватнической политике если и приносила временный успех, то затем неизбежно следовало поражение.

Значение Макиавелли следует видеть не только в том, что он учил установлению новой власти, созданию нового государства, но не в меньшей мере и в том, что он учил сохранению уже существующего устойчивого и крепкого государства.

«Одни государи, чтобы упрочить свою власть, разоружали подданных, другие поддерживали раскол среди граждан в завоеванных городах, одни намеренно создавали себе врагов, другие предпочли добиваться расположения тех, в ком сомневались, придя к власти; одни воздвигали крепости, другие – разоряли их и разрушали до основания». Эти обобщения реальной исторической практики и политической жизни Макиавелли делает предметом своего критического анализа. Ему ясно, что новые государи не только не должны обезоруживать своих подданных, но, скорее, наоборот, «они всегда вооружали их, если те оказывались невооруженными». Макиавелли видит здесь не просто техническую задачу: вооружить или разоружить подданных нового государя, – отнюдь нет. Он видит здесь более важную и серьезную проблему, нравственную и политическую, – привлечение подданных на сторону нового государя. Врученное подданным оружие стано-

вится оружием самого государя, а сами подданные превращаются из подозреваемых в сторонников новой власти, ибо оказанное им доверие (ведь всех вооружить нельзя) заставляет их чувствовать, что этим доверием они обязаны новому государю. Большое доверие, большие опасности вызывают большую ответственность и большие обязанности. Отсюда Макиавелли делает вывод, что «новые государи в новых государствах всегда создавали собственное войско». Он снова и снова призывает нового государя создавать свою собственную армию: и в новом государстве, и в присоединяемых государствах следует вообще устроить так, «чтобы в конечном счете во всем войске остались только коренные подданные, живущие близ государя».

Что касается поддержки и насаждения раздоров партий, то на этот счет Макиавелли высказывается достаточно определенно: подобная политика была правильной тогда, когда Италия находилась до известной степени в состоянии равновесия, а в его времена, как показывает история, подобная политика распрей приносила только вред, ибо города, в которых была рознь, при появлении неприятеля погибали. Самый убедительный пример – политика венецианцев, поддерживавших в подвластных им городах распри гвельфов и гибеллинов, чтобы они не объединялись против них. Как известно, это кончилось тем, что после поражения при Вайла венецианцы потеряли свои владения. Будучи сторонником сильной власти, Макиавелли убежден, что «подобные приемы изобличают, таким образом, слабость правителя, ибо крепкая и решительная власть никогда не допустит раскола; и если в мирное время они полезны государю, так как помогают ему держать в руках подданных, то в военное время пагубность их выходит наружу».

Макиавелли справедливо полагает, что государи становятся великими, когда преодолевают трудности и оказанное им сопротивление. Иногда судьба посылает государю врагов, чтобы дать ему случай победить их и возвыситься. «Однако многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии». Известно, к каким роковым последствиям приводила эта широко укорененная в буржуазной политике практика.

Относительно того, что государи, и особенно новые государи, находили больше верности и пользы в людях, считавшихся в начале их правления ненадежными, чем в тех, кто сперва пользовался доверием, Макиавелли замечает, что «тут нельзя говорить отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств». Если люди были в начале правления нового государя его врагами, а теперь им нужна его поддержка, то государь легко привлечет их на свою сторону. Они будут вынуждены честно служить, чтобы загладить создавшееся у государя дурное мнение о них. А государь всегда извлечет из них

больше пользы, чем из тех, кто слишком убежден в беспорочности своей службы и потому пренебрегает его делами. Людей же, недовольных прежней властью, новому государю лишь с большими трудностями и стараниями удастся привлечь на свою сторону, ибо ему невозможно будет их удовлетворить. Из наблюдений над подобного рода событиями Макиавелли замечает, что новому государю «гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту».

Однако в целом мы видим, что Макиавелли в выборе друзей из бывших врагов не очень уверен, как он не уверен и в надежности существующих друзей государя, поскольку реальная жизнь, реальные политические события были полны неожиданными и многообразными перипетиями. Все зависело от конкретных условий и обстоятельств: люди подозрительные оказывались честными и верными, а те, кто считался честным и верным, – предавали. Отсюда и осторожность выводов Макиавелли.

Касаясь строительства крепостей, Макиавелли считает, что они могут быть как полезными, так и вредными – все зависит от времени. «...Тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних врагов, крепости полезны, а тем из них, кто больше боится внешних врагов, чем народа, крепости не нужны... лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы... Итак, по рассмотрении всего сказанного выше, я одобрю и тех, кто строит крепости, и тех, кто их не строит, но осужу всякого, кто, полагаясь на крепости, не озабочен тем, что ненавистен народу».

Макиавелли выстраивает внушительную программу, выполняя которую государь может добиться того, чтобы его почитали.

«Ничто не может внушить к государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки». В пример он ставит тогдашнего короля Испании Феррандо Арагонского, который из слабого короля, благодаря молве и прославленности, стал первым государем христианского мира. Его подвиги Макиавелли считает величественными и необыкновенными. Этот король спокойно и обдуманно готовил свои дела. Увлекая дворян подготовкой к войне, он приобретал высокое имя и власть над ними. Используя средства церкви и народа на содержание войска, он кладет начало собственной военной силе, которая прославит его. Действуя во имя веры, он предавался «благочестивой жестокости», изгоняя марранов из своего королевства и разоряя их. Прикрываясь той же религией, он захватил Африку, потом двинулся на Италию и напал, наконец, на

Францию. Макиавелли высказывает в связи с деятельностью этого короля интересные соображения: «Так он обдумывал и осуществлял великие замыслы, держа в постоянном восхищении и напряжении подданных, поглощенно следивших за ходом событий. И все эти предприятия так вытекали одно из другого, что некогда было замыслить что-либо против самого государя».

По существу, Макиавелли излагает своеобразный кодекс поведения и действий нового государя, его, так сказать, стратегию и тактику во внутренней и внешней политике. Все основные принципы этого «кодекса» направлены на укрепление власти нового государя, на повышение его авторитета внутри страны и за рубежом, на прославление его имени, ума, добродетелей, доблестей. Макиавелли последовательно излагает содержание рекомендуемого им политического императива нового государя: «Величию государя способствуют также необычайные распоряжения внутри государства... когда кто-либо совершает что-либо значительное в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое главное для государя – постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, наделенного умом выдающимся.

Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого – это всегда лучше, чем стоять в стороне». Личная и гражданская жизнь используются в интересах политических в той же мере, как и политическая власть используется в интересах гражданской жизни и в интересах возвышения, укрепления и величия власти нового государя.

Макиавелли представляется здесь как реально мыслящий политик. Он не просто рассуждает, размышляет и взвешивает все «за» и «против» – нет, скорее он так излагает свои максимы политического действия, что они волей-неволей приобретают характер принципов такой политической линии, которая никогда не упускает из виду реальность, и как необходимость прокладывает себе дорогу через хаос случайностей, так и эта политика становится логикой политического поведения, политических действий. Поскольку многие его «советы» звучат современно, а многие политические события в буржуазном мире развиваются как будто согласно его максимам, то на этом основании некоторые исследователи считают Макиавелли основоположником реалистического подхода к политическим явлениям. Но истина в том, что Макиавелли, как и любого другого мыслителя, следует рассматривать конкретно-исторически.

Макиавелли рисует достаточно многосторонний облик нового государя, соответствующий многообразным функциям политической власти нового времени: «Государь должен также выказывать себя

покровителем дарований, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие – открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен располагать наградами для тех, кто заботится об украшении города или государства. Он должен также занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, каковые должны присутствовать в каждом его поступке».

Макиавелли не обходит стороной и такой важный вопрос, как ближайшее окружение государей – их советники. В контексте рассуждений Макиавелли этот вопрос имеет, пожалуй, более широкое значение, чем просто выбор подходящих для столь важного дела людей. «Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они будут, хороши или плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников». Ближайшие советники государя – это те, кому доверяются самые важные и ответственные дела по управлению государством, кто облечен огромной властью и обязан проводить в жизнь основные идеи и замыслы государя, осуществлять на деле его внутреннюю и международную политику. Это особо доверенные люди, на которых в первую очередь опирается в своей деятельности государь. Именно поэтому Макиавелли считает, что выбор этих людей будет первой ошибкой или первой удачей нового государя. Все зависит от его мудрости и способности распознавать людей.

Как сделать, чтобы новый государь не ошибся в выборе необходимых ему советников? Макиавелли полагает, что это зависит прежде всего от интеллекта самого государя. «Ибо умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум – выдающийся, второй – значительный, третий – негодный». Хорошо, если государь обладает умом первого рода, когда он все понимает сам, – в этом случае ему нетрудно подобрать нужных ему людей, на которых он мог бы положиться и которым он мог бы полностью доверять. Если же государь обладает даже средним

умом, способным усваивать мысли других, то и в этом случае он может подобрать подходящих советников, но он должен быть настолько рассудительным, чтобы распознавать добро или зло чьих-либо дел и слов, понимать дурные и хорошие поступки, за одни – взыскивать, а за другие – поощрять. В любом случае Макиавелли советует государю проверять своих советников или министров на деле. «Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться. Ибо министр, в чьих руках дела государства, обязан думать не о себе, а о государе, и не являться к нему ни с чем, что не относится до государя. Но и государь, со своей стороны, должен стараться удержать преданность своего министра, воздавая ему по заслугам, умножая его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним обязанности и почести, чтобы тот видел, что государь не может без него обходиться, и чтобы, имея достаточно богатств и почестей, не возжелал новых богатств и почестей, а, занимая разнообразные должности, убоялся переворотов. Когда государь и его министр обоюдно ведут себя таким образом, они могут быть друг в друге уверены, когда же они ведут себя иначе, это плохо кончается либо для одного, либо для другого».

И до Макиавелли было известно, что всякий властитель имел близких, особо доверенных людей, облеченных большой властью. В этом смысле Макиавелли не говорит ничего нового. Новым здесь можно, пожалуй, считать то, что он рассматривает подбор советников государя как важное государственное дело. Это не просто люди, преданные государю, а государственные люди, заботящиеся о делах народа и страны, служащие верой и правдой народу и государю.

Может быть, подобные требования в условиях эксплуататорского общества, в условиях ожесточенной классовой борьбы выглядят утопическими, тем не менее они соответствовали духу нового времени, борьбе с разложившимися феодальными порядками. Строить новое общество, новое единое итальянское государство, по убеждению Макиавелли, должны люди, беззаветно преданные делу свободы, единства и возрождения родины.

Политический реализм Макиавелли связывает свободу с истиной, с правдой. Может показаться совершенно невероятным, что во времена, когда вся политика строилась по принципу «кто кого обманет» или «кто кого перехитрит», Макиавелли настаивает на том, чтобы государь больше всего избегал льстецов, которыми полны дворцы, и окружал бы себя людьми, которые способны ему всегда говорить только правду, какой бы горькой она ни была. «Ибо нет другого способа оградить себя от лести, как внушив людям, что если они

выскажут тебе всю правду, ты не будешь на них в обиде, но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение.

Поэтому благоразумный государь должен избрать третий путь, а именно: отличив нескольких мудрых людей, им одним предоставить право высказывать все, что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чем больше; однако спрашивать надо обо всем и выслушивать ответы, решение же принимать самому и по своему усмотрению. На советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее они выскажутся, тем более угодят государю; но вне их никого не слушать, а прямо идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. Кто действует иначе, тот либо поддается лести, либо, выслушивая разноречивые советы, часто меняет свое мнение, чем вызывает неуважение подданных». Отсюда видно, что идеи демократизма Макиавелли носят ограниченный характер. Ведь не ограниченная ничем власть принадлежит только государю, все остальные, начиная от самых ближайших к государю людей – советников и министров и кончая простым народом, должны или исполнять, или повиноваться воле государя. Ничем и никем не ограниченная, безраздельная и безусловная власть и воля государя, лежащая в основе построения нового государства и нового общества, диктует соответствующий отбор и подбор людей, способных проводить политику нового государя. Поскольку во всех делах решающее слово остается за государем, то он должен каждое свое решение основательно обдумать, предварительно выслушав мнения своих советников. «Таким образом, государь всегда должен советоваться с другими, но только когда он того желает, а не когда того желают другие; и он должен осаживать всякого, кто вздумает, непрошеный, подавать ему советы. Однако сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпеливо выслушивать правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, что кто-то почему-либо опасается говорить ему правду».

Макиавелли опровергает распространенное мнение о том, что государь, слывущий разумным, считается таковым не сам по себе, а благодаря хорошим советам, полученным от приближенных. Макиавелли считает это несомненной ошибкой, ибо «государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы, если только такой государь случайно не доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения. Но хотя подобное положение и возможно, ему скоро пришел бы конец, ибо советник сам сделался бы государем. Когда же у государя не один советник, то, не обладая мудростью, он не сможет примирить разноречивые мнения; кроме того, каждый из советников будет думать лишь о

собственном благе, а государь этого не разглядит и не примет меры. Других же советников не бывает, ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. Отсюда можно заключить, что добрые советы, кто бы их ни давал, родятся из мудрости государей, а не мудрость государей родится из добрых советов».

Если правила, предлагаемые Макиавелли, соблюдаются государями, то власть нового государя делается крепче и обеспеченнее, а сам он становится как бы исконным. Новому государю, не обладающему древней кровью, наследственной властью, необходимо проявить свои способности и силу в своих поступках и действиях. Главными деяниями, прославляющими нового государя, являются, согласно Макиавелли, основание нового государства, возвеличение его, укрепление хорошими законами, сильным войском и достойными примерами. Поскольку события настоящего захватывают людей много больше, чем дела минувшие, то когда люди в настоящем находят благо, они радуются этому, не ищут ничего другого и будут всячески защищать нового государя. И напротив, государь покрывает себя позором, если из-за собственного неразумия теряет власть. Макиавелли ссылается на печальный опыт итальянских государей, которые лишились своих государств по ряду общих для них причин: плохого устройства войска, ненависти или враждебности к ним народа, а если пользовались расположением народа, то не смогли обезопасить себя от знати. Без подобных ошибок не лишаются государств жизненно сильных, способных выставить свои войска. «Так что пусть те из наших государей, кто, властвуя много лет, лишился своих государств, пеняют не на судьбу, а на собственную нерадивость. В спокойное время они не предусмотрели возможных бед – по общему всем людям недостатку в затишье не думать о буре, – когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно. Если нет другого выхода, хорош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих, точно так же как не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут. Даже если тебя и выручат из беды, это небезопасно для тебя, так как ты окажешься в положении зависимом и унизительном. А только те способы защиты хороши, основательны и надежны, которые зависят от тебя самого и от твоей доблести».

Таким образом, наделяя нового государя неограниченной властью, Макиавелли, в строгом соответствии с этим, возлагает на него всю ответственность за состояние государства, за сохранение и укрепление власти и государства. Макиавелли предупреждает государя, чтобы он меньше всего полагался на судьбу, на других людей, на помощь извне, а больше бы уделял внимания развитию своего умения управлять людьми и государством, умению пользоваться данной ему

властью, зорко следить за изменяющимися обстоятельствами, чтобы вовремя предупредить надвигающуюся беду и если не предотвратить ее, то хотя бы суметь ей достойно противостоять, всегда быть на страже государственных интересов и даже в самые спокойные и счастливые времена думать о возможной опасности, чтобы вовремя принять все необходимые меры для защиты. Словом, государь должен рассчитывать прежде всего на свое умение управлять государством и на созданные им самим вооруженные силы.

Италия во времена Макиавелли представляла собой своеобразную арену разного рода переворотов. Тем, кто не размышлял основательно над причинами подобных переворотов, они, естественно, представлялись проявлениями судьбы, фортуны, неожиданного счастья или несчастья. Считалось, что дела мира управляются богом и судьбой. Наблюдая за столь частыми в Италии переворотами, Макиавелли признается, что и он придерживался в известной степени распространенного мнения о событиях, совершающихся наперекор всякой человеческой предусмотрительности. «И, однако, ради того, чтобы не утратить свободу воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим людям. Я уподобил бы судьбу бурной реке, которая, разбушевавшись, затопляет берега, валит деревья, крушит жилища, вымывает и намывает землю: все бегут от нее прочь, все отступают перед ее напором, бессильные его сдержать. Но хотя бы и так, – разве это мешает людям принять меры предосторожности в спокойное время, то есть возвести заграждения и плотины так, чтобы, выйдя из берегов, река либо устремилась в каналы, либо остановила свой безудержный и опасный бег?

То же и судьба: она являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений».

Если бы Италия, страна этих переворотов, была защищена достаточной силой, как Германия, Испания, Франция, то наводнение не причинило бы стольких изменений или вовсе не случилось бы.

Революционный по своей сути дух Макиавелли, выражавший идеи, настроения народных масс, не мог смириться с подчинением человека прихотям и капризам судьбы или бога, поэтому мыслитель призывает к сопротивлению судьбе вообще, к тому, чтобы поставить ей преграды, заранее подготовиться к ее ударам, чтобы они не могли принести значительных разрушений и нежелательных изменений. Хотя Макиавелли и признает за судьбой половинную долю в происходящих событиях, тем не менее вторую половину он отдает в руки самого человека, дабы не утратить свободную волю, творческую деятельность человека, его активность в самых различных областях жизни и деятельности.

Можно предположить, что под судьбой и божьей волей скрывалась историческая необходимость, но сам Макиавелли нигде не высказывается достаточно определенно на этот счет. Об этом можно только догадываться на том основании, что он судьбе и воле бога противопоставляет свободную волю человека.

Второй не менее важный момент заключается в том, что Макиавелли, наблюдая жизнь государей, целиком полагающихся на счастье и погибающих, как только это счастье им изменяет, дает такое определение, которое можно считать по тем временам формулой конкретного историзма: «Я думаю также, что сохраняют благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени». На конкретных примерах Макиавелли демонстрирует, как разные люди разными путями достигают одних и тех же целей, или одинаковые люди, идя разными путями, преуспевают одинаково, а иногда люди действуют одинаково, но один достигает цели, другой – нет. Все зависит, как убежден Макиавелли, от того, насколько люди применяются в своем поведении к свойствам времени. Если человек, каким бы он умным и мудрым ни был, не меняет своего образа действий применительно к постоянно меняющемуся времени, то он, как правило, погибает. Даже самому благоразумному человеку трудно приспособиться к изменениям времени, ибо трудно отступать от склонностей собственной природы. «Если бы его характер менялся в лад с временем и обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно», – замечает Макиавелли. Следовательно, в частом изменении судьбы виноват в основном сам человек, который не может приспособиться к изменениям времени, не может изменять свой образ жизни соответственно духу времени.

Диалектика действительности определяет, согласно Макиавелли, диалектику поведения людей, диалектику поведения человека. Здесь коренятся основы политического реализма Макиавелли, и не только политического, а, скажем, и исторического. Ведь свобода воли человека действует не произвольно, а в соответствии с исторической необходимостью, а у Макиавелли – в соответствии со временем, с духом времени. Поэтому, хотя Макиавелли и делит поровну долю участия судьбы и бога и долю участия свободы воли человека, все-таки то, как сложится судьба, как сложатся обстоятельства, в гораздо большей степени зависит от человека, от его воли, от его активной деятельности, чем от самой судьбы и от бога.

«Итак, в заключение скажу, что фортуна непостоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому, пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад, благополучию его приходит конец. Я же полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна – женщина, и кто хочет

с ней сладить, должен колотить ее и пинать – таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, – подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укрощают».

В последней, заключительной главе своего «Государя» Макиавелли буквально живописует, лепит трагический образ Италии: «...дабы обнаружила себя доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего ее позора: до большего рабства, чем евреи; до большего унижения, чем персы; до большего разобщения, чем афиняне: нет в ней ни главы, ни порядка; она разгромлена, разорена, истерзана, растоптана, повержена в прах. ...Италия, теряя последние силы, ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграбления Ломбардию, от поборов – Неаполитанское королевство и Тоскану, кто уврачует ее гноящиеся язвы. Как молит она Бога о ниспослании ей того, кто избавит ее от жестокости и насилия варваров! Как полна она рвения и готовности стать под общее знамя, если бы только нашлось, кому его понести!»

Рассматривая все, что было сказано им в «Государе», и размышляя над тем, благоприятствуют ли его времена возвышению в Италии нового государя, Макиавелли приходит к выводу: еще никогда не было более удачного, чем теперь, времени, воздающего должное новому государю («tempi da onorare uno nuovo principe»), и имеется «материал, которым мог бы воспользоваться мудрый и доблестный человек, чтобы придать ему форму – во славу себе и на благо отечества» («ci era la materia che déssi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma, che facessi onore a lui e bene alla università delli uomini di quella»).

Причины подобного падения Италии Макиавелли видит в негодности старых учреждений и в слабости ее вождей, а также в наемных войсках.

Исходя из этого, Макиавелли буквально скандирует программу-лозунг, программу-истину: «Здесь дело поистине правое, ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда».

Осуждая старые и существующие учреждения, Макиавелли тут же предлагает заменить их новыми, более действенными и совершенными: объясняется это тем, что старые порядки нехороши, а лучших никто не сумел ввести. Между тем ничто так не прославляет государя, как введение новых законов и установлений. В них он видит величие государства, именно новые законы и порядки делают государя предметом поклонения и восхищения. Еще и еще раз Макиавелли повторяет, что в Италии нет недостатка в материале, которому можно придать любую форму («in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma»).

Макиавелли восхищается силой, ловкостью, мужеством, находчивостью итальянцев в различных поединках и схватках. Но как только они выступают вместе целым войском, так не выдерживают, терпят поражение. Причину этого Макиавелли видит в слабости вождей: «Виной же всему слабость военачальников» («debolezza de'capi»). Потому он возлагает надежды на нового государя, на его понимание, на его умение руководить народом и страной в мирное и военное время, на его мудрость, смелость, хладнокровие и мужество.

И здесь снова, в который раз, Макиавелли призывает к созданию новой собственной армии, рассматривая ее «как подлинную основу любого военного предприятия, потому что нельзя иметь более верных, более настоящих, более хороших солдат, чем свои» («è necessario... come vero fondamento d'ogni impresa, provvedersi d'arme proprie; perché non si può avere né piú fidi, né piú veri né migliori soldati»).

Макиавелли не просто призывает создать новую армию, но предлагает и средство для создания качественно новой армии – замену боевого строя: «Это будет сделано не генерацией оружия, но изменением порядков» («la variazione delli ordini»). Эти изменения также составят репутацию и величие нового государя.

Таким образом, процесс построения или ментального созидания государя постепенно обретает все более и более ощутимые человеческие черты, черты государственного человека или государственного деятеля. И тем не менее только в самой последней главе этот мифический антропоморфизм через постановку конкретных задач, через изложение конкретной программы, через обращение-призыв к конкретной личности и направленность всех этих характеристик, всей программы на конкретную цель, на достижение конкретно-исторических задач, начиная с данного момента, получает явственную форму конкретного человека.

Не вина Макиавелли, а беда Италии, что этот процесс растянулся на несколько столетий. Но зато именно ему принадлежит заслуга в политическом осознании этого кризиса, в указании и выработке средств преодоления бедственного положения Италии, в разработке и обосновании тех путей, следуя которым итальянский народ в конце концов добился создания единого национального самостоятельного и независимого государства. В этом историческом предвидении и предвосхищении состоит большая заслуга Макиавелли, его политической теории, политической философии, политического мировоззрения.

Последние слова заключительной главы звучат как призыв-заклятие, призыв-напутствие, призыв-надежда: «Итак, нельзя упустить этот случай: пусть после стольких лет ожидания Италия увидит наконец своего избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных втор-

жений, с какой жаждой мщения, с какой неколебимой верой, с какими слезами! Какие двери закрылись бы перед ним? Кто отказал бы ему в повиновении? Чья зависть преградила бы ему путь? Какой итальянец не воздал бы ему почестей? Каждый ощущает, как смердит господство варваров. Так пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с тем мужеством и той надеждой, с какой вершатся правые дела, дабы под сенью его знамени возвеличилось наше отечество и под его водительством сбылось сказанное Петраркой:

Доблесть ополчится на неистовство,
И краток будет бой.
Ибо не умерла еще доблесть
В итальянском сердце.»

Вся заключительная глава и ее последние слова, как бы концентрируя и аккумулируя в себе живительные нити всего процесса категориального анализа и теоретического построения нового мировоззрения, новой философии, нового государства, получают вдруг ясную структуру, гармоничную архитектуру, законченное единство великого свидетельства и документа, в котором выражена целая эпоха итальянской истории, намечены возможные и необходимые пути ее дальнейшего развития, обоснованы задачи и средства для достижения заветной цели – объединения Италии, создания нового единого итальянского государства.

В заметках о политике Грамши дает важное, имеющее методологическую значимость определение сущности и основного содержания «Государя» Макиавелли: «Фундаментальный характер «Государя» есть не систематическая трактовка, а живая книга, в которой политическая идеология и политическая наука сливаются в драматической форме «мифа». Формы, в которых политическая наука обрисовывалась вплоть до Макиавелли – между утопией и схоластическим трактатом, – эти формы принимают в его концепции фантастическую и художественную форму, благодаря чему доктринальный и рациональный элемент воплощаются в кондотьере, который представляет пластически и «антропоморфно» символ «коллективной воли». Процесс формирования определенной коллективной воли для определенной политической цели представлен не посредством изысканий и педантических классификаций принципов и критериев метода действия, а как качество, характерные черты, обязанности, потребности конкретной личности, того, что заставляет работать художественную фантазию тех, кто хочет победить и дает самую конкретную форму политическим страстям»[1].

---

[1] Antonio Gramsci. Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno. Opere, v. 5, Einaudi, Torino, 1952, p. 3.

Драма, разыгранная в голове великого флорентийца, представляла собой отражение и концентрированное выражение, простое и лаконичное по языку и глубокое, сложное, диалектически противоречивое по содержанию, той действительной драмы, которая была присуща истории Флоренции и всей Италии, истории противоречивой, драматической и часто весьма трагической, истории, в которой Макиавелли принимал самое активное участие, по крайней мере, на протяжении почти двух десятилетий.

Макиавелли, как активный субъект истории, стремился свои действия осмысливать, а свои мысли – проверять на деле, в действии. Однако этим не ограничивалось поле его политической, практической и интеллектуальной деятельности.

Грамши дает набросок структуры «Государя», его логическое построение, логику исследования и изложения. «Внутри томика Макиавелли рассматривает, каким должен быть государь, чтобы вести народ к основанию нового Государства, и исследование проведено строго логически, с научной отрешенностью; в заключении сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, но не с народом «вообще» (genericamente), а с народом, который Макиавелли убедил своим предшествующим изложением, сознание народа находит выражение в Макиавелли, который вырабатывает его сознание, и осознает свою роль в выработке сознания народа, и ощущает свое тождество с народом: кажется, что все «логическое построение» есть лишь саморефлексия народа, происходящая внутри разума, в сознании народа, завершающаяся в страстном и непосредственном крике. Страсть, порожденная размышлениями разума о самом себе, вновь становится «аффектом», лихорадкой, фанатизмом действия. Вот почему эпилог «Государя» не является чем-то «приплетенным» извне, риторическим, но должен быть понят как элемент, который необходимым образом связан с произведением, и даже как такой элемент, который проливает подлинный свет на все произведение, делая его «политическим манифестом».

Утопическим элементом политической идеологии Макиавелли следует считать то, что государь был чисто теоретической абстракцией, символом вождя, идеальным кондотьером, а не исторической реальностью.

Что касается мифических элементов «Государя», то, как порождение конкретной фантазии, они, выражаясь в драматической форме, стимулировали художественную фантазию тех, для кого это произведение было предназначено, придавая новые силы и максимальную конкретность политическим страстям. Мифические элементы, страстность, пронизывающие «Государя», исключительной силы драматизм изложения сливаются воедино в последней главе книги, в воззвании к «реально существующему» государю.

Макиавелли в известной мере перевертывает сложившиеся в истории отношения между идеологией и ее целями и идеалами, между идеологией и ее носителями – идеологами, между идеологией и теми, кто должен воплощать ее в жизнь, а главное – между идеологией и политикой.

Вычленение политики в самостоятельную науку – одно из самых важных достижений Макиавелли. Политика, согласно Макиавелли, есть символ веры человека, и поэтому она должна занимать господствующее положение в мировоззрении.

Политическая идеология у Макиавелли направлена на достижение определенной политической цели – формирование коллективной воли, с помощью которой можно создать могучее, единое, унитарное итальянское государство. Оригинальность процесса формирования коллективной воли состоит в том, что Макиавелли представляет этот процесс в виде формирования качеств отдельной конкретной личности и в виде выработки таких категорий, которыми человек руководствовался бы в своей жизни и деятельности: долг, обязанности, необходимость, потребности и т. д., то есть антропоморфно. Поскольку подобный процесс стимулирует работу художественной фантазии и придает многообразию политических страстей конкретную форму, то политическая идеология, представленная Макиавелли, – это не холодная утопия, а творение конкретной фантазии, воздействующей на рассеянный и распыленный (в политико-экономическом и культурном смысле) народ таким образом, что создает условия для порождения и организации коллективной воли.

Методологии Макиавелли присущ историзм (разумеется, в том содержании и в тех пределах, которые определялись уровнем развития общественно-экономической формации той эпохи, ее способом производства, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, присущих переходному периоду от феодализма к капитализму) или конкретное понимание исторических событий. Макиавелли изучает общественные явления в их противоречивости, он опирается на факты реальной истории, на факты из жизни конкретного общества, будь то события из жизни Флорентийской республики или события из жизни Франции, Испании, других европейских государств. Поэтому совершенно неверно делать из Макиавелли «политика вообще», учение которого одинаково пригодно во все времена.

Но к изучению и толкованию Макиавелли надо подходить также конкретно-исторически: «Макиавелли нужно рассматривать главным образом как необходимое выражение своего времени и как человека, тесно связанного с условиями и требованиями своего времени, которые вытекают: 1) из внутренних битв Флорентийской республики и особой структуры ее государства, которое не сумело освободиться от коммунально-муниципальных остатков, то есть от сковывающей

цепями феодальной формы; 2) из борьбы между итальянскими государствами за равновесие в итальянской области, которая создавала препятствия из-за существования Папства и других феодальных, муниципальных остатков гражданской государственной, а не территориальной формы; 3) из борьбы итальянских государств, более или менее солидарных, за европейское равновесие или из противоречий между необходимостью внутреннего итальянского равновесия и требованиями европейских государств в борьбе за гегемонию... Макиавелли является полностью человеком своей эпохи; и его политическая наука представляет собою философию времени, которая стремится к организации абсолютных монархий, политической формы, которая позволяет и облегчает дальнейшее развитие буржуазных производительных сил», – пишет Грамши.

Тесная связь с условиями и требованиями того времени определила реалистический характер политической философии Макиавелли, ее цели, метода и структуры.

Исходя из требований своего времени, Макиавелли формулирует важную историческую задачу – создание единого унитарного итальянского государства. За этой внешне простой формулой кроется сложная и глубокая работа мысли: субъективная диалектика, отражающая и выражающая еще более сложную структуру диалектики объективной, диалектики социально-экономических и политических событий, сложнейшую расстановку классовых сил, слоев, групп, партий.

Исследуя структуру этой объективной диалектики, Макиавелли постепенно, в ходе диалектического анализа реальных противоречий связывает и выстраивает противоречия реальной действительности в тугой узел категориальной системы, в процессе построения которой постепенно нащупываются, затем начинают осознаваться и, наконец, намечаются цели, задачи, средства, последовательность в разрешении противоречий, определяются параметры субъекта и объекта исторического действия, вырабатывающих коллективную, политическую волю, волю как деятельное сознание исторической необходимости, как главного героя современной ему исторической драмы.

В ходе анализа у Макиавелли зреет мысль, что вести народ к построению нового государства может лишь государь – не конкретно-историческая личность, а нечто отвлеченное, символическое, обладающее такими качествами, которые в своей совокупности недоступны никакому живому государю, как это демонстрирует сам Макиавелли на многочисленных примерах из истории и современной ему жизни. Именно поэтому Макиавелли большую часть своего исследования посвящает вопросу: каким должен быть государь, чтобы выполнить историческую задачу – построение нового государства.

Исследование проводится строго логически, с научной отрешен-

ностью, то есть объективно, но вместе с тем Макиавелли постоянно имеет в виду тот объект, из которого он выводит основные характеристики идеального государя, – народ, народ как реальный прообраз идеального государя. Чем больше качеств «извлекает» Макиавелли из народа для государя, тем активнее логика рассуждений подталкивает его к необходимости экстраполяции «извлеченных» из живой жизни и «живого материала» качеств на исторически конкретную личность, на живого государя, и наоборот: чем живее, полнокровнее становится конструируемый им образ государя со всеми необходимыми ему качествами и чертами характера, тем органичнее они экстраполируются на весь народ.

Поскольку Макиавелли схватывает самые основные и существенные интересы и чаяния народа, то сознание народа воплощается в его сознании, тем самым посредством осмысления требований своего времени, их теоретического обобщения он вносит свою весьма серьезную лепту в формирование и развитие народного сознания. В конечном счете логическая обработка, логическое построение сознания претерпевает настолько радикальное преобразование, что логика исследования и логика изложения становятся тождественными становлению и формированию народного сознания и самосознания, а сознание и самосознание народа – сознанию и самосознанию Макиавелли. Отсюда чувство слитности и тождества Макиавелли с народом – с народом, с которым он вел диалог, с которым рассуждал, мыслил, беседовал и который он, кажется, убедил.

Размышления сознания исторического субъекта-объекта о самом себе, совпадение узловых моментов его рефлексии с основными категориями логического анализа исторических событий порождает исторически обусловленную страсть к действию, к активной деятельности, страсть – пафос радикального преобразования и созидания нового общества и нового государства. Момент совпадения, тождества народного сознания и сознания Макиавелли в процессе ментального, логического построения идеального государя, а следовательно, и новой политической философии, нового мировоззрения, внезапно прорывается в непроизвольном, страстном крике-радости, крике-призыве, крике-ликовании, когда все содеянное и возведенное предстает сразу во всем своем великолепии, когда весь трудный и тяжкий путь исследования и изложения, логического построения и созидания предстает в облике, может быть, лишь однажды за всю жизнь открываемой человеком великой истины: истины познания, самосознания, действия и красоты.

С первых страниц «Государя» веет свежим дыханием жизни: Макиавелли исходит из реального жизненного опыта и пытается возводить свои теоретические построения на фундаменте этого опыта и на его конструкциях.

Это сочинение, как, впрочем, и другие, является живым срезом, живой картиной того времени.

Все действующие лица в этой исторической картине – реальные: или современники Макиавелли, или те, которые когда-то существовали и вызываются им на арену действия для того, чтобы что-то доказать или что-то опровергнуть. Идет ли речь о римских императорах, о древних греках, об иудеях, персах или о Франческо Сфорца, о герцоге Валентино, о короле французском Людовике XI или о турецком султане, о Савонароле или Франческо Гвиччардини, о римских папах Юлии II, Льве X, Клименте VII или о Ганнибале – за всеми этими именами у Макиавелли ощущается реальная история, реальная борьба, реальные действия, люди, события. В выборе имен, лиц, событий, мест сражений у Макиавелли нет ничего случайного, лишнего, все выполняет определенную функцию, все направлено на порождение определенного смысла, все отливается в чеканные формулировки теоретических обобщений практического исторического опыта.

Так, рассматривая деятельность французского короля Людовика XI в Италии, Макиавелли подробно описывает его деяния, чтобы затем на его ошибках научить других, чего не следует делать или чего необходимо избегать. «Следовательно, Людовик сделал эти пять ошибок: уничтожил малых правителей; увеличил в Италии могущество тех, кто был могуч; ввел в нее могущественного чужестранца; не поселился в ней; не основал в ней колоний. И эти ошибки, пока он был жив, еще не повредили бы ему, если бы он не сделал шестой – отнимать государство у венецианцев, потому что если бы он не создал величие Церкви, не призвал в Италию испанцев, то было бы вполне разумно и необходимо их разорить; но раз он уже сделал и то и другое, то ему ни в коем случае нельзя было допускать разорения Венеции»[1]. Ибо пока венецианцы были сильны, они удерживали всех других от захвата Ломбардии, так же как никто не осмелился бы отнимать Ломбардию у Франции и передать ее Венеции. Из этого Макиавелли выводит общее правило, которое, по его мнению, никогда или редко бывает ошибочным: «Тот, кто является причиной становления могущества другого, погибает; потому что могущество вызывается им искусством или силой, и то и другое вызывает подозрение у того, кто стал могучим»[2]. Из этого общего правила логически следует вывод: не усиливай могущество другого, иначе погибнешь, лучше наращивай свое могущество.

Если рассматривать эти правила вне связи с историческими

---

[1] Niccolò Machiavelli. Opere scelte. Editori Riuniti. Roma, 1973, p. 15–16.

[2] Ibid., p. 17.

условиями, в отрыве от эпохи, в которую жил Макиавелли, то они представляются безнравственными, недостойными благородных людей. Если же вспомнить, что в те времена отдельные княжества и государства вели друг с другом бесконечные захватнические войны, когда война была чуть ли не основным ремеслом государственных деятелей, то эти правила обретают определенный положительный смысл и содержание. Государь, следующий этим правилам, естественно, должен иметь преимущества перед теми, кто этим правилам не следует.

Важнейшее значение имеет исходная точка зрения, а именно – выделение политики в самостоятельную сферу, автономную дисциплину со своими специфическими законами и категориями, что, как мы уже говорили, составляет огромную заслугу Макиавелли. Правда, данный исходный пункт требует также некоторых уточнений.

Известно, что до Макиавелли в традиции европейской мысли политика, равно как и культура рассматривались в системе теоретического знания то как его составные части, органические элементы, то как нечто дополнительное, но, пожалуй, не обязательное. Да и после Макиавелли эта традиция оставалась почти непоколебленной вплоть до возникновения марксизма. Даже классики немецкой идеалистической философии, может быть за исключением Фихте, рассматривали вопросы культуры и политики в последнюю очередь, собственно культурные элементы оставались на полях философских, метафизических исследований, то есть носили как бы маргинальный характер.

Макиавелли, как нам представляется, выделяя политику в автономную дисциплину, явился не только основоположником политической науки, политической философии, политического мировоззрения, но он впервые в истории европейской мысли все человеческое знание рассматривает под эгидой политики, понимая, что современная ему культура, в особенности гуманистическая (литература и искусство) культура, несмотря на высокий взлет, уже подернулась пеленою разложения и упадка, из которого ее может вывести только развитие политического сознания и политического мировоззрения.

Политика развивается на почве богатой европейской культуры, но, в свою очередь, политика, формируя коллективное, скажем, общественное сознание и коллективную, общественную волю и направляя их на достижение главной цели в жизни тогдашнего итальянского общества – создание единого итальянского государства, повертывала культурную ретроспективу лицом к реальным жизненно важным проблемам, давая новые стимулы и раскрывая новые перспективы перед постоянно растущим и развивающимся пантеоном сокровищ европейской культуры, собравшим выдающиеся достиже-

ния человеческого духа как бы под одной крышей и не знавшим, что делать с этим несметным и бесценным богатством. От осуществления политических целей и решения политических задач будут зависеть дальнейшие судьбы культуры не только в общеитальянском, но и общеевропейском, а значит, и в общечеловеческом масштабе. Как действенность и эффективность политики зависела от ее опоры на всю предшествующую культуру, так и дальнейшее развитие культуры зависело от разрешения важнейших политических проблем. Не включение политики в культуру и не включение культуры в политику, а вычленение политики в самостоятельную сферу для радикального решения социально-экономических, политических и культурных задач эпохи – вот что скрывается за автономией политики и политической автономностью. С этого момента параллельное движение и развитие философии, политики, права, морали будет все более и более сближаться и пересекаться, чтобы все больше и больше пронизывать политику научным знанием, нравственностью, культурой, а философию, нравственность, культуру поднимать на уровень политического сознания, содержащего в зародыше перспективы грядущего развития человеческого общества.

Макиавелли первым с особой остротой выразил специфическое противоречие итальянской истории, обусловленное расстановкой классовых сил и классовой борьбой внутри страны и на международной арене, – противоречие между мощным духовным потенциалом итальянского народа и совершенно не соответствовавшим ему слабым, хилым государственным устройством. Отрыв культуры от политики, культурной деятельности от решения политических задач национального масштаба, как и отрыв политики от культуры, ее культурная необоснованность, отрыв политики от высоких идеалов, которые вырабатывались культурой, отсекали культуру от жизненных истоков, делая ее абстрактной, оторванной от реальной жизни, а политику превращали в мелкое, провинциальное политиканство и торгашество, где уже не могло быть и речи о решении каких бы то ни было общенациональных задач. Этот затянувшийся на столетия кризис в истории Италии постепенно привел к глубокому разрыву между культурой и жизнью, между интеллигенцией и народом, между общественными идеалами и исторической реальностью. Естественно, этот процесс порождал общее падение нравов, повсеместное разложение, когда безнравственность и пороки выдавались за нравственность и достоинство, когда парализовалась инициатива, воля и активность народных масс. Внутренняя междоусобная борьба, распад и разложение усиливались иностранным господством, эксплуатацией, грабежом и насилием.

С этой точки зрения основное содержание «Государя» Макиавелли – это своеобразный триптих, состоящий из морфологии народ-

ного сознания, размышляющего о самом себе и о собственных судьбах; учения о создании нового единого итальянского государства; учения о государе, формирующем коллективную национальную волю и коллективное национальное сознание, направленные на национальное объединение.

В этом свете принципы, правила, нормы, категории и законы, открытые и сформулированные Макиавелли, обладают глубоким содержанием и смыслом, многоплановостью, а нередко и глубокой диалектичностью.

Касаясь различных интерпретаций «Государя», Грамши замечает, что намерения Макиавелли в написании «Государя» были более сложные и более демократичные, чем принято думать, поскольку они вытекали из демократической интерпретации действительности.

Макиавелли справедливо полагал, что необходимость унитарно-национального государства была столь велика, что не могло быть разногласий относительно того, что для достижения этой самой высокой цели следует применять только такие средства, которые являются пригодными. В связи с этим следует понимать и соответствующее положение Макиавелли о воспитании народа. Для него воспитывать народ – это значит делать его убежденным и сознательным, следовательно, в соответствии с этим, чтобы достичь желаемой цели, необходимо придерживаться единственно возможной политики – политики реалистической и применять только такие методы, которые позволяли бы добиваться поставленной цели. В этом Макиавелли обогнал свое время на несколько столетий, ибо его позиция в этом смысле, по замечанию Грамши, была достаточно близкой позиции теоретиков философии практики. Однако надо иметь в виду, что «демократия» Макиавелли является таким типом демократии, который соответствует его времени, то есть является выражением активного согласия народных масс на абсолютную монархию как ограничивающую и разрушающую феодальную и синьориальную анархию и власть папы как основывающую великие национальные территориальные Государства, функция, которую абсолютная монархия не могла выполнить без поддержки буржуазии и постоянного централизованного национального войска, и т. д. К этому следует лишь добавить, что в различных интерпретациях Макиавелли часто забывают, что абсолютная монархия в те времена была формой народного строя и что она опиралась на буржуазию против нобилей, а также против клира...

Грамши подчеркивал философское значение утверждения Макиавелли о том, что политика является самостоятельной областью деятельности, с присущими ей законами и принципами, отличными от законов морали и религии, поскольку это утверждение обновляло все мировоззрение в целом, следовательно – имело революционное зна-

чение. Тот факт, что это утверждение не стало общепризнанной истиной, что оно продолжает оспариваться еще и поныне, наводило на мысль о том, что, может быть, та духовная и нравственная революция, элементы которой содержатся в зародыше в учении Макиавелли, еще не осуществилась, еще не стала общепризнанной формой национальной культуры, или, может быть, этот факт имеет лишь актуальное политическое значение, позволяющее выявить разрыв, существующий между правителями и управляемыми, указывающий на существование двух культур – культуры правителей и культуры управляемых – и на то, что руководящий класс, подобно церкви, занимает особую позицию по отношению к рядовым людям, обусловленную тем, чтобы не отрываться от них и одновременно поддерживать среди них убеждение, что Макиавелли – это дьявольское наваждение.

Все это подводит к вопросу о значении Макиавелли для своего времени и о целях, которые он ставил перед собой, когда писал свои книги, и особенно «Государя».

Доктрина Макиавелли в его времена не была чем-то чисто «книжным», монополией изолированных мыслителей, тайной книгой, распространяемой лишь между посвященными. Стиль Макиавелли также не является стилем авторов систематических трактатов, как это было во времена средневековья и Гуманизма, наоборот, это стиль человека действия, человека, который хочет вызвать действие, это стиль партийного «манифеста».

В связи с этим различного рода абстрактно-философские (Кроче) и абстрактно-моралистические интерпретации учения Макиавелли, содержания этого учения, целей и задач, которые ставились, односторонни и ошибочны. Видимо, нельзя истолковывать доктрину Макиавелли только «моралистически», как это делает Фосколо, потому что Макиавелли наряду с нравственными задачами решал и задачи политические. Вряд ли можно считать правильным и утверждение Кроче о том, что макиавеллизм, становясь наукой, в одинаковой мере служит и дворянам и разбойникам, чтобы защищаться и убивать.

Сам Макиавелли замечает, что вещи, о которых он пишет, применяются и всегда применялись самыми великими историческими личностями, поэтому вряд ли Макиавелли хотел поучать тех, кто уже знает, что делать и как делать, ведь его стиль не был стилем беспристрастной научной деятельности. «Следовательно, можно предполагать, – писал Грамши, – что Макиавелли имел в виду тех, «кто не знает» («chi non sa»), что он стремился политически воспитывать тех, «кто не знает», не негативное политическое воспитание тираноненавистников, как это, кажется, понимал Фосколо, а позитивное воспитание того, который должен признавать необходимые средства, даже присущие тиранам, поскольку он хочет добиться определенных целей. Тот, кто рожден в традиционной обстановке государственных дея-

телей, почти автоматически приобретает характер реалистического политика благодаря всему комплексу воспитания, полученного им из семейной среды, в которой господствуют династические или фамильные интересы. Кто же, следовательно, «не знает»? Революционный класс того времени, итальянский «народ» и «нация», городская демократия, породившая из своей среды Савонаролу и Пьера Содерини, а не Каструччо и Валентино. Можно считать, что Макиавелли хочет убедить эти силы в необходимости иметь «вождя», который бы знал, чего он хочет и как достичь того, чего он хочет, и признать этого вождя с энтузиазмом, даже если его действия будут противоречить или казаться противоречащими распространенной идеологии того времени, религии».

Таким образом, Макиавелли хочет воспитывать политически не князей и государей, а революционный класс того времени, итальянский «народ» и «нацию», городскую демократию, то есть тех, «кто не знает», «непосвященных», «неосведомленных», но представляющих собой прогрессивную силу истории. Может быть, именно этим объясняется тот факт, почему Макиавелли написал «Государя» не как секретные или заповедные «мемуары» и не как «инструкции» советника государя, а как книгу, предназначенную для всех. Хотя макиавеллизм и принес улучшения и усовершенствования политической технике правящих консервативных групп, это не может скрыть его существенно революционного и демократического характера.

Грамши убежден в том, что Макиавелли, конечно, не хотел обучать государей максимам, которые они знали и применяли на деле, – как раз наоборот, он стремился обучить революционный класс последовательности в искусстве управления и последовательности в достижении определенной цели – создания унитарного итальянского государства. И в этом смысле «Государь» – книга не академическая, а книга непосредственной революционной страстности, «манифест» партии, опирающейся на «научную» концепцию политического искусства. Макиавелли обучает также и последовательности в применении достаточно жестоких средств, но эта последовательность – необходимая форма определенной и актуальной политической жизни. То, что потом из содержания произведений Макиавелли могут извлекаться элементы «чистой политики», – это другой вопрос, который уже касается места, занимаемого Макиавелли в процессе формирования современной политической науки, которое, согласно Грамши, является не таким уж маленьким.

К этому необходимо добавить, что произведения Макиавелли являются произведениями «индивидуалистического» характера, выражением личности, которая хочет вмешаться в политику и в историю своей страны, и в этом смысле они являются произведениями «демократического» происхождения. Это не uomo singolare, не «еди-

ничный человек», благоговейно взирающий на себя и свое окружение, это не человек, созерцающий человеческую красоту и красоту мира, а человек, постигающий и раскрывающий основные тенденции развития своей эпохи, ее главные требования и устремления, все, что мешало ее дальнейшему социально-экономическому, политическому и культурному развитию, и решивший активно вмешаться в политику и историю своей страны, чтобы коренным образом изменить их дальнейшее развитие.

Макиавелли написал не утопию, в которой бы уже было конституировано государство со всеми его функциями и со всеми его элементами, с подробнейшим описанием всех правил и норм общежития, всего жизненного уклада, жизнедеятельности его граждан, – нет, он написал книгу о непосредственном политическом действии. «В его трактовке, в его критике настоящего, – как подчеркивает Грамши, – он выразил общие понятия, которые тем не менее представляются в афористической форме, и выразил оригинальное мировоззрение, которое можно было бы назвать «философией практики», или «неогуманизмом», поскольку оно не признает трансцендентные или имманентные элементы (в метафизическом смысле), но основывается целиком на конкретном действии человека, который ради своей исторической необходимости преобразует и изменяет действительность». Трудно сказать, насколько прав Грамши, называя политическую философию Макиавелли «философией практики», но то, что философия Макиавелли несла в себе гуманизм, весьма отличный от гуманизма многих выдающихся представителей эпохи Возрождения и особенно от гуманизма представителей эпохи Гуманизма – это не подлежит никакому сомнению.

III

Идет ли речь непосредственно о политической власти, ее захвате или сохранении или о государе, каким он должен быть, какими должен обладать свойствами и качествами, чтобы умело решать проблемы внутренней и внешней политики, – во всех случаях мы встречаемся с живой мыслью Макиавелли, как бы извлекаемой из самой гущи реальных событий, исторического опыта итальянского и других народов. При этом можно лишь условно вычленять рассматриваемую им проблематику, поскольку в рассуждениях о государе просматриваются проблемы государства, а в размышлениях о государстве и власти проступают какие-то свойства и качества, которыми с необходимостью должен обладать государь. И все-таки, как это ни парадоксально, генезис и ход макиавеллиевой мысли концентрируется вокруг проблемы свободы – свободы итальянского народа от самых

различных видов внутреннего и чужеземного порабощения. За морфологией народного сознания, размышляющего о самом себе и собственных судьбах, за учением о государе, формирующем коллективную национальную волю и коллективное национальное сознание, за стремлением создать новое единое итальянское государство – за всем этим стоит проблема свободы, проблема национального освобождения и национального объединения.

Разумеется, проще и легче было бы изложить каждое из этих учений отдельно, но тогда это изложение скорее напоминало бы один из бесчисленных схоластических трактатов, лишенных жизненной основы и жизненной страсти, пафоса, порождаемых мыслительной обработкой реального опыта, теоретическим и политическим осмыслением событий реальной истории.

Сила Макиавелли, сила его мысли – в единстве теории и истории, практического опыта и его теоретического осмысления, логики истории и логики мысли.

В этом смысле и учение о государе, и учение о государственной власти, и морфология народного сознания представляют собой нечто единое, что спустя несколько столетий, уже в новые времена, получит наименование феноменологии духа и что у самого Макиавелли представляло скорее всего феноменологию свободы, включавшую в себя в своеобразной форме не только учение об автономности политики и политического сознания, но и учение об автономности права, морали, науки и искусства и – одновременно – об их диалектической взаимосвязи друг с другом, а также о диалектике каждой из них.

Подобная феноменология духа под эгидой политического сознания являла собой своеобразную феноменологию культуры в самом широком смысле этого слова, ибо от степени свободы или рабства народа зависели не только уровни его сознания на том или ином этапе его социально-экономического развития, уровень его развития в той или иной форме общественного сознания и общественного бытия, общественной жизнедеятельности, но и формы институционализации власти, структура государственности, прочность и динамика общественных обычаев и порядков, идеализация народных чаяний и устремлений и даже... воспоминания о прошлом (о свободе, обычаях, учреждениях и т. д.).

Если рассматривать «Государя» с точки зрения подобной феноменологии культуры, то вся его на первый взгляд простая и неприхотливая понятийная структура выстроится в довольно сложную, многослойную, многообразную категориальную систему, имеющую важное значение для самых различных областей человеческого знания. Взаимодействие различных форм общественного сознания под эгидой политики обусловливает то, что максимы политики становятся максимами науки, нравственности, права, государства и общества, а те

или иные положения других сфер знания приобретают достаточно определенный политический смысл.

Благодаря тесной и органической связи с проблемой свободы политический аспект, политическое измерение не столь грешит односторонностью и одномерностью, скорее, напротив, даже там, где речь идет, казалось бы, лишь о захвате власти или о ее сохранении и упрочении, политическое измерение с необходимостью обрастает гаммой связей с другими сферами жизнедеятельности, порождая их активное взаимодействие. И это на всех вертикальных и горизонтальных уровнях – идет ли речь о княжествах, или о способах стать властителем, или о том, какими качествами должен обладать государь, или когда рассматривают вопросы создания регулярной армии, и т. д. и т. д.

Например, весьма показательным в этом отношении является рассуждение о гражданском княжестве (глава IX), где раскрываются взаимоотношения князя, знати, народа между собой, их отношение к власти, их основные цели и интересы..

Макиавелли исходит из того, что власть в гражданском княжестве приобретается благодаря расположению народа или знати: знатные хотят распоряжаться и угнетать народ, а народ не хочет, чтобы им распоряжались и чтобы его угнетали. В зависимости от того, какие интересы побеждают, устанавливается соответствующий тип власти. Или знать выделяет из своих рядов князя, или народ делает кого-нибудь князем. Княжескую власть, полученную из рук народа, Макиавелли считает более прочной уже потому, что цели у народа более правые, чем у знати. Она хочет угнетать, а народ – не быть угнетенным. Кроме того, от знати князь может себя обезопасить, но никогда нельзя себя обезопасить от враждебного народа, хотя бы потому, что его слишком много. Без знати можно обойтись, а какой же князь без народа!

Макиавелли советует князю привлечь народ на свою сторону, ибо князю всегда необходимо жить с народом в дружбе, иначе в несчастье у него нет спасения. К тому же князь должен иметь в виду, что «народ его никогда не обманет», в отличие от знатных, которые могут в любое удобное для них время не только отнять власть у князя, но и погубить его. Учитывая все это, умный государь должен измыслить такой порядок, при котором его сограждане во все времена и при всех обстоятельствах будут нуждаться в государстве и в нем самом: тогда они будут ему верны.

Здесь мы видим, как переплетаются политические, классовые интересы народа и знати, как столкновение этих интересов определяет формы власти. Одновременно генезис политической власти предопределяет нравственный, этический характер и лицо как власти, так и носителя этой власти и этих интересов. Расстановка классо-

вых сил, структура политической власти, идеи и взгляды классов и партий формируют политическую стратегию и тактику всех участников политической борьбы. Не сбрасывается со счетов и психология борющихся партий, слоев, групп и даже отдельных индивидуумов. Такова сложнейшая диалектика отношений, стоящая, казалось бы, за весьма простыми и обычными, на первый взгляд, рассуждениями Макиавелли.

Легче всего обвинить Макиавелли в цинизме, жестокости, аморализме, как это, к сожалению, делали на протяжении многих веков и продолжают делать еще и по сей день. Гораздо труднее, но правильнее попытаться вникнуть в суть его рассуждений, понять всю противоречивость и своеобразную последовательность его размышлений, направленных на одно: раскрытие истины, какими бы неприглядными ни представлялись ее лики и проявления. Революционное мировоззрение требует истины, истина – последовательности, беспощадности анализа, железной логики. Именно эти качества демонстрирует нам аналитически-синтетический ум Макиавелли.

Итак, основная забота Макиавелли – свобода. Именно свобода в самых различных ипостасях (свобода Италии, свобода общества, свобода отдельного индивидуума, свобода деятельности, торговли, творчества и т. д.) составляет основу всех его рассуждений. В этом свете становятся понятными не только структура отдельных его произведений, таких как «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «О военном искусстве», «История Флоренции», но и сама необходимость их создания и общая структура всей его мысли, всего его мировоззрения.

О «Государе» мы уже говорили. Остается только к этому добавить, что содержание «Государя» составляет основной стержень мировоззрения Макиавелли, ибо именно сознание государя, сливающееся с сознанием народа, размышляющего о самом себе, о своих судьбах, как раз и есть самый основательный, свободный, всеохватывающий взгляд на положение дел внутри страны и за ее пределами и глубокое проникновение, в процессе этого размышления, в смысл происходящих событий. А смысл происходящего может быть по-настоящему постигнут лишь в органической связи с рассмотрением и постижением того, что ему предшествовало и что во многом предопределило дальнейший ход событий, то есть в органической взаимосвязи с рассмотрением истории. Не этой ли необходимостью были продиктованы исторические сочинения Макиавелли?

Но история – коварная штука. Она может привести к истине и увести от нее, как чаще всего это и бывает с теми, кто или недооценивает ее уроки, или слишком переоценивает их. Ведь не без основания великий диалектик Гегель говорил в свое время: «Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют

извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху французской революции. Нет ничего более различного, как природа этих народов и природа нашего времени»[1]. И в этом с Гегелем трудно спорить, ибо он прав.

Как быть тогда с историческими сочинениями Макиавелли – для чего, для кого и с какой целью он их создавал, потратив на них львиную долю своего времени?

Сразу же можно сказать, что свои исторические сочинения Макиавелли создавал не для себя и, разумеется, не для того, чтобы кого-то удивить своей эрудицией. Отнюдь нет. Макиавелли слишком велик, слишком гениален. У него были совсем другие намерения, цели и задачи: они касались судеб итальянского и других европейских народов, поэтому-то и требовался всеохватывающий, универсальный взгляд на то, что есть, что было и что будет. Он до боли в сердце и душе чувствовал и понимал то, что четко сформулирует гораздо позже Гегель: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, – прогресс, который мы должны познать в его необходимости»[2]. Генеалогия или генезис свободы в ее политическом, практическом и теоретическом смысле – вот что занимало его ум, вот над чем он бился.

В этом свете становятся понятными и заботы самого Макиавелли, и заботы, которые им возлагаются на государя: построение или создание такого общества и государства со всеми его законами и учреждениями, которые бы в наиболее полной мере осуществили свободу человека и при надобности смогли бы ее отстоять и защитить от посягательств внутренних и внешних врагов. В связи с этим у Макиавелли и зарождаются грандиозные замыслы: осмыслить как можно более глубоко и всесторонне человеческую историю, историю человеческого общества в его деяниях и свершениях, законах, установлениях и учреждениях, правах, свободах и обязанностях, словом,

---

[1] Гегель. Соч., т. VIII. М. – Л., 1935, с. 7 – 8.

[2] Там же, с. 19.

осмыслить человеческую историю (которая для итальянца, как, впрочем, для любого европейца того времени, начиналась с Древней Греции и Рима и завершалась историей Европы) как осуществление и осознание становления и прогресса свободы.

Для реализации своего замысла Макиавелли почти одновременно пишет такие важнейшие произведения, как «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (1513 – 1515). Первое посвящено построению такого государства и общества, а также формированию такого государя, которые оказались бы способными вывести итальянский народ из состояния тяжелейшего социально-экономического и политического кризиса, хаоса, раздробленности, отсталости и рутины и повести по пути мощного социально-экономического, политического и культурного прогресса. Здесь ум гениального мыслителя и мастера набрасывал контуры будущего, контуры Италии будущего – сильной, мощной, процветающей, объединенной, опирающейся на самые справедливые законы, стоящие на страже завоеваний свободы, и на государственные и общественные учреждения, в максимальной степени способствующие реализации прав и свобод своих граждан, действенному эффективному функционированию свободы и справедливости.

Что касается «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», то в этом произведении, как бы напротив, из рассмотрения прошлого выводится и извлекается для настоящего, а главным образом – для будущего все, что было сколько-нибудь полезного в государственном и общественном устройстве, в законах, обычаях, установлениях и вообще в жизни древних народов. Но дело даже не в извлечении полезного и пригодного для настоящего и будущего, дело в гораздо более важном и нужном: аналитическое рассмотрение государственного устройства прошлого является одновременно хорошей основой для формирования и выработки наиболее действенных и эффективных форм государственного и общественного устройства, законодательства, различного рода учреждений и институтов, призванных реализовать, развивать и защищать права, свободы, достоинство граждан, осуществлять контроль за исполнением законов, соблюдением норм, правил и установленных порядков в общественной и государственной жизни.

Таким образом, и «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» пронизаны глубоким историзмом, вызывающим и пробуждающим к жизни истинные формо- и смыслообразующие силы традиции всей предшествующей и настоящей культуры в созидательной работе над будущим государственным и общественным устройством, над формированием новых общественных отношений и новых форм общественного сознания.

Все произведения Макиавелли тесно связаны между собой, и не просто как творения одного ума, одного человека, но главное – как творения человека, посвятившего свою жизнь достижению однажды поставленных перед собою целей.

В связи с этим необходимо рассматривать каждое из его произведений в определенных взаимоотношениях с другими, выявляя мысли, тенденции, идейную преемственность между ними.

Однако самое главное, на наш взгляд, состоит в том, чтобы выявить методологические принципы, которым Макиавелли следовал достаточно строго и последовательно.

Что это именно так, что каждое свое произведение он тщательно обдумывал с заранее выработанной точки зрения, свидетельствует не только то, что он выстраивал свои теоретические положения на огромном эмпирическом материале, но и сам эмпирический материал подавал в определенной последовательности, в определенной логической обработке, в определенной, только ему одному присущей историко-логической композиции.

Вглядимся внимательнее в то, что пишет сам Макиавелли в «Посвящении» и в «Предисловии» к «Истории Флоренции».

Поручение папы Климента VII написать историю Флоренции Макиавелли формулирует как поручение «изложить деяния флорентийского народа», каковое он и постарался «со всем прилежанием и уменьем, коими наделили меня природа и жизненный опыт», выполнить.

Главный принцип, которому стремился следовать Макиавелли, – это принцип объективной истины: не льстить, не приукрашивать события и людей, а изображать их такими, какими они были на самом деле: «На протяжении всего моего повествования никогда не было у меня стремления ни прикрыть бесчестное дело благовидной личиной, ни навести тень на похвальное деяние под тем предлогом, будто оно преследовало неблаговидную цель. Насколько далек я от лести, свидетельствуют все разделы моего повествования, особенно же публичные речи или частные суждения как в прямой, так и в косвенной форме, где в выражениях и во всей повадке говорящего самым определенным образом проявляется его натура. Чего я избегаю – так это бранных слов, ибо достоинство и истинность рассказа от них ничего не выиграют. Всякий, кто без предубеждения отнесется к моим писаниям, может убедиться в моей нелицеприятности»[1]. Удалось ли ему это? Были у Макиавелли свои симпатии и антипатии, но заподозрить его в необъективности, в лести или в каких-то

---

[1] Никколо Макьявелли. История Флоренции. Л., «Наука», 1973, с. 8.

других качествах, которыми грешили и еще продолжают грешить буржуазные историки, видимо, нельзя.

Помимо этого, Макиавелли, много лет находясь в центре политической жизни Флорентийской республики, отдавал себе отчет в том, что, «излагая события своего времени, невозможно не задеть весьма многих», что в этом произведении, стараясь, «не приукрашивая истины, угодить всем... может быть, не угодил никому». И тем не менее, «вооружившись мужеством и уверенностью, не изменявшими мне доселе в моих писаниях, буду я продолжать свое дело, если только не утрачу жизнь». И он с достойным удивления и подражания мужеством продолжал свое дело и практически и теоретически, независимо от тяжелых обстоятельств, сопровождающих его политическую деятельность и его жизнь вообще.

И все-таки самое важное во взглядах и в мировоззрении Макиавелли следует видеть в его глубоко диалектическом понимании действительности, общества и общественных отношений. Внутренние взаимосвязи, раскрываемые им в ходе теоретического анализа, между противоречивыми сторонами самой реальности, раздоры и противоречия как движущая сила развития человеческого общества, борьба враждебных классов, столкновение враждебных социальных и политических интересов и взглядов, все более обостряющаяся и ужесточающаяся классовая борьба – то, в чем другие историки и политики видели помеху, зло, каверзу, а Макиавелли усматривает в этом закон социального развития и совершенствования.

Изучая труды историков различных времен и народов, в том числе и тех, кто писал историю Флоренции и историю Италии – Леонардо Бруни, Аретино и Поджо Браччолино, Макиавелли замечает, что эти последние проявили «должную обстоятельность» «в изложении войн, которые вела Флоренция с чужеземными государями и народами», «но в отношении гражданских раздоров и внутренних несогласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, а прочего лишь поверхностно коснулись». Подобный подход Макиавелли объясняет субъективными причинами: либо гражданские раздоры и внутренние несогласия казались историкам маловажными и не заслуживающими сохранения в памяти поколений, либо они опасались нанести обиду потомкам тех, кого по ходу повествования им пришлось бы осудить. Эти причины Макиавелли считал «недостойными великих людей». Он выставляет положения, которые в зародыше содержат методологически верный подход к исследованию и изложению исторических событий и к истории вообще: «Ибо если в истории что-либо может понравиться или оказаться поучительным, так это подробное изложение событий, а если какой-либо урок полезен гражданам, управляющим республикой, так это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и

вражду, дабы граждане эти, умудренные пагубным опытом других, научились сохранять единство. И если примеры того, что происходит в любом государстве, могут нас волновать, то примеры нашей собственной республики задевают нас еще больше и являются еще более назидательными. И если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, то самыми примечательными были флорентийские».

В отличие от предшествующих и современных ему историков, главными событиями, достойными изучения и изложения, он считает не внешние, каковыми были войны Флоренции с чужеземными государями и народами, а внутренние – познание обстоятельств, порождающих гражданские раздоры и внутренние несогласия, а также познание их последствий, то есть познание внутренних противоречий, внутренней диалектики, познание противоречий, определяющих развитие исторических событий, развитие общества.

Макиавелли конкретизирует свои принципы ссылками на то, что потом будет называться классовой борьбой. Он указывает на раздоры между нобилями и плебсом в Римской империи, которые не утихали до самой ее гибели, на подобные раздоры в Афинах и других государствах. Что касается Флоренции, то здесь он указывает на иной характер и развитие противоречий. «Но во Флоренции раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилями и пополанами и, наконец, между пополанами и плебсом. И вдобавок очень часто случалось, что даже среди победивших происходил раскол. Раздоры же эти приводили к таким убийствам, изгнаниям, гибели целых семейств, каких не знавал ни один известный в истории город. На мой взгляд, ничто не свидетельствует о величии нашего города так явно, как раздиравшие его распри, – ведь их было вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство. А между тем наша Флоренция от них словно только росла и росла». Макиавелли наглядно демонстрирует, что флорентийское общество того времени было насквозь пронизано раздорами-противоречиями. И это не удивительно, если принять во внимание социальную структуру флорентийского общества и государства. Достойным удивления представляется то, что Макиавелли, констатируя наличие этих раздоров и противоречий, видит в них источник развития, роста и могущества Флорентийской республики, источник роста и развития вообще.

Историзм Макиавелли был обусловлен многими причинами, главными из которых, может быть, следует считать саму конкретно-историческую реальность, саму действительность, которая постоянно порождала все более резкие, глубокие и острые социальные противоречия и как бы силою заставляла искать их решение и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Обращение к античности и к истории

вообще не было чем-то случайным и невероятным, поскольку весь дух эпохи Возрождения был пронизан воскрешением античности, античной культуры (философии, политики, права, морали, литературы и искусства, языков и т. д.). В особой степени это относилось к поискам совершенных форм существования человеческого духа – идеалов истины, добра, справедливости и свободы, этих вечных сфер, где разыгрываются все трагедии и комедии мира, где ирония истории превращает нередко самые серьезные намерения и самые возвышенные стремления и мечты в самый обыкновенный фарс. Спасением могла быть только сама реальность, сама действительность. Но в каком смысле?

Наиболее универсальным измерением связи человека с действительностью является свобода, различные этапы социального, индивидуального раскрепощения человека, то есть в самом общем виде – это принцип свободы. Но самое трудное состоит именно в реальном процессе освобождения человека и человечества от каких бы то ни было форм эксплуатации и отчуждения, хотя не менее трудно применить этот принцип к реальности. Как отмечал еще Гегель, «применение принципа свободы к мирским делам, это внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения является длительным процессом, который составляет саму историю»[1].

Применение принципа свободы к мирским делам, проникновение этого принципа в саму жизнь, во все ее сферы и отношения потребовали тяжелой продолжительной культурной работы, что лишний раз говорит о трудности соотношения идеалов и действительности, даже тогда, когда под идеалами понимается реальное, а значит – историческое движение реальных народных масс.

Историзм Макиавелли был не абстрактным, а реальным, ибо он учитывал реальную историю развития государства, права, морали, философии, политики, религии, то есть всех форм общественного сознания и соответствующих им учреждений и связывал их изменение и развитие с изменением и развитием хода вещей. А постановка философских, политических, нравственных, правовых, государственных и религиозных проблем на жизненную основу в соответствии с требованиями и духом времени придали им большую важность, значение и смысл.

Может быть, важнейшей характеристикой мировоззрения Макиавелли является его практический, деятельный характер, прорыв к человеческой практике, к исторической деятельности человека, к реализации социально-исторических целей. Взвешенный, тщательный, всесторонний анализ социального опыта, его теоретическое обобщение, применение этих обобщений в реальной общественной и полити-

---

[1] Гегель. Соч., т. VIII, с. 18.

ческой деятельности – все это, как отмечал Грамши, сближает взгляды Макиавелли с взглядами представителей философии практики.

Наконец, следует отметить такую важную черту учения Макиавелли, как новый гуманизм, неогуманизм, который, как отметил Грамши, в чем-то близок марксистскому гуманизму. В отличие от своих гениальных современников (Леонардо да Винчи и других), Макиавелли ищет освобождение человека не на путях его преимущественно индивидуального развития и совершенствования, а на путях выработки и формирования коллективной национальной воли и коллективного национального сознания, с целью создать единое национальное государство, то есть он первым идет по пути социальной революции, социального, нравственного и культурного обновления. Это уже не просто формирование отдельного человека, uomo singolare, а формирование всего народа, всей нации, творческие усилия которой пробуждаются для достижения общей цели, для создания общенациональных и общечеловеческих ценностей, для того, чтобы активно действовать во всех сферах человеческой жизнедеятельности на общее благо, на благо всего народа. Макиавелли – единственный, пожалуй, из мыслителей эпохи Возрождения, который стремится направить энергию и творческие силы человека не по узкому и, в конечном счете, весьма ограниченному индивидуалистическому руслу, а по руслу социальному: формированию коллективной воли, коллективной, общей цели, коллективного сознания. И средства к достижению поставленных целей он тоже предлагает социальные и революционные.

Макиавелли отдавал себе отчет в том, что «открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей», и, несмотря на это, он «твердо решил идти непроторенной дорогой», которая если и не приведет его самого к желанной цели, то все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца его замысел.

Эти слова великого мыслителя оказались вещими: ему действительно не удалось осуществить свой замысел, зато он проложил пути к научному пониманию истории, к построению политической науки, к научно-критическому освоению культурного наследия прошлого, к подлинному пониманию истории и извлечению из нее сокровенного смысла и практически-политических выводов и уроков.

В своей книге «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», представляющей попытку трезвого, реалистического, объективного, а следовательно – по тому времени научного понимания и осмысления истории, Макиавелли приводит интересные сравнения: как люди за огромные деньги покупают обломок какой-нибудь античной статуи,

чтобы держать его подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для подражания, как эти же и все другие люди проходят мимо всего того, что было действительно великого у древних в государственном устройстве, в политике, в законодательстве, в военном искусстве, в философии, в культуре, в медицине и т. д. Люди лишь восхищаются, но уже не стремятся ни подражать, ни, тем более, следовать всему лучшему, что было у древних, сознательно сторонятся их великого наследия и сторонятся всего лучшего, что есть у современников. Макиавелли пишет с горечью: «Как только дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится ни государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних. Я убежден, что проистекает это не столько от слабости, до которой довела мир нынешняя религия, или же от того зла, которое причинила многим христианским городам и странам тщеславная праздность, сколько от недостатка подлинного понимания истории, помогающего, при чтении сочинений историков, получать удовольствие и вместе с тем извлекать из них тот смысл, который они в себе содержат». Сам Макиавелли читает книги Тита Ливия, которые «не разорвала злокозненность времени», таким образом, чтобы извлечь из них все то, что представляется ему необходимым «для наилучшего понимания древних и современных событий», а не ради приятного чтения или праздного любопытства.

В обращении Макиавелли к истории, и в частности к античности, следует видеть и попытку найти там такие формы правления, которые можно было бы использовать в настоящее время, и попытку выявить генезис свободы: источник ее происхождения, формы существования, укрепления, развития, сохранения.

Рассматривая формы государственного правления античности, Макиавелли считает, что все они губительны. Существование любой из них в отдельности быстро приводило к гибели. Поэтому, например, в Спарте, согласно законам Ликурга, соответствующая роль отводилась не какой-то одной форме правления, а сразу нескольким: самодержавию, аристократии и народу, каждая из которых как бы присматривает за другой, и все вместе они делают общую форму правления более прочной и устойчивой. Так, Спарта просуществовала более восьмисот лет, в то время как Афины, в которых Солон установил лишь одно народное правление, просуществовали не более ста лет. Что касается Римской республики, то смешение правления царей, оптиматов и народа сделало республику совершенной.

Важно, что Макиавелли понимал ограниченность всех античных форм правления, и эту ограниченность он связывал с ограниченностью форм существования и проявления свободы. Ни один из слоев

и классов античного общества не мог проявить себя в полной мере и не мог установить своего полного господства над другими. Социальные, классовые противоречия гарантировали стабильность и устойчивость существования республики лишь при наличии равновесия сил, под которым Макиавелли, как диалектик, понимал не гармонию классовых интересов, а их борьбу или, по его выражению, раздор. Он считал, что раздоры, смуты, борьба свидетельствуют не об отсутствии или слабости свободы в республике, а, скорее, наоборот: «Я утверждаю, что осуждающие столкновение между Знатью и Плебсом порицают, по-моему, то самое, что было главной причиной сохранения в Риме свободы; что они обращают больше внимания на ропот и крики, порождавшиеся такими столкновениями, чем на вытекавшие из них благие последствия; и что, наконец, они не учитывают того, что в каждой республике имеются два различных умонастроения – народное и дворянское, и что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались разногласиями между народом и грандами».

Для подкрепления своих суждений Макиавелли ссылается на более чем трехсотлетнюю историю Рима от Тарквиниев до Гракхов, где смуты, раздоры и борьба редко приводили к изгнаниям и еще реже – к кровопролитиям. Поэтому нельзя считать подобные смуты губительными и нельзя утверждать, что в республике отсутствовало внутреннее единство. «И уж вовсе безосновательно объявлять неупорядоченной республику, давшую столько примеров доблести; ибо добрые примеры порождаются хорошим воспитанием, хорошее воспитание – хорошими законами, а хорошие законы – теми самыми смутами, которые многими необдуманно осуждаются. В самом деле. Всякий, кто тщательно исследует исход римских смут, обнаружит, что из них проистекали не изгнания и насилия, наносящие урон общему благу, а законы и постановления, укрепляющие общественную свободу».

Отсюда естественно следовал вывод: раз источник свободы в разногласиях и борьбе между народом и грандами, то эта борьба является источником общественного развития и общественного благополучия. Не гармония классовых интересов, а их борьба – источник возникновения, развития и укрепления свободы, добрых законов, ее охраняющих, хороших нравов и хорошего воспитания. В правильности этого вывода Макиавелли не сомневался.

Кому же можно доверить «организацию охраны свободы» в условиях столь ожесточенной классовой борьбы – благородным нобилям или худородному плебсу? Этому вопросу Макиавелли придавал достаточно большое значение и возвращался к его обсуждению в своих произведениях не один раз.

По его мнению, охрану какой-либо вещи следует поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ею. Поскольку благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть

порабощенными, любят свою свободную жизнь и имеют меньше надежд узурпировать общественную свободу, то охрану свободы следует вверить именно народу – он печется о ней больше и, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим. Симпатии Макиавелли на стороне народа, а не нобилей. «Чаще всего, однако, смуты вызываются людьми имущими, потому что страх потерять богатство порождает у них те же самые страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Не говоря уж о том, что более богатые люди имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен. Кроме того, нередко случается, что их наглое и заносчивое поведение зажигает в сердцах людей неимущих желание обладать властью либо для того, чтобы отомстить обидчикам, разорив их, либо для того, чтобы самим получить богатство и почести, которыми те злоупотребляют».

Отсюда ясно, что Макиавелли презирал плебс, ненавидел дворян, но любил народ, ради которого жил и творил. Вот еще один пример его отношения к грандам: «Ведь жадность и надменное честолюбие грандов столь велико, что если город не обуздает их любыми путями и способами, они быстро доведут этот город до погибели».

С этой точки зрения особенно интересны взгляды Макиавелли на борьбу плебса и знати вокруг аграрного закона.

Известно, что этот закон имел две статьи: одна указывала, что никто из граждан не может владеть больше чем определенным количеством югеров земли, а вторая статья предписывала, чтобы поля, отнятые у врагов, делились между всем римским народом. Этот закон по существу был направлен против знати, поскольку он предписывал изымать у нее все излишки земли, а распределение отнятых у врагов земель между плебеями закрывало путь к дальнейшему обогащению знати. Поэтому знать терпеливо и хитро оттягивала применение аграрного закона, который находился под спудом вплоть до Гракхов. Гракхи извлекли его на свет и тем, согласно Макиавелли, погубили римскую свободу.

Плебеи защищали аграрный закон, а знать выступала против этого закона. Плебеи поддерживали Мария, а знать – Суллу. Гражданская война кончилась победой знати. Во времена Цезаря и Помпея возникла та же борьба. На этот раз победу одержал Цезарь как глава партии Мария. Распрям вокруг аграрного закона понадобилось триста лет для того, чтобы сделать Рим рабским, но Рим был бы порабощен много скорее, если бы плебеи с помощью аграрного закона и других своих требований постоянно не сдерживали жадность и честолюбие нобилей. Но все-таки для Макиавелли установленное Ликургом в Спарте имущественное равенство и неравенство общественных положений представлялось самым приемлемым, ибо в этом

случае плебс не испытывал страха и не стремился к государственной власти, следовательно, не возникало соперничества между плебсом и знатью, отпадала причина для смут, плебс и знать могли долгое время сохранять единство. И Макиавелли снова подтверждает свой вывод о том, что «вражда между Сенатом и Плебсом поддерживала в Риме свободу, ибо из вражды сей рождались законы, благоприятные свободе».

Интерес Макиавелли к Риму республиканского и имперского периода, особенно к периоду перехода от республики к империи, закономерен – именно этот период вырабатывает общие контуры некоторых идеологических тенденций будущей итальянской нации. Вспомним, что писал по этому поводу Грамши: «Кажется, что до сих пор не показано со всей ясностью, что в действительности именно Цезарь и Август радикальным образом изменяют положение Рима и полуострова в равновесии сил внутри классического мира, лишая Италию «территориальной» гегемонии и передавая функции руководства «имперскому», то есть наднациональному классу. Если верно, что Цезарь продолжает и завершает демократическое движение Гракхов, Мария и Катилины, то так же верно и то, что Цезарь побеждает, поскольку проблема, которую Гракхам, Марию и Катилине предстояло разрешить на полуострове, в Риме, перед Цезарем встает в рамках целой Империи, и в ней полуостров является лишь частью, а Рим – «бюрократической» столицей, да и то только до определенного момента. Эта историческая связь имеет величайшее значение для истории полуострова и Рима, потому что является началом процесса «денационализации» Рима и полуострова и его превращения в «космополитическую территорию». Римская аристократия, которая с помощью методов и средств, соответствовавших ее времени, объединила полуостров и создала базу для национального развития, подавляется теперь имперскими силами и теми проблемами, которые она сама же вызвала к жизни: историко-политический узел Цезарь разрушает мечом, и начинается новая эпоха, в течение которой Восток приобретает столь важное значение, что в конце концов превосходит Запад, а это приводит к разрыву между двумя частями Империи»[1]. Не потому ли Макиавелли сетует на то, что Гракхи погубили римскую свободу, а Цезарю вменяет в вину бесчисленные гражданские и внешние войны, разрушенные и разграбленные итальянские города, оскверненные опоганенными обрядами храмы, смертельные кары за благородство, прошлые заслуги и доблести, награды клеветникам, доносчикам и все самое ужасное? Не ведет ли Макиавелли отсчет грехопадения Рима и Италии с момента всемирной славы Цезаря? Не потому ли он так клеймит римских императоров и выставляет напоказ

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, Il Risorgimento, p. 3–4.

весьма красноречивый факт, что из двадцати шести императоров от Цезаря до Максимилиана шестнадцать были убиты? Не потому ли он неоднократно подчеркивает, что как только императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок?

Маркс, рассматривая вопрос об императорской власти в Риме, связывает его с вопросом права частной собственности и указывает на три момента, отличающие содержание этих категорий и их развитие у римлян и у германцев:

«1) Власть императора была не властью частной собственности, а суверенитетом эмпирической воли как таковой, суверенитетом, который отнюдь не рассматривал частную собственность как связь между собой и своими подданными, а, напротив, распоряжался произвольно частной собственностью, как и всеми остальными социальными благами. Императорская власть была поэтому лишь фактически наследственной. Хотя своего высшего развития право частной собственности, частное право, достигло в императорский период, но развитие этой частной собственности явилось, скорее, следствием политического разложения, а не политическое разложение явилось следствием развития права частной собственности. К тому же, в Риме государственное право, находившееся в процессе разложения, было упразднено как раз к тому моменту, когда частное право достигло своего высшего расцвета. В Германии же дело обстояло наоборот.

2) Государственные чины никогда не являлись в Риме наследственными, т. е. частная собственность не являлась господствующей государственной категорией.

3) В противоположность германскому майорату и т. д. в Риме свобода завещания является результатом частной собственности. В этой последней противоположности заключается все различие между римским и германским типом развития частной собственности»[1].

Здесь сама собой напрашивается параллель между тем, что происходило в Древнем Риме, и тем, свидетелем чему был Макиавелли.

Кризис и падение флорентийской коммуны имели в своей основе примерно тот же самый социально-экономический механизм, хотя, разумеется, в совершенно изменившихся условиях и в совершенно другие времена. А механизм этот, или, по крайней мере, его модель состояла в том, что борьба между социальными классами развернулась не вокруг аграрного закона, как это было у древних римлян, а вокруг налоговой системы и государственного долга. Система прямого обложения, как главный источник доходов, противоречила интересам господствующего класса, который, будучи главным обладателем богатства, стремился переложить тяжесть налогов на широкие слои на-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1. М., Госполитиздат, 1954, с. 347–348.

селения с помощью пошлин на продовольствие. Тогда же возникает первая форма государственного долга в виде займов или антиципаций, которые имущие слои предоставляют для нужд казны, гарантируя себе возвращение ссуд посредством пошлин. Политическая борьба характеризовалась колебаниями между «эстимо» и пошлинами на продовольствие: когда Коммуна подпадает под иностранное господство (герцог Калабрийский и герцог Афинский), появляется «эстимо», между тем как в определенные моменты в городе, *наоборот, удается отвергнуть* «эстимо» (например, в 1315 году). Синьориальный строй... предоставляя определенное равновесие социальных классов, благодаря которому народу удавалось ограничивать всемогущество богатых классов, мог проводить принцип справедливого распределения налогов и даже улучшить систему прямого обложения вплоть до 1427 года, до начала принципата Медичи и до заката олигархии, при которой был учрежден кадастр... Коммунальной буржуазии не удалось преодолеть экономико-корпоративную фазу, то есть создать государство, пользующееся «доверием управляемых» и способное к развитию. Государственное развитие могло осуществляться только в форме принципата, а не в форме коммунальной республики... «Последствия государственного долга также интересны: имущие классы, которые считали, что в займах они найдут средство для переложения на широкие массы граждан большей части налогового бремени, были наказаны неплатежеспособностью коммуны, которая, совпав с экономическим кризисом, содействовала обострению бедствий и поддерживала беспорядок в стране. Эта ситуация принесла консолидацию долга, который перестал подлежать выкупу (бессрочная рента), и понижение величины процента – с основания «Монте» после изгнания герцога Афинского и прихода к власти «мелкого люда»[1].

Ожесточенные классовые столкновения в городах-коммунах, банковские банкротства, вызванные неплатежеспособностью коронованных должников, отсутствие сильного государства, которое защищало бы своих граждан за границей, – все это способствует утрате инициативы и предприимчивости итальянских купцов в XV веке: они предпочитают вкладывать свои средства в земельные владения, чем рисковать ими при поездках и во вложениях за границей, то есть начинается регрессивный процесс превращения купцов в земельных собственников.

Разгорелась борьба между экономико-корпоративной фазой истории Флоренции и относительно современным государством, борьба, которая уже в годы осады Флоренции завершилась тем, что буржуазии коммун не удалось преодолеть корпоративную фазу и создать государство. Поскольку государством были, по существу, церковь и

---

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, Il Risorgimento, p. 8–9.

империя, то Макиавелли подвергает эти институты и все, что связано с ними, резкой критике.

Макиавелли понимал силу корпоративных отношений, силу и влияние церкви и религии. Может быть, еще и этим объясняется его яростная борьба против феодально-корпоративных отношений, в чем бы и где бы они ни проявлялись.

В связи с этим весьма странными и анахроничными выглядят концепции, согласно которым Макиавелли генетически зависит от Данте, а некоторые исследователи даже выстраивали отношение между государством и церковью на основе дантовской схемы «Креста и Орла».

Более правы те ученые, которые полагают, что политические воззрения Макиавелли были противоположны политическим воззрениям Данте и даже всей классической литературе: нельзя установить никакой генетической связи между концепцией политического реализма и между политической утопией. Для Данте идеальным политическим деятелем был Юлий Цезарь, а Брут – убийцей, для Макиавелли, наоборот, Юлий Цезарь лишь гнусный тиран, а Брут – доблестный и благородный человек. Касаясь этого факта, Бертран Рассел иронически заметит: «Контраст между этим взглядом и взглядом Данте свидетельствует о том влиянии, которое на Макиавелли оказала классическая литература»[1]. По этому поводу, конечно, можно иронизировать, если бы за этим фактом не скрывались весьма и весьма серьезные вещи.

Что между Государем Макиавелли и Императором Данте не существует генетической связи, как ее тем более не существует между современным государством и средневековой империей, – это было убедительно доказано Грамши: попытка установить генетическую связь между проявлениями духовной жизни итальянских культурных классов в различные эпохи представляет собой национальную риторику – подлинная история подменяется историческими призраками. «Надо уметь, – писал он, – фиксировать великие периоды, которые в их совокупности выдвинули определенные проблемы и наметили элементы разрешения этих проблем с самого начала их возникновения. Так, я бы сказал, что Данте замыкает Средневековье (фазу Средневековья), в то время как появление Макиавелли означает, что одной фазе нового мира уже удалось с большой ясностью и глубиной поставить свои проблемы и выработать соответствующие методы их разрешения. Думать, что Макиавелли генетически зависит от Данте или связан с ним, – значит совершать грубую историческую ошибку».

---

[1] Бертран Рассел. История западной философии. М., 1959, с. 525.

Грамши ставит под вопрос действенность и убедительность идей и доктрины Данте, сомневаясь в том, чтобы они могли стимулировать и возбуждать национальную политическую мысль благодаря тому значению, которое имел Данте как элемент итальянской культуры. Зато Грамши решительно отвергает прямое генетическое значение подобных теорий в органическом смысле, поскольку характер разрешения определенных проблем в прошлом помогает найти решение подобных же проблем в настоящем лишь благодаря тому критическому навыку, который создается и вырабатывается в области теоретических исследований. И никогда, подчеркивает Грамши, нельзя сказать, что характер разрешения проблем в настоящем генетически зависит от разрешения проблем в прошлом – его генезис кроется в современной ситуации, и только в ней. С этой точки зрения политическая доктрина Данте никогда не обладала никакой эффективностью и плодотворностью в историко-культурном отношении и имеет значение лишь только как момент в развитии самого Данте после поражения его партии и изгнания его самого из Флоренции, вследствие чего Данте переживает процесс радикального изменения своих политико-гражданских убеждений, своих чувств, своих страстей, своего мировоззрения. «Этот процесс имел своим следствием его полную изоляцию. Верно, что его новая ориентация может называться «гибеллинством» только условно; во всяком случае, это было «новое гибеллинство», превосходящее старое гибеллинство, а также гвельфизм. На самом деле речь идет не о политической доктрине, а о политической утопии, которая расцвечивается размышлениями о прошлом, и прежде всего о попытке превратить в доктрину то, что было лишь поэтическим материалом, находившимся в процессе формирования и творческого горения, зарождавшейся поэтической фантазией, которая найдет свое завершение в «Божественной комедии»: или в «структуре» поэмы как продолжение попытки (теперь в стихотворной форме) превратить чувства в доктрину, или в самой «поэзии» – как страстная инвектива и драматическое действие. Поднимаясь над внутренними раздорами в коммунах, которые представляли собой чередование разрушений и истреблений, Данте мечтает об обществе, которое превосходит Коммуну и превосходит Церковь, опирающуюся на «черных», и старую Империю, опирающуюся на гибеллинов, он мечтает о такой форме правления, которая предписывала бы законы, стоящие над партиями и т. д. Это человек, побежденный в классовой борьбе и мечтающий о ликвидации этой войны под знаком арбитральной власти. Но этот побежденный, со всеми обидами, всеми страстями и чувствами побежденного, является также «ученым», который знает теории и историю прошлого. Прошлое открывает ему римскую Августову схему и ее средневековое отражение – Римскую империю германской нации. Он хочет преодолеть настоящее, но его взоры обращены

в прошлое. Взоры Макиавелли также были обращены в прошлое, но совсем иным образом, чем у Данте, и т. д.».

Данте написал специальный трактат «Монархия», в котором стремился рассмотреть сущность и цели светской монархии, обосновать ее необходимость для человечества как самой совершенной формы правления. Отвечая на три главных вопроса-сомнения, выдвигаемых по поводу монархии: необходима ли она для благосостояния мира, по праву ли стяжал себе исполнение должности монархии народ римский, зависит ли авторитет монархии непосредственно от Бога или же он зависит от служителя Бога или его наместника, Данте из всей совокупности приводимых им аргументов, представляющих собой сложное переплетение или сложную гамму человеческих ощущений, представлений, чувств, переживаний, возникающих из них поэтических фантазий, поэтической аранжировки гнева и негодования, кипящих страстей, обид и разочарований, унижений и оскорблений человека, потерпевшего поражение в классовой борьбе, связанных с этим его мечтаний об уничтожении существующего порядка, существующего общества, с его войнами, насилием, разрушениями и истреблениями, конструирует схему идеального общественного и государственного устройства, с помощью которого человечество пришло бы к мировому содружеству. Насколько эта идея была смелой, настолько же она была необоснованной, утопической. Поэтому, естественно, основой и стержнем аргументации в пользу светской монархии Данте выдвигает категорию «возможного интеллекта» (intellectus possibilis) всеобщего, универсального, бессмертного интеллекта, присущего лишь всему человечеству в целом: «Специфическим свойством человека является не само бытие как таковое... и не тот или иной состав... и не одушевленность... и не способность представления... таковой является лишь способность представления через посредство «возможного интеллекта»; последняя черта не присуща ничему, отличному от человека, – ни стоящему выше, ни стоящему ниже его... последняя черта потенции самой человеческой природы есть потенция или способность интеллектуальная... размышляющий интеллект путем своего расширения становится интеллектом практическим, целью которого является действие и созидание. Я имею в виду здесь те действия, которые регулируются искусством; и те и другие являются служанками размышляющего интеллекта как того лучшего, ради которого изначальное добро привело к бытию род человеческий. Отсюда уясняется изречение «Политики»: «Люди, отличающиеся разумом, естественно, первенствуют»[1].

Опираясь на эту весьма зыбкую основу, требующую доказа-

---

[1] Данте Алигьери. Малые произведения. М., «Наука», 1968, с. 307 – 308.

тельств, но абсолютно не доказанную, Данте возводит формально-логическое построение ради обоснования трех наперед заданных постулатов: «для благополучия мира должна существовать монархия»; «Римский народ был предназначен природой к тому, чтобы повелевать. Следовательно, Римский народ, покоряя мир, по праву достиг империи»; «власть (auctoritas) империи вовсе не зависит от церкви», «светская власть монарха без всякого посредства нисходит в него из источника власти вселенской».

Попытки Данте вознестись над «проклятым» настоящим не только повернули его в прошлое, но и обусловили идеализацию этого прошлого, ведущую к еще большему отрыву от реальной жизни в мир фантазии, художественных конструкций, в конечном счете – в мир утопии. Этим отчасти объясняется могучее историко-культурное воздействие художественных произведений Данте и полное бессилие его политической доктрины.

Если сопоставить схематично взгляды Данте и Макиавелли, то из этого сопоставления станет очевидным не только их противоположность и непримиримость, но и теоретическая и практическая несовместимость. Данте превращает в политическую доктрину материал поэтической фантазии, Макиавелли – теоретические обобщения реальных политических событий; Данте стремится встать над реальными раздорами, разрушениями, войнами и истреблениями и мечтает об обществе, которое превосходило бы церковь, опирающуюся на «черных» и старую империю, опирающуюся на гибеллинов, Макиавелли окунается в самую гущу классовой борьбы и стремится постичь ее законы, находит в ней движущую силу и источник социального развития; Данте мечтает о такой форме правления, которая стояла бы над партиями и вырабатывала бы соответствующие законы; Макиавелли – человек партии и как таковой делает все, чтобы пробудить силы народа, объединить его волю и направить его действия на уничтожение существующих порядков и на построение нового, единого национального государства, которое выработало бы справедливые законы, создало бы свои вооруженные силы, способные в любое время защищать свободу и независимость родины; Данте обращает свои взоры в прошлое, к «Священной Римской империи германской нации», Макиавелли отвергает этот унизительный для Италии идеал и направляет все силы на уничтожение всего, что мешает объединению Италии в единое централизованное национальное государство: и церкви с ее папством, и старой империи, и всех иностранных захватчиков, посягающих на свободу итальянцев; знание теории и истории прошлого повернуло Данте целиком в прошлое, подобное же знание теории и истории прошлого Макиавелли использует как один из важных инструментов для изменения существующих порядков и для построения будущего общества и государства; Данте – ме-

тафизик, Макиавелли – диалектик; Данте в политике – реакционер, Макиавелли – революционер; Данте – аристократ, Макиавелли – демократ, и т. д.

Как видно, не может быть и речи о каком бы то ни было генетическом родстве между политическими доктринами Данте и Макиавелли, между Государем Макиавелли и Императором Данте, между подходом каждого из них к прошлому, между методами исследования прошлого и его соотношения с современностью, между методами политической борьбы и политического действия.

Макиавелли можно считать одним из самых ярких представителей социально-политической критики христианской религии и церкви.

До него католическую церковь и папство критиковали практически все выдающиеся поэты, писатели, мыслители Италии: Данте, Петрарка, Боккаччо и другие. Их критика носила резко разоблачительный характер. Они высмеивали пороки духовенства: лесть, тунеядство, моральное разложение, паразитизм, чревоугодие, продажность и т. д. Образцы подобной критики мы находим у Данте в его «Божественной комедии»:

103 Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.

106 Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран...

109 В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.

112 Сребро и злато – ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.

115 О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!

Данте полемизирует с Фомой Аквинским, который считал папу верховным священником, преемником Петра и наместником Христа. Согласно Фоме Аквинскому, папе принадлежит вся полнота духовной и светской власти, поэтому все короли христианских народов должны повиноваться ему так же, как они повинуются Иисусу Христу. В противоположность Фоме Аквинскому, Данте решительно отрицал за папой претензию на светскую власть: «Верховный первосвященник, наместник Господа нашего Иисуса Христа и преемник Петра, которому

мы должны воздавать не все, что должны воздавать Христу, но все, что должны воздавать Петру»[1]. Он решительно отделяет светскую власть от власти духовной и критикует вмешательство церкви, папы и клира в светские дела.

Однако эта критика папства и католической церкви, как и вся политическая доктрина Данте, была обращена в прошлое, на поиски утраченного идеала. Не случайно Данте полемизирует с Августином, который отрицал божественное происхождение Римской империи, отрицал претензии Рима на мировое господство, обличал Рим в беззаконии, преступлениях, нравственном разложении и т. д. «Пусть же перестанут порочить империю Римскую те, – писал Данте, – кто мнят себя сынами Церкви, видя, что жених ее Христос признал империю в начале и в конце своей миссии».

Критикуя папство, католическую церковь, Данте возлагал свои надежды на возрождение Священной Римской империи, на создание всемирной, универсальной монархии – носительницы высшей справедливости, законности и свободы, обеспечивающей мир и благоденствие всем народам.

Дантовскую критику католической церкви и папства подхватывает и развивает Петрарка, осуждавший и разоблачавший продажность, жадность, аморализм, распутство, злодейскую, предательскую роль папской курии в своих знаменитых сонетах (136, 137, 138 и других):

Источник горестей, обитель гнева,
Храм ереси, рассадник злых препон,
Когда-то Рим, а ныне – Вавилон,
Где стонет старец, и дитя, и дева;

Горнило плутовства, служитель чрева,
Притон злодейств, где честный умерщвлен,
Ад человеков: неужели он
О гнев Христов себе сломить не сломит зева?

Ты, созданный в смиренной нищете,
Строителей своих презрел в гордыне,
Распутник! В ком – покров твоим делам?

В друзьях бесчинств? В позорной красоте
Твоих богатств? Нет Константина ныне,
Но скорбный мир тебя извергнет сам!

Как Данте проводил четкое разграничение и отделение светской власти и власти духовной, так Петрарка проводит подобное разграничение и разделение божественного и человеческого: божественное он предлагает отдать богу и ангелам, а человеческое – человеку.

---

[1] Данте Алигьери. Малые произведения, с. 343.

Боккаччо развивает идеи Данте и Петрарки и, обращаясь к отражению и анализу человеческих событий и действий, то есть к собственно человеческой жизни, к «человеческой комедии», завершает процесс переоценки ценностей: место бога занимает человек. Это вовсе не означало, что гуманисты отказывались от религии и от бога. Они критиковали папство и католическую церковь преимущественно за то, что они не столько воспитывали духовно народ, сколько его развращали, будучи развращенными сами. Религия и бог критиковались ими косвенно: если на место бога ставился человек, то, естественно, это затрагивало и религию и бога.

Гуманистическая критика папства, католической церкви и религии носила довольно ограниченный характер. Эта ограниченность сказывалась в ее абстрактности, эмпиричности, в ее обращенности в прошлое. Эта критика оставляла нетронутыми основы и религии, и католической церкви, и папства, не говоря уже об основах общественного и государственного устройства.

Макиавелли, в отличие от Данте, Петрарки, Боккаччо и других гуманистов, связывал критику религии и церкви с решением фундаментальных общественных и государственных проблем, и прежде всего – с созданием единого централизованного государства. Он понимал, что врагами объединения Италии в могучее государство наравне с феодалами являются религия, католическая церковь, папство. Больше того, Макиавелли отдавал себе отчет в том, что если не освободиться от средневековой космополитической концепции, представленной папой и светскими интеллектуалами гуманистами, то нельзя будет построить самостоятельное государство. Чтобы осуществить это, необходимо было развенчать, разбить средневековые феодальные и космополитические идеологические и политические концепции, преодолеть корпоративную фазу общественного развития, чтобы войти в фазу политическую. С этих позиций Макиавелли вел критику религии, католической церкви и папства.

Макиавелли верно схватывает сущность политики католической церкви, направленной на разъединение Италии, на то, чтобы всеми силами и средствами помешать не только созданию объединенного итальянского государства, но и вообще самостоятельности и укреплению любого государства, то есть всеми силами помешать усилению светской власти. Больше того, римская церковь ставила своей целью, когда это было возможно, и усиление своей церковной власти, и присвоение функций светской власти.

Макиавелли замечает в «Государе», где он уделяет целую главу рассмотрению церковных княжеств, что до папы Александра VI итальянские властители мало считались с церковью в светских делах. Но как только Александр VI стал папой, положение резко изменилось: с помощью денег и военной силы Александр VI возвысил и

укрепил церковную власть настолько, что перед ней стал дрожать король Франции, а венецианцы были сокрушены, римские бароны, через которых раньше воздействовали на папу, были уничтожены, а две враждовавшие между собой партии Орсини и Колонна под ударами Александра распались. Папа Юлий II продолжил далее укрепление церковной власти, накопление несметных богатств, которые при необходимости также пускали в дело. Так росло величие и мощь церковной власти.

Макиавелли в «Государе» более сдержан в обсуждении церковной власти. По существу, он отказывается обсуждать ее на том основании, что ею управляет высшая сила. Макиавелли считает, что церковные княжества приобретаются доблестью или милостью судьбы, а чтобы удержать их, не надо ни того, ни другого, поскольку они опираются на старинные, созданные верою учреждения, настолько мощные и наделенные такими свойствами, что поддерживают власть князей, как бы те ни жили и ни поступали. «Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют подданных, но ими не управляют; и, однако же, на власть их никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь эти государи неизменно пребывают в благополучии и счастье. Но так как эти государства направляемы причинами высшего порядка, до которых ум человеческий не досягает, то говорить о них я не буду; лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться разбивать то, что возвеличено и хранимо Богом». И все-таки, как мы знаем, Макиавелли не мог не рассуждать об этом, не мог пройти мимо важнейших вопросов, касавшихся соотношения церкви и государства, церковной и светской власти, негативной и пагубной роли церкви и папства в истории Италии и Европы вообще, в истории итальянской, европейской и мировой науки и культуры.

К религии как к социальному институту Макиавелли относился с уважением, так же как и к учредителям религий, которых в социальной иерархии он ставил на первое место. «Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религий. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинули пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели. А так как они пишут о разных вещах, то каждый из писателей бывает знаменит в соответствии с важностью своего предмета. Всем прочим людям, число которых безмерно, воздается та доля похвал, которую приносит им их искусство и сноровка. Наоборот, гнусны и омерзительны искоренители религий, разрушители республик и царств, враги доблести, литературы и всех прочих искусств, приносящих пользу и честь роду человеческому, иными

словами – люди нечестивые, насильники, невежды, недотепы, лентяи и трусы».

Как политический деятель, Макиавелли отдавал себе отчет в важном значении религии для существования граждан и республик. Например, благочестие римлян, их боязнь нарушить скорее клятву, нежели закон, Макиавелли связывает с введенной Нумой религией, которая обусловливала добрые порядки, добрые порядки порождали удачу, а удача приводила к счастливому завершению всякое предприятие. Но особое значение он отводил культу божества: «Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиной их гибели. Ибо там, где отсутствует страх перед Богом, неизбежно случается, что царство либо погибает, либо страх перед государем восполняет в нем недостаток религии». Следовательно, согласно Макиавелли, религия именно как общественный, социальный институт нужна и для построения и функционирования государства, и для введения хороших законов, и для создания могучей армии. Исходя из этого, Макиавелли настоятельно рекомендует главам республик или царств сохранить основы поддерживающей их религии. Если они будут поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, хотя бы сами и считали все это обманом и ложью, то им легко будет сохранить свое государство религиозным, а значит – добрым и единым.

Таким образом, Макиавелли хорошо видел, чувствовал и сознавал силу религии, ее социальную функцию, ее консерватизм и власть над умами и сердцами верующих и поэтому призывал всемерно использовать эту силу для общего блага, в особенности для объединения и укрепления государства. Будучи свидетелем упадка христианской религии, Макиавелли всю ответственность за этот упадок религии, а следовательно, и за порчу нравственности, несоблюдение порядков и установленных законов, за раздробленность Италии, за невозможность создать единое, могучее итальянское государство и вообще за все беды Италии и итальянского народа возлагал на римскую церковь, на римскую курию, на папство.

Приведем из его «Рассуждений...» замечательное место, где он подвергает римскую церковь обоснованной, беспощадной и поразительной по меткости и силе критике: «Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с предписаниями, установленными ее основателями, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время. Невозможно себе представить большего свидетельства упадка религии, нежели указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религиозен. Тот, кто рассмотрит основы

нашей религии и посмотрит, насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, первоначальных, придет к выводу, что она, несомненно, близка либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям. Так как многие придерживаются мнения, будто благо городов Италии проистекает от римской Церкви, я хочу выдвинуть против этого мнения ряд необходимых для меня выводов. Приведу два из них, чрезвычайно сильных и, как мне представляется, неотразимых. Первый: дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии, что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле. Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие – вторая причина нашей погибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной. В самом деле, ни одна страна никогда не была единой и счастливой, если она не подчинялась какой-нибудь одной республике или же какому-нибудь одному государю, как то случилось во Франции и в Испании. Причина, почему Италия не достигла того же самого, почему в ней нет ни республики, ни государя, которые бы ею управляли, – одна лишь Церковь. Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию надо всей Италией и сделаться ее государем; с другой стороны, она не была настолько слаба, чтобы, боясь утратить светскую власть над своими владениями, не быть в состоянии призывать себе на подмогу могущественных союзников, которые защищали бы ее против всякого народа и государства, становящегося в Италии чрезмерно сильным. В давние времена тому бывало немало примеров. Так, при помощи Карла Великого Церковь прогнала лангобардов, бывших чуть ли не королями всей Италии. В наше время она подорвала мощь венецианцев с помощью французов, а потом прогнала французов с помощью швейцарцев. Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и государей. Это породило столь великую ее раздробленность и такую ее слабость, что она сделалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть. Всем этим мы, итальянцы, обязаны Церкви, и никому другому».

Макиавелли, как политик, берет главное, существенное – помогают или мешают религия и церковь формированию единого и могучего итальянского государства.

Как трезвый политик, Макиавелли понимал, что христианская

религия – не самое лучшее средство для достижения исторических целей человека и человеческого общества, формирования и культивирования нравственности, гражданских добродетелей, нравов и порядков. С этой точки зрения Макиавелли противопоставляет христианской религии религию языческую: если христианская религия полагает высшее благо в смирении, в презрении к мирскому, в отречении от жизни, то языческая религия полагала его в величии души, в силе тела и во всем, что делает человека могущественным. Христианская религия направляет силы человека на терпение, а не на подвиги. Когда люди, чтобы попасть в рай, предпочитают переносить побои, чем мстить, мерзавцам открывается обширное и безопасное поприще. Христианский образ жизни, говорит Макиавелли, обессилил мир и предал его в жертву мерзавцам.

Направляя дела и помыслы людей на сверхъестественное, потустороннее, заставляя их больше заботиться о мире загробном, христианская религия парализует ум, волю и энергию человека, вместо того чтобы мобилизовать их на достижение общих целей, общих задач и общего блага. Но он понимал и то, что без религии не обойтись, больше того – ее можно и нужно использовать в интересах общества и государства. Может быть, именно поэтому он придавал большое значение соблюдению культа божества, ибо, как свидетельствует история, через культ и посредством культа главы государства и республики добивались культивирования тех качеств среди народа, которые им были нужны: силы, мужества, любви к родине и свободе, ненависти к врагам, стойкости и т. д. Эти функции религии Макиавелли считал необходимым использовать для достижения основных целей.

Что касается католической церкви и особенно папства, то Макиавелли гневно осуждает этот разложившийся и паразитический социальный институт, давно уже ставший самым большим тормозом в объединении Италии, в создании единого итальянского государства, препятствующий всеми силами этому объединению, и показывает неумолимую логику, согласно которой церковь и папство будут разлагаться и далее.

Всеми своими бедами Италия и итальянцы обязаны церкви и папству. Отсюда сам собою напрашивался вывод: чтобы избавиться от всех этих бед, необходимо избавиться от церкви и папства. И Макиавелли подает пример: он бичует пороки церкви и церковников в талантливой, едкосатирической пьесе «Мандрагора», которая и по сей день не сходит со сцен театров многих стран мира. Но главная заслуга Макиавелли в критике церкви состоит в том, что он видит выход не в изоляции политики от религии и морали. Напротив, преодоление существующей морали и религии с их соответствующими институтами он видит прежде всего в политических

преобразованиях, в уничтожении вековой раздробленности Италии, в создании нового современного объединенного итальянского государства, способного одновременно и в кратчайшие исторические сроки решить и все другие проблемы, в том числе и проблемы религии и морали. Именно поэтому Макиавелли все сводит к политике, то есть к искусству управлять людьми, чтобы, опираясь на их волю и согласие, основать великое государство. Он хорошо знал, что пока в Италии существует церковь, пока существует папство, до тех пор будет оставаться ситуация, враждебная созданию нового государства, и это будет продолжаться до тех пор, пока религия не станет «политикой» государства, а не политикой папы, мешающей формированию сильных государств в Италии, политикой, преследующей не-государственные, а точнее, антигосударственные интересы.

IV

Макиавелли мечтал о создании централизованнюго, единого, сильного итальянского государства и делал для этого все, что мог делать человек на его месте, – он указывал пути, по которым следует идти, чтобы достигнуть этой цели, и средства, с помощью которых можно этой цели добиться.

Мы уже говорили о том, что одним из основных условий создания нового государства является формирование и развитие народной, национальной коллективной воли. Но уже тот анализ, который проводился Макиавелли, показывал, что все попытки создать эту национальную коллективную волю, предпринимавшиеся на протяжении веков, кончались провалом. Причину этих провалов Макиавелли ищет в социальных силах, в классах, в сословиях.

Известно, что зарождавшаяся буржуазия коммун искала себе союзника в крестьянстве против Империи и против местного феодализма. Буржуазия искала дешевую рабочую силу, а дворяне стремились закрепить крестьян за землей. В связи с нещадной эксплуатацией и жестоким обращением крестьяне все чаще бегут из деревни в город, который даже в период развития цивилизации коммун выступает в роли руководящего элемента и элемента, углубляющего внутренние конфликты в деревне и, следовательно, служит военно-политическим инструментом, постоянно ослабляющим феодализм.

Но было ясно и другое, что подобную реформу милиции или создание народного ополчения совершенно невозможно было осуществить без соответствующей демократической политики, которая предоставляла бы широким массам народа, и прежде всего рабочему люду, ремесленникам и особенно крестьянам, составлявшим большую часть населения, определенные, можно сказать, буржуазные права и свободы. Именно поэтому Макиавелли с такой силой обрушивался на

дворянство и его привилегии, поскольку оно всячески сопротивлялось и мешало проведению намеченных реформ, и одновременно он, стремясь вовлечь огромные массы крестьянства в политическую жизнь, естественно, вольно или невольно способствовал развитию буржуазной демократии.

Согласно Макиавелли, основной причиной гибели государств и уничтожения всякой нравственности и гражданственности является дворянское сословие: «Дворянами именуются те, кто праздно живут на доходы со своих поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. И теми и другими переполнены Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. Именно из-за них в этих странах никогда не возникало республики и никогда не существовало какой-либо политической жизни: подобная порода людей решительный враг всякой гражданственности». Поэтому Макиавелли советует просто искоренить дворян: «Желающий создать республику там, где имеется большое количество дворян, не сумеет осуществить свой замысел, не уничтожив предварительно всех их до единого». Только после этого можно рассчитывать на построение республиканского строя.

Макиавелли достаточно точно определяет внутреннего врага государственности и гражданственности – дворянство. В более общем смысле традиционно враждебной силой, всегда выступавшей против формирования коллективной национальной воли, а следовательно, и против формирования единого итальянского государства, была земельная аристократия, вся сила которой покоилась на владении земельной собственностью. Из разложения буржуазии городских коммун как класса досталось паразитическое наследие в виде сельской буржуазии, которая особенно яростно противилась любым видам и формам социального прогресса, и прежде всего национальному объединению. Если к этому добавить реакционные социальные слои, выражавшие космополитическую функцию Италии как престола церкви и хранительницы традиций Священной Римской империи, которые вели активную борьбу со всеми прогрессивными тенденциями и устремлениями, и особенно ожесточенную борьбу против национального объединения, то станет понятным, что в условиях подобной «экономико-корпоративной» ситуации – действительно самой худшей из всех форм феодального общества – не могла возникнуть, формироваться и развиваться действенная якобинская сила, которая в других странах вызвала к жизни и организовала народную, национальную коллективную волю и основала современные государства.

В связи с назревшей необходимостью построения нового централизованного государства Макиавелли коренным образом переосмысливает основные функции армии.

В его время вооруженные силы были у каждого феодала, у каждого князя. Они, как правило, состояли из наемников – людей, привыкших к разгульной жизни, легкой наживе, различного рода авантюристов, искателей приключений, а то и просто всякого рода уголовных элементов: жуликов, грабителей, бандитов. Эти «армии», возглавляемые кондотьерами, заботились не столько об интересах государства, сколько о собственном обогащении посредством нападения на соседние города-государства. Эти войска в руках феодалов были своего рода силой, с помощью которой они отстаивали свои местнические интересы, направляя ее всякий раз против каких бы то ни было попыток создания единого национального государства.

Что касается защиты от посягательств иностранных государств на Италию, войска наемников не только не были способны защитить интересы Италии, но чаще всего они или терпели поражение, или добровольно переходили на сторону врага.

Обобщая исторический опыт ведения государственных и военных дел, Макиавелли предлагает новому государю отказаться от наемников и создать армию, состоящую из собственных граждан. Такая армия, по глубокому убеждению Макиавелли, не только достойно защищала бы интересы государства от нападений извне, но и была бы верной опорой новому государю в делах внутренних, в борьбе против феодалов, в подавлении различных смут и в наведении порядка в стране. Создание и существование нового государства Макиавелли не мыслил без создания хорошо организованной, хорошо обученной армии, состоящей полностью из собственных граждан. Вот почему он уделяет столь большое внимание вопросам военного дела.

В своих работах, посвященных вопросам военного искусства, Макиавелли стремится, во-первых, показать полную непригодность наемных войск и, во-вторых, сформулировать основные принципы создания армии нового типа – народного ополчения или народной милиции.

Что касается развенчания наемников, то здесь Макиавелли опирается и на прошлый, и на современный ему опыт бесчисленного количества войн и сражений, в которых участвовали наемные войска. Показать непригодность армий наемников было не так уж трудно, гораздо труднее было предложить им замену.

В этом вопросе Макиавелли, понимая, с какими трудностями новое прокладывает себе дорогу, обращается к богатому военному опыту римлян, армии которых, их военная стратегия и тактика оставались образцом военного искусства.

Вопросы военного искусства Макиавелли рассматривает во всех

своих основных произведениях – в «Государе», в «Рассуждениях...», в «Истории Флоренции» – и в ряде других, включая дипломатические послания и переписку. Однако, видимо, учитывая исключительную важность этих вопросов, он пишет специальную работу «О военном искусстве».

В «Государе» он пишет специальную главу (XIV) о том, как надлежит государю поставить военное дело. «Таким образом, государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого. Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто родился простым смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше об удовольствиях, чем о военных упражнениях, они теряли и ту власть, что имели. Небрежение этим искусством является главной причиной утраты власти, как владение им является главной причиной обретения власти. ...Тот, кто не владеет военным ремеслом, навлекает на себя много бед, и в частности презрение окружающих... ибо вооруженный несопоставим с безоружным... Поэтому государь должен даже и в мыслях не оставлять военных упражнений и в мирное время предаваться им еще больше, чем в военное. Заключаются же они, во-первых, в делах, во-вторых – в размышлениях».

Макиавелли пытается соединить в военном деле теорию и опыт, теоретические размышления и упражнения мысли с практическими занятиями. Так, он рекомендует государю обучать солдат, самому изучить свою страну, хорошо знать ее, ориентироваться в любой местности. «Если Государь не выработал в себе этих навыков, то он лишен первого качества военачальника, ибо именно они позволяют сохранить преимущество, определяя местоположение неприятеля, располагаясь лагерем, идя на сближение с противником, вступая в бой и осаждая крепости». То есть государь должен обладать опытом ведения боевых операций, опытом ведения войны, сражений. Без такого практического опыта государь обречен на поражение, и, напротив, обладание подобным опытом обеспечит победу.

Практический опыт военных действий должен обязательно дополняться или идти рука об руку с теоретическими упражнениями. «Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели войну, что определило их победы и что – поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать последних. Самое же главное, – уподобившись многим великим людям прошлого, принять за образец кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти

его подвиги и деяния. Так, по рассказам, Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь – Александру, Сципион – Киру... Мудрый государь должен соблюдать все описанные правила, никогда не предаваться в мирное время праздности, ибо все его труды окупятся, когда настанут тяжелые времена, и тогда, если судьба захочет его сокрушить, он сумеет выстоять под ее напором». Таким образом, речь идет о скрупулезном изучении военных действий и военных сражений прошлого, изучении опыта выдающихся полководцев прошлого, изучении побед и поражений, чтобы научиться побеждать и избегать поражений.

Макиавелли придавал столь важное значение военным вопросам, вопросам войны и мира, что написал специальную работу «О военном искусстве», в которой он развивает основные идеи о военном деле, изложенные в «Государе».

В осмыслении вопросов войны и мира проявляется и реалистическая политика Макиавелли, и его демократизм, и учет современного ему европейского опыта, и основательное изучение опыта древних народов. Но главное, что пронизывает его работу «О военном искусстве», – это подчинение народных масс руководящим слоям, чтобы создать народное ополчение, чтобы осуществить реформу народной милиции. В этом он видел одно из важнейших средств достижения поставленной цели – создания единого итальянского государства. «Первоклассный наставник итальянских правящих групп в искусстве политики, Макиавелли также поставил эту проблему – конечно, в тех границах и в связи с теми задачами, которые были определены его временем. В военно-политических сочинениях Макиавелли достаточно ясно проводится мысль о необходимости органически подчинить народные массы руководящим слоям, чтобы создать национальное ополчение, способное заменить наемные отряды»[1]. Естественно, даже сама постановка подобной проблемы представляла собой, при всей ее конкретно-исторической ограниченности, большой шаг вперед, ибо создание подобного ополчения решало ряд важных общественно-политических задач.

Макиавелли был убежден в том, что формирование национальной коллективной воли, создание нового единого национального государства невозможно без вовлечения в активную политическую жизнь огромных масс крестьян. В этом – основной смысл его инвектив против любых видов наемных войск, в этом – вся страсть, весь его пафос за создание регулярной народной армии, народного ополчения, в этом – и суть его организации флорентийской государственной милиции. Вот что писал по этому поводу Грамши: «Любое формирование народно-национальной коллективной воли невозможно, если огромные

---

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, II Risorgimento, p. 74.

массы крестьян-земледельцев не вторгнутся одновременно в политическую жизнь. Макиавелли стремился достигнуть этого через реформу милиции, то есть посредством создания народного ополчения; это сделали якобинцы во время Французской революции, в этом понимании следует видеть раннее якобинство Макиавелли, зародыш (более или менее плодотворный) его концепции национальной революции. Вся история, начиная с 1815 года, показывает усилия традиционных классов в том, чтобы поддержать «корпоративно-экономическую» власть в международной системе пассивного равновесия».

Макиавелли подчеркивал тесную взаимосвязь и взаимозависимость хороших законов и хороших войск, и одновременно он показывал полную непригодность наемных армий. «Основой власти во всех государствах – как унаследованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому, минуя законы, я перехожу прямо к войску. Начну с того, что войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное – неприятель. Объясняется это тем, что не страсть и не какое-либо другое побуждение удерживает их в бою, а только скудное жалованье, что, конечно, недостаточно для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя жизнью. Им весьма по душе служить тебе в мирное время, но стоит начаться войне, как они показывают тыл и бегут. Надо ли доказывать то, что и так ясно: чем иным вызвано крушение Италии, как не тем, что она долгие годы довольствовалась наемным оружием?» Здесь сказано практически все, что можно сказать о наемниках и наемных войсках вообще. Но Макиавелли на этом не останавливается – для характеристики наемников он не жалеет выражений: «Добровольцы из чужеземцев никогда не принадлежат к числу лучших солдат, наоборот, это подонки страны: буяны, ленивые, разнузданные, безбожники, убежавшие из дому, богохульники, игроки – вот что такое эти охотники. Нет ничего более несовместимого с духом настоящего и крепкого войска, чем подобные нравы».

Цель Макиавелли состояла не в том, чтобы развенчать наемные войска, действия и поведение которых в мирное и военное время говорили сами за себя, нет, его цель заключалась в обосно-

вании вывода, основанного на историческом опыте, что «только государи-полководцы и вооруженные республики добивались величайших успехов, тогда как наемники приносили один вред», «наемники славятся тем, что медлительно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают», «без собственного войска государство непрочно – более того, оно всецело зависит от прихотей фортуны, ибо доблесть не служит ему верной защитой в трудное время... Собственные войска суть те, которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей, всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к наемным. А какое им дать устройство, нетрудно заключить».

Лейтмотив военной мысли Макиавелли – создание собственных войск, опора на собственные силы. Сильное, объединенное новое государство должно иметь новую армию из своих собственных граждан, которые могли бы в любое время встать на защиту свободы и независимости своей родины. Только собственные войска, собственная регулярная армия может соответствовать новому государству, служить ему верой и правдой. Все остальные виды войск изжили себя: наемные войска опасны своей трусостью, а вспомогательные – своей доблестью, а смешанные войска (частью наемные, частью собственные) – гораздо лучше, чем просто вспомогательные или просто наемные, но много хуже собственных.

Стремление Макиавелли создать новую регулярную армию, которая бы соответствовала новому государству, понятно: речь идет об уничтожении наемных войск вместе с их кондотьерами, которые использовались князьями в своих корыстных интересах. Естественно, подобные кондотьерские войска не только не могли быть опорой и защитой нового государства, но они чаще всего использовались именно как сила, противостоящая объединению мелких государств в единое национальное итальянское государство. Отсюда эта неприязнь и ненависть к ним со стороны Макиавелли. Отсюда же и тот пафос, с которым он отстаивает создание собственных войск, собственной регулярной армии, подчиненной только государству и защищающей государственные интересы. Становится понятным и то исключительное внимание, какое Макиавелли уделяет военному делу.

Прежде всего хотелось бы привести одно место, содержание которого свидетельствует о взглядах Макиавелли на войну, о его отношении к войне как ремеслу: «Война – это такого рода ремесло, которым частные люди честно жить не могут, и она должна быть делом только республики или королевства. Государства, если только они благоустроены, никогда не позволят какому бы то ни было своему гражданину или подданному заниматься войной как ремеслом, и ни один достойный

человек никогда ремеслом своим войну не сделает. Никогда не сочтут достойным человека, выбравшего себе занятие, которое может приносить ему выгоду, если он превратится в хищника, обманщика и насильника и разовьет в себе качества, которые необходимо должны сделать его дурным. Люди, большие или ничтожные, занимающиеся войной как ремеслом, могут быть только дурными, так как ремесло это в мирное время прокормить их не может. Поэтому они вынуждены или стремиться к тому, чтобы мира не было, или так нажиться во время войны, чтобы они могли быть сыты, когда наступит мир. Ни та, ни другая мысль не может зародиться в душе достойного человека; ведь если хотеть жить войной, надо грабить, насильничать, убивать одинаково друзей и врагов, как это и делают такого рода солдаты. Если не хотеть мира, надо прибегать к обманам, как обманывают военачальники тех, кому они служат, притом с единственной целью – продлить войну. Если мир все же заключается, то главари, лишившиеся жалованья и привольной жизни, часто набирают шайку искателей приключений и бессовестно грабят страну»[1]. Здесь Макиавелли предстает перед нами как человек, глубоко ненавидящий войну, разбои, насилие во всех его видах и формах. Макиавелли предстает здесь как человек, осуждающий войну и защищающий мир.

На протяжении всего произведения мы видим, как Макиавелли упорно и настойчиво обсуждает римскую организацию военного дела, структуру армии, военное мастерство, мужество, храбрость, закалку, дисциплину, стойкость духа римских легионеров. По существу, разговор молодых людей (Фабрицио Колонна, возвращавшегося из Ломбардии, где он долго сражался за короля, Козимо Ручеллаи, в садах которого проходит разговор, и его друзей: Дзаноби Буондельмонте, Баттиста делла Палла, Луиджи Аламанни) представляет собою исследование римского военного дела, его достоинств, его стратегии и тактики и попытку их применения к созданию народного ополчения, народной милиции.

Так, на вопрос о том, что бы он хотел ввести похожего на древние нравы, Фабрицио отвечает: «Почитать и награждать доблесть, не презирать бедность, уважать порядок и строй военной дисциплины, заставить граждан любить друг друга, не образовывать партий, меньше дорожить частными выгодами, чем общественной пользой, и многое другое, вполне сочетаемое с духом нашего времени»[2]. Подобное высказывание выглядит как своеобразная позитивная про-

---

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве. М., 1939, с. 30.

[2] Там же, с. 27–28.

грамма, явно противопоставленная тому, что тогда имело место во всех итальянских государствах, в том числе и во Флоренции.

Положение о том, что ни один достойный человек не изберет себе войну ремеслом и ни одно благоустроенное государство никогда не позволит своим подданным или гражданам превратить войну в ремесло, подкрепляется аргументами о чистоте республиканских нравов и о прочности устоев Древнего Рима.

Согласно Макиавелли, известность Помпея, Цезаря и почти всех римских полководцев после третьей Пунической войны объясняется их храбростью, а не гражданскими доблестями, ибо война для них была ремеслом. Полководцы, которые были до них, прославились и как храбрые воины, и как достойные люди, ибо они не делали из войны ремесла. «Пока держалась чистота республиканских нравов, ни один гражданин, даже самый гордый патриций, и не думал о том, чтобы, опираясь на военную силу, в мирное время попирать законы, грабить провинции, захватывать власть и тиранствовать над отечеством; с другой стороны, даже самому темному плебею не приходило в голову нарушать клятву воина, примыкать к частным людям, презирать Сенат или помогать установлению тирании ради того, чтобы кормиться в любое время военным ремеслом. Военачальники удовлетворялись триумфом и с радостью возвращались в частную жизнь; солдаты слагали оружие охотнее, чем брались за него, и каждый возвращался к своей работе, избранной как дело жизни; никто и никогда не надеялся жить награбленной добычей и военным ремеслом»[1].

Под чистотой республиканских нравов Макиавелли понимает прежде всего уважение к свободе граждан, уважение к свободе республики, уважение к ее законам. Только тогда, когда этой свободе угрожала опасность или когда она попиралась, граждане ее брались за оружие, но как только необходимость в этом отпадала, они с радостью возвращались к своему очагу и к своей мирной профессии, ведь одной из главных привилегий, какую римский народ мог предоставить своему гражданину, была свобода служить в войске по собственной воле, а не по принуждению.

Все мысли и все аргументы Макиавелли направлены на то, чтобы и военное дело поставить на службу государству и сделать его государственным делом. «Пока крепки были устои Древнего Рима, т. е. до времен Гракхов, не было солдат, для которых война стала бы ремеслом, а потому в войске было очень мало негодных людей, и если такие обнаруживались, их карали по всей строгости закона. Всякое благоустроенное государство должно поэтому ставить себе целью, чтобы военное дело было в мирное время

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 32.

только упражнением, а во время войны – следствием необходимости и источником славы. Ремеслом оно должно быть только для государства, как это и было в Риме. Всякий, кто, занимаясь военным делом, имеет в виду постороннюю цель, тем самым показывает себя дурным гражданином, а государство, построенное на иных основах, не может считаться благоустроенным»[1]. Учитывая огромную важность военного дела в жизни общества и государства, Макиавелли стремится изъять его из рук мелких тиранов и кондотьеров и передать в ведение государя и государства, ибо, согласно его убеждению, только в этом случае военное дело будет применяться с пользой для общества и государства, то есть будет поставлено на службу общему благу.

Здесь возникает вопрос о том, кто и как будет распоряжаться войском, какая власть будет предоставлена тем, кому должны подчиняться вооруженные силы.

Некоторые исследователи полагали, что раз Макиавелли настаивал на объединенном государстве – республике, а затем и монархии, то, естественно, он требовал неограниченной власти для государя. С этим мнением трудно согласиться.

Во-первых, сам Макиавелли постоянно обращал внимание на то, что лучшая власть или форма правления – смешанная, включающая в себя правление представителей различных слоев и классов. Так, в «Рассуждениях» он говорит, что смешение правления царей, оптиматов и народа сделали Римскую республику совершенной.

Во-вторых, Макиавелли словами Фабрицио говорит: «В королевствах, обладающих хорошими учреждениями, у короля нет неограниченной власти, кроме одного только исключения – войска; это единственная область, где необходимо быстрое решение, а следовательно, единая воля. Во всем остальном короли ничего не могут делать без согласия совета»[2].

Отсюда следует, что неограниченная власть представлялась только в виде исключения тогда, когда монарху надо было принимать быстрое решение, и прежде всего – в период военных действий. При этом неограниченная власть монарха распространялась только на войска, а вовсе не на весь общественный и государственный механизм.

В-третьих, опасаясь превращения войска в своеобразное государство в государстве и обращения этой силы против существующей государственной власти по примеру римских императоров Октавиана, Тиберия и других, которые, думая больше о собственном могуществе, чем об общественном благе, начали разоружать

---

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 33.
[2] Там же, с. 34.

римский народ, держать легионы на границах империи и, главное, создали специальные войска – преторианцев из преданных им людей, которые стали грозой и для Сената и для народа, – опасаясь подобного перерождения войска, Макиавелли требовал разделения власти над войском, постоянной смены военачальников, рядового состава, перемещения и перегруппировки воинских подразделений и т. д., что в какой-то мере предотвращало захват власти военачальниками, но, безусловно, отрицательно сказалось на боеспособности созданной им милиции или народного ополчения, поскольку лишение военачальников необходимой им власти, подрыв укоренения их авторитета среди бойцов ополчения исключали строгую воинскую дисциплину, твердый порядок, не говоря уж о неукоснительном исполнении воинского долга. Макиавелли настолько опасался выступлений войск против существующей власти, что настоятельно рекомендовал: «Когда настает мир, король должен позаботиться о том, чтобы князья вернулись к делу управления своими вассалами, дворяне – к хозяйству в своих владениях, пехотные солдаты – к обычным занятиям, и вообще добиться того, чтобы все они охотно брались за оружие во имя мира, а не старались нарушить мир во имя войны» [1]. Последние слова звучат так, как будто они написаны сегодня. Эти и подобные высказывания Макиавелли («я должен любить мир и уметь вести войну» [2], «Война родит воров, а мир их вешает» [3] и другие) опровергают расхожие мнения о нем как об апологете войны. Гораздо с большим основанием Макиавелли следует считать защитником мира и согласия между народами, ибо его концепция войны и мира была направлена на укрепление мира, а ведение войны признавалось им лишь в случае необходимости, притом необходимости исторической – при создании нового единого государства или защите государства от врагов.

Макиавелли без устали повторяет слова, приобретающие уже характер лозунга: «Лучшая армия та, которая составляется из своих же граждан, и только этим путем можно такую армию образовать» [4], «нельзя опираться ни на какое другое оружие, кроме своего» [5], и это говорится после того, как созданное им народное ополчение потерпело поражение и перестало существовать.

Может быть, Макиавелли уже забыл об этом горьком для него уроке? Напротив, именно этот горький урок заставил его с еще большей основательностью и тщательностью разрабатывать свою

---

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 36.
[2] Там же, с. 38.
[3] Там же, с. 31.
[4] Там же, с. 43.
[5] Там же, с. 46.

концепцию народного ополчения или народной милиции. Помня этот урок, Макиавелли заявляет: «Вообще нельзя создать такое войско, за непобедимость которого можно было бы ручаться. Ваши знатоки не должны судить о негодности милиции по одной неудаче: сражение можно одинаково проиграть и выиграть, но главное – это устранить причины поражения. Если начинать доискиваться этих причин, то нетрудно убедиться, что сила здесь не в недостатках принятого у вас порядка, а в том, что он еще не доведен до совершенства. Необходимо, как я уже говорил, не осуждать милицию, а исправлять ее»[1]. И далее Макиавелли предлагает меры по совершенствованию своего детища – милиции.

Он убежден и пытается в этом убедить других, что оружие в руках собственных граждан или воинов, врученное им в силу закона, никогда еще не приносило вреда, наоборот, оно всегда было полезно. Мысль, что жители страны окажутся неспособными защищать ее оружием, еще никогда не приходила в голову ни одному законодателю республики или царства. Для подкрепления своих позиций он приводит следующий аргумент: «Деление на классы представляет не что иное, как всеобщее вооружение народа, дававшее возможность немедленно собрать войско для защиты города»[2]. Эта мысль Макиавелли была обобщением исторического опыта: всеобщее вооружение народа спасало от гибели многие государства и республики.

Основой милиции Макиавелли считал отбор солдат. Опираясь на положительный и отрицательный исторический опыт создания армий, Макиавелли рекомендует набирать бойцов для милиции из крестьян: «Крестьяне, привыкшие обрабатывать землю, предпочтительнее кого бы то ни было другого, ибо из всех существующих это ремесло применимо в войске лучше всего. Затем идут слесаря, плотники, кузнецы, каменщики, которых в войске должно быть много; ремесло их часто может пригодиться, и очень хорошо иметь в войске солдат, от которых бывает двойная польза»[3]. Мы уже обращали внимание на то, что для Макиавелли главная задача состояла в том, чтобы при помощи организации милиции вовлечь в активную политическую деятельность огромные массы крестьянства. Это было основной причиной того, почему Макиавелли рекомендовал формировать милицию из крестьян. Но он понимал и то, что крестьяне оказываются наиболее приспособленными для несения военной службы, поскольку они лучше всех других слоев умеют трудиться, а потому оказываются пригодными практически для любой работы.

---

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 44.
[2] Там же, с. 46.
[3] Там же, с. 47.

Макиавелли не отвергает портрета солдата, описанного военными писателями: живые и веселые глаза, крепкая шея, широкая грудь, мускулистые руки, длинные пальцы, втянутый живот, полные бедра, худые ноги – такой солдат всегда будет ловок и силен. Но сам Макиавелли говорит, что «особенное внимание надо обращать на нравственность: солдат должен быть честен и совестлив; если этого нет, он становится орудием беспорядка и началом разврата, ибо никто не поверит, что дурное воспитание может создать в человеке хотя бы крупицу достохвального воинского мужества»[1]. Вот это положение Макиавелли о личной добродетели солдата, о его нравственных качествах представляло собой в зародыше учение о нравственном факторе армии, ее духовной стойкости. Другое дело, что Макиавелли не удалось привить созданной им милиции ни железной дисциплины, за которую он ратовал, ни той высокой нравственности, которую он хотел видеть у каждого солдата и у всего ополчения.

Численность милиции, согласно Макиавелли, должна быть большой, ибо она «создается для обучения людей воинскому строю»[2].

Учреждение милиции должно решать, по замыслу Макиавелли, ряд серьезных задач: она пресекает возможность смут, предупреждает взаимные столкновения; «если страна, в которой создается милиция, так мало воинственна, что граждане не носят оружия, или настолько едина, что в ней нет главарей партий, то создание милиции сильно ожесточит их против внешних врагов, но никоим образом не разъединит их друг с другом... Наоборот, если страна, в которой учреждается народное войско, воинственна и разъединена, то только такое учреждение, как милиция, способно объединить ее вновь... Учреждение милиции дает оружие, годное для войны, и начальников, которые будут подавлять беспорядки. В такой стране всякий, кто чем-нибудь обижен, обычно идет к главарю своей партии, который, чтобы поддержать свое влияние, склоняет его к мести, а не к миру. Совершенно обратно поступает начальник учреждения государственного, поэтому создание милиции устраняет поводы к раздорам и подготавливает единение граждан. Страны единые и изнеженные излечиваются от слабости и сохраняют единство; страны разъединенные и склонные к междоусобиям объединяются, и та отвага, которая обычно проявляется в разнузданности, обращена на пользу общественную»[3]. Таковы основные идеи и аргументы, развиваемые Макиавелли в пользу создания и совершенствования народного ополчения, народного войска или народной государственной милиции.

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 48.
[2] Там же, с. 53.
[3] Там же, с. 53–54.

Интересны соображения Макиавелли о воспитании рядовых солдат, о требованиях, которые он предъявлял к полководцам (сила воли, твердость, мужество, решительность, большие знания во всех областях военного искусства и т. д.), о средствах, с помощью которых достигают строгой дисциплины, военного мастерства, хорошей военной организации, материального обеспечения и военного снабжения войск, о вопросах пополнения армии молодежью, о роли пехоты и ее соотношении с конницей и с артиллерией, о роли огнестрельного оружия, о вопросах соотношения гражданской и военной жизни, о значении военного дела для экономики и многие другие вопросы, не потерявшие своего значения и по сей день. Хотя многое в его учении, естественно, уже устарело.

Свои идеи о военном искусстве Макиавелли стремился воплотить в жизнь. Благодаря его личным усилиям во Флорентийской республике еще в 1506 году было создано народное ополчение, численность которого достигла двадцати тысяч человек. В основном это ополчение состояло из пехотинцев. А в 1510 году Макиавелли добился и создания конной милиции. Это народное ополчение или милиция, созданная Макиавелли, просуществовала около семи лет.

В 1512 году испанцы начали войну против Флоренции, чтобы поставить у власти снова семью Медичи. В этой войне, несмотря на мужественное сопротивление бойцов народного ополчения, победили испанцы. Падение республики, реставрация Медичи означали конец народного ополчения или милиции, созданной Макиавелли. Сам Макиавелли, заподозренный в заговоре против Медичи, был отстранен от всех постов, посажен в тюрьму, подвергнут пыткам, а затем отправлен в ссылку.

Почему же столь важная, правильная и прогрессивная идея Макиавелли о создании народного ополчения, народной милиции или народной армии не смогла до конца реализоваться и просуществовала столь небольшое время?

Во-первых, видимо, практически невозможно было соединить народную армию с идеей римской государственности, как и вообще невозможно решать проблемы настоящего средствами и методами далекого прошлого.

Во-вторых, Макиавелли возлагал большие надежды на народную армию, полагая, что она должна была многое сделать в смысле объединения народа и мелких государств в единое, мощное национальное государство, видимо, не отдавая себе отчета в том, что подобная армия, как и любая армия, является продуктом и органом государства. Поэтому, чтобы создать народную армию, народную милицию или народное ополчение, необходимо было

прежде создать новое государство или, по крайней мере, создавать их одновременно. Для этого потребовалось еще несколько столетий.

В-третьих, создание регулярной армии или милиции, как и народного государства, в эксплуататорском обществе невозможно.

И тем не менее идеи Макиавелли о регулярной армии и милиции пробьют себе дорогу через века: его идеями воспользуются якобинцы, а в критически переработанном виде эти идеи войдут, как подчеркивал Грамши, и в философию практики.

Учение Макиавелли о создании регулярной армии и народной милиции опережает свою эпоху на несколько столетий, прокладывая новые пути социального и духовного обновления наций, пути национальной революции. В этом смысле учение о народном ополчении входило органической частью в его концепцию национальной революции, предполагающую формирование народной национальной коллективной воли, интеллектуальную и моральную реформу, конституирующую структуру труда, культурную реформу, то есть гражданское возвышение угнетенных слоев общества, основывающиеся на конкретной программе экономических преобразований.

Сам Макиавелли отдавал себе отчет в том, что ему уже не удастся увидеть реализацию своих идей. Может быть, поэтому его книга «О военном искусстве» завершается словами, полными элегии и драматизма: «Кто пренебрегает этими мыслями, равнодушен к своей власти, если он князь, и к отечеству, если он гражданин республики. Я считаю себя вправе роптать на судьбу, потому что она должна была либо отказать мне в возможности познания таких истин, либо дать мне средства осуществить их в моей жизни. Теперь, когда я стар, случая к этому, конечно, больше не представится. Я поэтому-то и откровенен с вами, что вы молоды, занимаете высокое положение и, если согласитесь со мной, можете в нужный момент воспользоваться благосклонностью к вам князей и быть их советниками в преобразовании военного дела. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо наша страна как бы рождена для воскрешения всего, что исчезло, и мы видели это на примере поэзии, живописи и скульптуры. Возраст мой уже не позволяет питать подобные надежды, но если бы судьба в прошлом дала мне необходимую власть, я в самое короткое время показал бы всему миру непреходящую ценность античных воинских установлений. Верю, что мог бы вознести свою родину на высоты могущества или, по крайней мере, погибнуть без позора»[1]. Такова трагедия этого великого сына и патриота Италии, гениального мыслителя.

---

[1] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, с. 216 – 217.

V

Подавляющее количество работ о Макиавелли мало связаны с анализом духовной ситуации его времени и с анализом конкретного творчества его выдающихся современников. В равной мере работы, посвященные рассмотрению творчества Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и других мастеров, также почти не касаются политических воззрений Макиавелли.

А ведь эти гении жили почти в одно время и бились над решением одних и тех же основных проблем, выдвинутых эпохой, и прежде всего над проблемами, поставленными реальной ситуацией конкретно-исторической жизни Италии того времени.

Самой общей, важной и острой проблемой, которую пытались решить эти выдающиеся мыслители, была проблема свободы, понимаемая широко, универсально: и как свобода от всех пут, сковывавших человека, общество, государство – политических, нравственных, эстетических, религиозных и т. д., и как свобода духа во всех его формах – политики, права, морали, философии, искусства, религии, и как свобода творчества, не ограниченная никакими нормами, обычаями, формами, приемами, способами, традициями, установлениями, канонами, догматами и т. д., – словом, свобода как свобода мысли, действия, творчества.

Проблема истины – столь же общая, важная и острая проблема, как и проблема свободы, и понимаемая столь же широко и универсально: истина вещей, явлений, событий, открытие истины в процессе познания мира, вселенной, человека, макро- и микрокосмоса, явлений природы и человеческого духа.

Наконец, не менее общая и универсальная проблема, которой занимались великие мастера с особым вдохновением, – проблема красоты или прекрасного во всех их проявлениях, измерениях, видах, жанрах, типах, воплощениях. Биение мысли, сердца, кипение страстей, внутренняя борьба духовных сил, поднимающаяся до самых высоких уровней драматизма и трагизма, различные способы осмысления действительности, внешнего, объективного мира и мира внутреннего, субъективного, способы конструирования новой реальности, отражение существующего, его выражение, а также все формы самовыражения и все способы воздействия на людей – все это мыслилось и осуществлялось через прекрасное и посредством прекрасного.

Что касается проблематики итальянской действительности того времени, то, независимо от тем, сюжетов, образов, разрабатывавшихся художниками Возрождения, она составляла существо творчества каждого из них, высвечивая его содержание в соответствии с теми силами, которые так или иначе выражали историческую

необходимость. Ведь идеи, которыми они были одержимы, концепции, которые они выдвигали, были настолько новы, неожиданны и фундаментальны, что именно в силу этого можно только предполагать и догадываться, каким могучим талантом, историческим чутьем и прозорливостью они обладали, чтобы сквозь толщу религиозно-идеологических и мистико-мифологических наслоений, архаических догматов и предрассудков почувствовать, ощутить, разглядеть, понять и осмыслить те зерна и крупицы будущего, которые благодаря их пластическому воплощению обретут характер открытий и откровений.

История аналитически-синтетического осмысления и пластического освоения и воплощения проблем свободы, истины и красоты в творчестве мастеров высокого Возрождения, а может быть, и в творчестве вообще есть история осмысления, зарождения, становления и развития исторической деятельности. И наоборот: ретроспекция исторической деятельности, постановка и решение проблем свободы, истины и красоты знаменовали решающие этапы социально-исторического и культурно-художественного прогресса, в соответствии с поступью которого выстраивалась многосложная, многозначная, многообразная и наполненная конкретно-историческим содержанием категориальная система, охватывающая сферы науки, искусства, истории, политики, морали, права, государства, философии, – словом, категориальная система, отражавшая законы развития природы, общества, человеческого мышления, развития всего существующего.

Не потому ли творчество каждого из этих великих мастеров и почти каждое отдельное произведение любого из них воспринималось как открытие, как истина, как откровение? Не потому ли каждый из них не просто занимался живописью, скульптурой или архитектурой или всеми видами искусства и многими отраслями науки вместе, а ставил перед собой серьезные проблемы, имеющие общечеловеческий характер и значение? Не потому ли каждый из них глубоко и целенаправленно осваивал историю искусства и историю культуры в целом, чтобы с достигнутого уровня начать исследование современности, плодотворный поиск решения современных проблем и создания новых художественных ценностей?

При рассмотрении творчества Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и других великих художников Возрождения следует иметь в виду, что многовековое господство христианской религии и католической церкви привело к тому, что все проблемы политики, морали, права, государства и т. д. ставились и решались на основе религиозного мировоззрения, в его свете и в его пределах или по крайней мере с оглядкой на него. Эта традиция была настолько привычной, укорененной и всеобъемлющей, что вопрос о выходе

за ее пределы почти не возникал, а если и ставился, то в исключительно редких случаях. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что гениальные художники и мыслители эпохи Возрождения ставили и решали важнейшие проблемы в тесной связи с религией, религиозными сюжетами, религиозным культом, религиозными культовыми постройками и, чаще всего, по заказу религиозных и церковных деятелей.

Не потому ли великие мастера обращают свои взоры к античности, произведения которой представлялись им абсолютно совершенными образцами, превосходящими даже природу, образцами, которым, казалось, можно лишь подражать, но не превзойти? Это обращение к произведениям, а следовательно – к культуре и мировоззрению античности было выходом за пределы средневековой феодальной системы, средневекового религиозно-догматического мышления и мировоззрения, поскольку античность имманентно включала в себя языческие верования, языческое преклонение перед живой жизнью, непосредственное отношение к ней, уважение к человеку, к истине, к свободе, к законам и государству, к искусству и творчеству, наконец, к прекрасному во всем, что окружает человека, – в природе, в искусстве, в мышлении.

Более чем тысячелетняя традиция христианской религии и католической церкви, принижавшая человека и человеческий разум, отводившая человеку и его разуму ничтожную, пассивную роль созерцания происходящих событий как мимолетных, преходящих, суетных, не имеющих никакого значения, отвращавшая человека и его разум от познания реальной действительности и реальной, объективной, абсолютной истины, направлявшей его помыслы и устремления в мир сверхъестественный, потусторонний, на созерцание иллюзорных отражений и отсветов божественной истины и божественного интеллекта, – эта казавшаяся несокрушимой традиция под напором возрождавшейся античной культуры дала первые трещины, а затем мощное и широкое течение культуры эпохи Возрождения начало взламывать, крушить и уносить прочь лед средневековья, чтобы из бурного, стремительного потока возводить гуманистические идеалы свободы, истины, добра и красоты.

«Дерзновение искания истины, – говорил Гегель, – вера в могущество разума есть первое условие философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать себя достойным наивысочайшего. Какого высокого мнения мы ни были бы о величии и могуществе духа, оно все же будет недостаточно высоким. Скрытая сущность вселенной не обладает в себе силой, которая была бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению познания, она должна перед ним открыться, развернуть перед его глазами богатства и глубины своей природы и дать ему наслаждаться

ими»[1]. Эти слова Гегеля относятся ко всей человеческой деятельности, ко всему человеческому творчеству: поиск истины, добра и красоты нерасторжимо связан с поиском свободы, с освобождением человека от всего, что его унижает, оскорбляет, порабощает, что вводит его в заблуждение или держит в плену иллюзорных представлений, идей, идеалов.

Становится понятной та одержимость, с которой вели свой поиск великие мастера Возрождения, то неистовство и страсть, с которыми они разрушали устоявшиеся нормы, обычаи, традиции и представления и с какими они создавали свое новое искусство.

У Леонардо да Винчи – этого наиболее универсально развитого, универсально мыслящего, универсально исследующего гения – понимание искусства отличается от всех предшествующих и современных ему толкований тем, что ставится на почву опыта, эксперимента, моделирования – словом, на почву своеобразно понятой практики как эксперимента. Это позволило Леонардо вычленить и одновременно объединить различные естественные, технические и художественные дисциплины и сферы деятельности и, следовательно, поднять человеческую культуру на новый уровень, когда она становится осмыслением человеческой деятельности вообще.

А осмысление трудовой деятельности (теоретической и практической) придает человеческому труду новые творческие силы и импульсы, раскрывает перспективы его дальнейшего развития, придает ему новые параметры, новые социальные измерения, в конечном счете раскрывая его исторический смысл, ускоряет его развитие и умножает многократно его революционизирующее воздействие на субъект и объект трудового процесса.

Художественно-эстетическое исследование действительности у Леонардо генерировало не только профессиональные приемы и способы реализации идей, а понятийные, ментальные конструкции, которые, благодаря своей научной основе и характеру, то есть благодаря предельной степени обобщенности, могли применяться не только в живописи и в искусстве, а по существу во всех сферах человеческой деятельности, ибо они сами были выработаны в процессе длительной и эффективной обработки экспериментальных данных, данных практического и теоретического эксперимента. Этим объясняется столь высокая значимость и объективность ментально-художественных и эстетических конструкций Леонардо, его эстетики и философии.

Может быть, этим объясняется потрясающая всех одухотво-

---

[1] Гегель. Соч., т. I. Часть первая. Логика. М.–Л., Госиздат, 1929, с. 16.

ренность, продуманность, цельность и глубина пространственно-временной, рационально-чувственной композиции его произведений, высокая степень индивидуализации, конкретизации и вместе с тем обобщенности, типичности каждого образа?

Некоторые исследователи склонны усматривать в этом беспредельном одухотворении самого живописного процесса одну из причин того, что лишь немногое из начатого Леонардо было по-настоящему закончено.

На наш взгляд, вряд ли можно этой изумительной одухотворенностью произведений Леонардо объяснять их незавершенность или возводить эту незавершенность в особый метод художественного творчества – non finito. Еще большие возражения вызывает попытка объяснять с помощью этого метода все художественное творчество Леонардо, всю противоречивость, сложность и глубину его художественных исканий и открытий, обусловленных прежде всего, хотя и не прямо и не непосредственно, противоречивостью, сложностью, многообразием общественных отношений того времени.

Может быть, следует поставить вопрос, который в известном смысле проливал бы свет на генезис одухотворенности произведений великого мастера: не является ли эта невиданная одухотворенность произведений Леонардо да Винчи своеобразным итогом, результатом его титанической работы, с одной стороны, по изучению природы средствами науки и искусства, а с другой стороны – по изучению всей истории человеческой мысли и истории искусства, и художественной мысли в частности?

Ведь любое движение вперед, и особенно движение, ведущее к открытию нового метода, нового стиля, нового мышления, совершенно невозможно без основательного усвоения и осознания всего того, что уже было сделано и достигнуто в любой сфере человеческой деятельности и познания. Если истина есть процесс, процесс противоречивый, диалектический, сложный, многообразный, то научное и художественное познание этой истины предполагает не только упорную, беззаветную, самоотверженную работу, но и совершенно необходимую опору на всю историю и культуру мысли, ибо основательное познание соотношений мысли является основным и первым условием научного и художественного поиска и открытия истины.

Обращение великих умов Возрождения к изучению и возрождению античности было совершенно необходимым условием дальнейшего движения вперед во всех сферах деятельности и во всех отношениях: преодоление изжившего себя мира средневековья было возможно лишь с позиций более высоких, более передовых и прогрессивных идей и идеалов. А для того, чтобы выработать

подобные идеи и идеалы, надо было опираться на такую культурную почву, которая позволила бы в процессе самого исследования прошлого и современности наметить основные линии формирования и развития новой культуры, культуры, включающей в себя познание и освоение и природы, и человека, то есть того, что, по существу, благодаря господству религиозной идеологии, или вообще исключалось из сферы познания и освоения, или находилось где-то на втором плане. Природа как натуральное, естественное бытие вообще исключалась из сферы познания, а в человеке интересовались лишь его душой, отбрасывая все, что имело отношение к его телесной организации.

В противоположность этому средневековому, религиозно-схоластическому мировоззрению, Леонардо делает и природу и человека основными объектами своих научных и художественных исследований. При этом человека он изучает на основе естественнонаучного знания и с помощью естественнонаучных методов исследования, а природу, вселенную он исследует с человеческих, гуманистических позиций, с позиций достижений всей человеческой культуры. Может быть, именно этим были обусловлены величайшие открытия Леонардо да Винчи в самых различных областях науки, техники и искусства.

Все произведения Леонардо – свидетельство невероятного взлета человеческого духа, исследующего самого себя, природу, весь окружающий мир. Предшествующее искусство не знало столь глубокого проникновения в тайны природы и человека, столь глубокой и разносторонней разработки человеческих характеров, которую мы находим в творениях Леонардо: «Поклонение волхвов», «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря», «Святая Анна», «Портрет Моны Лизы» («Джоконда») и других.

С этих позиций чисто психологические трактовки шедевров Леонардо представляются необоснованными, хотя психологическая разработка характеров – налицо.

На основе анализа «Тайной вечери» известный историк искусства Макс Дворжак устанавливает определенную связь между произведениями Леонардо и «Государем» Макиавелли. «Это – психологическая живопись, воплощение душевных процессов, неведомое предшествующему искусству. Оно основывается на таком же познании человеческого характера, которое один из величайших писателей Италии, Макиавелли, в это же самое время положил в основу своего «Государя», – воплощение, объясняющее значительные, трагические и бурлескные события человеческой жизни не внешними, материальными обстоятельствами или вмешательством сверхъестественных сил, но влиянием, оказываемым психической данностью самого характера. Таким образом был проложен путь, который вел

в литературе к трагедии характеров – к Шекспиру и далее к Гете и к Шиллеру»[1].

Действительно, предшествующее искусство не знало подобной психологической живописи, столь глубокой, тонкой и разносторонней психологической разработки характеров. Справедливо и то, что и Леонардо, и Макиавелли стремились объяснять драматические и трагические события человеческой жизни не вмешательством сверхъестественных сил, а исходя во многом из того, что содержалось в самих людях, в их мыслях и в их действиях. Но, пожалуй, неверно утверждать, что в основу своего «Государя» Макиавелли положил воплощение, объясняющее значительные события человеческой жизни не внешними, материальными обстоятельствами, а психической данностью самого характера.

Человек как единство материального, телесного и идеального, духовного – в центре научных и художественных исканий Леонардо. Если его анатомические исследования и открытия и по сей день не потеряли своей значимости и для науки и для искусства, то его художественные исследования человека, кажется, не потеряют своей ценности и значимости до тех пор, пока будет существовать человечество и человеческая культура, поскольку Леонардо дал не просто новую психологическую интерпретацию человеческих характеров, а попытался по существу заново построить духовную структуру человека. Через научное постижение законов и тайн вселенной он стремился обогатить духовную структуру человека бесконечным богатством и разнообразием природных форм, выражавших ее субстанциальные силы. Естественно, это привело к тому, что нарушился центр мироздания: небесное становится достоянием земного, а земное – возносится на небо, человек вновь приобретал утраченное им, а точнее – отнятое у него в течение долгого господства религии, религиозной идеологии, церкви и феодальных отношений вообще все богатство человеческих качеств. Вернуть человеку человеческое и сделать это человеческое у самого человека прекрасным, чтобы он мог жить в полной мере естественной, общественной и человеческой жизнью, – вот одна из важнейших задач, которую пытался решить Леонардо. «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря», «Святая Анна с Марией и младенцем Христом», портрет Моны Лизы дель Джокондо – вот только некоторые этапы решения этой проблемы, конструирования новой человеческой индивидуальности, новой духовной структуры, новой культуры.

Вообще то, что было сделано Леонардо в науке, технике, в

---

[1] Макс Дворжак. История итальянского искусства в эпоху Возрождения, т. 1. М., «Искусство», 1978, с. 155.

искусстве и в культуре, – трудно переоценить: критическое осмысление всей предшествующей культуры, выработка всеобщих методов исследования и познания, применимых в равной степени в науке, технике и искусстве, – эксперимента, моделирования, конструирования и т. д., выделение человека и природы как главных объектов научно-технического и художественного познания, постижение человека на основе естественнонаучного и технического знания и постижение природы и вселенной с человеческих, гуманистических позиций – все это знаменовало гигантский шаг вперед в дальнейшем развитии культуры как наиболее универсального освоения человеческой практической и теоретической деятельности, и, одновременно, экспериментирование, моделирование, конструирование, применяемые в качестве всеобщих методов познания, придавали человеческой деятельности исторический смысл и значение.

Однако нельзя забывать, что подобного рода деятельность была уделом немногих, уделом избранных, так же, как и потребление продуктов этой деятельности: высшими достижениями культуры пользовались в основном господствующие классы – феодальная аристократия и зарождавшаяся буржуазия, высшее духовенство, церковный клир. Огромное количество выдающихся произведений искусства было погребено в виде частной собственности и роскоши во дворцах власть имущих. Простой народ имел доступ лишь к тем из них, которые были созданы для католических церквей и храмов, а также к тем еще более редким произведениям, которые устанавливались в общественных местах. Разрыв между деятелями культуры и народом, между культурой и народом был налицо, и он постоянно углублялся и расширялся.

Ученые, поэты, писатели, художники – словом, все выдающиеся деятели культуры эпохи Возрождения глубоко переживали этот кризис, который самым трагическим образом сказывался на их творчестве.

Надежды на то, что этот кризис может быть преодолен Реформацией, были тщетными: «Надо сказать, следовательно, что, в отличие от других стран, в Италии даже религия не была связующим звеном между народом и интеллигенцией, и именно поэтому кризис философской мысли среди интеллигенции не распространялся на народ, так как истоки этого кризиса не были связаны с народом и не существовало «национально-народного блока» в религиозном лагере. В Италии не было «национальной церкви», а существовал религиозный космополитизм, ибо итальянские интеллигенты были связаны непосредственно со всем христианским миром в качестве анациональных руководителей. Отсюда разрыв между наукой и жизнью, между религией и жизнью народа,

между философией и религией; драмы Дж. Бруно и других являются драмами европейской, а не итальянской мысли»[1].

Этот кризис не был преодолен и Контрреформацией: «Контрреформация не могла быть и не была преодолением этого кризиса; она лишь авторитарно и механически заглушила его. Отныне не было больше христиан, но не хватало духу быть и нехристианами: трепетали перед смертью, боялись и старости. Поставили проблемы, которых не в состоянии были разрешить, и приходили в уныние; с другой стороны, существовала оторванность от народа», – писал по этому поводу Антонио Грамши[2].

Из этого, пожалуй, ясно, что истоки кризисных периодов в творчестве Леонардо да Винчи, как, впрочем, и других великих художников эпохи Возрождения, следует искать прежде всего в социальных противоречиях самой эпохи Возрождения, в кризисных ситуациях итальянского общества, в отрыве высокой и богатой культуры прежде всего от жизни народа и в других противоречиях эпохи. Отсюда и незавершенность большинства произведений Леонардо да Винчи, отсюда же и нерешенность многих вопросов, которые были им поставлены, несмотря на всю его гениальность, величие и силу его ума и таланта.

Первостепенное значение Леонардо придает выработке научного метода, с помощью которого можно вести исследования во всех областях человеческого знания. Подобный метод вырабатывается им в ходе самого исследования, поэтому такой метод способен приводить к открытию истины и одновременно к ее исследованию: путь к открытию истины является ее исследованием. В этом смысле цель научного познания – открытие и исследование истины.

Опора научного знания на опыт и эксперимент качественно преобразует роль субъекта, его творчества, его теоретической оснащенности и практического действия, наконец, роль гуманистического начала, придающего созидательной практической и теоретической деятельности человеческое измерение и человеческий смысл.

Леонардо тесно связывает человека с природой и обществом или другими людьми, а теорию – с практикой. Все эти элементы взаимодействуют друг с другом не только посредством социальных отношений, но и посредством техники, которой Леонардо придавал универсальное значение. В отличие от своих предшественников и современников, Леонардо рассматривает технику в тесной связи с сущностью человека и человеческого вообще, в тесной связи с проявлением человеческих сущностных сил, в то время как во все

---

[1] Антонио Грамши. Избранные произведения в 3-х томах, т. 3. М., 1959, с. 299.

[2] Там же, с. 297.

эпохи эти сущностные силы искали прежде всего в религии, в морали или в литературе и искусстве. Пожалуй, впервые в истории Леонардо ищет и находит проявление сущностных человеческих сил в органическом единстве науки, техники и искусства.

Исследования и открытия Леонардо в области техники носят столь же радикальный, революционный и универсальный характер, как и в науке. Его мысль направлена на выявление качественно иной роли, места и значения техники в жизни человека и человеческого общества. Он стремится не столько усовершенствовать существующие машины, сколько создавать новые машины, с помощью которых можно было бы делать инструменты для создания совершенно новых машин. Леонардо постоянно занимался конструированием машин, имеющих принципиально новое значение для человека и человеческого общества, как, например, летательные аппараты. Леонардо стремился изменить характер человеческого труда – сделать его максимально эффективным, совершенным, творческим, изменить посредством этого отношение человека к природе, к самому себе, к другим людям. Он понимал, что техника может облагородить человека, сделать его более могучим, более уверенным в своих силах, более волевым, организованным, творческим и целеустремленным – словом, более человечным и естественным. Техника соединяет человека с природой и обществом, со всей объективной реальностью и с историей, многократно умножая его индивидуальные природные и социальные силы и способности, помогая ему изменять самого себя и окружающую его действительность соответственно самым высоким человеческим идеалам.

Столь же радикально меняет Леонардо содержание, характер и функции искусства. Искусство – это прежде всего исследование всего существующего, позволяющее человеку вступать в прямой контакт с природой, с людьми, со всем миром. Искусство, как и наука, опирается на опыт и на эксперимент и в известной степени само представляет собой концентрированный практический и теоретический опыт человечества и экспериментальный метод исследования, логику и историю познания. Леонардо полагает, что прямой контакт искусства с природой и человеком позволит уберечь искусство от какой бы то ни было стилизации, приводящей искусство в конечном счете к вырождению (как это случилось даже с античным искусством), уберечь искусство от догматической схематичности и ложного формотворчества, от окостенения и застоя. Леонардо не только постулировал новое искусство, но и создал его.

О гуманизме эпохи Возрождения принято говорить и писать как об особом проявлении человеколюбия, как о стремлении выдающихся представителей литературы и искусства воспеть человека и приумножить человеческие ценности. К этому еще добавляют, что

эпоха Возрождения формировала индивидуализм во всех его формах и проявлениях. Подобное понимание гуманизма представляется поверхностным и ничего не говорящим, поскольку любовь к человеку и его воспевание существовали всегда, на всех этапах развития человеческого общества. Даже в самые мрачные периоды средневековья человек рассматривался как божественное существо и вместе с культом бога и святых существовал и культ человека и человеческих ценностей, естественно, с акцентом и ориентацией на его бессмертную душу, и на то, что человек – слуга господа бога.

Видимо, само понимание гуманизма предполагает рассматривать поворот к человеку и человечности в широком социально-историческом контексте, в контексте, который включал бы в себя органически определенный уровень развития производительных сил и производственных отношений, соотношение форм общественного сознания с общественным бытием, определенную расстановку классовых сил внутри страны и на международной арене и т. д.

Знаменитая характеристика эпохи Возрождения, данная Энгельсом, включает в себя характеристику исследований природы, истории, состояние промышленности, торговли, классовую борьбу и т. д. «Современное исследование природы – единственное, которое привело к научному, систематическому, всестороннему развитию, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям арабов, – современное исследование природы, как и вся новая история, ведет свое летосчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью, Реформацией, французы – Ренессансом, а итальянцы – Чинквеченто и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это – эпоха, начинающаяся со второй половины XV века. Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности, монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как горожане и дворянство еще продолжали между собой драку, немецкая Крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне, – в этом уже не было ничего нового, – но за ними показались предшественники современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах. В спасенных при падении Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир – греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный

расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда больше уже не удавалось достигнуть. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература. Англия и Испания пережили вскоре вслед за этим классическую эпоху своей литературы. Рамки старого orbis terrarum были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена; германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII века»[1].

Молодая буржуазия заинтересована в развитии производительных сил и производственных отношений. Поэтому она со всей решительностью борется против сковывавших развитие производства феодальных отношений. Изменение характера трудовой деятельности, труда влечет за собой изменение социальной структуры общества. Промышленное производство, созданное средневековым бюргерством, становится более усовершенствованным, более массовым, более многообразным, а торговля и торговые отношения значительно более развитыми.

Новые производственные отношения меняют характер всей социальной системы, порождают новые взгляды в области науки, морали, права, философии, искусства и даже религии. Обновляются все формы материальной и духовной жизни и деятельности людей. Источником этого великого процесса возрождения и обновления, его носителем и исполнителем, а в известной мере и его продуктом являются сами люди, человек как таковой, человек, который уже меньше всего надеется на молитвы и на помощь со стороны, а активно включается в жизнь, которую он хочет строить по собственным законам и правилам, надеясь только на свои собственные силы и на силы других людей.

Возрождение античности было не столько возрождением классической традиции, сколько возрождением благородного образа или облика человечности, в котором человек новой эпохи как бы осознавал самого себя, свое собственно человеческое достоинство, получал необходимую веру в свои собственные силы, способности, волю и доблести, столь необходимые ему для построения нового мира.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 345–346.

Однако никакого возрождения и обновления не произошло бы, если бы человек в своей деятельности не опирался на науку, историю, искусство и технику, если бы он не привел в движение все доступные его чувствам и интеллекту естественные и социальные силы, освобожденные им от сковывавших их феодальных отношений.

Особое место в этом искусстве занимает человек: наряду с природой человек – самая большая загадка для Леонардо. И обычно под этим понимают постижение духовного настроения человека, его духовного состояния. Подобное понимание и толкование задач искусства, в том числе и живописи, живо и по сей день. Надо сказать, что Леонардо был далек от подобного понимания задач искусства – это слишком мелкая и ничтожная задача для столь великого орудия человеческого познания и сознания, каким является искусство. Ведь совсем не случайно Леонардо делает науку живописи одной из главных и основных наук, которая включает в себя многие научные дисциплины, начиная от математики и кончая перспективой, анатомией и медициной. Штудируя с разных сторон, анатомической, физической, физиологической, механической и т. д., человеческое тело, Леонардо не оставливается ни на его физическом уровне, ни даже на духовном уровне, а идет гораздо дальше – он стремится за этой, пожалуй, еще никем не достигнутой ни до него, ни после него, высочайшей, какой-то даже нечеловеческой, сверхчеловеческой или божественной одухотворенностью человеческих тел и лиц вскрыть богатство жизни, ее вечное и никогда не смолкающее биение, ритм, гармонию ее многообразного единства. Может быть, в этом состоит загадочность не только «загадочной» улыбки Джоконды, но и еще большая загадочность всех его незагадочных произведений. Это искусство – исследование жизни, искусство жизни макро- и микрокосмоса, искусство, постоянно рождающее смысл, искусство, постоянно ставящее и решающее проблемы, когда каждое из решений выдвигает новые, еще более сложные проблемы, искусство, в котором прошлое переходит в будущее, а будущее – в прошлое и где современность ведет диалог одновременно и с прошлым и с будущим, искусство, которое вступает в прямой контакт со всеми прошлыми и грядущими временами и поколениями людей, искусство, бросающее в дрожь и леденящее душу своим абсолютным совершенством, чувственностью и рациональностью, внешней холодностью и глубочайшей таинственностью, скрывающей содержащиеся в нем все самые фундаментальные проблемы, которые когда-либо волновали и будут волновать человечество, – это искусство и выработало самую высокую и самую глубокую человечность, которая и по сей день представляется нам идеальной и недосягаемой.

Таким образом, Леонардо велик не только своими гениальными исследованиями в самых различных областях науки и техники и не только своими гениальными творениями в области искусства, – он также велик тем, что впервые в истории человечества выработал новую, глубокую, универсальную концепцию гуманизма, которая радикально, качественно отличалась от всех концепций гуманизма прошлого.

Это отличие состоит вовсе не в том, как думали многие, что она вытекала из совершенства леонардовского искусства или из его необычайной универсальности. Если бы это было так, то леонардовский гуманизм был таким же, как и у его близких или далеких предшественников. Скорее наоборот: радикально новый характер концепции гуманизма Леонардо состоит прежде всего в том, что он исходит из реальной жизни, из реального человека, реального общества, реальной истории, что он обосновывает свой гуманизм не просто благими намерениями, благими пожеланиями и стремлениями, а реальными взаимоотношениями человека с природой, обществом и другими людьми, осуществляемыми на основе науки, техники, искусства.

Свою концепцию гуманизма Леонардо разрабатывает на прочной основе радикально преобразованной им самим науки, созданного, выработанного им научного метода исследования, разработанной им же новой исключительно плодотворной концепции техники и, наконец, на основе радикально нового, созданного им самим искусства, с новыми задачами, функциями, с новым значением и новым смыслом. При этом Леонардо, революционизировавший науку, технику и искусство, не просто ставит их на службу человеку, а вооружает его этими могучими методами исследования и действия для того, чтобы преобразовать всю существующую действительность в соответствии с человеческими целями, чаяниями и интересами. Впервые в истории основные параметры нового человека становятся также и параметрами нового общества, новой культуры и цивилизации, и наоборот: новые параметры новой науки, техники и искусства становятся параметрами нового человека и нового общества.

Чем интенсивнее шел процесс развития человеческого общества, тем все более и более необходимым становилось для него дальнейшее развитие науки, техники и искусства. И наоборот: чем интенсивнее шло развитие науки, техники и искусства, тем все более очевидной становилась необходимость их практического и теоретического использования в интересах дальнейшего развития человечества. Наука, техника, искусство несли на себе всю тяжесть выработки новой человечности и нового гуманизма, вместе с тем новый гуманизм, новая человечность с тех пор уже не могли успокоиться или равнодушно смотреть на быстрое развитие науки,

техники и искусства, которые без постоянного их оплодотворения живительными соками человечности могли также быстро захиреть или погубить самих себя и все существующее. Новая человечность, новый гуманизм никогда не перестанут питаться соками науки, техники и искусства, как наука, техника и искусство никогда не перестанут пить нектар новой человечности, нового гуманизма.

Великий современник великого Леонардо – Микеланджело открывает своим творчеством новую эпоху, ибо ставит другие цели, решает другие задачи, предлагает другие идеи и другое мировоззрение. Его творчество – это открытое восстание против христианской религии и церкви, против христианства вообще со всеми его представлениями, верой, культом, богом, святыми и т. д. Его герои – это те, у кого в груди пылает неугасимый прометеев огонь, это герои, которые переходят от слов к делу, это герои не столько страдающие и страждущие, сколько мятежные, борющиеся и побеждающие. Его творчество – это своеобразный героический эпос человечества, это рукотворный памятник человеческому и человечеству, ибо в этом творчестве ставятся, осмысливаются и предпринимаются попытки решения коренных проблем человеческого бытия и существования.

Попытки интерпретировать творчество Микеланджело с точки зрения неких исключительных и иррационалистических начал, а также попытки объяснять высшие достижения и высшую зрелость художественной идеи и художественной формы как меры всех вещей являются несостоятельными. Подобные иррационалистические и идеалистические интерпретации, равным образом как и интерпретации религиозно-мистические, не помогают раскрыть существо творений этого величайшего гения и способны лишь запутать и перекрыть пути к объективному, научному пониманию места и значения творчества Микеланджело в истории искусства и в истории культуры.

Известно, что средневековая культура, при всей ее спиритуальности и рафинированности, никогда не смогла «очиститься» от остатков античной, языческой культуры. Аналогично и культура эпохи Возрождения оказалась не способной до конца преодолеть средневековую культуру.

Гениальные художники эпохи Возрождения вырабатывали новую культуру посредством глубокого изучения и освоения культуры античной. Справедливо полагая произведения античного искусства в качестве идеальных образцов, они создавали такие произведения, которые еще при жизни этих мастеров рассматривались современниками как идеальные образцы нового, более высокого и более совершенного искусства и новой культуры, превосходящей все, что было когда-либо создано человеческим гением.

Естественно, каждое поколение, чтобы создать нечто новое, всегда опирается на то, что уже было создано предшествующими поколениями. И это прикосновение к наследству, это вступление в наследство с необходимостью накладывает свою печать на то новое, что создается на основе уже достигнутого. В этом смысле «родимые пятна» прошлого неизбежны как некий символ преемственности поколений, преемственности идей, преемственности культуры. Они – неизбежный продукт животворной традиции, способной, иногда как бы даже вопреки себе, предоставить новому в своих недрах и зародиться и развиваться. Если же традиция оказывается не способной к созданию условий для зарождения и формирования нового, то эти «родимые пятна» очень быстро разрастаются в злокачественные образования, уничтожающие, может быть, прежде всего саму эту традицию. Вот почему издревле люди еще до того, как приступить к созданию нового, начинали искать или создавать традицию, чтобы, опираясь на нее, творить действительно новое – культурные ценности, которые до них никогда и нигде не существовали. В этом смысле отказ от прошлого предполагает как непременное условие – его основательное усвоение, понимание, а затем уже и преодоление в виде создания нового, ибо сам по себе отказ еще не означает создание нового. Вместе с тем создание нового, пожалуй, никогда не означает полного и абсолютного отказа от прошлого, скорее напротив: создание нового означает диалектическое снятие, диалектическое преодоление старого, прошлого, поскольку в любом новом содержится как старое, так и, в зародыше, его собственное отрицание. И тем не менее этот путь всегда выбирали люди сильные духом, волевые, мужественные, отважные. И они, как правило, добивались своего, даже после своей гибели. Так, например, древнегреческие философы, размышляя об истине, стремясь познать ее, познать сущность всего существующего, пришли к тому, что опрокинули государство и религию.

Изучая и осваивая античность, Микеланджело использовал достижения искусства и культуры того времени. Известно, например, что он использовал языческое мировосприятие для воплощения библейских сюжетов в таких произведениях, как «Давид», в надгробии папы Юлия II, в частности в статуе Моисея, и в других произведениях.

Его изучение и освоение античности носило критическо-творческий характер, поскольку Микеланджело стремился не к подражанию античности или язычеству, а к выражению нового мироощущения, мировосприятия и мировоззрения. По своим взглядам, по своему темпераменту, по своей целеустремленности и волевым качествам Микеланджело во многом близок к Макиавелли. Этот великий художник бросил вызов не только всем до сих пор су-

ществовавшим традициям в искусстве и культуре вообще, но и вызов всем существовавшим до сих пор богам, святым, идеям и идеалам. Познавая природу, овладевая ее законами, он соревнуется с нею в создании совершенных и прекрасных произведений. Микеланджело стремится к абсолютно свободному искусству как реализации и воплощению безграничной воли и совершенного мастерства художника.

Микеланджело слушал пламенные речи Савонаролы, воздействие которых оставило определенный след на его творчестве. Он улавливал идейные противоречия и политические конфликты своего времени. Это был человек резкой, необузданной и могучей натуры, его мятежность, неукротимость, абсолютная нетерпимость к какому бы то ни было нажиму со стороны пап, церковного клира, власть имущих вообще, фанатическая убежденность, верность и преданность свободе в творчестве, в мыслях, в убеждениях, в жизни и, наконец, все сокрушающая и все созидающая воля – это, может быть, единственное, чему он не мог противостоять и что, овладев его существом, освобождало его лишь тогда, когда цель этой нечеловеческой или сверхчеловеческой воли достигалась – когда сила ее принуждения порождала то или иное произведение. И, может быть, в этом отношении он был особенно близок к Макиавелли, хотя между ними – между их идеями и взглядами – существовало значительное различие.

Микеланджело как великий мыслитель и художник своего времени не мог не понимать, что та политическая раздробленность и политическая отсталость, в которой находилась тогда Италия, не могла не сказываться отрицательно на всех сторонах жизни и итальянских государств, и всего итальянского народа. Может быть, поэтому уже его ранняя работа «Давид» воплощает в себе героя-борца, героя, который знает, кто его враг, знает, как с ним бороться и как его победить. В нем столько ума, мужества, несокрушимой энергии и воли, что не возникает никакого сомнения в его победе.

А знаменитая статуя Моисея в надгробии папы Юлия II? Ведь это не только кульминация восстания против христианства и христианского мировоззрения, это скорее и в гораздо большей мере восстание против всего, что угнетало и угнетает человека: против рабства физического и духовного, против власти денег и власти порабощающих идей, против обесценения реальной человеческой жизни и переоценки жизни призрачной, нечеловеческой, против власти желтого дьявола, продажности, фарисейства.

Великие мастера эпохи Возрождения возвращают человека и искусство к природе, но уже не к той природе, которая у греков была населена богами, а к природе, населенной людьми.

Еще Гегель верно заметил, что для греков природа была лишь

исходным пунктом, и в этом можно видеть известное принижение или унижение природы, выражающееся в греческом искусстве в теме войны богов с титанами как силами природы, которых боги стремятся лишить власти. Но эти новые боги во главе с Зевсом еще во многом сохраняют в себе природные моменты и, естественно, в самой этой борьбе с титанами, олицетворявшими силы природы, сохраняют и известное отношение к ним. Эти новые боги представлены в облике прекрасных индивидуальностей, выражающих античные представления о гармонии физического и духовного, о единстве нравственного и прекрасного – калокагатии (καλοκ'αγαθία). Антропоморфизм греческих богов следует рассматривать не как недостаток, а, наборот, как достоинство, ибо благодаря ему сохранялась связь человека с природой: красота человека экстраполировалась на природу, а красота природы – на человека. Благодаря антропоморфизму мир богов носил во многом человеческий характер – ведь боги обитали среди людей, а человек во многом приближался к божественному, если иметь в виду, что характеры богов были слепком с человеческих характеров. Греки создавали себе совершенных и прекрасных богов, чтобы самим стать более совершенными и более прекрасными. Эта деятельность по созданию и совершенствованию богов была во многом деятельностью по созданию и совершенствованию самих себя, равно как и работа над самими собой выражалась в создании и совершенствовании богов и божественного.

Поскольку каждый бог имел свою сферу, в которой он господствовал, свое назначение и свой характер, то божественное не носило характер абсолютного и универсального. Даже Зевс, как верховный властитель, как бог над богами или бог богов, не имел абсолютной власти ни над богами, ни над людьми[1], – олицетворением абсолютной власти, абсолютно господствующего, безусловного и абсолютно необходимого начала был безымянный, безличный, бесформенный, безразличный, безучастный, неотвратимый рок. Его положительными качествами были лишь необходимость, печаль и равенство всех перед неотвратимым приходом этого рока. Следовательно,

---

[1] Вот что пишет об этом Гегель: «Зевс есть отец богов, но у каждого из них есть своя воля; Зевс уважает их, а они его; правда, он иногда бранит их и грозит им, и тогда они или подчиняются его воле, или сердито удаляются, но они не доводят этих разногласий до крайних пределов, и Зевс, дозволяя одному одно, а другому другое, в общем устраивает все так, что они могут быть довольны. Следовательно, и на земле и в мире олимпийцев существует лишь слабая объединяющая связь; царская власть еще не является монархией, так как потребность в ней обнаруживается лишь при дальнейшем развитии общества» (Гегель. Соч., т. VIII, с. 218).

антропоморфизм греческих богов был в известной мере выражением их гуманизма – человеческого отношения к людям, в конечном счете человеческого отношения человека к человеку, человека к самому себе. Почитая своих богов, греки почитали самих себя; наделяя их своими лучшими качествами, они сами становились более человечными, а значит, более божественными; поклоняясь им, они поклонялись лучшему в себе. Не потому ли греки создавали богов по своему образу и подобию, а создав их такими, в высшей степени человечными и прекрасными, стремились во всем походить на своих богов? Не потому ли их боги были в высшей степени индивидуальны, живы и конкретны, что они олицетворяли доброе и прекрасное, а абстрактное, безымянное, бесформенное начало – рок – олицетворяло неизбежную необходимость?

Каковы же судьбы учения Макиавелли и его идей?

Достаточно широко распространено мнение, что значение Макиавелли не в его «теории» или «политической системе». У него-де, собственно, и нет «теории» или «системы» в смысле глубоко обдуманного и широко разветвленного учения об обществе или хотя бы о государстве. Он, согласно мнению сторонников этой точки зрения, был лишен вкуса к философскому углублению вопросов и к широким социологическим обобщениям, поскольку его подлинная сфера – политическая публицистика на материале современных животрепещущих событий или на основе исторических событий, как они были препарированы историками древнего мира. Цель, которую ставил перед собой Макиавелли, они усматривали в прямом, непосредственном воздействии на ход современных ему политических событий. Содержание его «Рассуждений...» и чисто служебных «Донесений» они сводили к записи непосредственных наблюдений человека, стоящего около самого центра борьбы за власть.

Согласно сторонникам этой точки зрения, социальное содержание власти, ее социальная характеристика якобы мало интересовали Макиавелли, поскольку это содержание оставалось приблизительно неизменным. Внимание Макиавелли якобы привлекал сам процесс борьбы за власть. Так, в «Государе» его внимание поглощено не вопросом о смене у власти различных социальных групп, условиях и смысле этой смены, а механикой самой борьбы за власть в пределах данной узкой социальной группы.

Мы уже могли убедиться, насколько далека подобная интерпретация учения Макиавелли от действительной картины.

В самом деле, Макиавелли, как идеолог восходящего класса буржуазии, ставил перед собой цель – уничтожение феодальных порядков, построение нового централизованного единого итальянского государства. Следовательно, речь шла о том, чтобы заменить власть

огромного количества мелких государств феодалов, тиранов, сеньоров, власть феодальную, ставшую тормозом в социально-экономическом, политическом и культурном развитии Италии и Европы того времени, властью буржуазной, властью, способной дать новые стимулы развитию производительных сил и производственных отношений, преобразовать промышленность, сельское хозяйство, торговлю, развязать инициативу и социальную активность широких народных масс.

В произведениях Макиавелли речь идет именно о том, каким образом достигнуть этой общенациональной и, можно сказать, общеевропейской цели. Если формирование коллективной воли, способной привести народ к объединению в единое национальное государство, если создание новых законов и новой армии как основных опор нового государства считать «техникой», то сам термин «техника» теряет смысл, ибо речь шла не о замене одного тирана или феодала другим или о замене одного князя другим, а о замене феодального строя строем капиталистическим, то есть речь шла о смене одной общественно-экономической формации другой, со всеми вытекающими из этой смены последствиями.

Чтобы осуществить этот грандиозный переворот, эту революцию, простой «техники» борьбы за власть было недостаточно. Макиавелли хорошо знал и понимал это. Вот почему он стремился вовлечь в активную политическую жизнь, в борьбу против феодалов широкие народные массы. Вот почему он уделяет столь большое внимание выработке новой политической идеологии, способной воспитывать народ в новом духе, предоставив ей предварительно автономию от господствующей морали и идеологии. А чтобы эти идеи не остались идеями, а нашли бы воплощение в жизни, Макиавелли стремится создать новую армию, состоящую не из наемников, а из собственных граждан, армию, способную подавить внутренних врагов нового государства – феодалов и врагов внешних – иноземных захватчиков.

Макиавелли не был ни «чрезмерным», ни, следовательно, поверхностным и механистическим реалистом, интересующимся только тем, что есть, а не тем, что должно быть, а потому и не видящим перспективы, ни холодным, лишенным страсти ученым, исходившим только из реальной действительности, а потому не принимающим активного участия в политической борьбе. «Но Макиавелли не является чистым ученым; он является человеком партии, человеком могучих страстей, политиком в действии, который хочет создать новое соотношение сил, и поэтому он не может не заниматься тем, что «должно быть», которое понимается, конечно, не в моралистическом смысле. Следовательно, вопрос нельзя ставить в этих пределах, он гораздо сложнее, то есть речь идет о том, чтобы видеть, является ли то, что «должно быть» произвольным или необходимым актом,

конкретной волей или безнадежной мечтой, желанием, неясным устремлением. Политик в действии есть творец, человек, побуждающий к действию, но и он не создает из ничего и не вращается в туманной пустоте своих желаний и мечтаний. Он основывается на реальной действительности, но какова эта реальная действительность? Может быть, она является чем-то статическим и неподвижным, а не просто соотношением сил, связанным с находящимся в постоянном движении и изменении рановесием? Применять волю к созданию нового равновесия реально существующих и действующих сил, основываясь на этой определенной силе, которая остается прогрессивной, и постоянно наращивая ее мощь, чтобы делать ее победоносной, – это и значит всегда двигаться в сфере реальной действительности, но действовать так, чтобы господствовать над ней и превзойти ее (или содействовать этому). Таким образом, «должно быть» есть конкретность, больше того, есть единственная реалистическая и историцистская интерпретация действительности, есть единственная история в действии и философия в действии, единственно верная политика»[1]. Эти слова Грамши полностью относятся к Макиавелли как к личности, как к политику и к его методу анализа и методу действования. Не просто вращение в сфере реальной действительности, ради сохранения существующего равновесия сил, а активное применение воли к созданию нового равновесия реально существующих и действующих сил, чтобы превзойти реальную действительность и победить. В этом суть учения Макиавелли и макиавеллизма, суть политической и исторической философии, суть настоящей политики, призванной решать конкретно-исторические задачи.

Грамши далее дает блестящую и точную оценку метода Макиавелли и метода Савонаролы, разницу между ними и различие ограниченности того и другого. «Противоположность Савонаролы – Макиавелли не есть противоположность между быть (essere) и должно быть (dover essere)... а противоположность между двумя «должно быть» (dover essere), абстрактным и расплывчатым Савонаролы и реалистическим Макиавелли, реалистическим, даже если это «должно быть» и не стало непосредственной реальностью, потому что нельзя ожидать, чтобы индивид или книга изменили действительность: они могут лишь интерпретировать ее и наметить возможную линию действия. Ограниченность и убогость Макиавелли состоят только в том, что в бытии он был «частной личностью», писателем, а не главой Государства или войска, который, также являясь чистой отдельной личностью, имеет, однако, в своем распоряжении силы

---

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 5, «Note sul Machiavelli...», p. 39.

Государства или войска, а не только войска слов. Поэтому нельзя говорить, что Макиавелли был «безоружным пророком» («profeto disarmato»): это означало бы преуменьшить его духовное значение. Макиавелли никогда не говорит, что он думает об изменении действительности или намерен сам изменить реальность, он только лишь стремится конкретно показать, как должны были бы действовать исторические силы, чтобы быть эффективными»[1].

Двойственная природа макиавеллиевского Кентавра, звериная и человеческая, теоретически могут быть сведены к двум основным ступеням – к ступеням силы и согласия, власти и гегемонии, насилия и гражданственности, индивидуального и универсального («церкви» и «государства»), тактики и стратегии и т. д., то есть к ступеням «двойной перспективы» в политической деятельности и в государственной жизни. И, конечно же, научное предвидение нельзя сводить к чему-то плоскому и убогому, к безоглядному эмпирическому следованию одного события за другим. Напротив, чем шире диалектический диапазон между первой самой конкретной и элементарной ступенью перспективы и ее второй – самой сложной, а потому и более «отдаленной», тем точнее будет предвидение, подобно тому как в человеческой жизни чем в большей степени индивидуум принужден защищать собственное непосредственное физическое существование, тем в большей степени в своих утверждениях и действиях он опирается на все более сложные и высокие ценности цивилизации и человечества.

Перспектива исторического развития, которую наметил Макиавелли, в силу конкретных условий того времени не могла реализоваться. Это вовсе не значит, что предвидение Макиавелли потерпело фиаско. Напротив, как мы знаем, история подтвердила правильность и реалистичность политической философии Макиавелли, предсказанную им перспективу действий исторических сил, которые в конце концов одержали победу, хотя и много лет спустя после смерти Макиавелли.

Если вдуматься в творчество великих мастеров эпохи Возрождения, то, несомненно, можно прийти к выводу, что каждый из них и все вместе они вырабатывали, формировали и развивали новую концепцию гуманизма или новое гуманистическое мировоззрение. Конгениальное чувство времени, постижение главных проблем эпохи, попытка их теоретического и практического решения, универсальный, всеобъемлющий взгляд на природу, мир и человека, активное участие в практической, теоретической и политической жизни и борьбе – эти черты характера не могли не сказаться на

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 5, «Note sul Machiavelli...», p. 39–40.

содержании и облике разрабатывавшегося ими нового гуманизма. Эпоха нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености, и, в свою очередь, содержание, развитие, социальные параметры эпохи определялись во многом гением, характерами, умами и душами этих титанов. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, содержавшую в себе некоторые идеи, которые много позднее были вновь подхвачены Монталамбером и новейшим немецким учением о фортификации. Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал «Марсельезой» XVI века. Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, создающее однобокость влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключением; это или люди второго и третьего ранга, или благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцы»[1]. Тесная связь с жизнью, активное участие в практической и теоретической деятельности необычайно развивала социальные параметры каждой из этих личностей. Основательное усвоение предшествующей культуры позволя-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346–347.

ло им почти безошибочно улавливать как бы носившиеся в воздухе важнейшие проблемы эпохи и помогало находить более или менее верные способы их решения. В отличие от гуманистов, стремившихся оживить и возродить литературно-риторическую традицию, восходящую к Древнему Риму, титаны эпохи Возрождения в своих произведениях, в своем творчестве «воскрешали» не то, что умерло, а то, что должно народиться, «воскрешали» не далекое прошлое, а близкое и далекое будущее; решая реальные и жгучие проблемы современной им жизни, они, благодаря универсальности решений, выводили свои произведения на общечеловеческий уровень, на уровень, придающий их творениям характер вечности. «Божественные» добродетели произведений литературы, поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры были призваны не для того, чтобы укрепить в народе веру в бога, а для того, чтобы вернуть человеку собственно человеческие доблести и добродетели. «Божественный» мир, святое семейство было «формой» собственно человеческого земного содержания, направленного на то, чтобы привести человека не к стопам бога, а к другому человеку, к другим людям, к самому себе. Чтобы решать вечные общечеловеческие проблемы, необходимо было начать решать конкретные проблемы, выдвигавшиеся реальной жизнью Италии того времени.

Усилия великих умов Возрождения были направлены на изучение природы, общества, мышления. Основными характеристиками человека этой эпохи постепенно становятся наука, техника, искусство, то есть такие характеристики, которые будут основными измерениями человека будущего, человека нового времени, человека современности. В этом смысле титаны эпохи Возрождения являются основоположниками нового гуманизма и его носителями, ибо их новое мировоззрение выводилось из развития науки, техники и искусства и опиралось на них в своем дальнейшем развитии. Однако, несмотря на то что Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и другие великие мастера эпохи Возрождения положили начало современному исследованию природы, невиданному расцвету искусства, новой современной литературе, уничтожили призраки средневековья, сломили духовную диктатуру церкви, укоренили и стали развивать дальше новое мировоззрение – жизнерадостное свободомыслие, – ощущалось отсутствие какого-то очень важного измерения, в котором бы, как в фокусе, четко выражались наиболее существенные требования настоящего и задачи дальнейшего развития Италии и Европы. Это «четвертое» измерение или основа нового мировоззрения и нового гуманизма принадлежит Макиавелли, который, кроме науки, техники и искусства, предложил политику как самую действенную общественную силу истории. Как Леонардо находил новую общественную силу в науке живописи, так Ма-

киавелли находит эту новую общественную силу в политике. Он отдавал должное и науке, и технике, и искусству. Однако Макиавелли, в отличие от своих гениальных современников, не говоря уж о предшественниках, понимал, что новая общественная сила может стать таковой только тогда, когда она приведет в движение огромные массы людей. Следовательно, такой силой может быть только та сфера, которая выражает коренные интересы народа, то есть политика. С этой точки зрения Макиавелли не был удовлетворен функциональными параметрами науки, техники и искусства. В особенности это относилось к искусству. И это имело известные основания как в соотношении политики и искусства вообще, так и в конкретных формах взаимоотношения искусства и жизни народа, искусства и политики, художника и политика.

Относительно взаимоотношения политика и художника следует принять во внимание тонкое и глубокое рассуждение Грамши, которое не потеряло своего значения и по сей день: «У литератора неизбежно менее точное и определенное ви́дение, чем у политического деятеля, он должен быть в меньшей степени «сектантом», если так можно выразиться, но не без «противоречий». Для политика всякий «фиксированный» образ априорно является реакционным; он рассматривает все в становлении. Художник, напротив, должен представлять себе образы в «фиксированной», окончательной форме. Политик представляет себе человека таким, каков он есть, и в то же самое время – каким он должен быть, чтобы достигнуть определенной цели; работа политика как раз в том и состоит, чтобы привести людей в движение, вывести их за пределы нынешнего их состояния, дабы они обрели способность коллективным путем достигнуть поставленной цели, то есть «сообразоваться» с нею. Художник неизбежно изображает «то, что есть» в данный момент (личностное, не подвергающееся приспособлению и т. д.), изображает реалистически. Поэтому с точки зрения политической политик никогда не будет доволен художником и не сможет быть доволен: он всегда найдет, что художник плетется в хвосте, анахроничен, отстает от реального прогрессивного движения».

Относительно взаимоотношения искусства и жизни народа или взаимоотношения народа и культуры можно заметить, что углублявшийся и расширявшийся разрыв между ними требовал радикальных, революционных преобразований, следовательно, требовал вовлечения в активную общественную, политическую, творческую жизнь огромных народных масс. Этого не в состоянии были сделать ни один из видов литературы и искусства, ни культура вообще, поскольку дальнейшее развитие литературы, искусства и культуры нуждалось в уничтожении разрыва, существовавщего между ними и жизнью народа. Вот почему Макиавелли, размышляя над со-

циально-экономической, политической и духовной ситуацией своего времени, сфокусировал чаяния и надежды людей и требования эпохи на политике – новой, самой могучей и действенной общественной силе, способной выработать коллективную волю, сплотить людей и повести их к достижению поставленной цели – созданию объединенного национального государства, которое бы раскрыло перспективы дальнейшего всестороннего прогрессивного исторического развития человека, общества и государства.

В том, что эти взгляды Макиавелли были гуманизмом, сомневаться не приходится. Вот что пишет, например, об этом один из самых проницательных буржуазных политических философов М. Мерло-Понти, стоящий в целом на довольно реакционных позициях: «Если гуманизмом называть философию человека внутреннего, не видящего никакой принципиальной трудности во взаимоотношениях с другими, никакой непрозрачности в социальном функционировании и заменяющего политическую культуру моральным превосходством, то Макиавелли не гуманист. Но если гуманизмом называть философию, занимающуюся проблемой взаимоотношений человека с человеком и установлением между ними общей для них истории и ситуации, тогда необходимо признать, что Макиавелли сформулировал некоторые условия любого серьезного гуманизма. И тогда столь обычное сегодня осуждение Макиавелли приобретает тревожный смысл: это было бы решение, ведущее к игнорированию задач подлинного гуманизма. Имеется способ дезавуировать Макиавелли «макиавеллически» – таковы святошеские хитрости тех, кто направляет свои и наши взоры к своду принципов, чтобы отвести их от своих деяний. И имеется способ, совершенно противоположный макиавеллизму – восхвалять Макиавелли, поскольку этот способ воздает честь его вкладу в политическую ясность»[1].

Мы же вместе с Грамши можем сказать более ясно и определенно, что политическая философия Макиавелли, содержащая в зародыше элементы духовной и нравственной революции, политическая философия, наиболее тесно связанная с жизнью эпохи, была своеобразным завершением, вершиной ренессансного гуманизма, была формой неогуманизма, близкого гуманизму философии практики.

Размышляя над произведениями Макиавелли, Грамши приходит к следующему выводу относительно современного значения и перспектив главных и самых существенных идей великого флорентийца: «Современный государь, государь-миф, не может быть реальной личностью, конкретным индивидуумом, он может быть только организмом; сложным элементом общества, в котором уже начала

---

[1] Maurice Merleau-Ponty. Signes. Paris, Gallimard, 1960, p. 282–283.

конкретизироваться коллективная воля, признанная и частично утверждающаяся в действии. Этот организм, уже порожденный историческим развитием, является политической партией – это первая ячейка, в которой концентрируются зародыши коллективной воли, которые стремятся стать универсальными и тотальными»[1]. Грамши развивает учение о Современном Государе – партии программными положениями: «Современный Государь должен быть и не может не быть глашатаем и организатором интеллектуальной и моральной реформы, что означает создание почвы для последующего развития народной, национальной коллективной воли, воли к достижению высшей и всеобъемлющей формы современной цивилизации... Но возможна ли эта культурная реформа и, следовательно, гражданский подъем угнетенных слоев общества без предшествующих им экономической реформы и изменения социального положения в экономическом мире? Интеллектуальная и моральная реформа не может не быть связана с программой экономической реформы, более того, именно эта программа экономической реформы является конкретным способом, посредством которого представляется любая духовная и нравственная реформа. Современный Государь, развиваясь, опрокинет всю систему интеллектуальных и моральных отношений, поскольку его развитие означает именно то, что всякое действие понимается как полезное или вредное, как достойное или преступное только постольку, поскольку его отправным пунктом является сам Современный Государь и в зависимости от того, служит ли оно усилению его власти или противодействует ей. В человеческом сознании Государь займет место божества или категорического императива, станет основой современной светской культуры и полного светского характера всей жизни, всех отношений, обычаев и нравов»[2].

Буржуазные идеологи относятся к личности и произведениям Макиавелли противоречиво. С одной стороны – резко негативно, за то что он беспощадно и безжалостно раскрывал механизм политической власти, ее средства, задачи и цели, за то что он доводит логику развития своей эпохи и своего класса до конца. С другой стороны, буржуазные идеологи делают из Макиавелли политического мыслителя и политического деятеля, мысли и дела которого якобы пригодны во все времена и во всех обстоятельствах.

Для нас Макиавелли и его творчество имеют прежде всего конкретно-историческую и культурную ценность. Будучи одним из самых крупных и замечательных представителей эпохи Возрождения,

---

[1] Antonio Gramsci. Opere, v. 5, «Note sul Machiavelli...», p. 5.

[2] Ibid., p. 8.

Макиавелли связывает животворные традиции античной мысли и культуры с новым временем и современностью. Из его произведений перед нами предстает вся интеллектуальная, социально-политическая и культурная картина эпохи Возрождения, со всеми ее гуманистическими достижениями и конкретно-исторической ограниченностью, со всеми ее противоречиями, исканиями и борьбой. На его произведениях, может быть, особенно четко можно проследить, как из истории, из исторического диалога с мыслителями прошлого и из осмысления прошлых эпох рождается теория, как из критически-творческого освоения традиции рождается новаторство и как из ретроспективы, рассматриваемой с позиций самых фундаментальных и самых острых проблем современной жизни, вырабатывается перспектива исторического развития.

Макиавелли представляет не только исторический и культурный интерес, но также еще и интерес идеологический и политический. Пока существует буржуазное общество, буржуазное государство, буржуазная политика со всеми ее основными антагонистическими противоречиями, с мощным репрессивным аппаратом власти господствующего эксплуататорского класса, беспощадно подавляющего эксплуатируемые классы, до тех пор личность Макиавелли и его политическая философия будут оставаться в высшей степени актуальными.

К. Долгов





КОМЕДИИ

МАНДРАГОРА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КАЛЛИМАКО.
СИРО.
МЕССЕР НИЧА.
ЛИГУРИО.
СОСТРАТА.
ТИМОТЕО, монах.
ПРИХОЖАНКА.
ЛУКРЕЦИЯ.

КАНЦОНА,

исполняемая хором нимф и пастухов
перед началом комедии *

При нашем кратком веке
не поскупился Рок
и стольким мукам каждого обрек, –

и мы желаньям волю
даем, за годом прожигая год:
кто радостную долю
отвергнет ради горя и невзгод,
себя уверил тот,
что все соблазны мнимы
и нет перипетий,
которые почти невыносимы.

От скуки бесконечной
в леса мы удалились навсегда
и в праздности беспечной
проводим время – скука нам чужда.
Мы потому сюда
сегодня поспешили
и вам поем сейчас,
что праздник ваш и вас почтить решили.

Сюда нас также имя
того, кто вами правит, привело,
кто чувствами благими
исполнен, – разве вам не повезло?
И на душе светло,
да будет он прославлен:
цените своего
владыку и того, кем он поставлен.

* Стихи в комедиях переведены Е. Солоновичем.

ПРОЛОГ

Любезный зритель, бог тебя храни!
Своим расположеньем
ты радуешь и вдохновляешь нас.
Внимая нам, шуметь повремени –
и новым приключеньем
тебя потешим мы, начав показ.
Флоренцию как раз
ты видишь, добрый зритель,
сам – флорентийский житель.
А в будущем тебя мы уморим
тем, что покажем Пизу или Рим.

Направо от меня ты видишь дверь
синьора, что прилежно
Баранция читал, зубря закон.
Там – улица Амура, где, поверь,
паденье неизбежно
и где удел прохожих предрешен.
И если прежде сон
тебя не одолеет,
узнаешь, кто имеет
в господнем храме, что напротив, кров:
приор или аббат – кто он таков.

А тут, налево, юноша живет –
Гваданьи Каллимако,
что из Парижа только прикатил.
Он благородным у друзей слывет
недаром, и однако,
обманом даму скромную смутил.
Он пылко полюбил,
как станет вам известно,
и поступил нечестно,
а впрочем, я безмерно был бы рад,
чтоб вас надули так же – всех подряд.

Спектакль, что вам увидеть предстоит,
зовется «Мандрагора»,
а почему – узнаете потом.
Не очень сочинитель знаменит,
но будет вам умора,
а нет – он угощает вас вином.

С мессером простаком,
с влюбленным вертопрахом
и грешником монахом
вы нынче встретитесь, и, наконец,
вас позабавит парасит-шельмец.

И если легкомысленный сюжет
украсит вряд ли имя
того, кто мудрым бы считаться рад, –
корить за легкость автора не след:
затеями пустыми
он скрасить хочет дней унылый ряд.
Он обратил бы взгляд
к серьезнейшим предметам,
однако под запретом
другие начинанья для него:
за них ему не платят ничего.

Одна награда только суждена –
та, что любой кривится
и все, что зрит и слышит, – все клянет.
Вот и не могут наши времена
с далекими сравниться,
достигнуть благородных их высот.
И, зная наперед,
что лишь хулу получит,
никто себя не мучит:
зачем терпеть лишенья, если труд
туманы скроют, ветры разорвут?

Но если кто-то, автора честя,
желанье возымеет
смутить его, и присных в том числе, –
пусть знает, что и автор не дитя
и смолоду он отдал дань хуле;
что автор на земле,
где внятна речь Тосканы,
в любом найдет изъяны,
что он не преклонится, трепеща,
перед владельцем лучшего плаща.

Пускай себе злословят – наплевать!
Начнем по крайней мере,
не то мы вас оттяжкой утомим.

Что болтовне значенье придавать
или бояться зверя,
какого и не видели живым!
Вот Каллимако. С ним
слуга из дома вышел
и план его услышал.
Вниманье, зритель! И пока не жди
подробностей о том, что впереди.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каллимако, Сиро.

Каллимако. Обожди, постой! Мне надо с тобой потолковать.

Сиро. Слушаю.

Каллимако. Ты, полагаю, изрядно изумился внезапному моему отъезду из Парижа, а теперь, поди, дивишься тому, что я вот уже месяц торчу во Флоренции и бездельничаю?

Сиро. Ваша правда, дивлюсь.

Каллимако. Если прежде я не сказывал тебе того, что скажу теперь, то вовсе не по недоверию к тебе, а так, памятуя, что всяк, кто желает сохранить что-либо в тайне, должен держать язык за зубами... покуда не заставит крайняя нужда. Но уж поскольку без твоей помощи мне не обойтись, выложу тебе все как на духу.

Сиро. Я слуга, а слуге не след совать нос в хозяйские дела, он не должен выпытывать да выслеживать, разве сам хозяин пожелает поделиться с ним своими секретами. А вот тогда уж слуга обязан расстараться вовсю. Так я поступал всегда и намерен поступать впредь.

Каллимако. Знаю, знаю. Ты, верно, не менее тысячи раз слыхал от меня, а теперь услышь и в тысячу первый, что когда мне исполнилось десять лет и я остался круглым сиротой, опекуны отправили меня в Париж, где я и пробыл ровнехонько двадцать лет,

ибо на десятом году моего там пребывания королю Карлу угодно было вторгнуться на нашу землю и тем положить начало нескончаемым итальянским войнам, разорившим нашу Флоренцию; так вот я и рассудил за благо домой не возвращаться, а оставаться в Париже, где я чувствовал себя привольнее и безопаснее.

Сиро. Да уж это так, ничего не скажешь.

Каллимако. И вот, поручив распродать во Флоренции все свое имущество за исключением отчего дома, я остался в Париже, где и провел еще десять счастливых лет...

Сиро. Знаю.

Каллимако. ...деля время между учеными занятиями, развлечениями и торговыми делами; во всем этом я успевал, да так, что ни одно из сказанных дел не страдало. И потому, как ты знаешь, я жил счастливо, доставляя радость своим ближним, никого не обижая, сохраняя приятственные отношения с дворянами и мещанами, чужестранцами и людьми местными, бедняками и богатеями.

Сиро. Сущая правда.

Каллимако. Но Судьбе, видать, показалось, что уж слишком безмятежно я там живу, и она решила подослать в Париж некоего Камилло Кальфуччи.

Сиро. Кажется, я начинаю догадываться о вашей занозе.

Каллимако. Сказанного Кальфуччи я частенько приглашал вместе с другими земляками-флорентийцами к себе домой. И вот как-то раз, когда беседовали мы о том о сем, у нас возгорелся спор: кто красивее – итальянки или француженки.

В Италии я был еще мальчонкой и потому ввязываться в этот спор не почел себя вправе, а вот другой флорентиец взял сторону француженок, а Камилло – итальянок. И долго они препирались на этот предмет, и под конец Камилло, обозлившись, сказал, что если бы даже все итальянки были уродками, то и тогда одна только его родственница не дала бы посрамить итальянских женщин.

Сиро. Теперь мне ясно, о чем хотите вы мне поведать.

Каллимако. И он назвал мадонну Лукрецию, жену мессера Ничи Кальфуччи, красоту и повадки ее он так превознес, что всех нас лишил не только сна,

но и дара речи. Во мне же он возжег такое желание ее увидеть, что я, оставив какие бы то ни было сомнения и не помышляя более ни о войне, ни о мире в Италии, положил вернуться сюда. Приехав же, убедился воочию, что молва о мадонне Лукреции сущая чепуха по сравнению с явью. А это, как ты знаешь, случается далеко не часто. Словом, я так распалился желанием обладать ею, что не нахожу себе места.

Сиро. Когда б вы мне сказали об этом в Париже, я бы сумел подать вам добрый совет, а нынче не знаю, что и сказать.

Каллимако. Открылся я тебе вовсе не ради совета, но отчасти чтобы излить душу, а еще для того, чтобы подвигнуть тебя на помощь, буде она мне понадобится.

Сиро. Постараюсь не подкачать. А есть хоть какая надежда?

Каллимако. Увы, никакой или почти никакой. Скажу тебе прямо: первейшим препятствием является честнейшая ее натура, чуждая любовным помыслам; во-вторых, муж у нее очень богат, да к тому же находится у нее под башмаком. Верно, что он не очень молод, но вроде бы и не слишком стар. Родственников или друзей, с которыми бы она проводила разные там праздники да вечеринки, у нее нет. Нет в ее доме пронырливых мастеровых, а прислуга обоего пола перед нею трепещет. Стало быть, о подкупе и думать нечего.

Сиро. Так что же вы думаете предпринять?

Каллимако. Вообще-то положения, из которого не было бы решительно никакого выхода, на свете не бывает. И пока теплится хоть малейшая надежда, человек не должен впадать в отчаянье.

Сиро. А все-таки?

Каллимако. Тусклые свои надежды возлагаю я, во-первых, на простоту мессера Ничи: он хоть и носит докторскую мантию, но второго такого простофили не сыщешь во всей Флоренции. Во-вторых, на страстное желание супругов иметь детей: уже шесть лет они женаты, богатство имеют огромное, а кому его оставить, если нет детей? Ну и, в-третьих, на былую гульливость маменьки Лукреции. Бабенка она была разбитная, но теперь, когда она зажила в таком достатке, я уж, право, не знаю, как к ней подступиться.

Сиро. Но хоть что-то вы пытались предпринять?

Каллимако. Самую малость.

Сиро. Что именно?

Каллимако. Ты знаешь Лигурио, того, что вечно норовит подкормиться за моим столом? Когда-то он был поверенным по брачным делам, а потом стал прихлебателем в богатых домах. Но поскольку человек он презабавный, то вот мессер Нича и свел с ним дружбу, и Лигурио вечно над Ничей подтрунивает. И хотя Нича за свой стол его не сажает, но иной раз ссужает его деньжишкой. Я нарочно сдружился с Лигурио и открылся в своих чувствах к Лукреции. Лигурио поклялся помогать мне руками и ногами.

Сиро. Глядите только, чтоб не надул. Эти лизоблюды – народ ненадежный.

Каллимако. Так-то оно так. Но раз уж я ему открылся, то хочешь не хочешь, а для пользы дела надо ему верить. Тем более что в случае успеха он получит от меня изрядный куш. А коли дело сорвется, то пусть утешится обедом и ужином; мне не жаль, ведь ты знаешь, что я все равно один за стол не сажусь.

Сиро. И что же обещал этот прощелыга?

Каллимако. Обещал уговорить мессера Ничу отправиться в мае на целебные воды.

Сиро. А вам-то с этого какой прибыток?

Каллимако. Какой, говоришь? Да ведь возможно, что пребывание на водах изменит ее привычки. В таких местах молодых тянет к развлечениям. Я тоже туда отправлюсь и, не жалея затрат, буду закатывать всякие празднества и увеселения. Быть может, мне удастся сойтись с ней и с ее муженьком. Да разве наперед все предусмотришь? Так, мало-помалу, а там, глядишь, время и подсобит нам.

Сиро. Придумано не так уж дурно.

Каллимако. Сегодня, уходя от меня, Лигурио обещал поговорить с Ничей об этой поездке, а потом пересказать их разговор мне.

Сиро. Вот оба наших голубчика.

Каллимако. Спрячусь-ка я покамест, чтобы потом сразу перехватить Лигурио, едва он расстанется с этим ученым мужем. А ты сыпь домой и займись своими делами. Если потребуешься – я тебя кликну.

Сиро. Я пошел.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ница, Лигурио.

Ница. Сдается мне, что совет твой недурен. Вчера я говорил об этом с женой. Она обещала подумать и сегодня дать ответ. Ну а если сказать по правде, то не лежит у меня душа к этой поездке.

Лигурио. Почему же?

Ница. Мне всегда тяжко стронуться с места. Всякие там сборы, жена, прислуга, барахло... Короче, не люблю я этих треволнений. Да и кроме того, вчера же вечером я говорил с разными врачами. И вот один шлет в Сан-Филиппо, другой советует ехать в Порретту, третий – в Виллу. Сами гусаки гусаками, а с каким важным видом несут всякий вздор!

Лигурио. Да вы же злы на них лишь оттого, что, как сами только что сказали, вам до смерти не хочется покидать Флоренцию.

Ница. Вовсе нет! В молодости я был очень легок на подъем. В Прато не бывало ярмарки, чтобы я на ней не присутствовал, и нет во всей округе местечка, в котором бы я не побывал. Да что в округе! Я и в Пизе, и в Ливорно бывал!

Лигурио. Стало быть, видели пизанскую карруколу?

Ница. Верруколу, хотел ты сказать.

Лигурио. Да, да, именно Верруколу. А в Ливорно море видели?

Ница. Еще бы не видел!

Лигурио. А оно много больше Арно?

Ница. Какое там Арно! Да оно в четыре, в шесть... в семь раз больше: сплошь вода, вода, вода...

Лигурио. Вот я и удивляюсь, как это вы, где только не успевший помочиться, боитесь съездить на какие-то жалкие воды.

Ница. Эх ты, молокосос! Думаешь, такой пустяк перевернуть все вверх дном и куда-то нестись? Впрочем, я так хочу ребенка, что готов ради этого на любое безрассудство. Поговори-ка ты сам с этими учеными мужами, узнай, куда они присоветуют мне ехать, а я пойду к жене. Потом встретимся.

Лигурио. Вы мудро рассудили.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Лигурио, Каллимако.

Лигурио. Не думаю, чтобы в мире сыскался больший осел! И как же при этом милостива к нему судьба, одарившая его богатством, красавицей женой, умной, благонравной, способной управлять не то что домом, но целым государством. Вот уж редко выходит по пословице: «муж да жена – одна сатана», потому как частенько видим человека достойного, женатого на ведьме, и, напротив, женщину разумную замужем за придурком. Впрочем, не будь Нича такой стоеросовой дубиной, на что бы еще мог надеяться наш несчастный влюбленный? Вот, кстати, и он сам. Кого ты там высматриваешь, Каллимако?

Каллимако. Да вот, углядев тебя с этим ученым мужем, я решил дождаться конца вашего собеседования и узнать, чего ты сумел добиться.

Лигурио. Ты же знаешь, что это за личность: и разумом не силен, а уж решительности ни на грош. Ему страсть не хочется трогаться из Флоренции. Но я его маленько подзадорил, и он под конец обещался пойти решительно на все. Полагаю, что если мы сами не передумаем, то эта поездка на воды состоится, хоть я и не уверен, добьемся ли мы главной своей цели.

Каллимако. Это еще почему?

Лигурио. Да ведь всяко может случиться! Ты же знаешь, что на эти воды съезжается народ разный и вполне может сыскаться человек, которому мадонна Лукреция понравится так же, как тебе, да к тому же он окажется еще богаче тебя, да и привлекательнее. Словом, не пойдут ли все наши труды прахом и не обернутся ли они на пользу кому-нибудь другому? Ведь обилие воздыхателей может сделать нашу красотку либо взыскательнее и неприступнее, либо размягчить и бросить в объятия другого счастливчика.

Каллимако. Верно, может и так случиться. Но мне-то как быть? Что придумать? На что решиться? Я должен что-то предпринять – пусть что-то неслыханное, пусть опасное, пусть опрометчивое, пусть даже бесчестное... Лучше смерть, чем этакие муки. Когда б

я был способен спать по ночам, есть, беседовать с друзьями, хоть чем-то отвлечься, тогда б я мог спокойно дожидаться благоприятного случая; сейчас же все мне представляется в полнейшем мраке, и, не возникни хоть ничтожная надежда, я больше не жилец на этом свете. А раз уж я приговорен к смерти, то ничего мне более не страшно, и я готов решиться на поступок самый дикий, жестокий и бесчестный.

Лигурио. Зачем уж так! Надо обуздывать душевные свои порывы.

Каллимако. Ты же понимаешь, что, обуздывая их, я только еще пуще растравляю себя. А потому надобно либо выпроводить Ничу на воды, либо попытаться сыскать другой какой способ, могущий подать надежду, пусть даже ложную, которая хотя б отчасти умягчала душевные мои муки.

Лигурио. Ты прав, и я готов всячески тебе содействовать.

Каллимако. Верю, хотя и знал, что людишкам вроде тебя – их хлебом не корми, только дай когонибудь надуть. Надеюсь, впрочем, что со мной ты так не поступишь, ибо если я что-либо подобное замечу, то мигом откажу тебе от дома, да и обещанного вознаграждения не видать тебе как своих ушей.

Лигурио. В преданности моей не сомневайся; ведь если бы я даже и не жаждал вознаграждения, на которое, правду сказать, сильно рассчитываю, то и тогда желание твое настолько мне понятно, что я хочу его исполнения ничуть не меньше, чем ты сам. Но бросим этот разговор. Ученейший мой друг поручил мне отыскать врача, который бы точно указал, на какие воды следует ехать. Послушай: я представлю тебя Ниче и скажу, что ты изучал медицину и даже имел в Париже некоторую практику. Нича легко поверит, во-первых, потому, что он болван болваном, а во-вторых, потому, что ты человек ученый и можешь вкрутить ему что-нибудь по латыни.

Каллимако. Что же это нам даст?

Лигурио. Поможет спровадить его на те воды, на какие мы хотим, а быть может, даже провернуть одну штуку, которую я измыслил, и штука эта мне кажется вернее, прямее и легче осуществимее, чем воды.

Каллимако. Правда?

Лигурио. Вот те крест! Соберись с духом, доверься мне, и мы обтяпаем это дельце не далее как завтра к этому же часу. И окажись Нича не таким ослом, за какого мы его принимаем, попробуй он даже допытываться, лекарь ты на самом деле или нет, недостаток времени да и необычность дела не позволят ему в этом разобраться; а если даже и разберется, то все равно помешать не успеет.

Каллимако. Ты возвращаешь мне жизнь! Обещание твое столь невероятно, что ты вселяешь в меня, быть может, слишком великую надежду. Что ты надумал?

Лигурио. Узнаешь в должное время, теперь некогда об этом рассуждать, ибо времени в обрез на самое дело, а не то что на порожние разговоры. Отправляйся домой и жди меня там, а я пойду за Ничей и если приведу его к тебе, то ты внимательно следи за тем, что я буду говорить, и соответственно себя веди.

Каллимако. Исполню все в точности, хотя и боюсь, что внушаемая тобой надежда развеется как дым.

КАНЦОНА

Кто не изведал, как
могуч Амур, немало ошибется,
когда назвать возьмется
первейшее среди небесных благ.
Он знать не может, как за шагом шаг
все дальше от безбедных дней уходят,
как, больше, чем себя,
другого полюбя,
надеждой сердце, трепетом изводят
и как не только в людях – и в богах
твой арсенал, Амур, рождает страх.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лигурио, Нича, Сиро.

Лигурио. Вот видите, не иначе как сам господь бог ниспослал вам того, кто способен помочь исполнению сильнейшего вашего желания. В Париже этот человек имел богатейшую практику, а вот тому, что здесь, во Флоренции, он не занимался своим искусством, вы не поражайтесь. Тому есть две причины: во-первых, он достаточно богат, а во-вторых, он вот-вот собирается вернуться в Париж.

Нича. В этом-то, братец мой, и вся загвоздка! Только размечтаешься, а тут как раз и останешься с носом.

Лигурио. Пусть вас это не тревожит: только бы он взялся за лечение; а уж коли возьмется, то не бросит, покамест не добьется своего...

Нича. Стало быть, я полагаюсь на тебя, а вот что касается учености, то я уж и сам мигом определю, чего она стоит. Меня на мякине не проведешь!

Лигурио. Вот-вот, именно оттого, что вас-то я знаю, я и веду вас к нему, дабы вы сами с ним поговорили. И ежели, поговорив с вами, он не покажется вам по внешности своей, по своей учености и приятности обращения человеком, на которого можно положиться как на самого себя, то можете плюнуть мне в глаза.

Нича. Ну что ж, тогда, благословясь, пошли. Где он живет?

Лигурио. Да на этой площади: вон его дверь, как раз против вашей.

Нича. В добрый час.

Лигурио. Вот мы и пришли.

Сиро. Кто там?

Лигурио. Каллимако дома?

Сиро. Дома.

Нича. Почему не говоришь ты «маэстро Каллимако»?

Лигурио. Он на это чихает.

Нича. Чихает или не чихает, а ты величай его как должно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Каллимако, Нича, Лигурио.

Каллимако. Кто там ко мне?

Нича. Bona dies, domine magister[1].

Каллимако. Et vobis bona, domine doctor[2].

Лигурио. Ну как?

Нича. Недурно, клянусь святцами.

Лигурио. Если хотите, чтобы я участвовал в разговоре, то говорите так, чтобы я понимал, иначе гусь свинье не товарищ.

Каллимако. Чем могу служить?

Нича. Да как вам сказать? Хотелось бы потолковать о двух вещах, которых иной бы разумно старался избежать, то есть хлопотах для себя и для своих близких. У меня, видите ли, нет детей, и вот для того, чтобы взвалить на себя эту ношу, я решился побеспокоить вас.

Каллимако. Помилуйте, да разве это беспокойство – услужить вам или другим, столь же достойным и прекрасным людям! Да и для чего же я столько лет трудился в Париже, как не для того, чтобы служить людям, подобным вам.

Нича. Великое вам спасибо. А когда вам понадобится мое искусство, считайте, что я целиком к вашим услугам. Но вернемся ad rem nostram[3]. Скажите, какие, по-вашему, целебные источники помогли бы моей жене зачать ребенка? Я знаю, что Лигурио уже говорил вам о том, о чем я говорю сейчас.

Каллимако. Сказать-то он сказал, но для того, чтобы исполнить ваше желание, надобно знать причину бесплодия вашей супруги, ибо причины бывают разные. Nam causae sterilitatis sunt: aut in semine, aut in matrice, aut in strumentis seminariis, aut in virga, aut in causa extrinseca[4].

Нича. Да это самый достойный человек на свете!

---

[1] Добрый день, господин магистр *(лат.)*.

[2] И вам день добрый, господин доктор *(лат.)*.

[3] К нашим делам *(лат.)*.

[4] Ибо причины бесплодия заключаются либо в семени, либо в матке, либо в семенном аппарате, либо в мужском органе, либо во внешних причинах *(лат.)*.

Каллимако. Помимо того, причиной бесплодия может быть ваше бессилие, а уж коли так, то тут уж ничто не поможет.

Нича. Мое бессилие? Да вы что, хотите уморить меня со смеху? Не думаю, что во всей Флоренции отыщется еще второй такой крепыш по этой части, как я.

Каллимако. В таком случае будьте уверены, что мы отыщем верное средство.

Нича. А не найдется ли средства помимо целебных вод? Уж очень мне не хочется затевать всю эту кутерьму с отъездом, да и жене не любо расставаться с Флоренцией.

Лигурио. Наверняка найдется! Еще как найдется! Просто Каллимако излишне осторожен. Разве не сказали вы сами, что знаете такое питье, которое хоть кого заставит забрюхатеть?

Каллимако. Конечно, есть такое питье. Но я имею дело с людьми, которых не знаю, и потому не хотел бы, чтобы они приняли меня за шарлатана.

Нича. Во мне не сомневайтесь, ибо своими достоинствами вы привели меня в такое восхищение, что я готов поверить любому вашему слову и выполнить любое ваше предписание.

Лигурио. Полагаю, что вам прежде всего необходимо исследовать мочу.

Каллимако. Конечно, без этого никак не обойтись.

Лигурио. Кликните Сиро, пусть он сходит с доктором к нему домой, возьмет мочу, а мы подождем его тут.

Каллимако. Сиро, сходи с ним. А вы, магистр, если надумаете, возвращайтесь побыстрее, и мы вместе пораскинем умом, что делать дальше.

Нича. Как это «если надумаю»? Я вмиг вернусь, ибо уповаю на вас больше, чем венгерец на свою шпагу.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Нича, Сиро.

Нича. Твой хозяин истинно великий человек

Сиро. Да побольше, чем вы думаете.

Н и ч а. С ним, поди, считается сам король Франции.

С и р о. И еще как!

Н и ч а. Наверное, по этой-то причине он и любит Францию.

С и р о. А по какой же еще!

Н и ч а. И отлично делает. В наших краях – одни невежды да выжига на выжиге, истинная добродетель тут не в цене. Если бы твой хозяин жил здесь, то никто б на него даже не взглянул. Уж я-то на собственной шкуре это испытал... я, который не одну пару штанов просидел, изучая латынь; кабы не наследство – хорош бы я был!

С и р о. Дукатов сто в год зарабатываете?

Н и ч а. Гроша ломаного не зарабатываю! Тут, во Флоренции, на того правоведа, который не состоит на правительственной службе, и собака не тявкнет. Вот и побирайся за поминальным да за свадебным столом или день-деньской бей баклуши в проконсульской прихожей. Мне-то на это наплевать, я ни в чем нужды не испытываю и ни от кого не завишу. Всем бы так жилось. Впрочем, мне бы не хотелось, чтобы слова мои дошли до чужих ушей, дабы не накликать на себя холеру в виде налога, а то чего-нибудь и похуже.

С и р о. Будьте покойны.

Н и ч а. Вот мы и дома: обожди меня здесь, я мигом вернусь.

С и р о. В час добрый, ступайте.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

С и р о, один.

С и р о. Когда бы все законники были скроены по мерке Ничи, уж чего бы только мы не натворили! Яснее ясного, что этот проходимец Лигурио и ошалевший мой хозяин доведут его до какого-нибудь срама. Пусть себе озоруют, лишь бы не получилось огласки, ибо в сем случае я рискую жизнью, а хозяин мой – и жизнью и имуществом. И так уж он заделался врачом! Не знаю – что у них на уме и чего они добиваются? Но вот и магистр с урыльником в руке. Кого не рассмешит это огородное пугало?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Н и ч а, С и р о.

Н и ч а. Я тебе потакал буквально во всем, а теперь изволь слушаться меня. Если бы я знал, что у нас не будет детей, то скорее женился бы на простой крестьянке... Ты тут, Сиро? Ступай за мной. Уф, как долго пришлось уламывать эту дуреху, чтобы она согласилась наконец дать мочу! И дело не в том, что она не хочет иметь детей, она еще пуще меня этого желает, но как только я попрошу ее хоть пальцем шевельнуть для этого – начинается истерика!

С и р о. Наберитесь терпения; ласковым словом женщину можно склонить на что угодно.

Н и ч а. Ласковым словом? Осточертели мне эти ласковые слова! Беги, Сиро, скажи маэстро и Лигурио, что я тут.

С и р о. Да вот они и сами тут как тут.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Л и г у р и о, К а л л и м а к о, Н и ч а.

Л и г у р и о. Ученого-то мужа не трудно будет уговорить, а вот жену потруднее, но и тут отыщется средство.

К а л л и м а к о. Принесли мочу?

Н и ч а. Она у Сиро, под плащом.

К а л л и м а к о. Давай сюда. О! Вот признак того, что слабоваты почки.

Н и ч а. Да и мне она кажется мутноватой, а ведь вроде совсем свежая.

К а л л и м а к о. Нет ничего удивительного. Nam mulieris urinae sunt semper maioris grossitiei et albedinis et minoris pulchritudinis quam virorum. Huius autem, in caetera, causa est amplitudo canalium, mixtio eorum quae ex matrice exeunt cum urina[1].

---

[1] Женская моча всегда гуще и мутнее мужской. Причина этого заключается, между прочим, в ширине каналов и смешении мочи с выделениями из матки *(лат.)*.

Нича. Уффа, клянусь невинностью святого Пуччо! Да он просто с каждой минутой становится любезнее моему сердцу. Поглядите, как лихо он разбирается в этой материи.

Каллимако. Боюсь, не мерзнет ли она у вас по ночам? Не оттого ли у нее и моча мутная?

Нича. Да нет, я уж такого наддаю ей жара... Впрочем, перед тем, как улечься, она часа по четыре простаивает на коленях, бормоча молитвы, и, стало быть, терпит холод по собственной дурости.

Каллимако. И наконец, высокочтимый друг мой, или вы доверяете мне, или нет, а соответственно этому либо я укажу вам верное средство, либо нет. Если верите и согласитесь на него, то ровно через девять месяцев, считая с сегодняшнего дня, женушка ваша будет баюкать на руках прелестного малютку. Коли не так – готов вам уплатить две тысячи дукатов наличными.

Нича. Не тяните; что же это за средство? Ведь я во всем готов следовать вашим советам, а уж верю я вам больше, чем своему духовнику.

Каллимако. Должно вам знать, что нет средства более надежного для того, чтобы женщина забрюхатела, как дать ей выпить настоя мандрагоры. Средство это испытано мною многократно и всякий раз с неизменным успехом. Не будь его, королева Франции так и осталась бы бесплодной, а равно и другие знатные дамы этого королевства.

Нича. Да ну?

Каллимако. Никаких «ну». Судьба же так к вам благосклонна, что у меня оказалось все необходимое для этого питья, и вы можете получить его хоть сегодня.

Нича. А когда она должна принять его?

Каллимако. Сегодня после ужина, ибо луна как раз находится в нужной фазе и времени более благоприятного нам не дождаться.

Нича. Ну тогда дело слажено. Готовьте питье, а я заставлю жену выпить его.

Каллимако. Есть тут, впрочем, одна загвоздка: тот, который переспит с ней после этого снадобья, умрет ровно через восемь дней, и тут уж ничто не сможет его спасти.

Нича. Ну уж черта с два! Не желаю я вашего

пойла, меня на удочку не подцепишь. Эк куда хватили!

Каллимако. Успокойтесь, и тут есть выход.

Нича. Какой?

Каллимако. Заставить переспать с ней другого, и тот примет всю эту отраву на себя. После чего можете нежиться со своей женой сколько влезет и без всякой притом опаски.

Нича. Нет, мне это не подходит.

Каллимако. Почему?

Нича. Да потому, что не желаю делать свою жену публичной девкой, а себя рогачом.

Каллимако. Как это вы, такой умный и ученый человек, можете так рассуждать? О, вы вовсе не такой мудрец, каким мне казались. Неужели вы не решаетесь сделать то, что сделал сам король Франции и множество других именитейших особ?

Нича. Да где же я сыщу такого болвана, который бы решился на подобное безумие? Если я предупрежу его, он, понятно, не пожелает; если не предупрежу – то, стало быть, сознательно обману, а это подсудно трибуналу Восьми. А мне вовсе не улыбается угодить в его лапы.

Каллимако. Если ничто другое вас не беспокоит, то предоставьте все это уладить мне.

Нича. А как вы это уладите?

Каллимако. Очень просто: я дам вам питье сегодня после ужина; вы дадите его жене и сразу же уложите ее в постель, этак часов в десять. После чего вы, Лигурио, Сиро и я перерядимся, выйдем, будто на прогулку по окрестным улицам, сцапаем первого попавшегося подгулявшего молодчика, завяжем ему глаза и, подгоняя палками, отведем в ваш дом. Затем, в полной темноте, проведем его в спальню и там уложим его в постель к вашей жене, предварительно объяснив, что нужно делать, а уж тут, ручаюсь, никаких затруднений не возникнет. На рассвете выпроводим его из дому, вы прикажете помыть супругу и возляжете с ней в свое удовольствие, не опасаясь никаких последствий.

Нича. Я не против. Тем более, как ты говоришь, король, принцы и другие сиятельные господа все так поступали, но лишь бы про это кто не пронюхал к великой радости треклятой «Восьмерки»!

Каллимако. Да кто же может пронюхать?

Нича. Так-то оно так, но все же остается еще одно немаловажное препятствие.

Каллимако. Какое?

Нича. Жена. Не думаю, что будет так легко ее уговорить.

Каллимако. Верно. Но я бы не желал быть мужем жены, которую не мог бы заставить поступать по-моему.

Лигурио. Я знаю, как помочь делу.

Нича. Выкладывай.

Лигурио. Нам поможет ее духовник.

Каллимако. А кто уговорит духовника?

Лигурио. Ты, я, деньги, общая наша испорченность.

Нича. Кроме того, жена вряд ли меня послушается и пойдет к духовнику за советом по такому делу.

Лигурио. И тут есть выход.

Каллимако. Сказывай.

Лигурио. Пусть ее уговорит мать.

Нича. Ей она верит.

Лигурио. Мать наверняка будет с нами заодно. Пошли, надо спешить, уже смеркается. Ты, Каллимако, ступай проветрись и помни, что в восемь часов мы зайдем к тебе. Зелье должно быть уже готово. Мы же с Ничей пойдем уговаривать мать. Ее я беру на себя. Потом сходим в монастырь к духовнику и обо всем известим вас.

Каллимако. Ах, не оставляйте меня одного!

Лигурио. По-моему, ты просто ошалел от радости.

Каллимако. Что же мне делать все это время?

Лигурио. Делай что хочешь. Флоренция велика, поброди по улицам.

Каллимако. Да я еле на ногах стою.

КАНЦОНА

Блажен, кто от рожденья глуп не в меру
и принимает все, как есть, на веру.
В нем честолюбья нет,
и страх ему неведом,

от коих столько бед,
ведущих к новым бедам.
Мечта законоведом
владеет – стать отцом,
но, будучи глупцом,
чтобы достичь того, о чем мечтает,
поверит он, что и осел летает.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сострата, Нича, Лигурио.

Сострата. Я и раньше слыхивала, что разумный человек всегда выбирает из двух зол меньшее. Раз заполучить ребенка иным путем нельзя, то, стало быть, и этот сгодится. Конечно, не в ущерб своей совести.

Нича. Святые слова.

Лигурио. Вы поговорите с дочкой, а мы с мессером сходим к брату Тимотео, ее исповеднику, и все ему объясним, избавив вас от лишних хлопот и разговоров. Вот увидите, что он вам скажет.

Сострата. Договорились. Вы туда, а я к Лукреции, и, уж будьте уверены, я заставлю ее поговорить с монахом.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Нича, Лигурио.

Нича. Быть может, Лигурио, тебе покажется удивительным, к чему прилагать столько усилий, чтобы уломать собственную жену, но кабы ты знал все, как есть, то, поди, нисколько не удивился бы.

Лигурио. Думаю, оттого это происходит, что все женщины ужасно подозрительны.

Нича. Нет, не в этом суть. Лукреция всегда была на редкость кроткой и сговорчивой. Но вот однажды одна наша соседка сболтнула, что если

Лукреция даст обет выстоять сорок заутрень у Сервитов, то забрюхатеет непременно. Лукреция дала обет и половину отстояла. Всего половину, потому как на двадцатый раз один из этих распутных монахов начал ее обхаживать, да так, что она больше не пожелала и ногой ступить в тамошнюю обитель. Скверно, что призванные служить примером поступают так подло. Верно я говорю?

Лигурио. Еще бы, дьявол их раздери, еще бы не верно!

Нича. Так вот, с той поры Лукреция вечно настороже. Что ей ни скажи – сразу подозревает недоброе.

Лигурио. Тогда все понятно! Ну, а как обошлось с обетом? Так вот и пошло все псу под хвост?

Нича. Пришлось просить разрешения.

Лигурио. И то дело. Кстати, если есть при себе, дайте двадцать пять дукатов. В подобных случаях приходится идти на издержки, надо же умягчить монаха, да еще пообещать ему куш пощедрее.

Нича. На, бери. Мне это тьфу, пустяк. С лихвой наверстаю на ком-нибудь другом.

Лигурио. Все эти монахи ужасно продувные бестии! Оно, впрочем, и понятно, потому как им хорошо ведомы и наши, и собственные их грешки. И кто не имел с ними дела, легко может попасть впросак. Обведут вокруг пальца как миленького. А потому я бы не хотел, чтобы вы своими замечаниями испортили всю обедню, ибо ваш брат, сидящий битый день за учеными занятиями, разбирается в своих книгах, а в делах житейских ни бельмеса не смыслит. *(В сторону.)* Ведь этакий осел может любое дело сгубить.

Нича. Сделаю все, как ты велишь.

Лигурио. Главное, не мешайте мне и молчите, покуда я не подам вам знак.

Нича. Прекрасно. А какой знак ты мне подашь?

Лигурио. Закрою один глаз и прикушу губу. Или нет! Сделаем иначе: сколько времени вы не виделись с братом Тимотео?

Нича. Да уж лет десять.

Лигурио. Превосходно. Я скажу ему, что за эти годы вы успели оглохнуть, и потому не отве-

чайте и ничего не произносите, разве только мы начнем сильно кричать.

Нича. Понял.

Лигурио. И не подавайте виду, если услышите что-либо такое, что вам может показаться противным нашей цели, потому как все мною сказанное будет лить на нашу мельницу.

Нича. Бог в помощь.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Тимотео, Прихожанка.

Тимотео. Коли хотите исповедоваться, приступим к делу.

Прихожанка. Только не сегодня. Меня ждут. Хватит и того, что я так, походя, хоть немного облегчила душу. Отслужили вы акафисты Богородице, которые я заказывала?

Тимотео. Конечно, как договорились.

Прихожанка. Вот вам флорин, и каждый понедельник в течение двух месяцев служите заупокойную по моему мужу. И хоть был он порядочной скотиной, а все же сердце не камень, плоть-то, поди, не чужая. Как вспомню, так и захочу его... А как думаете, он в чистилище?

Тимотео. А где ж ему быть еще?

Прихожанка. А я так не уверена. Вы же знаете, что он иногда со мной вытворял. Сколько раз я вам жаловалась на него. По возможности я, конечно, сторонилась сколько могла, но он бывал так настырен! О господи, прости меня, грешную!

Тимотео. Не отчаивайтесь, милосердие божье велико, и, если у человека есть желанье, покаяться никогда не поздно.

Прихожанка. А как вы думаете, турок нагрянет в этом году в Италию?

Тимотео. Если не будете молиться, всенепременно нагрянет.

Прихожанка. Не приведи господь! Я страх боюсь, как бы эти нехристи не посадили меня на кол... А, вон там женщина, у которой моя пряжа, пойду к ней. Всего вам доброго!

Тимотео. Ступайте с миром!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Тимотео, Лигурио, Нича.

Тимотео. Правду говорят, что женщины самые сердобольные твари на свете, но зато и самые назойливые. Кто с ними не якшается, тот не знает докуки, но не знает и прибытка, а кто с ними путается – разом получает и то и другое. И то сказать – где мед, там и мухи... Эй, люди добрые, кого вы там ищете? Уж не мессера ли Ничу я вижу?

Лигурио. Громче говорите. Он оглох и почти ничего не слышит.

Тимотео. Добро пожаловать, мессере.

Нича. Доброго здоровья, святой отец.

Тимотео. Что вас привело сюда?

Нича. Все в порядке, благодарствую.

Лигурио. Обращайтесь ко мне, отец. Иначе вам придется так орать, что вся округа придет в смятение.

Тимотео. Чем могу служить?

Лигурио. Мессер Нича и еще один добрый человек, о котором вы еще услышите, хотели бы пожертвовать на нищих несколько сот дукатов.

Нича. Черта лысого!

Лигурио. Молчите, чтоб вас... Это ведь совсем немного... Не удивляйтесь, отец, тому, что он говорит. Ведь он глухой, но иной раз ему кажется, будто он слышит. Вот он и брякает невпопад.

Тимотео. Продолжай, а этот пусть себе мелет, что хочет.

Лигурио. Часть денег при мне. И они хотят, чтобы эти деньги роздали вы по своему усмотрению.

Тимотео. С превеликой охотой.

Лигурио. Но прежде, чем пожертвование будет вам вручено, вы должны помочь в одном деликатном дельце, касающемся мессера. Вы один сумеете помочь там, где замешана честь всего его дома.

Тимотео. Что это за дельце?

Лигурио. Не знаю, знакомы вы с Камилло Кальфуччи, племянником мессера?

Тимотео. Знаком.

Лигурио. Год назад отправился он по каким-то своим делам во Францию и, не имея жены, по-

скольку она умерла, оставил свою взрослую дочь, девицу на выданье, в одном монастыре, название коего вам знать пока не следует.

Т и м о т е о. И что же приключилось с этой девицей?

Л и г у р и о. А то, что либо по беспечности опекавших ее монахинь, либо по собственной своей ветрености девица оказалась брюхатой на четвертом месяце. Стало быть, если не пособить беде, то доктор, монахини, девица, Камилло, вся семья Кальфуччи окажутся опозоренными. Доктор так близко принимает все это к сердцу, что дал обет пожертвовать триста дукатов на богоугодные дела в случае, если удастся избежать огласки.

Н и ч а. Что он несет?

Л и г у р и о. Молчите! И передает эти деньги в ваши руки, святой отец. Ведь только вы да настоятельница монастыря могут нам помочь.

Т и м о т е о. Каким образом?

Л и г у р и о. Убедив настоятельницу дать ей одно зелье, от которого она выкинет.

Т и м о т е о. Тут надо поразмыслить.

Л и г у р и о. Судите сами, сколько отсюда проистечет добра: вы спасете честь монастыря, честь девицы, возвратите отцу дочь, угодите мессеру и всем его близким, раздадите столько подаяний, сколько сможете накроить из этих трехсот дукатов. С другой же стороны, вы губите всего-навсего комочек нерожденного бездушного мяса, который и без того мог бы сгинуть тысячью других способов. За благо я полагаю то, что приносит пользу и удовлетворение наибольшему числу людей.

Т и м о т е о. Во имя божье будь по-вашему. Ради создателя и сострадания к ближнему пусть все произойдет так, как вы желаете. Назовите монастырь, дайте питье, а по возможности и деньги, чтобы я не мешкая мог начать творить добрые дела.

Л и г у р и о. Теперь я вижу, что вы именно тот подвижник, за какового я вас всегда почитал. Вот вам для начала двадцать пять дукатов. Название же монастыря... Простите! Вон там я вижу женщину, которая делает мне знаки. Я мигом обратно. Не оставляйте мессера. Я должен перекинуться с ней двумя-тремя словами.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Тимотео, Нича.

Тимотео. Сколько лет вашей девице?

Нича. Прямо чертовщина какая-то!

Тимотео. Я спрашиваю, сколько лет вашей девице?

Нича. Что б ему, сатане, провалиться!

Тимотео. Почему?

Нича. Да потому!

Тимотео. Вот уж угодил в передрягу! Один псих, другой глухарь. Один удирает, другой ничего не слышит. Впрочем, если деньги не фальшивые, то я сумею сыскать им лучшее применение... А вот и Лигурио!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Лигурио, Тимотео, Нича.

Лигурио. Будьте покойны, мессере. У меня прекрасная новость, святой отец.

Тимотео. Что за новость?

Лигурио. Женщина, с которой я только что разговаривал, сообщила мне, что девица выкинула без нашей помощи.

Тимотео. Прекрасно, стало быть, пожертвованные вами деньги пойдут в другой карман.

Лигурио. Как так?

Тимотео. Я хотел сказать, что теперь намерение ваше сделать крупное пожертвование становится еще уместнее.

Лигурио. Пожертвование будет сделано всенепременно, когда вы только захотите помочь этому ученейшему мужу еще в одном дельце.

Тимотео. В каком же?

Лигурио. Так, сущий пустяк. Дельце куда менее сложное и куда менее скользкое, но и более приятное нам и более выгодное вам.

Тимотео. Что именно? Вы так пришлись мне по душе, что нет вещи, которую я бы для вас не сделал.

Лигурио. Об этом я вам скажу в церкви с глазу на глаз, а ученейший доктор соблаговолит обождать нас здесь. Мы будем мигом обратно.

Нича. Как сказала жаба бороне.

Тимотео. Пошли.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Нича, один.

Нича. День сейчас или ночь? Сплю я или бодрствую? А быть может, я просто пьян? Но вроде бы я сегодня и в рот хмельного не брал, а прямо отправился сюда с этим несносным болтуном. Мы условливались сказать монаху одно, а он ляпнул другое, да еще требует, чтобы я притворялся глухим. А ведь и впрямь следовало бы заткнуть уши подобно некоему герою рыцарских романов, дабы не слышать всей той чепухи, которую он бог весть с какой целью городил! В итоге я уже лишился двадцати пяти дукатов, а о деле моем ни полслова не было сказано. А теперь еще оставили меня стоять тут вороньим пугалом... Впрочем, вот оба наши голубчика. Чума на них, если они не переговорили о моем деле!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Тимотео, Лигурио, Нича.

Тимотео. Сделайте так, чтобы мать и дочь сегодня же пришли ко мне. Я знаю, что я должен сказать им, и если слово мое что-то да значит, то этой же ночью мы спарим наших ребятишек.

Лигурио. Мессер Нича, святой отец готов расшибиться в лепешку. А уж вы заставьте ваших женщин прийти сюда.

Нича. Ты меня воскресил. И у меня будет мальчонка?

Лигурио. Конечно, мальчонка.

Нича. Видишь, меня даже слеза прошибла от умиления.

Тимотео. Ты, Лигурио, пройди в церковь, а я подожду женщин здесь. Встань в сторонку, чтоб они тебя не увидели, и, как только они уйдут, я сообщу их ответ.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Тимотео, один.

Тимотео. Уж не знаю, кто кого облапошил. Этот паршивец Лигурио наплел мне первую историю, просто чтобы испытать меня, и, если б я не согласился, он не открыл бы мне истинной причины своего прихода. Конечно же, все то, что он нес про дочку Камилло Кальфуччи – сплошные враки, но по бесстыдству своему он и не так может оболгать честного человека. Верно, что меня обвели вокруг пальца, но обман этот обернулся мне на пользу. Нича и Каллимако люди состоятельные, и я на глупости одного и плутне другого хорошо заработаю. Конечно, дело это нужно держать в строжайшей тайне, но ведь и они заинтересованы в том же ничуть не меньше моего. Как бы там ни было, но я не раскаиваюсь. Есть, конечно, у меня сомнение, что все пройдет так уж гладко, ибо мадонна Лукреция благочестива и простосердечна. Но ведь как раз на ее простосердечии я и постараюсь сыграть. У всех женщин ума маловато, и кто из них способен слепить хотя бы два слова – слывет за умную, ибо, как говорится, в царстве слепых и кривой король. А вот и мамаша – дурища, какой свет не видывал. Она-то мне и поможет уговорить дочь.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Сострата, Лукреция.

Сострата. Полагаю, ты веришь, доченька моя, что я трепещу за твою честь как никто другой и что я бы тебе не присоветовала ничего такого, что не пошло бы тебе на пользу. Я уже говорила и еще раз повторяю: если отец Тимотео скажет,

что это не пойдет в ущерб твоей совести, не найдет в том никакого греха, то нужно соглашаться не раздумывая.

Лукреция. Недаром я всегда боялась, как бы желание Ничи иметь детей не привело его к какому-нибудь опрометчивому поступку. И потому всегда, когда он что-нибудь мне предлагал, я заранее настораживалась, в особенности после того случая в монастыре Сервитов. Однако из всего того, что нами доселе было испробовано, это кажется мне самым чудовищным. Подумать только, отдать мое тело на поруганье, да еще ценой смерти того, кто над ним надругается. Да кабы я вообще оставалась одной-единственной женщиной на всем белом свете и от меня зависело продолжить человеческий род, то и тогда не думаю, чтобы такое мне было позволено!

Сострата. Доченька, я не сумею тебе толково объяснить. Поговори со святым отцом, послушай, что он тебе скажет, и поступи согласно его совету, нашему совету и советам всех тех, кто желает тебе добра.

Лукреция. От этаких страстей меня в холодный пот бросило.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Тимотео, Лукреция, Сострата.

Тимотео. Добро пожаловать! Мне уже ведомо, чего хотите вы от меня, ибо мессер Нича со мной говорил. А потому более двух часов провел я над божественными книгами, дабы вникнуть в сей редкостный случай, и вот после тщательных изысканий я нашел множество доводов, говорящих в частности и в целом в нашу пользу.

Лукреция. Вы это вправду говорите или шутите?

Тимотео. Ах, мадонна Лукреция! Разве с этим шутят? Вы ведь знаете меня не первый день!

Лукреция. Да, святой отец, но это кажется мне делом самым неслыханным и диким.

Тимотео. На первый взгляд да, конечно, но я бы не хотел, чтобы вы и в самом деле так думали. Существуют поступки, которые со стороны

кажутся ужасными, дикими; однако же при ближайшем рассмотрении они оказываются и терпимыми и человечными. Недаром говорят, что у страха глаза велики. И наш случай – вернейшее тому доказательство.

Лукреция. Дай-то бог!

Тимотео. Я бы желал вернуться к тому, о чем говорил прежде. Что касается вашей совести, то вы должны руководствоваться тем бесспорным правилом, которое гласит, что нельзя жертвовать верным благом ради сомнительного зла. В нашем случае благо верное: вы забрюхатеете и, стало быть, доставите господу нашему еще одну овцу. Сомнительное же зло в том, что тот, кто возляжет с вами после принятия зелья, умрет. Но ведь случается, что от этого и не умирают. Ну, а коль скоро ручаться за это нельзя, то уж лучше, чтобы мессер Нича риску себя не подвергал. Что же касается самого действия, которое якобы греховно, то это пустые россказни, ибо грешит воля, а не тело. А вот не угодить мужу – грех истинный. Вы же, напротив, ему угождаете. Грешно извлекать из того, что вам предстоит, наслаждение, вы же получите одно отвращение. Главное при оценке любых поступков – конечная цель. Ваша цель – попасть в рай и ублаготворить мужа. В Библии сказано, что дочери Лота, полагая, будто остались одни на свете, сошлись с собственным отцом, а поскольку намерение их было добрым, то они не согрешили.

Лукреция. В чем вы хотите меня убедить?

Сострата. Дай себя убедить, доченька. Ужели ты не знаешь, что бездетная женщина и дома не имеет? Умри муж – и она остается одна-одинешенька, яко брошенное животное.

Тимотео. Клянусь вам, мадонна, монашеским своим званием, что для вас подчиниться желанию мужа не больший грех, чем съесть кусок мяса в постную среду. Грех, как известно, смываемый одной каплей святой воды.

Лукреция. К чему вы меня склоняете, святой отец?

Тимотео. Склоняю к тому, за что вы по гроб жизни будете мне благодарны. А уж как вы будете радоваться через девять месяцев!

Сострата. Она сделает так, как вы говорите.

Сегодня вечером я сама уложу ее в постель. Да чего ты боишься, дурочка? Да в нашем городе мигом сыщутся по крайней мере полсотни женщин, которые с радостью бы оказались на твоем месте, да еще со всем усердием благодарили бы за то небеса.

Лукреция. Будь по-вашему, хотя и не думаю, что доживу до утра!

Тимотео. Не бойся, дочка, не бойся. Я буду молить за тебя создателя, да еще вознесу молитву ангелу Рафаилу, дабы он укреплял тебя в праведном твоем желании. Идите с миром и готовьтесь к таинству, ибо уже смеркается.

Сострата. Мир вам, отче.

Лукреция. Господи, спаси и помилуй. Матерь Пречистая, не допусти погибели моей!

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Тимотео, Лигурио, Нича.

Тимотео. Эй, Лигурио!

Лигурио. Ну, как наши дела?

Тимотео. Все улажено. Они пошли домой, готовые исполнить все, что требуется. Уверен, что никаких затруднений не возникнет, ибо мать будет при Лукреции неотступно и сама намерена уложить ее в постель.

Нича. Правда?

Тимотео. Ба! Да вы, кажется, излечились от глухоты?

Лигурио. Это святой Климентий смилостивился над ним.

Тимотео. В благодарность надо бы пожертвовать на его образ, дабы весть о чудесном исцелении распространилась среди верующих во благо мне и вам.

Нича. Давайте вернемся к делу. Как вы считаете, не будет ли жена противиться моей воле?

Тимотео. Ручаюсь, что нет.

Нича. Значит, я самый счастливый человек на свете!

Тимотео. Еще бы! Вскорости будете баюкать мальчонку, а уж кому этого не дано, пусть пеняет на себя.

Лигурио. Возвращайтесь к вашим молитвам, святой отец, и если еще что понадобится – мы сумеем вас найти. А вы, мессере, идите к жене, дабы укрепить ее в благочестивом решении. Я же поспешу к магистру Каллимако и потороплю его с зельем. Хорошо бы нам встретиться после захода солнца и обмозговать то, что мы замыслили на сегодняшнюю ночь.

Тимотео. Бог в помощь!

КАНЦОНА

Приятно жить обманом!
Обман, невзгодам ты предел кладешь,
простор давая планам,
и горечи ты сладость придаешь.
Заблудших ты зовешь
на правый путь – и твой призыв по нраву.
Достоинства твои
обогащают божество любви.
И камни побеждаешь ты по праву,
и чары, и отраву.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каллимако, один.

Каллимако. Лигурио все нет, а мне бы так хотелось знать, до чего они там договорились! Ведь он должен был сюда прийти еще час назад. Я просто места себе не нахожу. Верно говорят, что счастье и природа уравновешены в нашей жизни. Только счастье тебе улыбнется, а тут уж природа в должной доле и зла подмешает. Насколько возросла моя надежда, настолько же возросла боязнь. Неужто же мне, горемычному, суждено жить вот так, поочередно терзаясь то опасениями, то надеждами? И не подобен ли я кораблю, гонимому противными ветрами:

чем ближе гавань, тем больше риску погибнуть. Безмозглость мессера Ничи вселяет в меня надежду, благоразумие и совестливость Лукреции повергает меня в уныние. Нигде и ни в чем не нахожу я себе успокоения. Порой я пытаюсь превозмочь себя, раскаиваюсь в сумасбродстве и думаю: «Что ты делаешь? Не спятил ли ты с ума? Ну, добьешься своего, а что дальше? Ты сознаешься в своем заблуждении, раскаешься в своих напрасных усилиях и позорных помыслах. Неужто тебе неведомо всегдашнее несоответствие между тем, что человек ищет и что находит? С другой же стороны, худшее, что может с тобой стрястись, – это смерть и прямая дорога в ад. Впрочем, сколько других-то померло! И сколько в аду дивных людей! И разве стыдно тебе будет очутиться в их обществе? Смотри своей судьбе в лицо, сторонись зла, но коли не сможешь его избежать – сноси ожидающую тебя расплату как мужчина, не падай духом, не расслабляйся, как женщина». Так я подбадриваю себя, но без особого успеха, ибо меня вновь и вновь обуревает неистовое желание хоть раз возлечь с нею, и я чувствую всем своим телом, что становлюсь сам не свой: ноги трясутся, внутри все переворачивается, сердце рвется из груди, руки опускаются, язык немеет, в глазах мутится, голова идет кругом. Уж скорее бы шел Лигурио, чтобы хоть ему излиться. Да вот и он, легок на помине, спешит сюда. От того, что он сейчас скажет, зависит – жить мне или умереть.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Лигурио, Каллимако.

Лигурио. Никогда еще я так страстно не желал встретить Каллимако, и никогда еще мне не было так трудно его сыскать. Небось когда б я нес ему вести печальные, он бы предстал передо мной прямо как из земли. Забегáл к нему домой, побывал на главной площади, на рынке, у дворца Спини, у лоджии Торнаквинчи и не нашел его. Видно, у всех этих влюбленных шило в заду и усидеть на месте они не могут.

Каллимако. Похоже, что он ищет меня, да и вид у него, кажется, довольный. Эй, Лигурио, Лигурио!

Лигурио. Где же ты был, Каллимако?

Каллимако. Какие новости?

Лигурио. Преотличные.

Каллимако. Правда?

Лигурио. Самые что ни на есть лучшие.

Каллимако. Лукреция согласна?

Лигурио. Согласна.

Каллимако. А монах свое дело сделал?

Лигурио. Сделал.

Каллимако. О благословенный пастырь! Вечно буду бога за него молить.

Лигурио. Еще чего не хватало! Можно подумать, что господь примет это за богоугодное дело. Да и от нашего пастыря молитвами не отделаешься.

Каллимако. А что ему надобно?

Лигурио. Деньги, понятно.

Каллимако. Дадим денег. Сколько ты обещал?

Лигурио. Триста дукатов.

Каллимако. Правильно.

Лигурио. Доктор уже сунул ему двадцать пять.

Каллимако. Как? Как?

Лигурио. Да вот так. Взял и выложил.

Каллимако. А мать Лукреции, она что-нибудь сделала?

Лигурио. Она-то и сделала самое главное. Когда она узнала, что дочери предстоит приятно провести эту ночку и притом не беря греха на душу, она так насела на нее с просьбами, угрозами, ободрениями, что вынудила Лукрецию пойти вместе с ней к монаху, а там уже оба склонили ее к согласию.

Каллимако. Боже! За что ты даруешь мне такое счастье? Кажется, я умру от избытка радости.

Лигурио. Вот извольте видеть, что за народ пошел. То он собирается умереть от радости, то от горя, лишь бы умереть. Зелье готово?

Каллимако. Конечно.

Лигурио. Что ты ей пошлешь?

Каллимако. Стакан подогретого вина с пряностями, которое очень бодрит тело и веселит голову... О, черт, я пропал!

Лигурио. Это что еще выдумал?

Каллимако. И тут уж решительно ничто не поможет!

Лигурио. Да говори же, что там за чертовщина?

Каллимако. Все пошло прахом, я лечу в пропасть.

Лигурио. В чем дело? Отними руки от лица!

Каллимако. Разве ты не помнишь, что я сам пообещал Ниче помочь ему, тебе и Сиро схватить первого попавшегося забулдыгу и уложить его в постель к Лукреции?

Лигурио. Ну и что же?

Каллимако. Как что? Да раз я с вами, стало быть, не могу быть этим первым попавшимся. Если же меня с вами не будет, Нича сразу же заподозрит обман.

Лигурио. Ты прав. Но разве нет способа помочь беде?

Каллимако. Думаю, что нет.

Лигурио. Ерунда, найдется!

Каллимако. Ума не приложу.

Лигурио. Надо пораскинуть мозгами.

Каллимако. Если сейчас не придумаешь, я погиб.

Лигурио. Придумал.

Каллимако. Что именно?

Лигурио. Монах, который помогал нам до сих пор, поможет и в остальном.

Каллимако. Чем же он может помочь?

Лигурио. Мы все переоденемся. Монах изменит голос, лицо, платье. Я же скажу доктору, что это ты. Он поверит.

Каллимако. Ловко! Ну а я что буду делать?

Лигурио. Ты накинешь на плечи куцый дырявый плащ, возьмешь лютню и как ни в чем не бывало вынырнешь в нужную минуту из-за угла докторского дома, напевая песенку.

Каллимако. С открытым лицом?

Лигурио. Конечно. Будь ты в маске, он мог бы заподозрить неладное.

Каллимако. А он не узнает меня?

Лигурио. Не узнает: ты скривишь рожу, оскалишь зубы или оттопыришь нижнюю губу, зажмуришь один глаз. Ну-ка, попробуй.

Каллимако. Так?

Лигурио. Нет.

Каллимако. А так?

Лигурио. Еще сильнее.

Каллимако. Вот этак?

Лигурио. Теперь что надо. Хорошенько разучи эту гримасу. Дома у меня есть приставной нос, нацепишь его.

Каллимако. А что потом?

Лигурио. Как только ты появишься из-за поворота, мы на тебя накинемся, выхватим из рук лютню, сцапаем, завяжем глаза, завертим на месте, отведем в дом и уложим в постель к хозяйке. А уж дальше дело твоего разумения, как сможешь!

Каллимако. Лишь бы проникнуть в постель.

Лигурио. В постель-то ты проникнешь, а вот сможешь ли в нее вернуться – будет зависеть от тебя, а не от нас.

Каллимако. Как так?

Лигурио. А вот так: за ночь ты должен расположить ее к себе, а перед расставанием во всем ей открыться, признаться в обмане, выказав всю свою любовь, убедить ее в том, что она, не боясь огласки и сраму, может стать твоей подружкой, а решившись на скандальную огласку – твоим врагом. Не может быть, чтобы она с тобой не спелась и не пожелала, чтобы эта ночь не была последней.

Каллимако. Ты думаешь?

Лигурио. Тут и думать нечего. Не будем, однако, терять времени. Уже восемь. Кликни Сиро, пусть отнесет зелье, а ты ожидай меня дома. Я же пойду за монахом. Он переоденется, и мы с ним вернемся сюда, прихватим мессера и обтяпаем все остальное.

Каллимако. Молодец, Лигурио. Ступай!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Каллимако, Сиро.

Каллимако. Сиро!

Сиро. Что угодно вашей милости?

Каллимако. Поди сюда.

Сиро. Я тут.

Каллимако. Возьми из шкафа в моей спальне серебряный бокал, накрой его шелковым платком и принеси. Да смотри не пролей дорогой.

Сиро. Сию минуту.

Каллимако. Вот уже десять лет, как Сиро у меня, и все десять лет служил мне верой и правдой. Думаю, что и в этом случае на него можно положиться. Я хоть и не раскрывал ему моей уловки, но хитрая бестия, верно, уж и сам обо всем догадался. Пусть так, хлебом его не корми, только дай поучаствовать в какой-нибудь плутне.

Сиро. Вот бокал.

Каллимако. Отлично. Теперь живо к мессеру Ниче. Отдай ему зелье и скажи, что это лекарство жена его должна выпить сразу после ужина. А еще скажи, что чем раньше она поужинает, тем лучше. Да не позабудь прибавить, что мы ждем его на углу ровно в десять, как условились. А теперь – одна нога здесь, другая там.

Сиро. Бегу!

Каллимако. Постой! Если доктор пожелает, чтобы ты подождал его, то подожди и возвращайся с ним вместе. Если нет – возвращайся один. Да гляди, чтобы все было исполнено в точности.

Сиро. Все, как вы сказали.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Каллимако, один.

Каллимако. Вот сижу, жду, когда придут Лигурио и монах, и думаю, сколь правы те, кто полагает ожидание тягостнейшим занятием. Уносясь в мечтах туда, где я могу оказаться через каких-нибудь два часа, и трепеща при мысли, что непредвиденный пустяк может погубить все мои надежды, я чувствую, как силы оставляют меня и тело мое сохнет. Случись это, нынешняя ночь станет для меня последней. Я либо утоплюсь в Арно, либо повешусь, выброшусь из окна, заколюсь кинжалом на пороге ее дома. Словом, наложу на себя руки, ибо без нее не жилец я на этом свете. Но вот, кажется, и Лигурио? Он самый. А с ним еще какой-то хромой горбун, не

иначе как переодетый монах. Ох уж эта братия! Все на одно лицо! А вот еще кто-то к ним подошел. Похож на Сиро; верно, он уже отнес зелье и спешит домой. Подожду их тут, чтобы столковаться окончательно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Сиро, Лигурио, Каллимако, Тимотео, переодетый.

Сиро. Кто с тобой, Лигурио?

Лигурио. Один добрый человек.

Сиро. Он на самом деле хромой или прикидывается?

Лигурио. Не твоего ума дело.

Сиро. Рожа у него пройдошливая.

Лигурио. Отстань, не липни! Скажи лучше – где Каллимако?

Каллимако. Я здесь и рад вас видеть.

Лигурио. Каллимако, да осади ты своего дурачка Сиро, он и так уже нагородил невесть сколько ненужной чепухи!

Каллимако. Послушай, Сиро, сегодня ты будешь делать все, что скажет Лигурио, таков мой приказ. И что бы ты ни увидел, ни услышал, ни расчухал этой ночью – держи язык за зубами, если только дорожишь моим добром, моей честью, моей жизнью и своим собственным благополучием.

Сиро. Будьте спокойны, ни гу-гу.

Каллимако. Отнес доктору бокал?

Сиро. Отдал прямо в руки.

Каллимако. И что же он тебе сказал?

Сиро. Что все будет исполнено в точности, как вы сказали.

Тимотео. Это Каллимако?

Каллимако. К вашим услугам. Можете располагать мною и всем моим имуществом, как своим собственным.

Тимотео. Охотно верю. Со своей стороны я готов сделать для тебя то, чего бы никогда не сделал ни для кого другого.

Каллимако. Труды ваши не пропадут даром.

Тимотео. Хватит с меня и доброго твоего отношения.

Лигурио. Оставим любезности и перейдем к делу. Мы с Сиро пойдем переодеваться. Ты, Каллимако, сейчас пойдешь с нами, а потом ступай и делай, что тебе надобно. Святой отец подождет нас здесь, мы мигом вернемся и уже все вместе пойдем за мессером Ничей.

Каллимако. Пошли!

Тимотео. Я вас жду.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Тимотео, один.

Тимотео. Вот уж правду говорят, что дурная компания до добра не доводит. Сколь часто люди попадают в беду – кто за то, что слишком покладист, кто за то, что слишком изворотлив. Господь свидетель, что я и не помышлял кого-нибудь обидеть или притеснить; тихо сидел в своей келье, читал требник, вел душеспасительные беседы с прихожанами. Так вот, надо же, стал у меня на пути этот пройдоха Лигурио; дал ему палец, а он и всю руку схватил. Влип же я в историйку! Одна надежда, что влипли в нее и многие другие. Вместе расхлебывать всегда легче. А вот и Лигурио со слугой.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Тимотео, Лигурио и Сиро, переодетые.

Тимотео. Ну, как, дети мои?

Лигурио. Как мы выглядим?

Тимотео. Прекрасно.

Лигурио. Не хватает лишь мессера Ничи. Пойдем к его дому, уже начало десятого.

Сиро. Вон кто-то отворил дверь. Не разберу, он или слуга.

Лигурио. Он, он! Ха, ха, ха...

Сиро. Чего же тут смешного?

Лигурио. Да нет, ты только взгляни на него! Накинул кургузый плащик, эвон, вся задница наружу...

Ну и чучело! На башке что-то вроде монашеской скуфейки, а еще шпажонку подвесил... Бормочет, вроде бы причитает. Не иначе приключилось что-нибудь с женой. Затаимся, послушаем.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Н и ч а, переодетый.

Н и ч а. И чего только не выкомаривала эта дурища! Служанку услала к матери, слугу в загородное имение. Тут она, впрочем, поступила разумно, а вот за то, что она, прежде чем улечься в постель, закатила истерику, похвалить никак не могу. Визжала: «Не хочу... Как же так... К чему вы меня принуждаете... Мама, мамочка...» И кабы мать не приструнила ее, она бы нипочем не согласилась улечься. Ах, затряси ее лихорадка! Конечно, стыдливость женщине к лицу, но уж не в такой мере. Всем нам задурила голову, куриные ее мозги! А ведь, поди, если б кто сказал в ее присутствии: «Следовало бы повесить самую умную женщину Флоренции», она б мигом откликнулась: «А что я вам сделала плохого?» Ох, дура из дурищ! И все равно я знаю, что пусть и с бою, но крепость будет взята. И не такой я простак, чтобы не убедиться в этом собственными глазами... А между тем, кажется, я недурно вырядился. Ни один черт меня не узнает. Вроде бы кажусь повыше, постройнее, моложе. Да передо мной в таком виде любая баба не устоит, да еще и денег за свою ласку не возьмет. Но где же наши?

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Л и г у р и о, Н и ч а, Т и м о т е о, С и р о.

Л и г у р и о. Вечер добрый, мессере.

Н и ч а. Ой, кто это?

Л и г у р и о. Не бойтесь, всего лишь мы.

Н и ч а. Стало быть, вы все в сборе? Не признай я вас сразу, отведали бы вы моего клинка.

Это ты, Лигурио? Ты, Сиро? А то – сам маэстро? Правильно?

Лигурио. Вы угадали.

Нича. А здорово наш маэстро вырядился. Да его главный сыщик Флоренции нипочем не признает.

Лигурио. Я заставил его засунуть в рот два ореха, чтобы изменить голос.

Нича. Ну и болван же ты!

Лигурио. Почему же я болван?

Нича. А мне не мог этого подсказать? Я бы тоже обзавелся орехами. А то ведь знаешь, как легко узнать человека по голосу.

Лигурио. Прошу, вот и на вашу долю.

Нича. Что это?

Лигурио. Восковой шарик.

Нича. Дай сюда... Фу, черт, мерзость какая. Что б ты сдох, шельмец!

Лигурио. Прошу прощения, я спутал маленько.

Нича. Дьявол тебя побери... экая гадость... из какого это дерьма?

Лигурио. Из алоэ.

Нича. Будь ты проклят! Тьфу... Маэстро, а вы почему ничего не скажете?

Тимотео. Лигурио обозлил меня.

Нича. О! А голос вы лихо подделываете.

Лигурио. Не станем терять время. Я буду вашим капитаном, слушай мою диспозицию. Тараним неприятеля «головой быка». Правым рогом будет Каллимако, левым – я, а между двух рогов помещаетесь вы, мессере. Сиро будет прикрывать нас с тылу. Боевой клич – «Святой Рогач».

Нича. А что это за святой?

Лигурио. Во Франции это самый почитаемый святой. А теперь – вперед! Исходная позиция вон на том углу! Чу! Я слышу лютню!

Нича. Это он! Атакуем?

Лигурио. Сперва вышлем разведку, чтобы точно установить, кто он. А там действуем согласно донесению разведки.

Нича. Кто идет в разведку?

Лигурио. Пойдет Сиро. Он знает, что нужно делать. Осмотрись, разведай и быстро сюда.

Сиро. Слушаюсь.

Нича. Лишь бы не промахнуться. Вдруг это

окажется какой-нибудь хилый или больной старикашка. Не пришлось бы нам завтра начинать все сызнова.

Лигурио. Будьте покойны. Сиро такой ловкач, что не промахнется. Да вот он бежит сюда. Сиро, кого ты там обнаружил?

Сиро. Здоровенный детина, вы и представить себе не можете. Ему нет и двадцати пяти лет. Один, в коротеньком плаще, тренькает на лютне.

Нича. Такой нам и нужен, если ты, понятно, разглядел его хорошенько. Но смотри, если что не так, все падет на твою голову.

Сиро. Все так, как я сказал.

Лигурио. Пусть выйдет из-за угла, и тут-то мы на него и навалимся.

Нича. Придвиньтесь ко мне, маэстро. Вроде мужик вы плечистый. Вот он!

Каллимако *(поет)*.

Пусть черт придет к тебе в постель,
Раз уж мне прийти нельзя...

Лигурио. Хватай! Отбери у него лютню!

Каллимако. Да что я вам сделал, люди добрые?

Нича. А вот увидишь. Завязывай глаза, держи крепче!

Лигурио. Крути его!

Нича. Крутани еще разок! Еще! А теперь тащите его в дом!

Тимотео. Дражайший мессере, с вашего разрешения пойду отдохнуть, голова трещит так, что вот-вот расколется. И если не потребуется какой помощи – до завтра.

Нича. До завтра, маэстро. Надеюсь, что мы и сами управимся.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Тимотео, один.

Тимотео. Они скрылись в доме, а я вернусь в монастырь. Вы же, почтеннейшие зрители, не браните нас и приготовьтесь бодрствовать всю ночь, ибо действие комедии продолжается. Я займусь молитвой, Лигурио и Сиро сядут за трапезу, поскольку сегодня они еще ничего не ели, мессере будет бро-

дить по дому, поглядывая за тем, чтобы все шло как задумано. А вот Каллимако и Лукреция спать не будут, потому как будь мы с вами на их месте, то мы бы не спали.

КАНЦОНА

О сладостная ночь,
о тишина ночная,
когда влюбленным пылким не до сна!
Кто может им помочь,
блаженством наполняя,
когда не ты, что любящим верна?
Ты воздаешь сполна
измученным влюбленным
за долгое труженье.
И в ледяной крови
умеешь ты зажечь огонь любви!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Тимотео, один.

Тимотео. Всю ночь сна ни в одном глазу! Так хочется поскорее узнать, чем кончилась вся эта проделка. Чтобы убить время, чего я только не переделал: совершил утреннюю молитву, прочел житие, зашел в церковь и засветил потухшую лампаду, переменил покров на чудотворной Мадонне. Сколько раз просил я братию держать ее в чистоте! А еще удивляются, что благочестия все меньше и меньше. Я помню, когда у нас бывало до пятисот пожертвованных образков, а теперь и двадцати не наберется. А ведь сами кругом виноваты, что не сумели поддержать доброй славы наших чудотворных ликов. Всякий-то день, бывало, ходили мы после вечерни крестным ходом и каждую субботу пели акафисты. Сами заказывали новые образки, на исповеди подвигали прихожан на все новые и новые приношения. Нынче мы всё это забыли, а еще удивляемся, что

рвение паствы охладело. Ох и безмозглая же у нас братия!.. Тс... слышу великий шум в доме мессера Ничи! Клянусь распятием, это они гонят взашеи своего узника. Значит, я поспел вовремя. Видно, прозабавлялись до самого рассвета. Отойду-ка в сторону да послушаю, о чем они толкуют.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Нича, Каллимако, Лигурио и Сиро.

Нича. Бери его за эту руку, а я за ту. А ты, Сиро, придерживай его сзади.

Каллимако. Только не бейте!

Лигурио. Не бойся и проваливай побыстрее!

Нича. Ну, дальше не пойдем.

Лигурио. И не надо, скатертью дорога. Давайте только раза два крутанем его, чтоб не знал, откуда он вышел. Верти его, Сиро!

Сиро. Вот так!

Нича. Ну-ка, еще разок!

Сиро. Извольте!

Каллимако. А моя лютня?

Лигурио. Прочь, мошенник, катись отсюда! А будешь болтать – шею сверну.

Нича. Все, удрал. Пошли переоденемся. Сегодня нам следует выйти из дому не поздно, дабы никто не заподозрил, что все мы провели бессонную ночь.

Лигурио. Ваша правда.

Нича. А ты вместе с Сиро поспеши к маэстро Каллимако и скажи ему, что дело обошлось как нельзя лучше.

Лигурио. А что мы можем ему сказать? Ведь мы же ничего не видели. Вы помните, что, придя в дом, мы сразу же спустились в погребок выпить. А вы с тещей остались возиться с этим несчастным, и встретились мы только сейчас, когда вы нас кликнули помочь выпроводить его.

Нича. И то правда. Тогда у меня есть что порассказать вам! Жена лежала в постели впотьмах. Сострата дожидалась меня на кухне. Я поднялся с этим лоботрясом наверх и, чтобы чего не проморгать, завел его в чуланчик возле столовой. Там мерцал

маленький светильник, и потому лица моего он никак не мог разглядеть.

Лигурио. Умно поступили.

Нича. Я велел ему раздеться. Он было заупрямился, но я набросился на него с такой яростью, что он мигом сбросил с себя одежды и, думаю, готов был от страха не надевать их еще тысячу лет. Морда у него гнуснейшая: нос крючком и на сторону, рот кривой, но тело – какого ты в жизни своей не видывал и не увидишь: белоснежное, гладкое, упругое. А уж об остальном даже не спрашивай!

Лигурио. Тут уж, извините, вы дали промашку; надо было обследовать все досконально.

Нича. Не держишь ли ты меня случайно за дурака? Уж коль запустил руку в квашню, так месить до дна! Да и надо же было убедиться, что он здоров: а вдруг какие на нем прыщи да язвы? Хорош бы я был, скажи?

Лигурио. Еще бы!

Нича. Убедившись, что он здоров как бык, я выволок его из чуланчика и отвел в полной темноте в спальню, уложил в постель и, прежде чем уйти, на ощупь удостоверился, что дело идет на лад. Я ведь, как ты знаешь, не из тех, кого можно провести на мякине.

Лигурио. Словом, вы провернули все это дело с величайшей предусмотрительностью!

Нича. И вот, после того как я все потрогал и пощупал, я вышел из спальни, запер дверь на ключ и присоединился к теще, которая грелась у огня, и с ней мы скоротали ночь в многоразличных беседах.

Лигурио. О чем же вы беседовали?

Нича. О дурости Лукреции, о том, сколь проще было бы, если б она уступила сразу, а не закатывала истерики. Потом разговор перескочил на ребенка. Мне так и кажется, что я нянчу этого сладкого малышку на руках. Когда я услыхал, что часы пробили пять часов и вот-вот должно рассвести, я пошел в спальню. И можете себе представить, что лишь с превеликим трудом я сумел растолкать этого стервеца.

Лигурио. Охотно верю.

Нича. Видать, губа у него не дура! Но я все же его растолкал, позвал вас, и мы выпроводили его.

Лигурио. Стало быть, дело чисто обделано.

Нича. А знаешь, кого мне жаль во всей этой истории?

Лигурио. Кого?

Нича. Этого несчастного малого. Ведь он должен вскоре умереть. Вот во что обошлась ему эта ночка!

Лигурио. Вот еще! Пусть у него болит голова.

Нича. И то верно. А я жду не дождусь увидеть Каллимако, чтобы порадоваться вместе с ним.

Лигурио. Он выйдет через час. Однако уже совсем рассвело. Мы пойдем переоденемся. А вы?

Нича. Я тоже пойду надену нарядное платье. Потом подниму жену, велю ей хорошенько вымыться и пойти в церковь совершить очищение. Хорошо бы и вам с Каллимако прийти в церковь. Надо же поблагодарить святого отца и вознаградить за содеянное добро.

Лигурио. Лучше не скажешь. Можете на нас рассчитывать.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Тимотео, один.

Тимотео. Разговор мне понравился, особливо принимая во внимание редкостную глупость мессера Ничи. Всего же более радуют меня последние его слова. И так как они собираются ко мне, то больше торчать мне здесь нечего. Обожду-ка я их в церкви, где и стены помогут оценить мою добродетель повыше. Но кто это выходит вон из того дома? Похоже, что Лигурио, а с ним, верно, и Каллимако. Не хочу, чтобы они видели меня здесь, по сказанным выше причинам. А если даже они и не придут ко мне, я-то всегда смогу к ним зайти.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Каллимако, Лигурио.

Каллимако. Как я тебе уже сказывал, любезный Лигурио, поначалу мне было порядком не по

себе, хоть и не скрою, что наслаждение я получил огромное. И все же дело казалось мне неладным. Потом же, когда я во всем открылся, объяснился в неслыханной своей любви, убедил, сколь счастливо и без боязни огласки, благодаря одной лишь глупости ее супруга, мы можем наслаждаться друг другом, клятвенно обещал жениться, лишь только господь приберет его, она смягчилась. Правда и то, что, отведав разницу между моими ласками и ласками своего мессера, между поцелуями молодого любовника и поцелуями старого хрыча, она, немного повздыхав, сказала: «Раз твоя хитрость и глупость моего мужа, простота моей матери и низость монаха побудили меня сделать то, чего бы я по доброй воле никогда не совершила, то я желаю думать, что все это было предначертано нам свыше, и потому я не вправе отвергнуть веление небес. Так будь же моим руководителем, моим защитником и полным моим хозяином. Ты мой отец, моя опора, единственное мое благо. И то, чего муж мой пожелал на одну ночь, пусть получит до конца своих дней. Ты сделаешься его кумом, сходишь сегодня утром в церковь, а оттуда придешь обедать вместе с нами, и в твоей воле будет приходить к нам и оставаться у нас сколько тебе захочется, и мы сможем проводить время вместе, не возбуждая подозренья». Услыхав эти слова, я едва не умер от наплыва чувств. Не мог высказать в ответ и малейшей частицы того, что чувствовал. Поверь, что я самый счастливый человек, какой когда-либо жил на свете. И если бы моему счастью не грозила ни смерть, ни время, я был бы блаженнее всех блаженных и праведнее всех праведников.

Лигурио. Я безмерно рад твоему счастию. Теперь ты убедился, что все случилось именно так, как я тебе и предсказывал. Но что мы будем делать теперь?

Каллимако. Пойдем в церковь, ибо я обещал ей туда прийти. Она, Сострата и доктор будут нас ждать.

Лигурио. Я слышал, как стукнула их дверь. Это они. Впереди мать и дочь, а позади Нича.

Каллимако. Пошли в церковь и там подождем.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Нича, Лукреция, Сострата.

Нича. Лукреция, ты сегодня какая-то шалая, а тебе, напротив, следует преисполниться благостности и богобоязненности.

Лукреция. Что же, по-вашему, я должна делать?

Нича. Во-первых, не огрызаться! Ишь распетушилась!

Сострата. Не удивляйтесь. Она немного возбуждена.

Лукреция. Что вы этим хотите сказать?

Нича. Пожалуй, мне следует пойти вперед, поговорить со святым отцом и попросить его, чтобы он встретил тебя в дверях и повел к молитве, ибо сегодня ты все равно что снова родилась на свет.

Лукреция. Чего же вы стоите?

Нича. Вон какая ты сегодня языкастая, а вчера и слова вымолвить не могла.

Лукреция. И все по милости вашей.

Сострата. Поспешите к святому отцу. Впрочем, можете не спешить. Вот он сам выходит из церкви.

Нича. Вижу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Тимотео, Нича, Лукреция, Каллимако, Лигурио и Сострата.

Тимотео. Я вышел потому, что Каллимако и Лигурио предупредили меня, что мессере и дамы сейчас должны прийти.

Нича. Bona dies, святой отец.

Тимотео. Добро пожаловать. Благое вы сделали дело, да ниспошлет вам господь хорошенького мальчонку.

Лукреция. Дай бог.

Тимотео. Непременно пошлет.

Нича. Кажется, я вижу в церкви Лигурио и маэстро Каллимако?

Тимотео. Да, мессере.

Нича. Позовите их.

Тимотео. Идите сюда.

Каллимако. Храни вас господь!

Нича. Маэстро, дайте руку моей жене.

Каллимако. С радостью.

Нича. Лукреция, вот кому мы обязаны, что у нас на старости лет будет надежная опора.

Лукреция. Сердечно благодарна ему и очень бы хотела, чтобы он стал нашим кумом.

Нича. Благослови тебя бог за эту мысль! И я хочу, чтобы он и Лигурио пришли сегодня отобедать с нами.

Лукреция. Непременно.

Нича. И я дам им ключ от нижней комнаты, что рядом с лоджией, дабы они в любое время могли прийти, ибо женщин у них в доме нет и живут они аки твари неухоженные.

Каллимако. Принимаю его с великой радостью и буду пользоваться им всякий раз, когда возникнет охота.

Тимотео. А деньги на подаяния могу я получить?

Нича. Заверяю вас, святой отец, сегодня же они будут вам доставлены.

Лигурио. Но неужели никто не вспомнит о нашем Сиро?

Нича. Пусть просит. Ничего не пожалею. А ты, Лукреция, – сколько гроссов хочешь ты дать святому отцу за молитву?

Лукреция. Десять.

Нича. Ишь разорительница!

Тимотео. А вы, мадонна Сострата, вроде бы помолодели.

Сострата. Это от радости!

Тимотео. Пойдемте в церковь и там вознесем господу должные моления, а после службы вы все отправляйтесь домой обедать. Вы же, зрители, не дожидайтесь нас, мы не вернемся: служба длинная, и я останусь в храме; они же через боковую дверь поспешат домой. Прощайте!

КЛИЦИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КЛЕАНДРО.
ПАЛАМЕДЕ.
НИКОМАКО.
ПИРРО.
ЭУСТАКЬО.
СОФРОНИЯ.
ДОРИЯ.
ДАМОНЕ.
СОСТРАТА.
РАМОНДО.

КАНЦОНА

Поистине прекрасен
подобный день, когда
мы в мир преданий благодарно входим,
и в каждом, кто согласен,
как мы, прийти сюда,
мы душу дружественную находим.
Мы век земной проводим
под сенью светлых рощ, в лесной дали,
и снова к вам пришли
мы, пастухи, и я, дриада,
петь о любви, в которой нам отрада.

Светла и беззаботна
пора, и край блажен,
где нашим песням эхо отвечало.
И мы споем охотно
по ходу этих сцен
и, предваряя песнею начало,
хотим, чтобы звучала
она нежнее прежних в этот раз;
потом покинем вас
мы, пастухи, и я, дриада:
нас ждет любовь – всегдашняя отрада.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Паламеде, Клеандро.

Паламеде. Куда в такую рань?

Клеандро. А ты куда?

Паламеде. Да есть тут одно дельце...

Клеандро. Вот и у меня есть дельце... и уж так хотелось бы его уладить! А выйдет, нет – не поручусь.

Паламеде. Но дельце-то из тех, что уладить можно?

Клеандро. Наперед не скажу, но при великом усердии – можно.

Паламеде. Я, пожалуй, пойду. Тебе не до меня. Знаешь, когда кто в тягость, так уж лучше и с глаз долой. Ты, должно быть, примечал, что я и прежде старался не докучать тебе, видя дурное твое расположение.

Клеандро. Расположение – черт с ним. Только дело-то посерьезнее: я влюблен.

Паламеде. Брось! Вот уж не подумал бы!

Клеандро. Паламеде, друг мой, ты и половины того не знаешь, что надобно б было знать. Я и прежде впадал в отчаянье, а нынче вовсе места себе не нахожу.

Паламеде. Как так?

Клеандро. То, что раньше скрывал я от тебя, – теперь поведаю, ибо дошел я до крайней безнадежности и любая подмога мне будет впору.

Паламеде. Ох, коли раньше всякая встреча с тобой была мне в тягость, то нынче особливо буду тебя бежать, справедливо рассуждая: бойся трех сортов людей – певцов, стариков и влюбленных. Попробуй, к примеру, заговорить с певцом: начнешь ему изливаться, полагая, что он тебя слушает, а у него в голове лишь до-ре-ми-фа-соль да в горле полощется какая-нибудь этакая песенка. Заговори со стариком – тоже ничего путного. Начнет таскать тебя по церквам, бить поклоны да бормотать «Отче наш». Влюбленные и того хуже. Ты к ним с разговором, а они не

только тебя не слышат, будто поглощены неимоверной тяжести работой, – но еще на тебя же обрушат столько пеней и жалоб, что ты поневоле плюнешь на собственные невзгоды и пустишься их утешать... Если взять, к примеру, горемыку, влюбленного в уличную девку, то его всенепременно ждут всяческие утеснения и обиды... Словом, жалоб хоть отбавляй. Ежели кто влюблен в женщину порядочную, то, боже! Тут тебе и ревность, и зависть, и подозрения... сотни и тысячи поводов для причитаний. Потому-то, милый мой Клеандро, я охотно побуду с тобой, когда я тебе в самом деле понадоблюсь. Теперь же не прогневайся, – твои пени заставляют меня бежать.

Клеандро. Страсть свою я скрывал по изложенным тобою причинам. Не хотел, чтобы меня принимали за надоеду или же завлекали в ловушку. Мне хорошо ведомо, сколь много таких, кто под личиной участия выведывает тайны, дабы потом ими злоупотреблять. Ныне же, коль скоро судьбе заблагорассудилось поставить меня на край пропасти, я порешил тебе открыться. Отчасти отвести душу, отчасти в надежде на твою помощь в случае нужды.

Паламеде. Слушаю тебя и готов помочь, невзирая на все опасности и преграды.

Клеандро. Знаю, знаю, друг мой! Ты, полагаю, наслышан о девице, которая воспитана в нашем доме?

Паламеде. Видел ее. Откуда она родом?

Клеандро. А вот послушай. Лет двенадцать тому назад – ибо случилось это в 1494 году, когда по пути в Неаполь король Карл, во главе огромного войска, проходил через Флоренцию, в нашем доме остановился дворянин из отряда монсеньора де Фуа по имени Бельтран де Гасконь. Отец мой приветил этого дворянина со всевозможным радушием. Видеть столь великую дружбу между отцом и гостем было тем более удивительно, что в большинстве своем французские гости и хозяева люто враждовали.

Паламеде. Вам здорово повезло, ибо французы, бывшие на постое в нашем доме, причинили нам неисчислимое зло.

Клеандро. Случалось и так! Но у нас все было иначе. Так вот, этот Бельтран отправился в Неаполь вслед за своим повелителем. А Карл хоть и захватил королевство Неаполя, однако ж вынужден был его

оставить, ибо папа, император, венецейць. и герцог Миланский соединились против него. Оставив часть своих людей в Неаполе, Карл устремился в Тоскану. Тут он узнал, что образовавшаяся против него лига собрала огромное войско на Таро, дабы преградить ему дорогу, когда он станет спускаться с гор. Карл рассудил не мешкать и в Тоскане не задерживаться. Потому-то решил он оставить в стороне Флоренцию и через Пизу и Понтремоли спуститься в Ломбардию. Бельтран, прослышав про движение вражеских войск и не ведая, как обернется дело, положил, по крайности, спасти любезную его сердцу девчурку, которая была с ним в Неаполе. Девчурке было лет пять, и была она прехорошенькая личиком и нрава что ни на есть самого кроткого. Так вот, девчурку эту препоручил он слуге отвезти к моему отцу, заклиная дружбой холить и лелеять ее. А там, бог даст, он за ней пришлет. Знатного была она роду иль нет – он не писал. Сказал только, что зовут ее Клицией. Отец и мать, не имея других детей, кроме меня, сразу же ее возлюбили...

Паламеде. Скажи лучше, что ты ее возлюбил!

Клеандро. Постой!.. Возлюбили как свою собственную. Тогда минуло мне десять лет и, как положено мальчикам, я с первого взгляда к ней привязался. Привязанность эта крепла из года в год. Когда же ей стукнуло двенадцать, отец и мать не на шутку взволновались и стали за мной приглядывать. Оставаться с ней наедине я уже не мог. Не стану говорить, что подобные утеснения – а ведь известно, сколь желанен бывает запретный плод, – только подлили масла в огонь. Жизнь стала несносной, и, наверное, в аду я чувствовал бы себя стократ счастливее.

Паламеде. Бельтран так и не присылал за ней?

Клеандро. Больше о нем не было ни слуху ни духу. Быть может, погиб в битве на Таро.

Паламеде. Но признайся: чего бы ты хотел? Хотел бы на ней жениться или слюбиться не женясь? Ведь сколько лет она у тебя под боком? Неужто ты не изыщешь способа добиться своего?

Клеандро. Знаешь, не стану от тебя таиться...

Паламеде. Говори.

Клеандро. Смешно и стыдно: отец сам в нее влюблен.

Паламеде. Никомако?

Клеандро. Он самый.

Паламеде. Как только попустил господь!

Клеандро. Попустил, и все святые вкупе с ним!

Паламеде. Ну и ну! Пожалуй, я в жизни такого не слыхивал! И все это под одной крышей? Как же вы уживаетесь? Как можете смотреть в глаза друг другу? Мать знает об этом?

Клеандро. И мать, и домашние, и челядь. Все об этом только и судачат.

Паламеде. Скажи, как далеко, однако ж, зашли дела?

Клеандро. Как далеко? А вот изволь: отец, когда б он даже не был сам влюблен, все равно нипочем не отдал бы ее за меня, ибо скуп чрезвычайно, а за ней никакого приданого не водится. К тому же он сомневается в благородстве ее родителей. Я же, со своей стороны, готов жениться на ней, быть ей другом – словом, заполучить в каком угодно качестве. Но обо всем этом толковать теперь напрасно. Скажу лучше, как обстоят дела.

Паламеде. Слушаю тебя со всевозможным вниманием.

Клеандро. Отец, который вот уж год как влюблен в нее, дабы утолить сжигающую его страсть, решил, что единственный выход – выдать ее за такого человека, который стал бы потом охотно делиться с ним своей женою, ибо добиваться своего до ее замужества казалось отцу делом бесчестным и греховным. С этой-то целью он и остановил свой выбор на Пирро, своем слуге. Порешив так, отец повел дело с такой великой осторожностью, что был уже на волосок от того, чтобы преуспеть, прежде чем кто-либо успел бы разгадать его замысел. Но моя мать, Софрония, заблаговременно приметила любострастную склонность отца. И вот, подстрекаемая ревностью, она всеми правдами и неправдами пытается расстроить отцовскую уловку. Прежде всего она подобрала другого жениха, ругательски изругав затею с Пирро. В женихи она наметила Эустакьо, нашего управляющего. И хотя Никомако пользуется в доме куда большей властью, тем не менее изворотливость матери и общая наша поддержка, которую незаметно мы оказывали, заставили отца отложить брак Клиции с Пирро на несколько недель. Но Никомако упорно гнет свое, и вот сегодня вечером, вопреки всем

стихиям, хочет прикончить дело свадьбой. Он уже облюбовал жилье Дамоне, что находится по соседству с нами; хочет его купить, обставить, открыть лавочку и обогатить Пирро.

Паламеде. А тебе не все равно, кто заполучит Клицию – Пирро или Эустакьо?

Клеандро. Как все равно? Да ведь Пирро самый большой мошенник, какого только можно сыскать во Флоренции; мало того что он решил поделить Клицию с моим отцом, – он еще и ненавидит меня, и ненавидел всегда. Нет, пусть лучше она достанется самому дьяволу. Вчера утром я написал нашему управляющему, чтобы он не мешкая приехал во Флоренцию. И странно, что он не объявился еще вчера вечером. Подожду его здесь, чтобы перехватить, едва он появится. А ты что собираешься делать?

Паламеде. Пойду по своим делам.

Клеандро. Путь добрый.

Паламеде. Ну и тебе бог в помощь; уж расстарайся как можешь. Потребуется моя помощь – скажи.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Клеандро, один.

Клеандро. Правду сказал тот, кто сравнил влюбленного с солдатом. Военачальники хотят, чтобы их солдаты были молоды; женщины – чтобы их возлюбленные не были старыми. Грустно глядеть на старого солдата. Стократ грустнее – на дряхлого влюбленного. Солдаты боятся презрения своих начальников, влюбленные – презрения своих возлюбленных. Солдаты спят под открытым небом; влюбленные простаивают ночи под окнами. Солдаты преследуют своих врагов до полного истребления; влюбленные – своих соперников. Солдаты в кромешной тьме, в лютую стужу бредут по грязи под дождем и при ледяном ветре завоевывать победу; влюбленные в таких же условиях с еще большим трудом пытаются завоевать свою возлюбленную. Ратное и любовное дело требуют тайны, мужества и веры; опасности в том и другом деле равны и конец тоже часто бывает одинаков. Солдат умирает в яме, влюбленный – от отчаянья.

Боюсь, что и меня ждет подобная участь. И это притом, что зазноба моя тут же, в доме, под боком, вижу я ее когда только захочу, ем за одним столом! А ведь от этого еще горше, ибо близок локоть, да не укусишь. Нужно, однако ж, поразмыслить, как помешать свадьбе; дальнейшее подскажет мне, как себя вести. Возможно ли, что Эустакьо не откликнулся и тотчас не приехал? Я просил его поспешить! А вот и он, наконец-то! Эустакьо! Эустакьо!..

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Эустакьо, Клеандро.

Эустакьо. Кто зовет меня? О, Клеандро!

Клеандро. Ты где замешкался?

Эустакьо. Приехал-то я еще вчера, но повидать тебя не мог, ибо, прежде чем получить твою записку, я получил письмо от Никомако с пропастью всяких поручений. Являться же к нему, не повидавшись с тобой, я не хотел.

Клеандро. И правильно поступил. Я послал за тобой, потому как Никомако настаивает на этой проклятой свадьбе с Пирро, которой, как тебе ведомо, противится моя мать. Противится же она не только потому, что хочет осчастливить Клицией человека преданного дому, но и потому, что прочит ей человека более достойного. А уж скажу тебе прямо, между тобой и Пирро какое может быть сравнение? Ведь он порядочная дрянь!

Эустакьо. Спасибо на добром слове. И хотя, по чести сказать, у меня и в мыслях не было жениться, но ваше с матушкой желание я готов уважить. Не скрою притом, что наживать врага в лице Никомако мне вовсе не улыбается, ведь хозяин-то, в конце концов, он.

Клеандро. Пусть это тебя не беспокоит, мы с матушкой тебя не оставим и вытащим из любой беды. А теперь я бы хотел, чтобы ты привел себя в порядок: жалкий крестьянский плащ висит на тебе мешком, шапка в пыли, сам ты оброс бородой. Сходи к цирюльнику, умойся, почисти платье – не то Клиция погонит тебя с глаз своих.

Эустакьо. А я не расположен прихорашиваться.

Клеандро. Ступай и делай то, что я тебе сказал. Затем отправься вот в ту церковку рядом и дожидайся меня. Я же схожу домой и поразведаю, чего там еще надумал отец.

КАНЦОНА

Кто не изведал, как
могуч Амур, немало ошибется,
когда назвать возьмется
первейшее среди небесных благ.
Он знать не может, как за шагом шаг
все дальше от безбедных дней уходят,
как, больше, чем себя,
другого полюбя,
надеждой сердце, трепетом изводят
и как не только в людях – и в богах
твой арсенал, Амур, рождает страх.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Никомако, один.

Никомако. Не пойму в чем дело: с самого утра у меня в глазах какая-то чертовщина. Словно молнии какие-то... из-за них я и света божьего не вижу, а еще вчера вечером мне казалось, что иголку в сене отыщу. Может, выпил лишнего? Ох, старость не радость. Хоть, впрочем, не так уж я стар, чтобы не поединоборствовать с Клицией. Можно ль так, без памяти, влюбиться? А всего хуже то, что жена, кажется, поняла, почему я хочу выдать Клицию за Пирро. Придется поизворачиваться, чтобы добиться своего. Пирро! Иди сюда! Скорее!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Пирро. Я тут.

Никомако. Пирро, я хочу, чтобы ты обвенчался сегодня же вечером.

Пирро. Да я хоть сейчас под венец.

Никомако. Спешить не надо! Поспешишь – людей насмешишь, как говорят в народе. Следует повести дело так, чтобы дом не рухнул нам на голову. Сам видишь, что жена моя недовольна; Эустакьо тоже добивается руки Клиции, и Клеандро ему потворствует. Словом, против нас и господь и дьявол. Но ты не отчаивайся. Уж я-то на своем сумею настоять. Как бы там ни было, но ты получишь ее наперекор всем им. Пусть ерепенятся сколько влезет.

Пирро. Заклинаю вас господом богом, скажите, что я должен делать?

Никомако. Никуда не отлучайся. Будь все время тут, начеку.

Пирро. Буду, буду. Кстати, забыл вам сказать одну вещь.

Никомако. Какую?

Пирро. Эустакьо здесь, во Флоренции.

Никомако. Как во Флоренции? Кто тебе сказал?

Пирро. Мессер Амброджо, наш сосед по имению. Он сказал, что вчера вечером столкнулся с ним у городских ворот.

Никомако. Как вчера вечером? Так где же он проторчал всю ночь?

Пирро. Кто его знает!

Никомако. Добро! Пойди и делай то, что я тебе велел. *(Оставшись один.)* Значит, Софрония послала за Эустакьо и этот бездельник предпочел уважить ее просьбу вместо того, чтобы следовать моим повелениям? А я ведь наказал ему уйму дел, которые, если их не сделать, могут привести меня к разорению. Как бог свят, он мне дорого за это заплатит! Кабы я только знал, где он сейчас находится и что делает! А вот и Софрония выходит из дому. Интересно, куда она?

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Софрония, Никомако.

Софрония *(сама с собой)*. Пришлось запереть Клицию и Дорию в комнате. Надо оберегать девчонку и от сынка, и от муженька, и от других домочадцев. Все-то зарятся на нее.

Никомако. Ты куда собралась?

Софрония. К мессе.

Никомако. И это в мясоед! Что же ты будешь делать постом великим?

Софрония. Благие поступки равно уместны в пост и мясоед. По мне, так нужда в благих делах бывает особливо велика, когда другие вершат зло. Вот почему, думается мне, мы, принимаясь за благое дело, начинаем с дурного конца.

Никомако. Как? Как? А ты чего бы хотела?

Софрония. Не возбуждать дурных толков. Подумай, сколько трудов стоило нам воспитать в доме такую хорошую и пригожую девушку! А теперь разом взять и вышвырнуть ее на улицу. Ведь если прежде все нас хвалили за благой поступок, то нынче будут осуждать за то, что мы отдаем ее безмозглому бездельнику, который и прокормить-то ее не сможет!

Никомако. Софрония, милая, ты несправедлива. Пирро молод, пригож собой, а если и не шибко грамотен пока, то ничего, подучится. Главное же – он любит ее. Словом, обладает тремя великими достоинствами, коими надлежит обладать мужу: молодостью, красотой и любовью к жене. Мне сдается, что дальше так продолжаться не может и какой-то выход следует найти. Если он голодранец, то это не беда, успеет еще нажить. Ведь он из тех, кто непременно разбогатеет, да и я не обойду его помощью, ибо, признаюсь тебе, я задумал купить молодоженам дом, в котором нынче живет Дамоне, наш сосед. Дом я, понятно, обставлю и в придачу – пусть это мне обойдется даже в четыреста флоринов – хочу еще...

Софрония. Ха, ха, ха!

Никомако. Ты смеешься?

Софрония. Всякий бы на моем месте стал смеяться.

Никомако. Смейся, смейся. А я вот на вас не посмотрю и оборудую им внизу лавчонку.

Софрония. Неужели ты столь необдуманно хочешь отобрать у собственного сына законную его долю и отдать ее тому, кто вовсе ее не заслуживает? Уж не знаю, что и сказать тебе. Сдается мне, что за всем этим кроется нечто совсем другое.

Никомако. Что же тебе сдается?

Софрония. Когда б ты сам этого не знал – я б сказала. Ну уж коли ты сам знаешь – лучше промолчу.

Никомако. Что же я знаю?

Софрония. Не придуривайся! Что тебя заставляет отдать девчурку этой дубине? Нешто с таким приданым нельзя сыскать партию получше?

Никомако. Быть может, и можно, да побуждает меня поступить так, а не иначе любовь, которую я испытываю к ним обоим, ибо оба они воспитаны у нас в доме и обоих я хочу устроить возможно лучше.

Софрония. Ну уж если на то пошло, то разве не воспитал ты Эустакьо, твоего управляющего?

Никомако. Конечно, воспитал. Но как мог я выбрать его, такого неказистого, такого неуча? Да ему бы только свиней пасти! Если б мы отдали Клицию за него, она бы с горя умерла.

Софрония. А с Пирро она помрет от нищеты. Сам знаешь, что тот мужчина больше ценится, который больше умеет. Вот Эустакьо, к примеру; он и по торговой части горазд, и к ремеслам способен, и приглядеть за чужим, да и за своим добром может. Словом, он из тех, кто всегда пробьет себе дорогу, да к тому же еще и при деньгах. А Пирро только бы по тавернам шляться да по игорным домам... такой лодырь и в раю подохнет с голоду.

Никомако. А разве не сказал я тебе, что намерен дать ему денег?

Софрония. А я разве не сказала тебе, чтобы ты гнал его прочь? Еще раз скажу, Никомако: ты тратил деньги на содержание девчурки, а я – силы на ее воспитание! А потому я тоже имею право решать ее судьбу. Если же ты будешь упорствовать, то я подыму такой шум и учиню такой скандал, что тебе не поздоровится и ты сгоришь со стыда. Иди и хорошенько подумай над моими словами!

Никомако. Это еще что за новости? Ты что, сдурела? Теперь-то уж я во что бы то ни стало добьюсь своего и выдам Клицию за Пирро. Сегодня же вечером обвенчаем их... а нет – пусть лопнут твои глаза!

Софрония. Ну, это еще бабушка надвое сказала.

Никомако. Ах, ты еще болтать и пугать меня? Делай, что тебе сказано! Или ты думаешь, что я совсем ослеп? Не понимаю, к чему ты клонишь? Одно дело желать добра детям, но другое – прикрывать их бесчестье.

Софрония. Чего ты мелешь? При чем тут бесчестье?

Никомако. Уж лучше помолчи! Мы-то отлично понимаем друг друга! Поди, оба не вчера родились! Лучше уж давай кончим дело полюбовно, ибо если мы оба будем лезть на рожон, то только станем посмешищем в глазах соседей.

Софрония. Это ты лезешь на рожон. А побрасываться девчуркой я не позволю. За нее я не то что дом переверну вверх дном, но всю Флоренцию.

Никомако. Эх, Софрония, Софрония, тот, кто прозвал тебя Софронией, впал в тяжкую ошибку! Ведь по-гречески это значит не более и не менее как «здравомыслящая». Но здравомыслия-то в тебе и вот настолечко нет!

Софрония. Ради всего святого, мне пора к мессе! Вернусь – тогда договорим.

Никомако. Обожди! Разве нет способа уладить это дело без того, чтобы нас приняли за сумасшедших?

Софрония. За сумасшедших нет, но за людей бесчестных – как пить дать.

Никомако. Но ведь кругом столько людей набожных, столько родственников! Обратимся к ним, пусть рассудят. Как скажут – так и поступим.

Софрония. Хочешь вынести домашние наши дрязги на площадь?

Никомако. Коли боишься родственников и друзей – давай обратимся к священнику. Ему мы объявим все как на духу и избежим огласки.

Софрония. К кому же обратимся?

Никомако. Как к кому? Понятно, к брату Тимотео, домашнему нашему исповеднику. Ведь он почти святой, да и по части чудес большой мастак.

Софрония. Каких это чудес?

Никомако. Вот те на! Да разве ты не знаешь, что его молитвами монна Лукреция, будучи бесплодной, понесла от мессера Ничи Кальфуччи?

Софрония. Эко чудо! Да для монаха обрюхатить женщину – раз плюнуть. Вот обрюхать ее монашка – дело другое!

Никомако. Послушай, жена, долго ты будешь молоть вздор и мне перечить?

Софрония. Сейчас я спешу к мессе, но заруби

себе на носу: в свои домашние дела я не желаю никого посвящать!

Н и к о м а к о. Ну иди, иди. Буду ждать тебя дома. *(Оставшись один.)* Пожалуй, и в самом деле лучше никуда не отлучаться, не то они еще куда-нибудь запрячут Клицию.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

С о ф р о н и я, одна.

С о ф р о н и я. Тот, кто знавал Никомако год назад и видит его теперь – не может не поражаться, сколь переменился он за это время! Прежде он был сама рассудительность и спокойствие. Время свое проводил он в неустанных трудах: вставал спозаранку, шел в церковь, распоряжался по дому; затем – если бывала нужда – отправлялся на площадь, на рынок, в присутственные места; если нужды в том не было – уединялся с кем-нибудь из сограждан для степенного разговора или шел к себе и погружался в деловые бумаги и счетные книги; после чего приятственно обедал в кругу семьи, а отобедав – занимался с сыном, наставлял его, рассказывал назидательные истории о доблестных мужах и при помощи многоразличных примеров из античной и современной истории обучал его жизни; затем снова выходил из дома либо по делам, либо для честного и серьезного времяпрепровождения. Возвращался же всегда до вечерней молитвы. Немного посидев с нами возле камелька – если дело было зимой, – он направлялся в свою комнату и работал. А около девяти вечера все весело садились за ужин. Таковой его образ жизни являлся примером для всех домашних, и всякий устыдился бы не следовать его примеру. Так размеренно и приятно текла наша жизнь. Но с тех пор, как в голову ему вскочила эта напасть, он забросил все дела, имения стали приходить в упадок, торговля – хиреть. Стал поминутно на всех кричать, и безо всякой к тому причины; по тысяче раз на день куда-то бегает, сам не зная куда и зачем. Если заговариваешь с ним – не отвечает или отвечает невпопад. Слуги же, видя все это, открыто смеются над ним, сын перестал уважать отца. Всякий поступает, как ему бог на душу положит... все пустились по стопам

хозяина. Коли только господь не смилостивится, то, думаю, бедному нашему дому скоро наступит конец. Поспешу-ка я к мессе и припаду к ногам Спасителя нашего с жаркой молитвой. А вон и Пирро с Эустакьо ругаются на чем свет стоит. Добрые мужья для нашей Клиции, нечего сказать!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Пирро, Эустакьо.

Пирро. Ты зачем во Флоренции, бездельник ты этакий?

Эустакьо. Не твое собачье дело.

Пирро. Ишь начистился, словно ночной горшок.

Эустакьо. Безмозглая ты скотина! Не пойму, как это еще мальчишки не забросали тебя камнями!

Пирро. А вот посмотрим, у кого больше мозгов!

Эустакьо. Моли бога, пусть продлит дни твоего хозяина, не то ходить тебе с сумой.

Пирро. Ты видел Никомако?

Эустакьо. А тебе что за дело?

Пирро. Узнаешь! Вертайся-ка ты, пока не поздно, в деревню, коли не хочешь, чтобы тебя выпроводили туда под стражей.

Эустакьо. Уж так мешаю тебе во Флоренции?

Пирро. Не так мне, как другим.

Эустакьо. Пусть других это и заботит.

Пирро. О твоем же благе пекусь, балда ты этакий!

Эустакьо. А почему ты ухмыляешься?

Пирро. Смотрю, хороший муж из тебя получится!

Эустакьо. Знаешь, не стыдно таскать суму рабочую, но если Клиция выйдет за тебя, ей придется таскать суму нищенскую. Пусть уж лучше Никомако утопил бы ее в этом вот колодце! По крайней мере, бедняжка б враз умерла, не мучаясь.

Пирро. Ах, гнусная ты деревенщина, провонявшая навозом! И ты думаешь уместить паскудные свои телеса рядом с такой куколкой?

Эустакьо. А каково бы ей было с тобой? Ежели горестная судьба вручит ее тебе, то не пройдет и года, как она либо по рукам пойдет, либо с горя помрет

Впрочем, в первом случае ты будешь с ней заодно! Тебе ведь только этого и надо.

Пирро. Болтай, болтай! Смеется тот, кто смеется последний. Пойду-ка я лучше домой, не то разберет охота проломить тебе голову.

Эустакьо. А я вернусь в церковь.

Пирро. Вот-вот! Правильно! И не кажи оттуда носа, покуда находишься там в неприкосновенности.

КАНЦОНА

Сколь хороша любовь во цвете лет,
настолько не пристала
тому, кто пережил давно расцвет.

С годами власть Амура сообразна –
и в юношестве он премного чтим,
а старость редко не чужда соблазна.
Так что оставьте это молодым,
о старики, – они на вашем месте
Амуру больше чести
способны оказать, сомнений нет.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Никомако, Клеандро.

Никомако. Клеандро! Клеандро!

Клеандро. Отец!

Никомако. А ну-ка сюда! Не понимаю, какого дьявола торчишь ты все время дома? Тебе не стыдно позорить девчурку? Взять хоть теперь: карнавал, сверстники твои разгуливают в масках, играют, веселятся. А ты сиднем сидишь и даже признаков жизни не подаешь.

Клеандро. Не радуют меня такие развлечения, да и прежде не радовали. Мне больше по душе побыть одному, чем водиться со всякими компаниями. Нынче же особенно не хочу отлучаться... вижу, что вы

дома, вот и хочу быть, на всякий случай, у вас под рукой.

Никомако. Ого, вот уж подходящий предлог надумал! Знаю, знаю, что ты сынок примерный! Но мне вовсе не нужно, чтобы ты вечно торчал тут под боком! У меня есть слуги, да еще управляющий, и потому утруждать тебя поручениями нет никакой нужды.

Клеандро. Господь с вами, отец! Какой же тут труд? Для меня это одно удовольствие.

Никомако. Удовольствие или нет – не знаю, но твердо знаю одно: твоя мать рехнулась и состояние наше пустит на ветер, это уж как пить дать!

Клеандро. Она или кто другой.

Никомако. Кто же другой?

Клеандро. Не знаю.

Никомако. И хорошо делаешь, что не знаешь. Но что думаешь ты о Клиции и о том, что творится вокруг нее?

Клеандро *(бормочет)*. Кажется, понятно, куда вы клоните!

Никомако. Чего ты бормочешь? Громче, ничего не понял!

Клеандро. Да, право, не знаю, что и сказать.

Никомако. А тебе не кажется, что твоя мать просто из кожи вон лезет, лишь бы не отдать Клицию Пирро?

Клеандро. Не понял!

Никомако. А я, между прочим, говорю ясно: ты принял сторону матери, и за этим что-то кроется! Скажи, однако ж, разве хорошо было бы Клиции с Эустакьо...

Клеандро. Не знаю и не хочу знать.

Никомако. Так что же, черт побери, ты знаешь?

Клеандро. Только не это.

Никомако. И тем не менее ты вызвал Эустакьо сюда, во Флоренцию, спрятал его от меня и всячески мешаешь свадьбе с Пирро. Но я засажу тебя в тюрьму вместе с Эустакьо, отдам Софронии ее приданое и выгоню вон! Я здесь хозяин и пусть все это зарубят себе на носу! Хочу, чтоб свадьба состоялась сегодня же вечером! Надо будет – я и дом подпалю! Обожду здесь Софронию, посмотрю, не

образумилась ли она. Клянусь честью, я не допущу, чтобы глупцы восторжествовали. Иди, и если хочешь себе и всему нашему дому добра, то попробуй уговорить мать. Пусть не перечит мне. Найдешь ее в церкви, а я буду ждать вас здесь. Если же повстречаешь этого негодяя Эустакьо – вели немедленно явиться ко мне, иначе плохо ему придется!

Клеандро. Иду.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Клеандро, один.

Клеандро. О, злосчастные влюбленные! Сколь часто горестные обстоятельства омрачают нам жизнь! Мне ведомо, что тот, кто, подобно мне, любит существо столь прекрасное, как Клиция, неизбежно обретает множество соперников, причиняющих неисчислимые муки! Но никогда еще я не слыхивал, чтобы соперником становился родной отец! Ведь в то время, как другие влюбленные юноши находили хотя бы частичное утешение и поддержку в своих отцах, я нахожу в своем лишь источник бед. Если мать и потворствует мне, то делает это не по душевной склонности, но всего лишь в пику злокозненным умыслам отца. Открыто же признаться в своей любви я не могу, ибо мать сразу же сообразит, что сговорился я обо всем с Эустакьо по тем же причинам, что и отец с Пирро. А уж тут совесть не позволит ей продолжать потворство, и она все предоставит течению событий. Тогда – прощай надежды и да здравствует смерть!.. А вот и мать выходит из церкви. Попробую выведать у нее, что она такое задумала, чтобы расстроить козни старика.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Клеандро, Софрония.

Клеандро. Да хранит вас господь!

Софрония. Клеандро, ты из дому?

Клеандро. Прямехонько.

Софрония. После моего ухода ты был все время дома?

К л е а н д р о. Ни на секунду не отлучался.

С о ф р о н и я. Где Никомако?

К л е а н д р о. Дома. После всего случившегося он никуда не хочет отлучаться.

С о ф р о н и я. Бог с ним! Посмотрим, кто кого перехитрит. Он тебе что-нибудь сказал?

К л е а н д р о. Наговорил кучу гадостей. Кажется, в него сам бес вселился. Нас с Эустакьо он хочет упрятать в тюрьму, вам он хочет вернуть приданое и выгнать вон. А еще – грозится поджечь дом. Мне он велел отыскать вас и попробовать склонить на эту свадьбу. Иначе, говорит, вам же будет хуже.

С о ф р о н и я. А ты что скажешь?

К л е а н д р о. Что могу я сказать? Я люблю Клицию как родную свою сестру и готов отдать все на свете, лишь бы она не досталась Пирро.

С о ф р о н и я. Уж не знаю, как ты ее там любишь, но одно скажу тебе: когда б все дело заключалось в том, чтоб вырвать Клицию из рук Никомако и отдать тебе – я б не дрогнула. Однако, полагаю, Эустакьо не захочет отказываться от нее, а твоя любовь к невесте, которую мы тебе прочим, заставит тебя позабыть любовь к Клиции.

К л е а н д р о. Вы, матушка, рассудили разумно. И тем не менее умоляю вас приложить все старания, чтобы расстроить свадьбу. И уж когда ничего другого не останется, как только выдать ее за Эустакьо, то согласиться. Но буде представится к тому возможность – всего лучше не спешить со свадьбой вообще. Она ведь совсем еще юная, и годы не подгоняют ее. А вдруг небеса возьмут да вернут ей родителей? И коли они окажутся людьми знатными, то навряд ли возрадуются тому, что вы выдали ее за слугу или деревенщину!

С о ф р о н и я. Ты хорошо сказал. Я тоже так считаю, но прыть нашего старика сбивает меня с толку. Впрочем, я напридумывала уйму уловок, чтобы расстроить его козни, и, уж верно, хоть одна из них да сработает. Теперь же – пойду домой, ибо вижу Никомако, который высматривает кого-то у входа. А ты отправляйся в церковь и скажи Эустакьо, чтобы он не мешкая шел к нам и ничего не боялся.

К л е а н д р о. Иду.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Никомако, Софрония.

Никомако. А, вот и жена возвращается! Попробую-ка я доброй шуткой добиться своего. Деточка моя, голубушка, неужто вид твоего муженька, твоей опоры и надежды, не возвеселит тебя? Побудь немного со мной.

Софрония. Оставь, пусти меня!

Никомако. Постой, тебе говорю!

Софрония. Не хочу, ты пьян.

Никомако. Дай обнять тебя!

Софрония. Ты что, рехнулся?

Никомако. Рехнулся, лишь только потому, что слишком тебя люблю?

Софрония. Не хочу я твоей любви!

Никомако. Быть того не может!

Софрония. Ты что, убить меня хочешь, чудовище ты этакое!

Никомако. Нет, скажи правду!

Софрония. Так вот и скажи?

Никомако. Да посмотри на меня, сокровище мое!

Софрония. Не только вижу тебя, но и запах чую; нечего сказать – хорош!

Никомако *(в сторону)*. Таки учуяла, стерва! Пусть будет проклят прощелыга, что меня опрыскал!

Софрония. Откуда, старый дурень, этот запах?

Никомако. Да проходил тут один продавец... я поздоровался с ним за руку, вот запах и пристал ко мне.

Софрония *(в сторону)*. Так и знала, что вывернется, скотина! *(К Никомако.)* И тебе не стыдно за все то, что ты вытворяешь в нынешнем году? Вечно таскаешься с молодыми оболтусами, шляешься по тавернам, не вылазишь из сомнительных домов, где и женщины, и азартные игры, соришь деньгами направо и налево. Хороший пример подаешь ты сыну! Вот после этого и выходи замуж за этаких красавцев!

Никомако. Уж, пожалуйста, жена, не вываливай мне на голову все мерзости зараз! Оставь хоть что-нибудь на завтра! Но разве не разумно было бы, чтобы ты поступила по-моему, а не я по-твоему?

Софрония. Конечно, когда бы речь шла о вещах небесчестных.

Никомако. А чего бесчестного находишь ты в том, чтобы выдать замуж нашу девчурку?

Софрония. Ничего, если замужество это доброе.

Никомако. А чем же Пирро ей не ровня?

Софрония. Никак не ровня.

Никомако. Почему же?

Софрония. Я тебе уж объясняла почему.

Никомако. В таких делах я разбираюсь лучше. Ну, а если я сделаю так, что Эустакьо сам не захочет ее?

Софрония. А если я сделаю так, что и Пирро ее не захочет?

Никомако. Добро, по рукам! Ты поговори с Пирро, я – с Эустакьо. Кому из нас удастся уговорить – того и взяла.

Софрония. Согласна. Иду домой и поговорю с Пирро, а ты потолкуй с Эустакьо, который, вон видишь, выходит из церкви.

Никомако. Быть по сему.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Эустакьо, Никомако.

Эустакьо *(в сторону)*. Поскольку Клеандро велел мне идти домой и ничего не бояться, то напущу-ка я на себя вид победрее.

Никомако *(в сторону)*. Хотел я изругать этого паршивца на все корки, да раз уж нужно просить – лучше поостерегусь. *(Зовет.)* Эустакьо!

Эустакьо. Хозяин!

Никомако. Давно во Флоренции?

Эустакьо. Со вчерашнего вечера.

Никомако. Однако ж ты не очень-то спешил объявиться! Где ты пропадал?

Эустакьо. А вот слушайте. Еще вчера утром я почувствовал себя как-то скверно: болела голова, заложило горло, лихорадило. А поскольку отовсюду ползут слухи о моровой язве, то вот я и засомневался. Вчера вечером приехал я во Флоренцию, остановился на

постоялом дворе; идти же к вам забоялся – вдруг заражу вас и ваших домашних. Но слава богу, все обошлось, и сегодня я чувствую себя совсем здоровым.

Никомако *(в сторону).* А ведь придется притвориться, будто верю ему! *(К Эустакьо.)* И разумно поступил, сын мой! Значит, теперь ты уже совсем излечился?

Эустакьо. Да, хозяин.

Никомако *(в сторону).* Излечиться-то, может, и излечился, да только не от плутней! *(К Эустакьо.)* Очень, очень рад. Ты, поди, уже наслышан о распре между мной и женой из-за Клиции? Жена хочет выдать ее за тебя, я же прочу ее за Пирро.

Эустакьо. Значит, вы любите больше Пирро?

Никомако. Как раз наоборот: я прочу ее за Пирро именно потому, что люблю тебя больше. Зачем тебе такая жена? Тебе тридцать восемь лет, и столь юная девица вовсе тебе не пара. Прожив с тобою несколько месяцев, она, как водится, подыщет себе парня помоложе, и ты начнешь страдать. А уж тогда какой от тебя прок? Я не смогу доверять тебе и буду вынужден прогнать. Ты же, лишившись места, впадешь в нищету и пойдешь по миру с протянутой рукой.

Эустакьо. На нашей грешной земле обладатель жены-красавицы не может обнищать; огнем и женой можно делиться с кем угодно, ибо чем сильнее пламя, тем лучше ты обогреваешься.

Никомако. Значит, ты хочешь жениться на ней вопреки моей воле?

Эустакьо. Зато в угоду своей собственной.

Никомако. Вон с глаз моих! Ступай в контору! *(В сторону.)* Ну не болван ли я был, когда понадеялся на благодарность и учтивость этого мужлана? *(Вслух.)* Раз так, я поговорю с тобой иначе! Приготовь счета, вались к черту и знай, что стал злейшим моим врагом, а уж я постараюсь насолить тебе, как смогу.

Эустакьо. Лишь бы Клиция стала моей, а на остальное я чихал.

Никомако. Виселица станет твоей!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Пирро, Никомако.

Пирро. Прежде чем я поступлю по-вашему, я лучше дам освежевать себя!

Никомако *(в сторону)*. Дело идет на лад! Пирро преисполнен решимости. *(К Пирро.)* Что с тобой? С кем ты развоевался?

Пирро. С теми, с кем и вы воюете.

Никомако. Что она сказала? Чего она хочет?

Пирро. Хочет, чтобы я отказался от Клиции.

Никомако. А ты что ей ответил?

Пирро. Что я дам скорее себя четвертовать, чем откажусь.

Никомако. Ты хорошо ответил.

Пирро. Ответил-то, может, и хорошо, да вот правильно ли я поступил – не знаю, ибо через это я заделался разом врагом супруги вашей, вашего сына и всех прочих домашних.

Никомако. Вот уж не печаль! Знаешь, важно со Вседержителем поладить, а на его присных можно и чихнуть!

Пирро. Можно-то можно, да только коли вы помрете – присные мне попомнят.

Никомако. Не бойся. Я отпишу тебе такую часть наследства, что присные не сумеют тебе напакостить. А если и пожелают, то законы и власти сумеют защитить тебя – лишь бы с твоею помощью я получил возможность насладиться Клицией.

Пирро. Ох, не верится! Уж так распалилась против вас супруга ваша.

Никомако. Чтобы покончить с распрями о том, кому достанется Клиция, я решил предоставить дело жребию. Тут уж и Софрония вынуждена будет смириться.

Пирро. А если Фортуна повернется к вам спиной?

Никомако. Будем уповать на всевышнего. Он этого не попустит.

Пирро *(в сторону)*. О, старый безумец! Он еще хочет, чтобы господь споспешествовал ему в его гнусностях! *(Вслух.)* Но ведь и Софрония уповает на бога?

Никомако. Пусть себе уповает, да только если

выбор будет не в мою пользу, я уже подумал, как спасти дело. Пойди позови сюда Софронию и Эустакьо.

Пирро. Софрония! Хозяин зовет!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Софрония, Эустакьо, Никомако, Пирро.

Софрония. Я здесь! Какие-нибудь новости?

Никомако. Надо положить этому делу конец. Раз эти двое не могут прийти к соглашению, нужно, чтобы согласились мы с тобой.

Софрония. К чему такая настырность? То, что нельзя решить сегодня, мы сможем решить завтра.

Никомако. Нет! Я желаю покончить с этим сегодня же.

Софрония. Воля твоя. Оба соискателя тут налицо. Но интересно, как же ты собираешься все решить?

Никомако. А вот как: поскольку к соглашению мы прийти не можем, то давай предоставим все жребию.

Софрония. То есть как это жребию?

Никомако. А так: в одну сумку мы опустим бумажки с именами Эустакьо и Пирро, а в другую – бумажку с именем Клиции и чистую бумажку. Сначала пусть тащат бумажку с именем одного из них, и если тому, кто вытащит первым, достанется бумажка с именем Клиции – второй пусть уж наберется терпения. Хорошо придумано? Тебе не подходит?

Софрония. Почему же. Я согласна.

Эустакьо. Подумайте, что вы делаете!

Софрония. Я подумала и знаю, что делаю. Сходи домой, напиши имена на бумажках и принеси две сумки, и либо я избавлюсь этаким способом от всех хлопот, либо обреку себя на еще большие труды и тревоги.

Эустакьо. Иду.

Никомако. Значит, решено. Молись, Пирро, чтобы всевышний ниспослал тебе удачу.

Пирро. Ниспослал вам, хозяин.

Никомако. Ты хорошо рассудил. Твоя удача будет для меня радостной наградой.

Эустакьо. Вот сумки и билетики.

Никомако. Дай сюда. Здесь что написано?

«Клиция». А здесь? Пустышка. Отлично. Клади вот в эту сумку. А на этой бумажке? «Эустакьо». А тут? «Пирро». Сверни их и положи в другую сумку. Так, смотрите внимательно, чтобы не было никакого мошенничества.

Софрония. Люди подозрительные хорошими не бывают.

Никомако. Пустое! Знай, что только тот не бывает обманут, кто никому не верит. Так кто же будет тянуть жребий?

Софрония. Сам определи!

Никомако. Подойди сюда, сынок.

Софрония. Нужно, чтобы это был невинный ребенок.

Никомако. Невинный или нет, не знаю, я его не нянчил. Тащи из этой сумки билетик после того, как я произнесу молитву. О, пресвятая Аполлония, молю тебя и всех святых покровительниц браков ниспослать Клиции великую милость: пусть выйдет билетик с именем того, кто приходится нам более по вкусу. Теперь же, перекрестившись, тащи. Дай сюда! О, черт, я погиб! «Эустакьо»!

Софрония. Что? Господи, соверши чудо! Не попусти совершиться неправому делу!

Никомако. Тащи другой. Дай мне! Пустышка! Я воскрес, мы победили! Пирро, ликуй! Эустакьо сгинул. Софрония, господу стало угодно отдать Клицию Пирро, возжелай же этого и ты вместе с нами!

Софрония. Я согласна.

Никомако. Тогда пойди и распорядись о свадьбе.

Софрония. Куда спешить? Разве нельзя обождать до завтра?

Никомако. Нет, нет и нет! Разве не слышишь, что нет? Уж не измыслила ли ты еще какую-нибудь ловушку?

Софрония. Да ведь так спешат только животные! Разве не должна она сперва послушать венчальную мессу?

Никомако. Венчальная месса! Эка важность! Прослушает в другой раз. Разве тебе не ведомо, что отпущение грехов дается как тому, кто покается после, так и тому, кто покается до?

Софрония. Боюсь, что она еще и до обычных-то женских месячных не доросла!

Н и к о м а к о. Ерунда! За ночь с мужчиной дорастет! Я желаю, чтобы ты нынче же вечером повела их и обручила. Мне начинает казаться, что ты не понимаешь меня.

С о ф р о н и я. Сам веди ее, и да будет проклят этот час! Пошли в дом, и ты сам объявишь несчастной дочурке свою волю, хоть я и не думаю, что она, согласно обычаю, подарит тебе за эту добрую весть чулки!

Н и к о м а к о. Достанет с меня и ее штанов. Пошли.

С о ф р о н и я *(в сторону)*. Пусть сам идет, а я поищу Клеандро. Быть может, он еще отыщет средство предотвратить беду.

КАНЦОНА

Кто женщине обиду
невольно или вольно нанесет –
не вымолит себе прощенья тот.

Когда на землю женщина приходит,
ее душа полна
гордыни и не знает снисхожденья:
при помощи жестокости она
и лжи легко находит
любым своим желаньям утоленье;
и если ослепленье –
гнев или ревность – женщину ведет,
нет силы той, что эту превзойдет.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

К л е а н д р о, Э у с т а к ь о.

К л е а н д р о. Возможно ли, что моя мать решилась столь безрассудным образом пожертвовать честью нашего дома?

Э у с т а к ь о. Все произошло именно так, как я тебе рассказал.

К л е а н д р о. О, есть ли человек несчастнее меня?

Есть ли судьба горестнее? Никто со мной не считается, свадьбу назначают без моего участия, все совершается по прихоти старика! О Фортуна, будучи женщиной, уж ты-то должна была охранить молодых! Ты же на сей раз приняла сторону стариков! Не стыдно ли тебе предписывать, чтобы столь прелестное личико целовано было зловонной пастью? Чтобы столь нежные ручки обвивались вокруг грязных телес? Ведь даже не Пирро, но Никомако – как полагаю я – будет владеть Клицией. Ты не могла, о зловредная Фортуна, нанести мне более тяжкого удара, отняв одним махом и возлюбленную, и богатство; ибо, если любовь эта будет длиться, Никомако оставит большую часть своего имущества Пирро, а не мне, законному наследнику. Ох, не хотел бы я повстречать сейчас Софронию! Иначе пришлось бы высказать ей все, что я думаю о безрассудном этом жребии.

Эустакьо. Ободрись, Клеандро, думается мне, что твоя мать поспешила в дом, дабы не допустить старую развалину до облюбованного им цветочка. Вот, кстати, и ваш отец вместе с Пирро, и оба так веселы.

Клеандро. Ты, Эустакьо, беги домой, а я спрячусь тут и послушаю, что они там затеяли.

Эустакьо. Бегу.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Никомако, Пирро, Клеандро.

Никомако. О, сколь счастливо идут наши дела! Видал, как все они приуныли, в каком отчаянье жена? И все это меня несказанно радует; но стократ усилится мое блаженство, когда возьму я Клицию под руку, дотронусь до нее, поцелую, обниму. О, сладчайшая ночь! Когда же ты наступишь наконец? И всем этим я обязан только тебе! Я твой должник вдвойне!

Клеандро *(в сторону)*. О, старый безумец!

Пирро. Охотно верю, однако ж не верится мне, что сегодняшней ночью вы добьетесь своего. Представится ли к тому случай?

Никомако. Еще бы не представился! Ты только послушай, как складно все задумано.

Пирро. Интересно!

Клеандро *(в сторону)*. А мне-то уж и подавно! Авось услышу такое, что мне поможет расстроить ваши козни.

Никомако. Ты знаешь нашего соседа Дамоне? Ну, того, у которого я откупил дом в твою пользу?

Пирро. Знаю, конечно.

Никомако. Так вот: ты должен привести Клицию к Дамоне, пока он еще там живет и дом не освободил. В присутствии своих я скажу, чтобы ты привел свою нареченную в дом, где вам надлежит поселиться.

Пирро. Ну, а что же произойдет потом?

Клеандро *(в сторону)*. Навостри уши, Клеандро!

Никомако. Я повелел жене позвать Сострату, жену Дамоне, чтоб та помогла устроить свадьбу и убрать невесту. Дамоне я скажу, чтоб он приказал супруге все в точности так и исполнить. После свадьбы Сострата отведет Клицию к себе домой, уложит в постель и вернется к нам. Я же скажу своим, что побуду с Дамоне еще некоторое время в трактире, а Софрония и Сострата останутся у нас дома. Ты, оставшись наедине с Клицией, потушишь свет и покрутишься по комнате, делая вид, что раздеваешься; а я в это время потихонечку шмыгну в спальню, разденусь и залезу в постель к Клиции. Ты же устроишься на диванчике и там притаишься. Перед рассветом я, под предлогом сходить по нужде, подымусь, оденусь, а ты займешь мое место в кровати.

Клеандро *(в сторону)*. О, старый негодник! Как счастлив я, что проник в нечестивые твои замыслы! И сколь несчастлив ты, тайный замысел которого стал явным!

Пирро. Да, уж поистине вы решительно все предусмотрели. Но об одном все же нужно подумать всерьез: этой ночью вы должны так вооружиться, чтобы казаться молодцом, ибо сомневаюсь я, чтобы старость себя не выдала даже в темноте.

Клеандро *(в сторону)*. Ну, с меня хватит услышанного. Пойду поищу мать.

Никомако. Я и это предусмотрел! Как другу тебе откроюсь: на ужин с Дамоне я заказал еду, подходящую случаю. Прежде всего я приму питье, замешанное на соке орхидей. Оно очень укрепляет мужскую силу и называется сатирионом.

Пирро. Какое чудно́е название!

Никомако. Зато питье чудодейственное! Оно спо-

собно омолодить не то что семидесятилетнего, вроде меня, но девяностолетнего старца. Выпив это снадобье, я поужинаю. Скромно, но с толком. Начну с салата из вареного лука, затем пойдет фасоль, сильно приправленная всякими специями.

Пирро. А это зачем?

Никомако. Как зачем? Да ведь лук, фасоль и специи, будучи еще к тому же горячими, обладают такой силой, что способны надуть паруса даже тяжелым генуэзским баркам. Напоследок же надо съесть крупного голубя, только не пережаренного, а так, чуть-чуть с кровью.

Пирро. Смотрите не повредите желудку, ибо пищу эту надлежит тщательно прожевывать. Вам же придется ее глотать, ибо я не вижу в вашем рту мощных клыков.

Никомако. За меня не бойся. Хоть во рту у меня и маловато зубов, зато челюсти покрепче толедской стали.

Пирро. Значит, когда вы покинете Клицию и я залезу на ваше место, то мне не придется трудиться, ибо, надо полагать, бедняжка будет к тому времени уже сильно измучена?

Никомако. А разве не лучше, если за тебя поработает твой хозяин?

Пирро. Хвала господу нашему за то, что он даровал мне супругу, с которой я не буду знать ни трудов, ни расходов по ее содержанию.

Никомако. Иди домой, пригляди за приготовлениями к свадьбе, а я поговорю с Дамоне, который, как я вижу, выходит из дверей своего дома.

Пирро. Иду.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Никомако, Дамоне.

Никомако. Наступил час, дорогой Дамоне, когда ты можешь доказать всю силу своей дружбы. Спеши освободить дом, пусть в нем не остается ни твоей жены, ни кого другого, ибо я желаю распорядиться так, как я тебе уже сказывал.

Дамоне. Чтобы угодить тебе, я готов на все.

Никомако. Я велел жене позвать твою Сострату, дабы она помогла в свадебных хлопотах. Проследи,

чтобы Сострата шла не мешкая, едва только моя жена ее кликнет. Да еще накажи ей непременно захватить с собою служанку.

Дамоне. Положись на меня.

Никомако. Сейчас я отлучусь по делу, закажу все, что надо, и мигом буду обратно. Ты же подожди здесь Софронию и кликни свою жену. А вот и Софрония. До скорой встречи.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Софрония, Дамоне.

Софрония *(в сторону)*. Понятно, для чего муженек мой просил вызвать жену Дамоне! Хочет всласть порезвиться в пустом доме! А, вот и сам Дамоне: о, зерцало Флоренции, доблестный муж, предоставляющий свой дом для столь бесчестного и позорного деяния! Но я разделаюсь с ними так, что им по гроб жизни будет стыдно самих себя. А сейчас вгоню-ка я в краску этого бесстыжего.

Дамоне *(в сторону)*. Странно, что Софрония стоит там на месте и вроде вовсе не собирается звать мою жену. А, нет! Идет сюда. Да хранит тебя небо, Софрония!

Софрония. И тебя тоже, Дамоне! Где твоя жена?

Дамоне. Сидит дома. Ждет, когда ты позовешь ее. Так просил твой муж. Позвать?

Софрония. Нет, нет, не надо! Видно, у нее и своих-то дел по горло!

Дамоне. Да нет, ничем она не занята.

Софрония. Пусть дома сидит, не хочу ее беспокоить. Позову, когда время приспеет.

Дамоне. А разве приготовления к свадьбе еще не начались?

Софрония. Начались.

Дамоне. Значит, надо помочь?

Софрония. Помощников и так хватает.

Дамоне *(в сторону)*. Что же делать? Ну, попал я в передрягу, и все по милости этого обезумевшего старца, этого слезливого, беззубого слюнтяя. Зачем мне было соваться к Софронии с предложением жениных услуг, коли та в них вовсе не нуждается? Ведь теперь

Софрония будет вправе думать, что этак я набиваюсь на ужин, будет презирать меня и считать лизоблюдом.

Софрония *(в сторону)*. Таки вогнала его в краску! Ишь как кутается в плащ по самые уши! А теперь разыграю моего старикашку! Вон он плетется с рынка. Подохнуть мне на месте, если этот нечестивец не накупил там всяческих снадобий для омоложения, да еще надушился впридачу!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Никомако, Софрония.

Никомако. Ну-с, снадобье куплено, мазь для укрепления телесной мощи тоже куплена... Правду говорят, что хорошо оснащенному пускаться в поход вдвое легче. Дьявол, вон жена стоит! Неужели она меня слышала?

Софрония *(в сторону)*. Все, все слышала. Хорошо, коли после всех твоих гнусностей я до утра доживу.

Никомако. Ну, как? Все в порядке? Сострату позвала на помощь?

Софрония. Я-то позвала, как ты велел, да вот милый твой дружочек – уж не знаю, что он ей напел в уши – сделал так, что она сказалась занятой.

Никомако. Это вовсе меня не удивляет, ибо врожденная твоя грубость не позволяет тебе договориться даже с самонужнейшими тебе людьми.

Софрония. А ты б хотел, чтобы я гладила Дамоне по щечке? Не умею я расточать ласки чужим мужьям! Иди и сам зови ее, раз уж тебе так по сердцу волочиться за чужими женами. Я же пойду домой готовить свадьбу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Дамоне, Никомако.

Дамоне. Пойду взгляну – не вернулся ли наш влюбленный с рынка. Да вот он собственной персоной стоит у входа. А я-то тебя ищу!

Никомако. А я тебя, коварный ты друг! О чем мы с тобой договаривались? Хорошо же ты мне услужил!

Дамоне. Ты о чем?

Никомако. Прислал ты свою жену? Очистил дом от челяди? По твоей милости мне остается только в гроб лечь.

Дамоне. Давай полезай в петлю! Не ты ли сказал, что твоя жена позовет мою?

Никомако. Она и позвала, но Сострата не пожелала.

Дамоне. Все наоборот! Жена моя хотела пойти, да твоя не пожелала. И мало того что не пожелала – еще и обманула меня, а тебе нажаловалась. Черт бы побрал и тебя, и эту свадьбу, и всех прочих заодно!

Никомако. Но ты-то хочешь, чтоб она пришла?

Дамоне. Да, хочу, и, разрази их бог, хочу, чтоб и она, и служанка, и кошка – все бы побыстрее вытряхивались из дома! Ты займись своими делами, а я поспешу к себе, и я не я, если моя супружница вмиг не вылетит из дому.

Никомако. Вот это слова настоящего друга! Вот теперь наверняка все пойдет как по маслу! О боже, что за грохот несется из моего дома?

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Дория, Никомако.

Дория. Убивают, убивают! Бегите, спасайтесь! Отберите у нее нож! Спасайтесь! Софрония!

Никомако. Что с тобой? Что случилось?

Дория. Я погибла!

Никомако. Как погибла?

Дория. Я погибла и вы тоже!

Никомако. Да скажи, что с тобой?

Дория. Не могу! Я вся взмокла! Помашите на меня своим плащом!

Никомако. А ну отвечай, что с тобой, если не хочешь, чтобы я проломил тебе голову!

Дория. Сжальтесь, хозяин, не будьте злыднем!

Никомако. Признавайся, что с тобой и что происходит в доме!

Дория. Пирро вручил Клиции кольцо и пошел проводить нотариуса до парадной двери. И тут Клиция, укушенная уж не знаю какой мухой, хватает кинжал и разъяренная, простоволосая бросается с криком: «Где

Никомако? Где Пирро?» Софрония, Клеандро, я и все, кто находился в доме, напрасно пытаемся остановить ее. Клиция забилась в угол и кричит, что хочет вас зарезать. Тут все перепугались и бросились врассыпную. Пирро удрал на кухню и спрятался там за корзину с каплунами. Меня же послали предупредить вас, чтобы вы ни в коем случае не шли домой.

Никомако. Я самый разнесчастный на свете человек! А нельзя отнять у нее кинжал?

Дория. Пока никак.

Никомако. А кому она грозит?

Дория. Вам и Пирро.

Никомако. Вот уж беда так беда! Заклинаю тебя, дочка, беги домой и ласковыми словами попробуй ее урезонить: пусть, дескать, выкинет дурь из головы и положит кинжал. В награду обещаю тебе подарить пару туфелек и шейный платок. Беги, спеши, моя радость!

Дория. Бегу. Но домой являйтесь не раньше, чем я позову.

Никомако. Страшно подумать, что за горе обрушилось на меня! Сколько бедствий стеснилось передо мной, дабы превратить счастливейшую заветную ночь в ночь самую черную, самую разнесчастную! Бросила она кинжал? Можно идти?

Дория. Нет! Подождите!

Никомако. О господи, что-то меня еще ждет? Можно?

Дория. Можно. Только не входите в комнату Клиции. Не надо, чтоб она вас видела. Идите на кухню к Пирро.

Никомако. Иду.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Дория, одна.

Дория. Ох, и заморочили мы голову старику! Но то ли еще будет! Старикашка и Пирро от страха носа не кажут из кухни, в гостиной остались те, кто накрывает к свадебному ужину, в спальне – женщины, Клеандро и оставшаяся часть прислуги. Они переодевают нашего слугу Сиро в одежды Клиции, а ее выряжают в его одежды... Так Сиро сойдет за не-

весту. А чтобы старикашка и Пирро до поры до времени не раскрыли обман – обоих загнали на кухню под предлогом ярости, в которую впала Клиция. Вот уж шутка так шутка! А, пожаловали Никомако с Пирро!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Никомако, Дория, Пирро.

Никомако. Ты что тут делаешь, Дория? Клиция утихомирилась?

Дория. Да, хозяин, не только утихомирилась, но даже пообещала Софронии не выходить из вашей воли. Софрония, правда, считает, что вам с Пирро покамест не следует показываться Клиции, боясь, как бы та снова не впала в бешенство. Когда же ее уложат в кровать – тогда уж дело за Пирро: не сумеет ее приручить – пусть пеняет на себя!

Никомако. Софрония рассудила умно: так мы и поступим. Теперь поспеши домой, там поди все перепарилось и пережарилось. Пусть все садятся за стол, а мы с Пирро поужинаем у Дамоне. Как только кончите – пусть Клицию ведут в спальню к жениху. Поторопи их, Дория, уже девять часов пробило... этак в беготне и вся ночь пройдет.

Дория. Ваша правда. Лечу.

Никомако. Ты, Пирро, побудь здесь. А я зайду к Дамоне, пропущу глоточек. И не вздумай входить в дом, чтобы снова не разозлить Клицию. Если же что случится непредвиденного – лупи опрометью за мной.

Пирро. Идите и не беспокойтесь, сделаю все, как вы велите. *(Один.)* Уж коли хозяин пожелал, чтобы я зараз остался и без жены, и без еды – ничего не попишешь. Думаю я, однако ж, что и за целый год не может приключиться столько страстей, сколько приключилось их за один сегодняшний день. Боюсь только, что это еще не конец и самое страшное впереди, ибо смешки, которые я расслышал в доме, ничего доброго не предвещают. Но вон, я вижу, появился факел... Ага, значит, свадебный ужин кончился. Надо позвать старика. *(Кричит.)* Никомако! Дамоне! Сюда, скорее! Невеста идет!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Никомако, Дамоне, Софрония, Сострата.

Никомако. Вот и они. Пирро, быстро домой! Лучше, чтобы невеста тебя не видела. Ты, Дамоне, выйди дамам навстречу и затей с ними разговор.

Софрония. О, бедная моя дочурка плачет, плачет, не переставая! Видишь, даже платка не отнимает от глаз.

Сострата. Ничего, завтра будет смеяться! Все невесты так поступают. Никомако! Дамоне! Да пошлет вам господь доброй ночи!

Дамоне. И вам также. Вы, милые наши жены, отведите новобрачную в спальню и возвращайтесь сюда. Дальше о ней позаботится Пирро.

Сострата. Ну, с богом, пошли.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никомако, Дамоне.

Никомако. Ты заметил, какая она подавленная? И почему-то вдруг вытянулась? Не иначе, как туфли на каблуках сделали ее такой высокой.

Дамоне. Мне тоже показалась она крупнее, чем прежде. Никомако, друг мой, сколь счастлив должен быть ты! Ведь дело клонится к желанному концу. Уж постарайся, не ударь в грязь лицом. Иначе – пиши пропало.

Никомако. Будь спокоен, Дамоне! Я не оплошаю! Подкрепившись по особому своему рецепту, я чувствую себя прочнее стали... А вот возвращаются и наши женщины.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Никомако, Сострата, Софрония, Дамоне.

Никомако. Уложили ее в постель?

Сострата. Уложили, уложили.

Дамоне. Прекрасно. Теперь и мы приступим к делу. Ты, Сострата, иди спать к Софронии. Никомако же останется со мной.

Софрония. С богом, и да ниспошлет он вам приятной ночи.

Дамоне. И вам такой же. Смотрите не поцарапайте друг друга!

Сострата. Нам-то бояться нечего! В отличие от вас, мужчин, мы безоружные, а вот вам советуем поостеречься.

Дамоне. Ну, мы пошли.

Софрония. Мы тоже. Ступай, ступай, Никомако, припади к вожделенному фонтанчику, да не напорись на острый краник.

КАНЦОНА

Приятно жить обманом!
Обман, невзгодам ты предел кладешь,
простор давая планам,
и горечи ты сладость придаешь.
Заблудших ты зовешь
на правый путь – и твой призыв по нраву.
Достоинства твои
обогащают божество любви.
И камни побеждаешь ты по праву,
и горы, и отраву.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Дория, одна.

Дория. Вот уж никогда так не смеялась, да, верно, и не буду смеяться. Ночь напролет дом наш сотрясался от хохота. Софрония, Сострата, Клеандро, Эустакьо – просто животики надорвали. Только и слышалось: «Вот Никомако входит в спальню, вот раздевается, вот

пристраивается к новобрачной, вот натягивает паруса, вот дает «полный вперед». И пока все это мелькало в нашем воображении, влетают Сиро и Пирро, и общее веселье усиливается стократ. Самое забавное было глядеть на то, как Пирро потешался над Сиро: казалось, никому еще в нынешнем году не выпадало на долю столько радости и веселья. Под утро хозяйка послала меня взглянуть, что поделывает старикашка, как переносит он свою незадачу. А вот и он, тут как тут, да еще вместе с Дамоне. Спрячусь и послушаю – авось еще посмеемся всласть.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дамоне, Никомако, Дория.

Дамоне. Ну и ночка была! Что там происходило? Ты как воды в рот набрал! Кто-то суетился, хлопал дверьми, вставал с постели, снова ложился – словом, ни минуты покоя! Я глаз не мог сомкнуть, тем более что комната моя находилась как раз под спальней. В конце концов мне это осточертело, я встал, вышел, и вот встречаю тебя здесь... а на тебе лица нет! Молчишь? Да ты и впрямь похож на мертвеца! Что происходит?

Никомако. Братец ты мой, уж не знаю, куда и бежать, куда спрятаться от великого позора, которым я запятнал себя на старости лет. Я обесчещен до конца моих дней, и нет способов смыть это бесчестье, никогда уж не смогу я явиться на глаза жене, сыну, родным и слугам своим. Я сам искал этого бесчестья, и жена помогла мне его найти. Я уничтожен. Прискорбно мне и твое соучастие, ведь все будут знать, что и ты приложил руку к злосчастному этому делу.

Дамоне. Что случилось? Ты ничего не сломал?

Никомако. Что я должен был сломать, по-твоему? Эх, кабы голову я себе сломал!

Дамоне. Так что же случилось? Почему ты не хочешь сказать?

Никомако. Ух! Ух! Ух! Я так страдаю, что навряд ли сумею толком объяснить.

Дамоне. Не будь ребенком! Какого черта с тобой приключилось?

Никомако. Ты знаешь, как все тщательно было продумано? Так вот, согласно задуманному, я пробрался в спальню и тихо разделся. Потом, воспользовавшись темнотой, я устроился рядом с Клицией, а Пирро улегся на кушетку.

Дамоне. Ну а дальше-то что?

Никомако. Ух! Ух! Ух! Я придвинулся к ней, затем, как это принято у всех новобрачных, хотел положить ей руку на грудь. Она же своею рукой схватила мою руку и не позволила. Я хотел поцеловать ее, а она уперлась ладонью в мое лицо и оттолкнула назад. Тогда я решил навалиться на нее всем телом, но она, изловчившись, так саданула меня коленом, что чуть не поломала мне ребра. Когда же я удостоверился, что силой тут не возьмешь, я перешел к увещеваниям и сладкими и нежными речами пытался склонить ее к сдаче: «О сладчайшая душа моя, зачем ты меня мучишь? О радость моя, почему не дашь ты мне добровольно то, что другие жены охотно дают своим мужьям?» Ух! Ух! Ух!

Дамоне. Уйми слезы!

Никомако. Я так страдаю, друг мой, что не нахожу себе места и не могу сдержать слез... Напрасно я продолжал щебетать. Она не только не подавала малейших признаков приязни, но даже не отвечала мне. Видя такое ее отношение, я перешел к проклятиям и угрозам: мол, сделаю тебе то-то и скажу еще то-то. И тут она, сжав в коленях ноги, дала мне пару таких пинков, что, не будь одеяла, я наверняка вылетел бы из постели на самую середину комнаты!

Дамоне. Быть того не может!

Никомако. А вот, значит, может! Поступив таким образом, она перевернулась на живот и так прижалась к постели, что ее не свернули бы с места все подъемные машины, что заняты на постройке нашего главного собора. Я же, убедившись, что ни сила, ни угрозы тут не помогут, повернулся к ней спиной в надежде, что, быть может, к утру она сменит гнев на милость.

Дамоне. Вот это ты поступил разумно! Так ты должен был поступить с самого начала: не хочешь — не надо!

Никомако. Обожди, я не кончил! Самое удивительное еще впереди. Притомившись от обиды и боли,

я начал дремать. Как вдруг почувствовал какое-то колотье в боку, возле поясницы, – пять или шесть сильных таких ударов! Спросонья я завел туда руку и нащупал нечто такое твердое и острое, что заставило меня пулей выскочить из постели, ибо в ту же секунду вспомнил я о кинжале, которым Клиция грозилась меня зарезать. Заслышав шум, спавший до тех пор Пирро проснулся. Я же, подстегиваемый не столько разумом, сколько страхом, велел ему сбегать за огнем, сказав, что Клиция приготовила кинжал и хочет нас зарезать. Пирро вмиг сбегал за светильником, и тут вместо Клиции мы увидели Сиро, моего слугу. Этот паршивец возлежал на постели совсем голый, давился от хохота и в знак полного презрения ко мне изображал рукой непотребные жесты.

Дамоне. Ха! Ха! Ха!

Никомако. Эх, Дамоне, и ты еще смеешься?

Дамоне. Мне очень жаль, что все так произошло, но, право, нельзя удержаться от смеха.

Дория *(в сторону)*. А я пойду расскажу все хозяйке. То-то будет веселье.

Никомако. Вот какая беда со мной стряслась, и, что самое скверное, все будут над ней потешаться, а мне остается только плакать. Даже слуги мои Пирро и Сиро, нисколько не стесняясь меня, то хохотали навзрыд, то говорили какие-то гадости. Потом, кое-как одевшись, поспешили куда-то, скорее всего к моей жене и другим женщинам, и теперь поди хохочут все вместе. Итак, все надрывают животики и одному Никомако слезы.

Дамоне. Полагаю, ты не сомневаешься, сколь огорчительна мне вся эта история, ибо из-за твоей влюбленности и я был втянут в эти плутни.

Никомако. А можешь ты мне дать какой-нибудь совет? Ради бога, хоть теперь не покидай меня!

Дамоне. Думаю – если, понятно, не подвернется счастливый случай, – ты должен целиком предать себя в руки Софронии. Скажи ей, что отныне и во веки веков она может поступать и с тобой и с Клицией как ей заблагорассудится. Ведь и ей тоже надо будет позаботиться о твоей чести, ибо, раз вы – муж и жена, любой твой позор становится и ее позором. Вот, кстати, и сама Софрония. Иди, поговори с ней, а я пройдусь по улицам, загляну на рынок и послушаю, какие

толки идут обо всем этом деле, и если что услышу, то уж постараюсь выгородить тебя как смогу.

Никомако. Прошу тебя.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Софрония, Никомако.

Софрония. Дория, служанка моя, сказала, что Никомако уже вышел из дому и вид у него самый прежалостный. Интересно, что-то теперь он мне скажет? А, вот он! Никомако!

Никомако. Чего тебе?

Софрония. Куда ты собрался в такую рань? Новобрачной-то ты хоть сказал два слова? Поинтересовался, как у них там получилось с Пирро?

Никомако. Понятия не имею.

Софрония. Кто же, если не ты, может его иметь? Разве не ты поставил вверх дном всю Флоренцию, чтобы добиться этой свадьбы? А теперь, когда дело сладилось, ты воротишь нос и выражаешь свое удивление!

Никомако. Оставь меня в покое, не терзай!

Софрония. Это ты терзаешь меня! Подумать только: я же должна утешать его в том, в чем он должен был утешать меня! Да вдобавок ко всему еще и проявлять внимание к новобрачным! Видал, я, а не ты, несу им подарок.

Никомако. Знаешь, хватит издеваться надо мной. Станет и того, что я натерпелся в течение всего этого года, того, что я натерпелся вчера и особенно сегодняшней ночью.

Софрония. Никогда я над тобой не издевалась и не подшучивала. Это ты сам вынудил нас так поступить, ты сам привел дело к столь злополучному для тебя концу! Ведь это ты не устыдился, воспитав в своем доме девчурку, выдать ее замуж за нерадивого пройдошливого слугу с единственной целью, дабы он не мешал тебе с ней баловаться! Неужто ты полагал, что имеешь дело со слепыми, с людьми, которые не способны помешать задуманному тобою неправому делу? Признаюсь, что это я сплела всю эту сеть, ибо другого средства заставить тебя одуматься и отказаться от злого умысла уже не оставалось, кроме как

накрыть тебя с поличным в присутствии множества свидетелей. Пеняй уж на себя, коли ничто, кроме публичного срама, не могло остановить тебя. И все же даже сегодня, если только ты одумаешься, возьмешься за ум и захочешь стать прежним Никомако, каким ты был год назад, можно еще все спасти. Мы тоже забудем этот случай, и никто ничего не узнает. Ибо, сам знаешь, стоит выйти огласке, как сплетням и пересудам концакрая не будет.

Никомако. Софрония, дорогая, поступай так, как тебе будет угодно: я готов не выходить из твоей воли, лишь бы дело не получило огласки.

Софрония. Если ты и в самом деле так решил, то будь покоен. Никто ничего не узнает.

Никомако. Где Клиция?

Софрония. Вчера, сразу после ужина, переодевшись в платье Сиро, она отправилась в монастырь.

Никомако. А что говорит по этому поводу Клеандро?

Софрония. Он рад, что свадьба расстроилась, но горюет, не видя возможности заполучить Клицию в жены.

Никомако. Пусть теперь это тебя заботит. Я же, со своей стороны, не полагаю разумным женить их, прежде чем мы не узнаем про ее родителей.

Софрония. Я с тобой согласна: сперва надобно узнать о ее родичах, да и у Клеандро может пройти охота жениться. Подождем. Пока же следует уничтожить ее помолвку с Пирро.

Никомако. Делай как знаешь. А я пойду отдохну, ибо из-за этой проклятущей ночи я совсем не стою на ногах... к тому же я вижу Клеандро и Эустакьо, с которыми у меня нет охоты встречаться. Поговори с ними сама; скажи им о нашем с тобой решении. Хватит с них и того, что ихняя взяла, и пусть они об этом деле со мною больше не заговаривают.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Клеандро, Софрония, Эустакьо.

Клеандро. Видал, как старик заспешил домой? Его поди погнала Софрония. Вид у него прежалкий!

Подойдем к ней и расспросим. Да хранит вас господь, матушка! Что сказывает Никомако?

Софрония. Бедняга пристыжен донельзя. Говорит, что впору хоть в петлю лезть, дал мне полную власть и хочет, чтобы впредь я всем распоряжалась по своему усмотрению.

Эустакьо. Значит, все в порядке? Я получу Клицию?

Клеандро. Постой, не спеши! Этот кусочек не для тебя.

Эустакьо. Вот здорово! Теперь, когда наша взяла, я теряю ее, как Пирро?

Софрония. Ни ты, ни Пирро не можете ее получить. Ни ты, Клеандро. Я так решила.

Клеандро. Распорядитесь, по крайней мере, вернуть ее домой, чтобы я мог хотя бы видеть ее.

Софрония. Вернется она или нет – я еще решу. А теперь мы с Эустакьо пойдем домой, ты же, Клеандро, подожди здесь Дамоне и расскажи ему, как обстоят дела.

Клеандро. Стало быть, я снова внакладе?

Софрония. Когда-нибудь и на твоей улице будет праздник.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Клеандро, один.

Клеандро. Тогда, когда мне казалось, что я уже достиг гавани, злая судьба снова отшвыривает меня в бушующее море! Сперва я боролся с влюбленностью отца, теперь мне предстоит сразиться с тщеславием матери. Прежде у меня был союзник – мать, теперь я остался один. А значит, просвет в этой вновь разбушевавшейся стихии для меня еще более сократился. Неужто я рожден лишь для того, чтобы не видеть счастья? С тех самых пор, как Клиция вступила на порог нашего дома, для меня нет иного наслаждения, как только думать о ней, ее лицезреть. Ведь истинно радостные дни в своей жизни я смог бы пересчитать по пальцам. Но кто это там идет? Дамоне? Он самый, но почему он так весел? Дамоне, что случилось? Какие новости? Откуда вдруг такая радость?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Дамоне, Клеандро.

Дамоне. Ничего более радостного, более приятного я не мог услышать!

Клеандро. В чем дело?

Дамоне. В город прибыл отец вашей обожаемой Клиции. Зовут его Рамондо, и человек он богатейший, неаполитанский дворянин, и приехал он только для того, чтобы разыскать дочь.

Клеандро. Ты-то откуда все это знаешь?

Дамоне. Я сам с ним говорил. Сомнений никаких.

Клеандро. Да я с ума сойду от радости, коли это и в самом деле так, как ты рассказываешь!

Дамоне. Я хочу, чтобы вы все услышали от него самого. Зови сюда Никомако и Софронию.

Клеандро. Софрония, Никомако! Идите сюда! Дамоне вас зовет!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Никомако, Дамоне, Софрония, Рамондо.

Никомако. Вот и мы! Есть добрые вести?

Дамоне. Слушайте: отец Клиции, Рамондо, неаполитанский дворянин, находится здесь, во Флоренции, и разыскивает дочь. Я сам его видел, говорил с ним и склонил – если ты, конечно, согласен – выдать дочь за Клеандро.

Никомако. Если так, то я буду только рад. Но где же он?

Дамоне. Остановился в «Короне». Я сказал ему, чтобы он шел сюда. Вот он! Идет впереди, за ним слуги. Пошли ему навстречу.

Никомако. Да хранит вас бог, благородный рыцарь!

Дамоне. Рамондо, вот Никомако, а вот его жена. Это они с такой заботливостью вырастили твою дочь! А вот их сын; если захочешь – он может стать твоим зятем.

Рамондо. Будьте счастливы, господа! Спасибо создателю нашему, который явил мне милость сви-

деться перед смертью с дочерью и отблагодарить благородных людей, оказавших ей такое гостеприимство. Что касается сватовства, то что может быть приятнее того, чтобы дружба, заложенная добрым вашим отношением, закрепилась еще и родством?

Дамоне. Пошли в дом, там вы услышите от Рамондо трогательную повесть о потерянной и найденной дочери, а заодно отдадите распоряжение к счастливой свадьбе.

Софрония. Пошли! А вы, зрители, можете расходиться, ибо сыграем мы свадьбу дома, не показываясь на улицу, и новая эта свадьба будет уже по всем правилам, а не так, как это случилось с Никомако!

КАНЦОНА

Нет, вы не прогадали,
достойные и чистые душой,
что мудрости земной
столь тонкому учителю внимали
и потому узнали,
как нужно жить, чем лучше пренебречь,
чтоб не лишиться рая;
но, все перечисляя,
мы долго бы вели об этом речь.
Да будут назиданья вам полезны
настолько же, сколь были вы любезны!





СКАЗКА. ЧЕРТ, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ

Архидьявол Бельфагор послан Плутоном в мир сей с предписанием жениться. Явившись сюда, он женится, но, не в силах вынести злонравия жены, предпочитает возвратиться в ад, нежели вновь соединиться с нею

В древних летописях флорентийских имеется рассказ некоего благочестивого мужа, жизнь коего прославлялась современниками его, о том, что в молитвенном восхищении узрел он, как неисчислимые души несчастных смертных, умерших в немилости божией, шествуя в ад, все, или же большая часть их, плакались, что подверглись злополучной сей участи лишь по причине женитьбы своей. Сему Минос и Радамант вместе с другими адскими судьями дивились немало и, не придавая веры сим клеветам их на женский род, жалобы на который росли изо дня в день, вошли с соответствующим докладом к Плутону; он же положил, по зрелому рассмотрению сего дела вкупе со всеми князьями адскими, принять то решение, что признано будет наилучшим, дабы либо разоблачить сей обман, либо признать всю его истину. Итак, созвав их на совет, сказал им Плутон такое слово:

– Хотя, любезнейшие мои, по небесному предначертанию, непреложному вовеки волей судеб, владею я царством сим и в силу сего не обязан полагаться ни на какое суждение, ни небесное, ни земное, тем не менее, поскольку благоразумнее власть имущим подчиняться законам и уважать чужое суждение, положил я держать совет с вами касательно

некоего дела, как могущего навлечь позор на государство наше, коим должен я править. Ибо, поскольку все души людские, прибывающие в царство наше, говорят, что причиной тому жена, и поскольку сие представляется нам возможным, опасаемся, что, давая веру таким рассказам, можем мы быть оклеветаны в чрезмерной жестокости, не давая же – в недостатке суровости и в малой любви к справедливости. И поскольку в одних грехах виновны люди по легкомыслию, в других – по неправоте своей, и желая избежать обвинений в том, что может зависеть от того и от другого, и не находя к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы советом своим помогли вы и послужили тому, чтобы царство сие как в прошлом существовало без позора, так и в будущем сохранялось бы таковым же.

Каждому из князей дело сие показалось важнейшим и труднейшим, но, решив единодушно, что истину открыть необходимо, разошлись они в суждениях относительно способа. Ибо одним казалось, что следует послать кого-то из них на землю, дабы в образе человеческом лично узнал он всю правду; многим же другим казалось, что можно обойтись без таких хлопот, принудив разные души разными муками открыть истину. Но так как большинство согласилось в том, что послать надлежит, то и склонились к такому мнению. И, не находя никого, пожелавшего бы добровольно взяться за сие дело, рассудили определить избранника жребием. Выпал он Бельфагору, ныне архидьяволу, в былое же время, до низвержения с небес, архангелу; хотя и неохотно брал на себя он сию повинность, однако, принужденный властью Плутона, согласился последовать решению совета и подчинился условиям, кои торжественно были тут установлены и состояли в том, чтобы немедленно было вручено отряженному с сим поручением сто тысяч дукатов, с коими должен был он явиться на землю, в образе человеческом вступить в брак и прожить с женой десять лет, а засим, притворившись умершим, вернуться обратно и по личному опыту доложить верховному начальству, каковы тяготы и неудобства супружеской жизни. Объявлено было ему еще, что в течение указанного времени он будет подвержен всем тем нуждам, всем тем бедам, коим подвер-

жены люди, – вплоть до нищеты, темницы, болезни и всяких иных несчастий, коим подпадают люди, – ежели только обманом или хитростью не освободится от них.

Итак, получив наказ и деньги, Бельфагор прибыл в мир сей и, в сопровождении конной свиты, с великой пышностью въехал во Флоренцию, каковой город предпочтительно пред всеми другими избрал для своего пребывания как наиболее подходящий, по его мнению, для помещения в рост денег. Приняв имя Родериго из Кастильи, он снял внаймы дом в предместье Всех Святых. Дабы предупредить излишние расспросы о своем происхождении и положении, он объявил, что, еще в юные годы выехав из Испании и направившись в Сирию, нажил все свое состояние в Алеппо, откуда поехал в Италию, намереваясь найти себе жену в странах более светских и более соответствующих требованиям гражданского общежития и собственному его душевному расположению. Был Родериго человек весьма красивый и на вид лет тридцати; с первых же дней он блеснул всем своим богатством и выказал столь образцовую светскость и твердость, что многие знатные граждане, имевшие много дочерей и мало денег, искали случай породниться с ним; изо всех остановил свой выбор Родериго на отменно красивой девушке, по имени Онеста, дочери Америго Донати, имевшего еще трех других дочерей. И хотя принадлежал он к весьма знатному роду и пользовался общим уважением во Флоренции, тем не менее, из-за многочисленной семьи своей, был он крайне беден.

Свадебный пир задал Родериго на славу, не забыв ничего из того, что требуется на таковых празднествах, будучи, по условиям, установленным для него при отбытии из ада, подвержен всем страстям человеческим. Он сразу вошел во вкус почестей и пышностей света и стал дорожить людскими хвалами, что ввело его в немалые расходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дней со своей монной Онестой, как влюбился в нее превыше всякой меры и жить не мог, чуть только видел ее печальной и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью и красотой своей принесла монна Онеста в дом к Родериго нрав столь строптивый, что самому Люциферу было бы далеко до нее;

и Родериго, испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена обладает тут превосходством. Но стала она куда еще строптивее, лишь только обнаружила всю любовь к себе мужа; решив, что может захватить полную власть над ним, она стала повелевать им без зазрения совести и не задумывалась грызть его грубыми и оскорбительными словами, когда в чем-либо был отказ ей от него, что причиняло Родериго несказанную тоску. И все же тесть, шурья, вся родня, брачный долг, а сверх всего – великая любовь к жене заставляли его сносить все терпеливо. Я уж не говорю об огромных расходах, которые делал он, дабы угодить ей, одевая ее в новые платья, и угодить ее прихоти поспевать за модой, которую город наш имеет обыкновение менять то и дело; не говорю, что был он вынужден, желая жить с ней в мире, помочь тестю выдать замуж других его дочерей, что стоило ему огромных денег. Засим, ради ее удовлетворения, ему пришлось снарядить одного шурина в торговую поездку на Восток с тонкими тканями, а другого – на Запад с плотными сукнами, да еще помочь третьему открыть золоточеканную мастерскую, на каковые предприятия истратил он большую часть своего состояния. Помимо того, во время карнавала и в день святого Иоанна, когда весь город, по древнему обычаю, предается празднествам и многие знатные и богатые горожане задают пиры на славу, монна Онеста, дабы не отстать от других дам, желала, чтобы ее Родериго превосходил всех роскошью своего гостеприимства. Все это, по указанным выше причинам, нес он покорно, и даже тягчайшее бремя не показалось бы ему тяжелым, лишь бы только принесло оно мир его дому и мог он спокойно дожидаться срока своего разорения. Но случилось обратное, ибо вместе с непосильными расходами нестерпимый характер жены причинял ему бесконечные беспокойства, и не находилось ни раба, ни слуги в его доме такого, чтобы не то что долгое время, а и несколько дней мог бы вытерпеть. Отсюда проистекали для Родериго тягчайшие затруднения, ибо он не мог найти себе верного и преданного раба, и, равно как и прочие слуги, даже те дьяволы, что сопутствовали ему в качестве его челяди, предпочли лучше вернуться в огонь

преисподней, нежели жить в этом мире под ее владычеством.

В таких тревогах и беспокойствах своей жизни, растратив уже беспорядочными расходами и ту движимость, что у него сохранилась, Родериго стал жить надеждой на выручку, что ожидал с Запада и с Востока. Пользуясь все еще хорошим кредитом, дабы не уронить своего достоинства, он занял деньги под проценты, но, имея уже за спиной большие долги, требовавшие уплаты, он скоро попал на отметку тем, кто занимался подобными же денежными операциями. Когда дела его уже совсем висели на волоске, с Запада и с Востока пришли внезапно известия, что один из братьев монны Онесты проиграл все имущество Родериго, а другой, возвращаясь на корабле, нагруженном его товарами, и ничего не застраховав, утонул вместе с ним. Не успели эти новости стать известными, как кредиторы Родериго, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и так как обнаружиться это еще не могло, поскольку срок уплаты им еще не наступил, положили, что следует учинить за ним бдительное наблюдение, дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. Родериго же, со своей стороны, не видя, чем помочь беде, и памятуя о своих обязательствах перед законами преисподней, решил бежать во что бы то ни стало. Однажды утром, сев верхом на лошадь, выехал он через ворота Прато, неподалеку от коих жил; не успела разнестись весть о его отъезде, как шум поднялся среди его кредиторов, которые не только потребовали скороходов у власти, но и сами всей толпой бросились его преследовать. Родериго не отъехал и на милю от города, как услышал за собой шум погони, и потому, рассудив, что ему несдобровать, решил, чтобы скрыть свое бегство, съехать с дороги и пуститься наудачу по полям. Но из-за множества канав, пересекавших всю местность, он не мог продолжать свой путь верхом и, оставив коня на дороге, побежал пешком с поля на поле, по виноградникам и камышам, коими изобилует эта местность, пока не достиг выше Перетолы хижины Джованни Маттео дель Брикка, арендатора земли Джованни дель Бене; по счастью, он застал дома Джованни Маттео, который задавал корм волам, и, назвав себя, обещал ему, что ежели он спасет его из рук врагов,

преследующих его, чтобы уморить в темнице, то он обогатит его, в чем при прощании даст ему верное ручательство; в противном же случае согласен, чтобы он сам выдал его в руки врагов. Хотя и крестьянин, был Джованни Маттео человек храбрый и, рассудив, что не прогадает согласившись его спасти, дал ему в том обещание; спрятавши его в навозной куче перед своей хижиной, он прикрыл его камышом и соломой, заготовленными им на топливо. Не успел Родериго укрыться, как явились его преследователи и угрозами могли лишь добиться от Джованни Маттео, что видеть его он видал, только и всего.

Лишь только шум утих, Джованни Маттео, вытащив Родериго из убежища, где тот находился, потребовал от него исполнения данного слова. На что Родериго ответил:

– Брат мой, ты оказал мне великую услугу, и я желаю тебя всячески отблагодарить; а чтобы ты убедился в том, что я могу это сделать, скажу тебе, кто я такой.

И тут он рассказал ему все о себе самом, и об обязательствах, принятых им на себя при выходе из ада, и о своей женитьбе; а засим сообщил ему способ, каким намеревался его обогатить и состоявший в следующем: как только Джованни Маттео услышит о какой-либо бесноватой, пусть знает, что вселился в нее не кто иной, как он сам своею собственной персоной, и не выйдет из нее, пока тот не явится изгнать его, что даст ему случай потребовать любой платы от ее родителей. Порешив на том, они распростились, и Родериго пустился своей дорогой.

Прошло не много дней, как по всей Флоренции разнесся слух, что дочь мессера Амброджо Амедеи, выданная замуж за Буонайуто Тебальдуччи, одержима бесом. Родители применили все средства, какие в подобных случаях применяются: возлагали ей на голову главу святого Зиновия и плащ святого Иоанна Гуальбертийского, но все это вызвало лишь издевательства со стороны Родериго. И дабы каждому стало ясно, что болезнь девушки имела причиной злого духа и не была плодом фантастического воображения, он говорил по-латыни, рассуждал о философских

предметах и разоблачал прегрешения многих; среди прочих разоблачил он грех одного монаха, который в течение более четырех лет держал в своей келье женщину, переодетую монашком; все это вызывало всеобщее изумление. Был поэтому в большом горе мессер Амброджо и, тщетно испытав все средства, потерял уже всякую надежду на ее излечение, когда Джованни Маттео явился к нему и пообещал исцелить его дочь, ежели он даст ему пятьсот флоринов на покупку имения в Перетоле. Мессер Амброджо принял условия; тогда Джованни Маттео, приказав прежде всего отслужить обедню, после разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, наклонился к уху девицы и сказал:

– Родериго, вот я явился к тебе, чтобы ты сдержал свое обещание.

На что Родериго ответствовал:

– Превосходно, но сего недостаточно, чтобы обогатить тебя; посему, удалившись отсюда, я войду в дочь Карла, короля Неаполитанского, и не выйду из нее без твоего вмешательства. Потребуй себе тогда какого хочешь вознаграждения и больше уж не беспокой меня.

С этими словами он вышел из нее, на радость и удивление всей Флоренции.

Не прошло после того много времени, как по всей Италии разнесся слух о таком же происшествии с дочерью короля Карла; не получив никакой действительной помощи от монахов и прослышав о Джованни Маттео, король послал за ним во Флоренцию, и тот, прибывши в Неаполь, после нескольких мнимых обрядов исцелил ее. Но Родериго, прежде чем удалиться, сказал:

– Видишь, Джованни Маттео, я сдержал свое обещание обогатить тебя, и посему, расплатившись с тобой, я больше ничего тебе не должен. Итак, постарайся отныне не попадаться мне на пути, потому что ежели я тебя до сих пор благодетельствовал, то впредь тебе от меня не поздоровится.

Возвратившись во Флоренцию богатым-пребогатым, потому что получил от короля более пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Маттео думал тихо и мирно наслаждаться своим богатством, не помышляя о том, чтобы Родериго чем-либо собирался повредить ему.

Но мысли его были внезапно смущены пронесшимся слухом, что одна из дочерей Людовика VII, короля Французского, одержима бесом. Эта новость взволновала всю душу Джованни Маттео, сразу подумавшего о могуществе сего короля и о словах, сказанных ему Родериго. И действительно, не находя средства излечения дочери и прослышав о силе, какою обладал Джованни Маттео, король сперва просто послал своего скорохода за ним; но когда тот сослался на некоторое нездоровье, король был вынужден обратиться к Синьории, и та заставила Джованни Маттео повиноваться. Безутешный, отправился он в Париж и первым делом доложил королю, что все это так: ему случилось в прошлом излечить нескольких бесноватых, но это не значит, что он умеет или может исцелить всякую; ибо встречаются бесы столь упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинаний, ни религиозных обрядов; но со всем тем он готов исполнить свой долг, если же его постигнет неудача, просит уж не взыскать и простить его. На что король, вознегодовав, ответствовал, что ежели он не исцелит его дочери, то будет повешен. Великая скорбь охватила Джованни Маттео; однако, собравшись с духом, велел он привести бесноватую и, наклонившись к ее уху, смиренно обратился к Родериго, напомнив об оказанном ему благодеянии и указав, какую проявит он неблагодарность, ежели не поможет ему в такой крайности. На что Родериго ответствовал:

– О вероломный негодяй! Как осмеливаешься ты предстать предо мною? Вздумал ты похваляться, что ли, что разбогател с моей помощью? Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я дарить и отнимать дареное по своей прихоти. Не уйти тебе отсюда, миновав виселицу.

Тут Джованни Маттео, не видя для себя выхода, решил попытать счастья другим путем и, велев увести одержимую, обратился к королю с такими словами:

– Государь, как доложил я тебе, бывают духи столь злобные, что с ними добром ничего не поделаешь, и сей один из таких, посему хочу я сделать последний опыт, и, ежели удастся он, ваше величество и я будем довольны, а не удастся – так предаю себя

в твои руки и прошу лишь о сострадании к моей невинности. Прикажи посему на площади Богоматери Парижской построить большой помост, такой, чтобы разместить на нем всех твоих баронов и все городское духовенство, прикажи украсить помост шелками и парчой и соорудить посредине его алтарь; в ближайшее воскресенье утром ты явишься туда с духовенством, вкупе со всеми твоими князьями и баронами, со всей королевской пышностью, в блестящих и роскошных одеяниях и, по совершении торжественной обедни, прикажешь привести бесноватую. Кроме сего, пусть с одной стороны площади соберутся не менее двадцати музыкантов с трубами, рогами, волынками, тарелками, кимвалами и всякими другими шумовыми инструментами и, как только я подниму шапку, громко заиграют на них и двинутся по направлению помоста. Все сие вместе с некоторыми другими тайными средствами, думаю, заставит удалиться сего духа.

Король тотчас же распорядился обо всем, и, когда наступило воскресное утро и помост наполнился важными особами, а площадь – народом и была отслужена обедня, одержимая была приведена двумя епископами в сопровождении многих придворных. Увидев такое количество собравшегося народа и такие приготовления, Родериго чуть не обомлел и сказал про себя: «Что еще выдумал этот негодяй? Думает он, что ли, запугать меня всей этой пышностью? Не знает он разве, что я довольно навидался и небесной славы, и адских ужасов? Достанется же ему от меня!» И когда Джованни Маттео приблизился и попросил его выйти вон, он сказал ему:

– Ого! Хороша твоя выдумка! Чего ты думаешь добиться всеми твоими приготовлениями? Думаешь ты, что ли, избежать этим моей власти и королевского гнева? Мужик проклятый, не миновать тебе виселицы!

И когда он продолжал поносить его упреками и бранью, Джованни Маттео решил не терять больше времени и подал знак шапкой; тотчас же все, отряженные на производство шума, заиграли на своих инструментах и, громыхая так, что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. На такой шум Родериго навострил уши и, не понимая, что происходит, и весьма

изумляясь, совсем растерявшись, спросил у Джованни Маттео, что сие означает. На что Джованни Маттео в полном смущении отвечал:

– Беда! Милый ты мой Родериго, ведь то жена твоя Онеста идет за тобой.

Нельзя и представить себе, какой переполох в голове Родериго вызвало одно упоминание имени его жены; так он переполошился, что, и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и допустимо, чтобы то была она, не думая о возражениях, в ужасе обратился в бегство, покинув девицу, и предпочел скорее вернуться в ад и отдать там отчет в своих действиях, нежели снова наложить на себя супружеское ярмо со всеми сопряженными с ним хлопотами, досадами и опасностями. Итак, Бельфагор, возвратившись в ад, поведал о всем том зле, что приносит с собой жена в дом мужа, а Джованни Маттео, который знал про то лучше самого дьявола, веселый вернулся домой.





СТИХОТВОРЕНИЯ

О НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Меня, Джованни Фольки, Зависть гложет,
и я, в себе страдальца углядев,
еще сильней бы мучился, быть может,

когда бы только струн моих напев,
которым Музы внемлют благосклонно,
глухими оставлял кастальских дев.

Не то чтоб верил я самовлюбленно,
что я лавровый получу венок
и покорю вершину Геликона:

я понимаю – этот путь далек,
и мне к заветной не взойти вершине,
затем что свой я знаю потолок.

И все-таки меня ведет поныне
желание сорвать листок-другой
с кустов, которых множество в долине.

Итак, пою, чтоб совладать с тоской,
чтобы к душе не подпустить невзгоды,
что бешено вослед бегут за мной.

О том, как я, служа, потратил годы,
хочу поведать, и о том, что бред –
в песке посеяв, уповать на всходы.

Когда – на подвиги людей в ответ –
у звезд и неба лопнуло терпенье,
Неблагодарность родилась на свет.

Ее, дочь Скупости и Подозренья,
вскормила Зависть, и сердца князей
и королей теперь ее владенья.

Там воцарив, сердца других людей
Неблагодарность яростно пятнает
слюною ядовитою своей.

Повсюду это зло себя являет,
кормилице неистовой под стать,
что все клыками злобными пронзает.

И если баловнем судьбы считать
себя сначала привыкает кто-то,
он скоро станет на судьбу пенять,

когда увидит, сколько пролил пота,
слугою разрываясь на куски,
и, чтобы горечь своего просчета

смягчить, запишется в клеветники
и ненависти волю даст излиться.
О, эти неуемные стрелки!

В груди у них не сердце, а бойница,
где три стрелы, одна страшней другой,
всегда готовые в кого-то впиться.

Тот, кто настигнут первою стрелой,
приемлет в жизни лишь благодеянья,
доволен благодавцем и собой.

Вторая гонит прочь воспоминанья
о благодавце, но при этом он
еще не стал предметом поруганья.

А человек, что третьей поражен,
как может благодетеля изводит,
неистовою злобой ослеплен.

Две первые по силе превосходит
последняя – смертельная – стрела,
что, в цель впиваясь, до костей доходит.

Живучей нет на белом свете зла:
бессмертен как-никак его родитель
и мать свой век еще не отжила.

Я повторяю, что любой правитель
отравлен им, но более стократ –
народ, коль скоро он и есть властитель.

Его с особой яростью разят
все три стрелы, хотя по всем приметам
святые вроде наверху сидят.

Другие зависти полны при этом,
и всюду им мерещится обман,
и уши их открыты всем изветам.

И добрый гражданин как истукан
стоит над тем порою, что взрастила
земля нежданно из его семян.

Италия покой и сон забыла,
как только сталь пунических мечей
пришельцев римской кровью напоила,

но муж божественный родился в ней,
ниспослан небом, – белый свет поныне
с тех пор не видывал таких мужей.

Еще мальчишкой в битве на Тицине
он грудью собственной прикрыл отца,
явив пример бесстрашия дружине.

Уже почти ни одного бойца
под Каннами у римлян не осталось,
но это не смутило храбреца.

Народ устал, отчизна исстрадалась,
и войско Рим в Испанию послал,
чтобы за все с врагами рассчиталось.

И как пред ним Сифакс не устоял,
так карфагенян дрогнули порядки,
и оказался битым Ганнибал.

Бежал великий варвар без оглядки
от италийских боевых знамен,
разбитый в пух и прах в последней схватке.

Оттуда вместе с братом Сципион
явился в Азию, где, как известно,
триумфа нового добился он.

И где бы ни бывал он, повсеместно
он доблести пример являл собой
и никогда не действовал бесчестно.

Какой язык воздаст ему с лихвой?
Откуда новый Сципион возьмется?
О римляне, что знали век благой!

Немеркнущая слава полководца
для каждого с тех пор пример того,
какой она ценою достается.

До наших дней еще никто его
ни благородством не затмил, ни силой.
Нет, с ним сравнить нельзя ни одного

из тех, кто жив, и тех, кто взят могилой
в былые или в наши времена.
Однако Зависть зубы обнажила,

своей природе до конца верна,
и с той поры со Сципионом рядом,
где б ни был он, всегда была она.

Она его сверлила злобным взглядом,
натравливала на него народ,
и жизнь для Сципиона стала адом,

и он, поняв, куда злодейка гнет,
склонился к добровольному уходу,
решив, что он без Рима проживет.

Он понимал – его или свободу,
одно из двух утратить должен Рим,
но отплатил жестокому народу

и Риму завещанием своим:
он праху своему в гнездо родное
отрезал путь, чтоб отомстить живым.

Замкнулось для него кольцо живое
вдали от Рима, чей великий сын,
одно посеяв, он пожал другое.

Но Рим неблагодарный не один.
В неблагодарности ему далеко,
как от земли до неба, до Афин.

Они достойны большего упрека:
закон и тот не воздвигал преград
распространенью этого порока.

В безумье впав, решил великий град,
что от добра добра искать не надо,
и не вперед пошел – пошел назад.

И участь Фокиона, Мильтиада
и Аристида смертным говорит
о том, какою может быть награда

за добрые деянья: кто убит,
кому изгнание, кому темница,
и всем на голову позор и стыд.

Достаточно великим оступиться,
чтоб тут же чернь забыла, впав в обман,
что на таких людей должна молиться.

Злословие и клевета – дурман:
поверит честный злому измышленью,
и в нем проснется истинный тиран.

Иной смекнет, что станет сам мишенью
неблагодарности, коль скоро он
и дальше плыть намерен по теченью.

С подобной мыслью Цезарь сел на трон,
тираном был он злобным и жестоким,
но справедливым для своих времен.

Мы обратились к временам далеким,
однако наши тоже хороши,
о чем известно даже недалеким.

За помощь Баязет от всей души
с Ахмет-пашою вскоре рассчитался,
смерть в петле выбрав для Ахмет-паши.

Гонсальво с галлами как лев сражался,
но, заподозрен в помыслах худых,
с короной вице-короля расстался.

Немного средь владык найдешь таких,
что были бы к поэтам благосклонны,
которые описывают их.

Кто изменял нелепые законы,
изгнанье или смерть взамен нашел,
как тот, кто помогал спасать короны.

На помощь ты правителю пришел,
а этот трус дрожит, подозревая,
что сам ты метишь на его престол,

и страх слепой, его обуревая,
растет, другие чувства победив
и ничего тебе не предвещая

хорошего за добрый твой порыв,
и не дает покоя властелину,
покуда ты, неосторожный, жив.

И есть тебе за что ругать судьбину,
за что возненавидеть белый свет, –
конечно, если нож не всадят в спину.

Не умерла Неблагодарность, нет.
Держитесь, люди, от владык подале,
пока себе не причинили вред

и все, что вы нашли, не потеряли.

О ФОРТУНЕ

Джован Баттисте Содерини

Где взять слова, какие выбрать струны,
чтоб о Фортуне в песне рассказать,
о том, как все зависим от Фортуны

и, на себе неся ее печать,
вдруг начинаем видеть в мрачном цвете
то, что привыкли розовым считать?

Поверь, Джован Баттиста, нет на свете
страшней ее ударов ничего, –
запомни хорошенько строки эти.

Коварнейшее это существо
издревле сильных от природы било,
свое доказывая торжество,

и только исключительная сила
Фортуне может дать победный бой, –
иначе будет все, как прежде было.

Мои стихи вниманьем удостой,
и если не уснешь на середине,
удачным я сочту подарок свой.

И пусть, пока стихи еще в зачине,
Фортуна знает – речь о ней пойдет:
бессмысленно таиться от богини.

Я знаю, сколько у нее хлопот,
но я надеюсь, что она согласна
помочь тому, кто про нее поет.

По мненью большинства, она всевластна,
затем что рано или поздно всяк
поймет, насколько с ней шутить опасно.

Достойных ущемляя так и сяк,
она ничтожных двигает в титаны.
Не верь злодейке – попадешь впросак.

Она переустраивает страны
и, обирая праведных людей,
дает бесчестным набивать карманы.

Известная капризностью своей,
она возводит всякий сброд на троны,
и даже время подчинилось ей.

Не для Фортуны писаны законы:
кого-то обласкав, она потом
любимцу ставит бывшему препоны,

а тех, кто у нее под колесом,
она вконец расплющить не стремится,
всегда непостоянна и во всем.

Никто не знает, от кого родиться
она могла, однако не секрет,
что даже Зевс и тот ее боится.

Никто не натолкнется на запрет,
порог ее дворца переступая,
но выхода назад для многих нет.

Вокруг дворца всегда толпа густая:
со всех сторон к нему спешит народ,
увидеть нечто новое мечтая.

Хозяйка наверху пришельцев ждет
и как бы говорит «Любуйся мною»
любому, кто к дворцу ни подойдет.

Она двулика: то глядит с мольбою,
то, лик другой оборотив, грозна,
но может притвориться и слепою.

К входящим благосклонности полна,
выслушивая их, но смотрит косо
на тех, кто хочет выбраться, она.

В ее дворце вращаются колеса –
их ровно столько, сколько и путей
к тому, на что у смертных столько спроса.

И вздохи слышатся, и брань людей,
что испытали так или иначе
Фортуны власть, и чем они сильней,

и чем влиятельней, и чем богаче –
тем яростней богиню костерят,
когда не знают в чем-нибудь удачи,

виня ее впопад и невпопад,
а если все благополучно, что же,
себе успех присвоить каждый рад.

С Фортуной следует держаться строже,
и этому учиться надлежит
не у кого-нибудь – у молодежи.

Страх на полу поверженный лежит, –
и вот Раскаянье грозит войною,
и Зависть тоже мира не сулит.

И лишь Нежданность девушкой простою
расхаживает, мрачности чужда,
среди колес и шутит над толпою.

Колеса эти крутятся всегда:
по воле неба их, не уставая,
вращают дружно Праздность и Нужда.

Одна – для мира бич, зато вторая
все в равновесие приводит в нем,
терпением завидным обладая.

Обман и Ростовщичество вдвоем
блаженствуют, и Щедрость рядом с ними
надломленным глядится существом.

Уставясь вниз глазницами пустыми,
сидят над входом Случай и Судьба,
рожденные к тому же и глухими.

Здоровье, слава, пышные хлеба –
награда, ну а если ты в опале,
болей, не ешь, не разгибай горба.

Не ведают ни горя, ни печали
Фортуны баловни, но не везет
тем горемыкам, что в немилость впали.

Себе советчик наилучший тот,
кто колесо себе согласно воле
колдуньи этой древней подберет –

одно из множества колес, тем боле
что если ты противоречишь ей,
едва ли ты дождешься лучшей доли.

Но связывать надежд не стоит с ней,
не верь, что от ударов увернешься
и от ее клыкастых челюстей:

все хорошо, покуда ты несешься,
держась на тыльной части колеса,
но миг – и ты на полпути сорвешься.

Не вздумай уповать на чудеса.
Перевернешься вместе с ним? Пустое.
Тут новшеств не потерпят небеса.

Но если так, то самое простое –
менять колеса: сбросило одно –
не падай духом, облюбуй другое.

Однако смертным это не дано:
во власти некой силы неизменно
мы пребываем. Так заведено.

Все, что на свете существует, бренно.
Вот почему, бессмертием горда,
Фортуна с нами держится надменно.

Коль скоро каждому нужна звезда,
любой Фортуну в звезды взять стремится,
подлаживаясь под нее всегда.

Она собой не на словах гордится, –
по стенам фрески яркие видны:
что ни стена – победная страница.

На фреске, что глядит с одной стены,
история Египта отразилась
во времена далекой старины,

когда Египта власть распространилась
на мир, и мир на свете воцарил,
пока внезапно все не изменилось:

Фортуне вдруг Египет стал немил,
и вот Ассирия на первом плане –
пока черед мидян не наступил.

Но персам уступили власть мидяне,
а персы грекам, чтоб затем и им
в немилость впасть, как все другие ране.

Недолго Мемфис был непобедим,
и Вавилон, и Троя, и Афины,
и Карфаген со Спартою, и Рим.

Когда-то это были исполины,
но в жертву их Фортуна принесла
врагам, о чем и говорят картины.

Здесь отразились громкие дела
прославленной Империи Священной,
что мир концом бесславным потрясла.

Как быстрый ток, могучий,
дерзновенный,
все на своем пути, не зная сна,
сметает, исходя кипящей пеной,

меняя берега и профиль дна
и сотрясаться землю заставляя
там, где волну преследует волна, –

так и Фортуна, норов свой являя,
меняет ход вещей во все века,
его своим капризам подчиняя.

Узнаешь Цезаря издалека,
и Александр предстанет пред тобою
в обличье Цезарева двойника,

и станет ясно пред картиной тою,
что для Фортуны выше всех похвал,
кто с ней бесцеремонен, как с женою.

Но одному не довелось причал
желанный узреть, а другой до срока
у ног убитого врага упал.

Фортуна с ними обошлась жестоко,
чтоб наземь падать было им больней,
их вознеся высоко-превысоко.

Убийцей обезглавленный Помпей
и Кир покоятся с другими рядом,
при жизни возвеличенными ей.

Когда-нибудь ты провожал ли взглядом
орла, что мчится в вышине стремглав,
подхлестываемый жестоким гладом?

Ты видел, как он, высоту набрав,
о камни разбивает черепаху,
в полете когти острые разжав?

Так и Фортуна, вознеся, с размаху
швыряет злобно оземь свой улов,
безумно радуясь чужому краху.

Увидишь дальше ты, как из низов
она выводит в люди благосклонно,
чтоб жертву вниз швырнуть в конце
концов,

как Мáрия она и Цицерона
то возвеличивать начнет опять,
то развенчает вновь бесцеремонно.

Недолго довелось торжествовать
счастливцам и не довелось дождаться,
чтоб колесо вращаться стало вспять.

А с тыльной стороны пустяк сорваться.

КАРНАВАЛЬНЫЕ ПЕСНИ

ПОЮТ БЕСЫ, ИЗГНАННЫЕ С НЕБА

Мы ангелами были, но изгнали
за гордость с неба нас,
и вот мы этот город ваш избрали,
где и царим сейчас,
поклонники разлада,
здесь, где во много раз
страшнее муки, чем в глубинах ада.

Мы постарались, чтоб войну, и голод,
и кровь весь мир узнал,
чтоб люди испытали жар и холод,
и к вам на карнавал
спешим сегодня снова,
начало всех начал,
любого зла извечная основа.

Неправда ли, премилая картина?
Плутон – и рядом с ним
прекраснейшая дама, Прозерпина.
Амур непобедим,
и он помог Плутону,
Плутон неутомим
и жить зовет по своему закону.

И радости влюбленных, и невзгоды
зависят испокон
от нас: и смех, и плач – одной природы.
Пусть каждый, кто влюблен,
предастся нашей воле:
не прогадает он,
а мы, противники добра, – тем боле.

ПОЮТ, ПОЛНЫЕ ОТЧАЯНЬЯ, ВЛЮБЛЕННЫЕ И ДАМЫ

Влюбленные, отчаянью поверьте,
услыша скорбный глас:
в ужасную обитель, в бездну черти,
ликуя, тащат нас.

Мы были так несчастны, что сейчас
нам от возлюбленных бежать угодней
и спрятаться от них хоть в преисподней.

Мольбы в слезах, протянутые руки –
ничто не помогло:
им доставляли радость наши муки,
торжествовало зло.
И мы остыли, было – и прошло,
и кажется минувшее уроком
нам в новом рабстве, менее жестоком.

Дамы

Мы вас не меньше, не слабей любили,
но, охраняя честь,
обязаны, любя, таиться были,
нам оправданье есть.
Как можно это оскорбленьем счесть?
Но обречен на адские мученья,
в ком больше нетерпенья, чем терпенья.

Невыносимо расставаться с вами,
недуг неизлечим!
И музыкой и нежными словами
мы демонов смягчим,
мы будем петь за песней песню им,
чтоб вас на волю отпустили или
и нас в свои владенья прихватили.

Влюбленные

Вы опоздали с вашим состраданьем,
признаться вам должны.
Кто кается с подобным опозданьем,
не умалит вины.
Мы остаемся в лапах сатаны,
и нам забота ваша непонятна:
ведь мы избрали то, что нам приятно.

Дамы

Зачем, когда к любви мы понуждали
любезного дружка,

мы скромности в себе не побеждали?
Не нужно ждать, пока
несчастному в аду намнут бока:
повинную в мучениях другого
накажут небеса равно сурово.

ПОЮТ БЛАЖЕННЫЕ ДУХИ

Мы ангелы, мы духи
из горнего предела,
где ваши злоключения видны
и вечные разрухи,
когда ничтожный повод то и дело
становится сигналом для войны.
Неправых мы должны
призвать, чтобы оружие сложили
и мирно, как всевышний учит, жили.

Лихие испытанья
влачащих дни земные,
несчастья, от которых жить невмочь,
и слезы и роптанья,
когда невзгоды злые
не отпускают, не уходят прочь,
и стоны день и ночь
не молкнут, крики боли и досады,
и каждый просит для себя пощады, –

сие противно богу
и всем, кого наставил
он искру человечности беречь:
он к вашему порогу
сегодня нас направил
о правом гневе вас предостеречь,
тем более что речь
идет о божьей пастве, – но, быть может,
ее исправить новый пастырь сможет.

Чужая воля рада
унизить край, в котором
законы родились для многих стран,
а вы в пылу разлада
дань платите раздорам,

что только облегчают вражий план.
И неспроста султан
оружие нетерпеливо точит:
завоевать просторы ваши хочет.

Обрушьте силу длани
на злого супостата,
чтоб защитить народ несчастный свой.
Не ссорьтесь, христиане, —
бедою рознь чревата,
опомнитесь и розни вековой
победный дайте бой:
в огонь, увы, лишь подливает масла,
в ком искра сострадания погасла.

Пускай не будет страха,
вражды и дикой злобы,
пускай уйдут жестокость, алчность, спесь,
чтобы восстать из праха
достоинству и чтобы
мир к первым дням своим вернулся днесь:
и честь пребудет здесь,
и людям, добродетель берегущим,
откроются пути к небесным кущам.

ПОЮТ ПУСТЫННИКИ

Смиренные пустынники, монахи,
мы к вам спустились с гор,
затем что вам астрологи пророчат
великие, как мы узнали, страхи
и грозный приговор
погибели всему на свете хочет,
когда подлунной прочит
лихие времена:
чума, потоп, война,
землетрясенья, бури, разоренье
постигнут мир, как светопреставленье.

Гадатели в особенности склонны
предвидеть, что вода
покроет мир. Но успокойтесь, тише!
Коль скоро вам, любезнейшие жены,

приятно быть всегда
внизу, служа всему тому, что выше,
остаться без покрыши
пусть ни одна из вас
не вздумает как раз
сейчас, перед началом карнавала.
Кто смотрит по-другому – смыслит мало.

Пусть это будет не вода, а слезы
тех, кто у вас в плену,
и пусть любовными пребудут войны,
землетрясенья, разоренья, грозы,
чтоб вам себе в вину
не ставить стрел, что ваших глаз
достойны, –
недаром мы спокойны,
всевышнего любя,
за вас, как за себя.
К тому же кто воочью видел беса,
не придает ему большого веса.

Но если б за грехи воздать сурово
и мести мир обречь
хотело небо, воле Фаэтона,
чтоб все живое сжечь,
оно златую колесницу снова
доверило бы, как во время оно
Огонь воде препона –
и вам не быть на дне:
пекитесь об огне,
хоть эта кара пострашнее будет,
коль скоро небо по проступкам судит.

Но если ложь вы примете на веру,
перебирайтесь к нам
и на горе справляйте новоселье,
чтоб жить в скитах по нашему примеру,
тем паче дождь горам
не страшен – он стекает вниз, в ущелье.
У нас царит веселье
не хуже, чем везде,
и можно о дожде
забыть: ведь тем, кто сверху взгромоздится,
внизу, под ними, не страшна водица.

ПЕСНЯ ТОРГОВЦЕВ СОСНОВЫМИ ШИШКАМИ

Всем шишкам шишки! Шишки просто чудо!
Орешки так и сыплются оттуда.

Поверьте, дамы, шишка – редкий плод:
ее ни град, ни ливень не проймет.
Любой орешек положите в рот –
и масло брызнет, словно из сосуда.

Едва успев на дерево залезть,
бросаем шишки вниз – по пять, по шесть,
а если кто еще захочет съесть,
чуть потерпи – и станет больше груда.

Иная просит муженька: «Вон ту!» –
и ловит шишку прямо на лету,
а пригласишь ее на высоту –
надует губки: что, мол, за причуда.

Есть вещи, может быть, и поважней,
но ты на шишки денег не жалей,
к себе покупку прижимай сильней:
утащат шишку – то-то будет худо.

В одной орешков больше, чем в другой;
хозяйки, подходите за любой,
товар не залежится ходовой!
Коль денег нет, берите так покуда.

В терпенье нашем – торжества залог:
дабы орешек выскользнуть не мог,
нацеливай получше молоток –
и ядрами наполнится посуда.

Любовный пробуждая аппетит,
товар на вкус не хуже, чем на вид,
и перед ним никто не устоит:
нежнее не найти на свете блюда.

ПОЮТ ЗАКЛИНАТЕЛИ ЗМЕЙ

Мы заклинаем змей, а если надо,
и от змеиного спасаем яда.

Мы от святого Павла род ведем,
неблизко, дамы, наш родимый дом,
но как не задержаться здесь при том,
что вашей чуткой ласке сердце радо?

У всех у нас внизу природный знак,
чем больше он, тем больший ты мастак,
и чтобы даме убедиться, как
щедра природа к нам, довольно взгляда.

Дабы из вас любая поняла,
что вам от наших змей не будет зла,
хотим, чтобы на пользу вам пошла
наука, нам известная измлада.

Попробуйте медянку распалить,
дразните, не давайте ей остыть, –
она покажет вам такую прыть,
что для нее и латы не преграда.

Угрюмый аспид – не змея: дракон.
И спереди, и сзади жалит он,
но спереди не так велик урон,
хотя и страх берет при виде гада.

У ящерицы этой вкус такой,
что дамы не смутят ее покой,
ей больше облик нравится мужской,
она у нас особенного склада.

Тут ящерки у нас припасены,
что нападают тайно со спины:
они сначала вроде не страшны,
а после – больно и берет досада.

А этот змей, как видите, растет,
сожми его – из пальцев ускользнет,
однако на поверку он не тот,
надолго не хватает в нем заряда.

Такой змее залечь всего милей
на травке или в ямке меж камней,
а этот бойкий исполинский змей
болото ищет – как-никак, громада.

Присесть хотите – бросьте взгляд вокруг,
чтоб вам змея не причинила мук,
предательски набросившись, – а вдруг
поблизости змеиная засада!

Коль скоро змей хотите не робеть,
сие вино попить полезно впредь
и этот камень при себе иметь,
да не терять – беречь превыше клада.

Спасибо чарам, камню и питью,
теперь вы силу знаете свою
и чем крупнее встретите змею,
тем большей вам покажется награда.

СТРАМБОТТИ

1

Надеюсь – и надежда муку множит,
лью слезы – нет без этого ни дня,
смеюсь – но смех в душе звучать не может,
пылаю – но не увидать огня,
что вижу, слышу, – все меня тревожит,
все болью новой мучает меня:
горю надеждою, смеюсь сквозь слезы,
что зрю и внемлю, – все полно угрозы.

2

У всех опасных тварей злой расчет:
змея в траве скрывается умело,
пчела скрывает жало в свой черед,
покуда на врага не налетела,
пантера морду спрятать предпочтет,
красивое показывая тело.
Твое лицо – лишь маска доброты:
в груди своей жестокость прячешь ты.

СОНЕТ

Когда бы миг не думать мне о вас,
я этот миг благословлял бы годы.
Сердечной бы не ведал я невзгоды,
когда бы вас признанием потряс.

Когда бы я, невольник ваших глаз,
мог верить вам, я б не желал свободы,
и в этом роща верит мне, чьи своды
внимали жалобам моим не раз.

Мы говорим: «Конец», – теряя сына,
богатство, трон, смотря былому вслед.
Всему бывает в свой черед кончина.

Увы, зачем родился я на свет!
Мне только плакать – вы тому причина,
и нет слезам конца, и веры нет.

К ДЖУЛИАНО ДИ ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ

I

В колодках ноги, плечи вперехват
шесть раз веревкой толстой обмотали...
Про остальные умолчу детали.
Поэтов ныне чтут на новый лад!

Огромные, что бабочки, кишат
вши на стенах, и так, как здесь, едва ли
воняло после битвы в Ронсевале,
и на сардинских свалках меньше смрад.

Засовы громыхают беспрестанно,
как будто рядом ударяет гром
и ожил кратер близкого вулкана.

Одних выталкивают из хором,
других приводит злобная охрана,
а третьи вопиют под потолком.



Франческо Гвиччардини.



Чезаре Борджа.



Вителлоццо Вителли.



Александр VI.

Когда б еще притом
чуть свет священник не будил словами:
«Я к вам пришел, дабы молиться с вами».

Что ж, виноваты сами!
Пусть подыхают в петле. В добрый час!
А я помилованья жду от вас.

II

Быть может, Музы к вам найдут подход,
божественным умилостивив пеньем,
и, вашим заручась расположеньем,
расплавят в сердце Джулиано лед.

Но что я слышу? «Кто меня зовет?» –
одна из Муз спросила с возмущеньем.
И я ответил ей с большим почтеньем,
однако мне она заткнула рот.

«Как смел ты именем чужим назваться?
Ты связан по рукам и по ногам,
и ты наверняка зовешься Даццо».

Я возразить хотел таким словам,
но мне она велела убираться,
безумцем обозвав, ко всем чертям.

И я взываю к вам:
удостоверьте, что и в самом деле
мне имя – Никколо Макиавелли.

К ДЖУЛИАНО ДИ ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ

Я Вашему Великолепью шлю
немного дичи – скромный дар, не скрою, –
чтоб о себе, обиженном судьбою,
напомнить вам. Увы, за что терплю?

Коленопреклоненно вас молю:
тому, кто брызжет на меня слюною,
заткните глотку этою едою,
чтоб злую клевету свести к нулю.

Возможно, мне заметит Джулиано,
увидев дар, что я неправ и тут,
что тощий дрозд – не пища для гурмана.

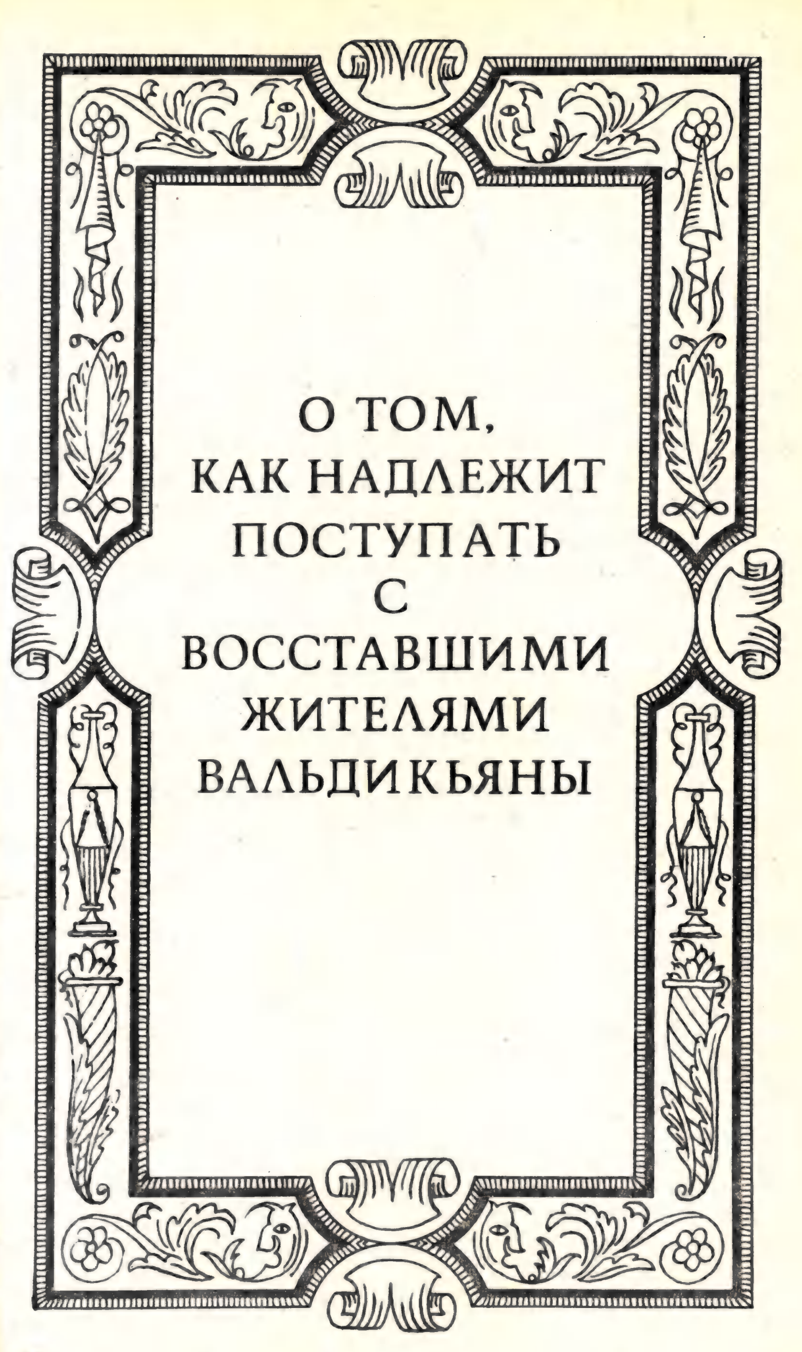
Но ведь Макиавелли тоже худ, –
скажу в ответ, – однако, как ни странно,
наветчики меня со смаком жрут.

Прошу не счесть за труд
ощупать птиц, и вы поймете сразу,
что лучше доверять рукам, чем глазу.

ЭПИГРАММА

Пьер Содерини жил на белом свете,
и вот душа его явилась в ад,
но тут Плутон вскричал: «Ступай назад,
в преддверье ада, где другие дети!»





О ТОМ, КАК НАДЛЕЖИТ ПОСТУПАТЬ С ВОССТАВШИМИ ЖИТЕЛЯМИ ВАЛЬДИКЬЯНЫ

Когда Луций Фурий Камилл вернулся в Рим после победы над жителями Лациума, много раз восстававшими против римлян, он пришел в Сенат и сказал речь, в которой рассуждал, как поступить с землями и городами латинян. Вот как передает Ливий его слова и решение Сената: «Отцы сенаторы, то, что должно было свершить в Лациуме войной и мечом, милостью богов и доблестью воинов наших ныне окончено. Воинство врагов полегло у Педа и Астуры, земли и города латинян и Анциум, город вольсков, взяты силой или сдались вам на известных условиях. Мы знаем, однако, что племена эти часто восстают, подвергая отечество опасности, и теперь нам остается подумать, как обеспечить себя на будущее время: воздать ли им жестокостью или великодушно их простить. Боги дали вам полную власть решить, должен ли Лациум остаться независимым или вы подчините его на вечные времена. Итак, подумайте, хотите ли вы сурово проучить тех, кто вам покорился, хотите ли вы разорить дотла весь Лациум и превратить в пустыню край, откуда не раз приводили вы в опасное время на помощь себе войска, или вы хотите, по примеру предков ваших, расширить республику Римскую, переселив в Рим тех, кого еще они победили, и этим дается вам случай со славой расширить пределы города. Я же хочу сказать лишь следующее: то государство стоит несокрушимо, которое обладает подданными верными и привязанными к своему властителю; однако дело, которое надо решить, должно быть решено быстро, ибо перед вами множество людей, трепещущих между надеждой и страхом, которых надо вывести из этой неизвестности и обратить их умы к мыслям о каре или о награждении. Долгом моим было действовать так, чтобы и то и другое было в вашей власти; это исполнено. Вам же теперь предстоит принять решение на благо и пользу республики».

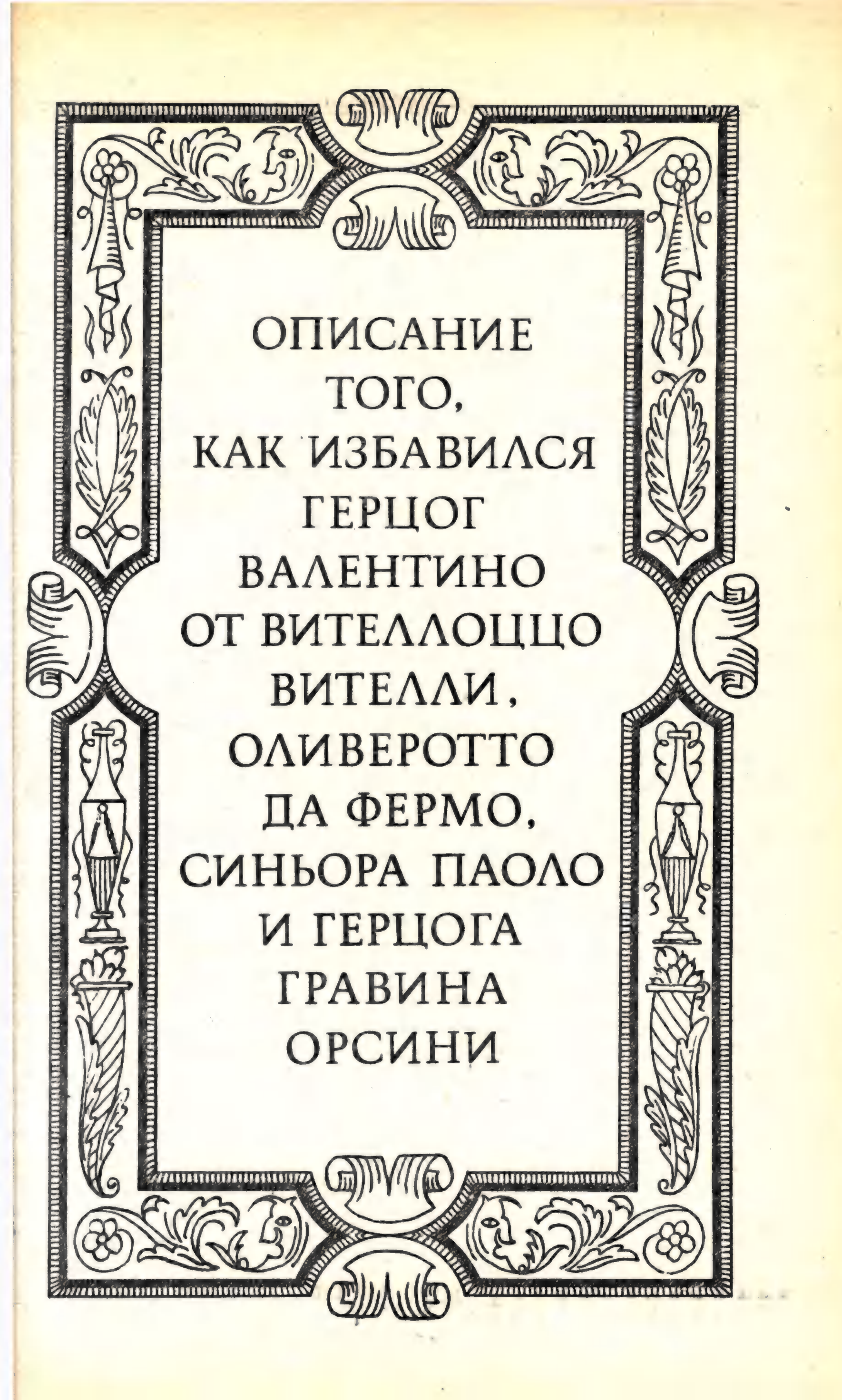
Сенаторы хвалили речь консула, но сказали, что дела в восставших городах и землях обстоят различно, так что они не могут говорить обо всех, а лишь о каждом отдельно, и когда консул доложил о делах каждой земли, сенаторы решили, что ланувийцы должны быть гражданами римскими и получить обратно священные предметы, отнятые у них во время войны; точно так же дали они гражданство римское арицинам, номентанам и педанам, сохранили преимущества тускуланцев, а вину за их восстание возложили на немногих, наиболее подозрительных. Зато велитерны были наказаны жестоко, потому что, будучи уже давно римскими гражданами, они много раз восставали; город их был разрушен, и всех его граждан переселили в Рим. В Анциум, дабы прочно укрепить его за собой, поселили новых жителей, отняли все корабли и запретили строить новые. Можно видеть по этому приговору, как решили римляне судьбу восставших земель; они думали, что надо или приобрести их верность благодеяниями, или поступить с ними так, чтобы впредь никогда не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным. Когда надо было решать, римляне прибегали то к одному, то к другому средству, милуя тех, с кем можно было надеяться на мир; с другими же, на кого надеяться не приходилось, они поступали так, что те уже никак и никогда не могли им повредить. Чтобы достигнуть этой последней цели, у римлян было два средства: одно – это разрушить город и переселить жителей в Рим, другое – изгнать из города его старых жителей и прислать сюда новых или, оставив в городе старых жителей, поселить туда так много новых, чтобы старые уже никогда не могли злоумышлять и затеять что-либо против Сената. К этим двум средствам и прибегли римляне, когда разрушили Велитернум и заселили новыми жителями Анциум. Говорят, что история – наставница наших поступков, а более всего поступков князей, что мир всегда населен был людьми, подвластными одним и тем же страстям, что всегда были слуги и повелители, а среди слуг такие, кто служит поневоле и кто служит охотно, кто восстает на господина и терпит за это кару. Кто этому не верит, пусть посмотрит на Ареццо и на всю Вальдикьяну, где в прошлом году творились дела, очень схожие с историей латинских племен. Как там, так и здесь было восстание, впослед-

ствии подавленное, и хотя в средствах восстания и подавления есть довольно заметная разница, но самое восстание и подавление его схожи. Поэтому, если верно, что история – наставница наших поступков, не мешает тем, кто будет карать и судить Вальдикьяну, брать пример и подражать народу, который стал владыкой мира, особенно в деле, где вам точно показано, как надо управлять, ибо как римляне осудили различно, смотря по разности вины, так должны поступить и вы, усмотрев различие вины и среди ваших мятежников. Если вы скажете: мы это сделаем, я отвечу, что не сделано главное и лучшее. Я считаю хорошим решением, что вы оставили правящие органы в Кортоне, Кастильоне, Борго, Фойано, обошлись с ними ласково и сумели благодеяниями вернуть их приязнь, ибо нахожу в них сходство с ланувийцами, арицинами, номентанами и тускуланцами, насчет которых римляне решили почти так же. Но я не одобряю, что аретинцы, похожие на велитернов и анциан, не подверглись такой же участи, как и те. И если решение римлян заслуживает хвалы, то ваше в той же мере заслуживает осуждения. Римляне находили, что надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истребить и что всякий иной путь грозит величайшими опасностями. Как мне кажется, вы не сделали с аретинцами ни того ни другого: вы переселили их во Флоренцию, лишили их почестей, продали их имения, открыто их срамили, держали их солдат в плену – все это нельзя назвать благодеянием. Точно так же нельзя сказать, что вы себя обезопасили, ибо оставили в целости городские стены, позволили пяти шестым жителей остаться по-прежнему в городе, не смешали их с новыми жителями, которые держали бы их в узде, и вообще не сумели так поставить дело, чтобы при новых затруднениях и войнах нам не пришлось тратить больше сил на Ареццо, чем на врага, который вздумает на нас напасть. Вспомните опыт 1498 года, когда еще не было ни восстания, ни жестокого усмирения этого города; все же, когда венецианцы подошли к Биббиене, вам пришлось, чтобы отстоять Ареццо, отдать его войскам герцога Миланского, и если бы не ваши колебания, то граф Рануччо с своим отрядом мог бы воевать против врагов в Казентино и не понадобилось бы отзывать из-под Пизы Паоло Вителли, чтобы послать его в Ка-

зентино. Однако ненадежность аретинцев заставила вас на это решиться, и вам пришлось встретиться с очень большими опасностями, помимо огромных расходов, которых вы бы избежали, если бы аретинцы остались верными. Сближая, таким образом, то, что было тогда, с тем, что мы видели позже, и с условиями, в которых вы находитесь, можно заключить наверняка, что если на вас, упаси боже, кто-нибудь нападет, то Ареццо восстанет или вам будет так трудно удержать его в повиновении, что расходы окажутся для города непосильными. Не хочу обойти молчанием и вопрос, можете ли вы подвергнуться нападению или нет и есть ли человек, который рассчитывает на аретинцев.

Не будем говорить о том, насколько вам могут быть страшны иноземные государи, а побеседуем об опасности гораздо более близкой. Кто наблюдал Чезаре Борджа, которого называют герцогом Валентино, тот знает, что, оберегая свои владения, он никогда не думал опираться на своих итальянских друзей, так как венецианцев он ценил низко, а вас еще ниже. Поэтому он, конечно, должен думать о том, чтобы создать себе в Италии такую власть, которая дала бы ему безопасность и заставила бы всякого другого правителя желать его дружбы. Что таково его намерение, что он стремится захватить Тоскану, страну, близко лежащую и пригодную, чтобы образовать вместе с другими его владениями единое королевство, – это вытекает необходимо из причин, о которых сказано выше, из властолюбия герцога и даже из того, что он заставлял вас терять время на переговоры и никогда не хотел заключить с вами договор. Дело теперь только в том, удобное ли сейчас время для его замыслов. Я вспоминаю, как кардинал Содерини говорил, что у папы и у герцога, помимо других качеств, за которые можно было назвать их великими людьми, было еще следующее: оба они большие мастера выбирать удобный случай и, как никто, умеют им пользоваться. Мнение это подтверждено опытом дел, проведенных ими с успехом. Если бы спор шел о том, настала ли сейчас удобная минута, чтобы вас прижать, я бы ответил, что нет, но знайте, что герцог не может выжидать, кто победит, ибо, при краткости жизни папы, времени у него останется мало; ему необходимо воспользоваться первым представившимся случаем и положиться во многом на счастье.





ОПИСАНИЕ ТОГО, КАК ИЗБАВИЛСЯ ГЕРЦОГ ВАЛЕНТИНО ОТ ВИТЕЛЛОЦЦО ВИТЕЛЛИ, ОЛИВЕРОТТО ДА ФЕРМО, СИНЬОРА ПАОЛО И ГЕРЦОГА ГРАВИНА ОРСИНИ

Герцог Валентино только что вернулся из Ломбардии, куда он ездил, чтобы оправдаться перед Людовиком, королем Франции, от клевет, взведенных на него флорентийцами из-за мятежа в Ареццо и в других местностях Вальдикьяны; он находился в Имоле, оттуда намеревался выступить с своими отрядами против Джованни Бентивольо, тирана Болоньи, так как хотел подчинить себе этот город и сделать его столицей своего герцогства Романьи. Когда весть об этом дошла до Вителли, Орсини и других их сторонников, они решили, что герцог становится слишком могуч и теперь надо бояться за себя, ибо, завладев Болоньей, он, конечно, постарается их истребить, дабы вооруженным в Италии остался один только он. Они собрались в Маджоне около Перуджии и пригласили туда кардинала, Паоло и герцога Гравина Орсини, Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, Джанпаоло Бальони, тирана Перуджии, и мессера Антонио да Венафро, посланного Пандольфо Петруччи, властителем Сиены; на собрании речь шла о мощи герцога, о его замыслах, о том, что его необходимо обуздать, иначе всем им грозит гибель. Кроме того, решили не покидать Бентивольо, постараться привлечь на свою сторону флорентийцев и в оба города послать своих людей, обещая помощь первому и убеждая второй объединиться против общего врага. Об этом съезде стало тотчас же известно во всей Италии, и у всех недовольных властью герцога, между прочим у жителей Урбино, появилась надежда на перемены. Умы волновались, и несколько жителей Урбино решили захватить дружественный герцогу замок Сан Лео. Владелец замка в это время его укреплял, и туда свозили лес для построек; заговорщики дождались, пока бревна, доставлявшиеся в замок, были уже на мосту и загромоздили его настолько, что защитники замка не могли на него взойти, вскочили на мост и оттуда во-

рвались в замок. Как только об этом захвате стало известно, взбунтовалось все государство и потребовало обратно своего старого герцога, понадеявшись не столько даже на захват крепости, сколько на съезд в Маджоне и на его поддержку. Участники съезда, узнав о бунте в Урбино, решили, что упускать этот случай нельзя, собрали своих людей и двинулись на завоевание всех земель, которые в этом государстве оставались еще в руках герцога, причем снова отправили во Флоренцию послов, поручив им убедить республику соединиться с ними, чтобы потушить страшный для всех пожар, указывая, что враг разбит и другого такого случая уже не дождаться. Однако флорентийцы, ненавидевшие по разным причинам Вителли и Орсини, не только к ним не присоединились, но послали к герцогу своего секретаря, Никколо Макиавелли, предлагая ему убежище и помощь против его новых врагов; герцог же находился в Имоле в великом страхе, потому что солдаты его совсем для него неожиданно стали его врагами, война была близка, а он оказывался безоружным. Однако, получив предложения флорентийцев, он воспрянул духом и решил тянуть войну с небольшими отрядами, какие у него оставались, заключать с кем можно соглашения и искать помощи, которую готовил двояко: он просил помощи у короля Франции, а с своей стороны, нанимал где мог солдат и всяких конных людей, всем раздавая деньги. Враги его все же, продвигаясь вперед, подошли к Фоссомброне, где стояли некоторые отряды герцога, которые и были разбиты Вителли и Орсини. После этого герцог все свои помыслы сосредоточил на одном: попробовать, нельзя ли остановить беду, заключив с врагами сделку; будучи величайшим мастером в притворстве, он не упустил ничего, чтобы втолковать им, что они подняли оружие против человека, который хотел все свои приобретения отдать им, что с него довольно одного титула князя, а самое княжество он хотел им уступить. Герцог так их в этом убедил, что они отправили к нему синьора Паоло для переговоров и прекратили войну. Герцог же своих приготовлений не прекратил и всячески старался набрать как можно больше всадников и пехотинцев; а чтобы приготовления его не обнаружились, он рассылал своих людей отдельными отрядами по всей Романье. Тем временем к нему прибыли пятьсот французских копейщиков,

и хотя он был уже настолько силен, что мог отмстить врагам оружием, он все же решил, что вернее и полезнее их обмануть и не прекращать переговоров. Он так усердно вел дело, что заключил с ними мир, которым подтвердил свои прежние договоры с ними о командовании, подарил им четыре тысячи дукатов, обещал не притеснять Бентиволье, даже породнился с Джованни; все это было тем труднее, что он не мог заставить врагов лично к себе явиться. С другой стороны, Орсини и Вителли обязались вернуть ему герцогство Урбино и другие занятые владения, служить ему во всех его походах, без разрешения его ни с кем не вести войны и не заключать союза. После этой сделки Гвидо Убальдо, герцог Урбино, снова бежал в Венецию, разрушив сперва все крепости государства, ибо, доверяя народу и не веря, что он сможет эти крепости защитить, он не хотел отдать их врагу, который, владея замками, держал бы в руках его друзей. Сам герцог Валентино, заключив этот мир и разослав своих людей по всей Романье вместе с французскими солдатами, уехал в конце ноября из Имолы и направился в Чезену, где провел немало времени в переговорах с Вителли и Орсини, находившимися с своими людьми в герцогстве Урбино, завоевание которого приходилось вести с начала; так как дело не двигалось, они послали к герцогу Оливеротто да Фермо, чтобы предложить ему свои услуги, если герцог захочет идти на Тоскану. В противном случае они двинутся на Синигалию. Герцог ответил, что не желает поднимать войну в Тоскане, так как флорентийцы – его друзья, но будет очень рад, если Орсини и Вителли отправятся в Синигалию. Вскоре пришло известие, что город им покорился, но замок сдаться не хочет, так как владелец хотел передать его только самому герцогу и никому иному, а потому герцога просят прибыть скорее. Случай показался герцогу удобным и не возбуждающим подозрения, так как не он собирался ехать в Синигалию, а сами Орсини его туда вызвали. Чтобы вернее усыпить противников, герцог отпустил всех французских солдат, которые вернулись в Ломбардию, и оставил при себе только сто копейщиков под командой своего родственника монсеньора ди Кандалес; около половины декабря он выехал из Чезены и отправился в Фано; там он со всем коварством и ловкостью, на какую только был способен,

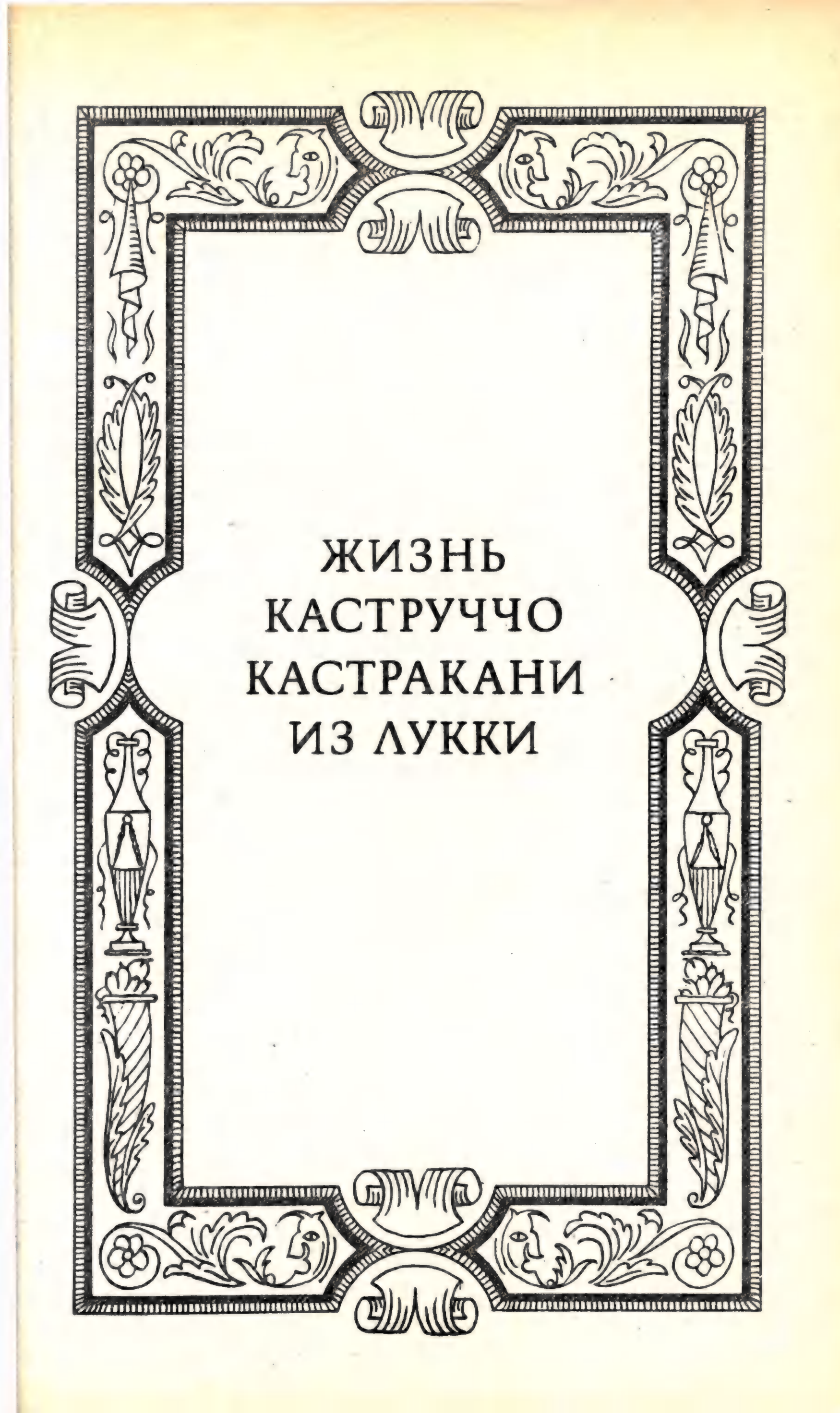
убедил Вителли и Орсини подождать его в Синигалии, доказав им, что при такой грубости владельца замка мир их не может быть ни прочным, ни продолжительным, а он такой человек, который хочет опереться на оружие и совет своих друзей. Правда, Вителлоццо держался очень осторожно, так как смерть брата научила его, что нельзя сперва оскорбить князя, а потом ему доверяться, но, поддавшись убеждениям Паоло Орсини, соблазненного подарками и обещаниями герцога, он согласился его подождать. Перед отъездом из Фано (это было 30 декабря 1502 года) герцог сообщил свои замыслы восьми самым верным своим приближенным, между прочим дону Микеле и монсеньору д'Эуна, который впоследствии был кардиналом, и приказал им, как только они встретят Вителлоццо, Паоло Орсини, герцога Гравина и Оливеротто, сейчас же поставить около каждого из них двух своих, поручить каждого точно известным людям и двигаться в таком порядке до Синигалии, никого не отпуская, пока не доведут их до дома герцога и не схватят. Затем герцог распорядился, чтобы все его воины, конные и пешие (а их было больше двух тысяч всадников и десять тысяч пехотинцев), находились с раннего утра на берегу реки Метавра, в пяти милях от Фано, и там его дожидались. Когда все это войско в последний день декабря собралось на берегу Метавра, он выслал вперед около двухсот всадников, затем послал пехоту и, наконец, выступил сам с остальными солдатами. Фано и Синигалия – это два города в Анконской Марке, лежащие на берегу Адриатического моря и в пятнадцати милях друг от друга; если идти по направлению к Синигалии, то с правой стороны будут горы, подножие которых иногда так приближается к морю, что между горами и водой остается только очень узкое пространство, и даже там, где горы расступаются, оно не достигает двух миль. Расстояние от подножия этих гор до Синигалии немного больше выстрела из лука, а от Синигалии до моря оно меньше мили. Недалеко протекает небольшая речка, омывающая часть стен, которые выходят на дорогу и обращены к городу Фано. Таким образом, если направляться в Синигалию из окрестностей, то большую часть пути надо идти вдоль гор; у самой реки, пересекающей Синигалию, дорога отклоняется влево и, на расстоянии выстрела из лука, идет берегом, а затем

поворачивает на мост, перекинутый через реку, и почти подходит к воротам Синигалии, но не прямо, а сбоку. Перед воротами лежит предместье из нескольких домов и площади, которая одной стороной выходит на речную плотину. Вителли и Орсини, приказав дожидаться герцога и желая сами торжественно его встретить, разместили своих людей в замке в шести милях от Синигалии и оставили в Синигалии только Оливеротто с его отрядом в тысячу пехотинцев и сто пятьдесят всадников, расположившихся в предместье, о котором сказано выше.

Отдав, таким образом, необходимые распоряжения, герцог Валентино направился к Синигалии, и когда головной отряд всадников подъехал к мосту, он не перешел его, а остановился и затем повернул частью к реке, частью в поле, оставив в середине проход, через который, не останавливаясь, прошли пехотинцы. Навстречу герцогу выехали на мулах Вителлоццо, Паоло Орсини и герцог Гравина, сопровождаемые всего несколькими всадниками. Вителлоццо, безоружный, в зеленой шапочке, был в глубокой печали, точно сознавая свою близкую смерть (храбрость этого человека и его прошлое были хорошо известны), и на него смотрели с любопытством. Говорили, что, уезжая от своих солдат, чтобы отправиться навстречу герцогу в Синигалию, он прощался с ними как бы в последний раз. Дом и имущество он поручил начальникам отряда, а племянников своих увещевал помнить не о богатстве их дома, а о доблести отцов. Когда все трое подъехали к герцогу и сердечно его приветствовали, он их принял любезно, и они тотчас же были окружены людьми герцога, которым приказано было за ними следить. Увидав, что не хватает Оливеротто, который остался с своим отрядом в Синигалии и, дожидаясь у места своей стоянки, выше реки, держал своих людей в строю и обучал их, герцог показал глазами дону Микеле, которому поручен был Оливеротто, чтобы тот не допустил Оливеротто ускользнуть. Тогда дон Микеле поскакал вперед и, подъехав к Оливеротто, сказал ему, что нельзя уводить солдат из помещений, так как люди герцога их отнимут; поэтому он предложил ему их разместить и вместе ехать навстречу герцогу. Оливеротто исполнил это распоряжение, и в это время неожиданно подъехал герцог, который, увидев Оливеротто, позвал

его, а Оливеротто, поклонившись, присоединился к остальным. Они въехали в Синигалию, спешились у дома герцога и, как только вошли с ним в потайную комнату, были схвачены людьми герцога, который сейчас же вскочил на коня и велел окружить солдат Оливеротто и Орсини. Люди Оливеротто были истреблены, так как были ближе, но отряды Орсини и Вителли, которые стояли дальше и почуяли гибель своих господ, успели соединиться и, вспомнив доблесть и дисциплину Орсини и Вителли, пробились вместе и спаслись, несмотря на усилия местных жителей и врагов. Однако солдаты герцога, не довольствуясь тем, что ограбили людей Оливеротто, начали грабить Синигалию, и если бы герцог не обуздал их, приказав перебить многих, они разграбили бы весь город. Когда подошла ночь и кончилось волнение, герцог решил, что настало удобное время убить Вителлоццо и Оливеротто, приказал отвести их обоих в указанное место и велел их удавить. При этом не обратили никакого внимания на их слова, достойные их прежней жизни: Вителлоццо просил дозволить ему вымолить у папы полное отпущение грехов, а Оливеротто, с плачем, сваливал на Вителлоццо вину за все козни против герцога. Паоло и герцог Гравина Орсини были оставлены в живых, пока герцог не узнал, что папа в Риме захватил кардинала Орсини, архиепископа Флорентийского, и мессера Джакомо ди Санта Кроче. Когда известие об этом пришло, они были таким же образом удавлены в Кастель дель Пиэве восемнадцатого января 1502 года.





ЖИЗНЬ КАСТРУЧЧО КАСТРАКАНИ ИЗ ЛУККИ

Покажется, дорогие Дзаноби и Луиджи, удивительным для всякого, кто над этим задумается, что все или большая часть тех, кто свершил в этом мире деяния величайшие и между всеми своими современниками достиг положения высокого, имели происхождение и рождение низкое и темное или же терпели от судьбы всевозможные удары. Ибо все они либо были подкинуты зверям, либо имели отцом столь ничтожного человека, что, стыдясь его, объявляли себя детьми Юпитера или иного бога. Кто были такие люди, всякому в достаточной мере известно; повторять это было бы скучно и мало приятно для читателя; опустим это как совершенно лишнее. Думаю, что указанное происходит от того, что природа, желая доказать, что великими делает людей она, а не благоразумие, начинает показывать свои силы в такой момент, когда благоразумие не может играть никакой роли, и становится ясно, что люди всем обязаны именно ей.

Одним из таких людей был Каструччо Кастракани из Лукки. Принимая во внимание время, когда он жил, и город, где он родился, свершил он дела величайшие. И происхождение его не было ни более счастливым, ни более славным, чем у других знаменитых людей, как выяснится из описания его жизни. Мне казалось полезным восстановить ее в памяти людей, так как в ней, думается мне, я нашел много такого, что может послужить замечательнейшим примером способностей и счастья. И решил я посвятить это описание вам, так как из всех людей, кого я знаю, вам больше всего доставляют удовольствие славные деяния.

Итак, скажу, что семья Кастракани принадлежит к знатным семьям города Лукки, хотя судьбе было угодно устроить так, что в наше время она уже не существует. К ней принадлежал некий Антонио, который вступил в духовное звание, сделался каноником церкви

Сан Микеле в Лукке и в знак почета звался мессер Антонио. Близких у него не было никого, кроме одной сестры, которую он выдал замуж за Буонаккорсо Ченнами. Когда Буонаккорсо умер и жена его осталась вдовою, она решила поселиться у брата и не вступать больше в брак.

У мессера Антонио за домом, где он жил, был виноградник, в который было очень нетрудно проникнуть с разных сторон, так как он соприкасался со многими садами.

Случилось однажды, что мадонна Дианора (так звали сестру мессера Антонио) рано утром, вскоре после восхода солнца, пошла в виноградник погулять и собрать, как это делают женщины, кое-каких трав для приправы к кушаньям. И показалось ей, что под одной лозою между листьями что-то шевелится, а когда она присмотрелась, ей послышался плач. Она пошла по направлению этих звуков и увидела ручки и лицо ребенка, который, запутавшись в листьях, казалось, просил помощи. Удивленная и вместе с тем испуганная, охваченная состраданьем и ошеломленная, она подняла ребенка, понесла его в дом, выкупала, завернула, как полагается, в белые ткани и, когда пришел мессер Антонио, показала ему. Он, выслушав ее рассказ и увидев младенца, был удивлен и разжалоблен не меньше, чем сестра. Посоветовавшись между собой о том, что делать с младенцем, они решили, так как он был священник, воспитать его. Они взяли в дом кормилицу и стали растить ребенка с такой любовью, как если бы он был их собственным сыном.

Они его окрестили и назвали именем своего отца — Каструччо.

С годами Каструччо становился все более и более привлекательным и обнаруживал во всем ум и благоразумие. Вскоре он стал учиться тому, что мессер Антонио, принимая во внимание его возраст, ему преподавал. Ибо он решил, что сделает его священником и со временем откажется в его пользу от каноника и от других своих бенефиций. И учил его, имея в виду эту цель. Но он нашел в своем ученике такие наклонности, которые совершенно не подходили к священническому званию. Ибо, не достигши еще и четырнадцатилетнего возраста, он начал проявлять дух самостоятельности перед мессером Антонио, а мадонны Дианоры совсем

перестал бояться и, оставив церковные книги, начал учиться владеть оружием. Теперь только и доставляло ему удовольствие, что фехтованье, бег взапуски с товарищами, прыганье, борьба и другие подобные упражнения. В них он обнаружил замечательные способности, как душевные, так и телесные, и далеко превзошел всех своих сверстников. А если он и читал иногда что-нибудь, то увлекали его лишь такие книги, в которых говорилось о войнах и о подвигах великих людей. Все это причиняло мессеру Антонио несказанное огорчение и очень его печалило.

Был в городе Лукке дворянин из рода Гуиниджи, по имени мессер Франческо, который богатством, любезностью и доблестью далеко оставлял за собою всех других жителей Лукки. Его промыслом была война, и он долго воевал под начальством Висконти Миланских. Он был гибеллином и из всех других сторонников этой партии пользовался наибольшим уважением в Лукке. Проживая в Лукке и сходясь с другими гражданами вечером и утром в лоджии подесты, которая находится в начале площади Сан-Микеле, первой из городских площадей, он много раз видел, как Каструччо с другими мальчиками с ближайших улиц занимались упражнениями, о которых я говорил выше. И так как мессеру Франческо показалось, что Каструччо не только превосходит всех других, а еще пользуется над ними царственным влиянием и что они любят и почитают его в высокой степени,– ему очень захотелось узнать, кто этот мальчик. Окружающие рассказали ему все, и он загорелся еще более сильным желанием взять его к себе. И однажды, подозвав его, он спросил, где бы он стал жить более охотно: в доме дворянина, который бы его учил ездить верхом и обращаться с оружием, или в доме священника, где он только и слышит, что службы и обедни. Мессер Франческо увидел, как обрадовался Каструччо, услышав о лошадях и об оружии. Но он немного стеснялся, и мессеру Франческо пришлось подбодрить его, чтобы он заговорил. Тогда он сказал, что если позволит его учитель, то для него не будет большей радости, как оставить духовное ученье и приступить к воинским занятиям. Мессеру Франческо очень понравился ответ Каструччо, и через несколько дней он добился того, что мессер Антонио уступил ему мальчика. Побудило

каноника к этому больше всего то, что, зная натуру своего питомца, он понимал, что не сможет долго вести его в том направлении, в каком вел.

Таким образом, Каструччо перешел из дома каноника мессера Антонио Кастракани в дом кондотьера мессера Франческо Гуиниджи. И нужно удивляться, в какое необыкновенно короткое время он преисполнился всех достоинств и усвоил все манеры, какие требуются от настоящего дворянина. Прежде всего он сделался великолепным наездником. С величайшей ловкостью управлял он любой самой горячей лошадью, а в воинских играх и турнирах, хотя был молод, отличался больше всех и не встречал себе в состязаниях соперника ни по силе, ни по ловкости. И был он к тому же замечательного нрава, отличался несказанной скромностью, так что никто не знал за ним поступка и не слышал от него слова, которые могли бы вызвать осуждение. Он был почтителен со старшими, скромен с равными, любезен с низшими. Все это заставляло любить его не только всю семью Гуиниджи, но и весь город Лукку.

Случилось в это время – Каструччо уже минуло восемнадцать лет, – что в Павии гибеллины были изгнаны гвельфами. На помощь им Висконти Миланским был послан Франческо Гуиниджи. С ним вместе отправился и Каструччо, которому был вверен отряд на полную его ответственность. В этом походе Каструччо дал такие доказательства благоразумия и мужества, что никто из участников кампании не приобрел большего расположения у кого бы то ни было, чем он. И не только в Павии, но во всей Ломбардии он заслужил большое и почетное имя.

Вернулся в Лукку Каструччо окруженный гораздо большим уважением, чем до отъезда, и делал все, что было возможно, чтобы приобрести себе друзей, не упуская ни одного способа, какие необходимы для привлечения людей. Мессер Франческо тем временем умер, и так как у него был тринадцатилетний сын по имени Паголо, то попечителем его и управляющим своими имениями он назначил Каструччо. Перед смертью он призвал его к себе и просил, чтобы он постарался воспитать его сына с такими же добрыми чувствами, с какими был им воспитан он сам, и чтобы ту признательность, которую он не успел воздать отцу, он

воздал сыну. Когда мессер Франческо умер, Каструччо остался воспитателем и попечителем Паголо. Его слава и его могущество выросли настолько, что расположение, которым он пользовался в Лукке, частью перешло в зависть настолько, что многие осыпали его клеветами, как человека подозрительного и скрывающего тиранические планы. Первым между его недругов был мессер Джорджо дельи Опици, глава гвельфской партии. Он надеялся после смерти мессера Франческо сделаться синьором Лукки, и ему казалось, что Каструччо, оставшийся в правящих кругах благодаря расположению, завоеванному его достоинствами, отнял у него всякую к этому возможность. И распускал о нем всякие слухи, чтобы лишить его популярности. Сначала Каструччо относился к этому с пренебрежением. Но потом стал беспокоиться, как бы происки Джорджо не вызвали к нему немилости у викария короля Роберта Неаполитанского и не побудили его изгнать его из Лукки.

В это время синьором Пизы был Угуччоне делла Фаджола из Ареццо, который сначала был выбран пизанцами капитаном, потом захватил власть над городом. У Угуччоне нашли приют некоторые гибеллины, изгнанные из Лукки. Каструччо поддерживал с ними сношения, желая с помощью Угуччоне дать им возможность вернуться. Эти свои планы он сообщил в Лукке нескольким друзьям, которые не хотели больше терпеть власть семьи Опици. Дав им указания, как действовать, он тайно укрепил башню Онести, снабдил ее военными припасами и продовольствием так, что в случае необходимости в ней можно было продержаться в течение нескольких дней. И, сговорившись с Угуччоне, когда настала ночь, дал ему сигналы. Угуччоне с многочисленным войском спустился в равнину между горами и Луккой и, увидев сигнал, подступил к воротам Сан-Пьеро и поджег передовые укрепления. Каструччо с другой стороны поднял тревогу, призывая народ к оружию, и овладел воротами изнутри. Угуччоне и его люди ворвались в город, рассыпались по всем улицам и умертвили мессера Джорджо вместе со всей семьей, многих его друзей и сторонников. Губернатор был изгнан. Конституция Лукки была изменена так, как это было угодно Угуччоне, к великому ущербу города: ибо более ста семейств были из него изгнаны. Бежавшие отправились частью во Флоренцию, частью в Пис-

тойю, где власть принадлежала гвельфам. Следствием этого было то, что оба города сделались враждебны Угуччоне и лукканцам.

Так как флорентийцам и другим гвельфам стало казаться, что гибеллинская партия приобрела чересчур большую силу в Тоскане, они сговорились между собою вернуть на родину изгнанников. И, собрав большое войско, пришли в Вальдиньеволе и заняли Монтекатини, а оттуда двинулись в Монте-Карло и обложили его, чтобы иметь свободный путь к Лукке. Но Угуччоне, сосредоточив крупные силы, пизанские и лукканские, а также значительный конный отряд из немцев, который был ему прислан из Ломбардии, пошел навстречу флорентийцам. Они же, как только узнали о его приближении, сняли осаду Монте-Карло и расположились между Монтекатини и Пешией. Угуччоне занял позицию в двух милях от них, под Монте-Карло. В течение нескольких дней между враждебными войсками происходили лишь кавалерийские стычки, ибо вследствие болезни Угуччоне пизанцы и лукканцы избегали решительного сражения.

Но так как Угуччоне становилось все хуже, он отправился для лечения в Монте-Карло, вверив команду Каструччо, что сделалось причиною поражения гвельфов. Решив, что неприятельское войско останется без вождя, они воспрянули духом, а Каструччо, узнавши об этом, чтобы укрепить их в этом убеждении, прождал еще несколько дней, делая вид, что боится, и не позволял никаким вооруженным силам выходить из лагеря. Гвельфы же, видя, как трусит противник, становились все более дерзкими и каждый день, построившись для битвы, выходили навстречу Каструччо. Когда последний познакомился с их боевым порядком и когда ему стало казаться, что гвельфы осмелели достаточно, он решил принять сражение. Прежде всего он обратился к своим солдатам со словами ободрения, доказывая им, что победа будет обеспечена, если они будут исполнять его приказания.

Каструччо видел, что неприятель поставил лучшие свои силы в центре, а более слабые на флангах. Сам он поступил наоборот: сильнейшие свои части расположил на обоих крыльях, а те, на которые рассчитывал меньше – в центре. В таком построении он выступил из лагеря, как только увидел появление противника,

который, согласно своему обыкновению, вышел к нему навстречу. Центру своему он приказал двигаться медленно, а флангам скомандовал наступать со всей стремительностью. Поэтому, когда войска сошлись, на обоих флангах сейчас же завязался бой, а центры бездействовали, ибо центр Каструччо отстал настолько, что гвельфы не могли прийти с ним в соприкосновение. Таким образом, лучшие части Каструччо бились со слабейшими силами неприятеля, а лучшие силы неприятеля стояли без пользы, не будучи в состоянии ни ударить на тех, кто был перед ними, ни оказать помощь своим. Оба крыла гвельфов вследствие этого сопротивлялись недолго и повернули тыл, а центр, видя, что фланги его обнажены, лишенный возможности показать свою доблесть, тоже обратился в бегство. Поражение было полное и потери гвельфов огромны. Убитых насчитывалось больше 10000 человек, в числе которых было много вождей и именитых рыцарей гвельфской партии со всей Тосканы, а кроме того, несколько влиятельных особ, пришедших к гвельфам на помощь; среди них – Пьеро, брат короля Роберта, Карло, его племянник, и Филиппо, синьор города Тарента. Каструччо потерял не больше 300 человек; в их числе был Франческо, сын Угуччоне, безрассудно смелый юноша, павший при первом столкновении.

Поражение гвельфов создало великую славу имени Каструччо настолько, что Угуччоне проникся такой завистью к нему и стал так опасаться за свою власть, что только и думал о том, как его погубить: ему казалось, что эта победа отняла у него синьорию, а не укрепила ее. Обдумывая положение, он ожидал подходящего случая для выполнения своих планов. В это время случилось, что был убит Пьер Аньоло Микели из Лукки, человек почтенный и очень уважаемый; убийца его нашел приют в доме Каструччо, который прогнал стражу, явившуюся арестовать его, и вдобавок помог ему бежать. Когда Угуччоне, находившийся в это время в Пизе, узнал об этом, он решил, что у него справедливый повод для наказания Каструччо. Он призвал сына своего Нери, которого он назначил перед тем синьором Лукки, и поручил ему, пригласив под каким-нибудь предлогом Каструччо, схватить его и предать смерти. И когда Каструччо отправился однажды запросто во дворец, не подозревая

о готовящейся ловушке, Нери сначала удержал его у себя к обеду, а потом арестовал. Но он не решился умертвить Каструччо без всякой судебной процедуры, боясь народного волнения, и потому держал его в заключении, ожидая от отца подробных распоряжений, как ему поступить. Угуччоне выразил сыну свое недовольство его медлительностью и нерешительностью и, чтобы кончить с этим делом, сам отправился из Пизы в Лукку во главе четырехсотенного конного отряда. Но еще прежде, чем он доехал до Баньи, пизанцы восстали с оружием в руках, убили его заместителя и членов его семьи, остававшихся в Пизе, и провозгласили синьором графа Гаддо делла Герардеска. Угуччоне узнал о происшествиях в Пизе еще до прибытия в Лукку и решил не возвращаться обратно, чтобы и лукканцы по примеру Пизы не закрыли перед ним ворот. Но несмотря на то, что он вступил в Лукку, жители города, как бы желая добиться освобождения Каструччо, начали прежде всего собираться на площадях и высказывать свои мнения, не считаясь ни с чем, потом стали волноваться и, наконец, взялись за оружие, требуя Каструччо. Дело приняло такой оборот, что Угуччоне, опасаясь худшего, выпустил его из заключения. А он, едва получив свободу, собрав друзей и поддерживаемый народом, выступил против Угуччоне. Тому не оставалось ничего другого – ибо помощи ему ждать было неоткуда, – как вместе со своими сторонниками бежать из города. Он отправился в Ломбардию к синьорам делла Скала. Там он и умер в бедности.

Каструччо, став из пленника как бы синьором Лукки, стал действовать с помощью друзей и использовал внезапно вспыхнувшие симпатии народа так искусно, что был избран начальником вооруженных сил города сроком на один год. Добившись этого, он решил, чтобы создать себе боевую славу, вернуть Лукке многие города, взбунтовавшиеся после бегства Угуччоне. Сговорившись с пизанцами, которые прислали ему подмогу, он двинулся к Сарцане, которую обложил. Чтобы взять ее, он построил на господствующей высоте бастион – флорентийцы потом обвели его стеною и назвали Сарцаннелою – и через два месяца вынудил ее к сдаче. Непрерывно увеличивая свою славу, он взял вслед за тем Массу, Каррару и Лавенцу и в короткое время завладел всей Луниджаной, а чтобы закрыть проход,

который вел в Луниджану из Ломбардии, захватил Понтремоло, изгнав оттуда мессера Анастаджо Паллавизини, который был синьором города. Вернувшись в Лукку после этого победоносного похода, он был встречен всем народом. Решив после этого не медлить с подчинением себе города, он подкупил Паццино дель Поджо, Пуччинелло дель Портико, Франческо Бокkансакки и Чекко Гуиниджи, пользовавшихся большим влиянием, и с их помощью захватил власть. Народ в торжественном собрании провозгласил его государем.

В это время в Италию прибыл король римский Фридрих Баварский, чтобы быть венчанным императорской короною. Каструччо добился его дружбы и отправился навстречу к нему во главе пятисот конных воинов, оставив своим заместителем в Лукке Паголо Гуиниджи, которого в память его отца он любил так, как если бы он был его собственным сыном. Фридрих встретил Каструччо с почетом, осыпал его милостями и сделал своим викарием в Тоскане. А так как пизанцы изгнали Гаддо делла Герардеска и из страха перед ним обратились к Фридриху за помощью, король сделал Каструччо синьором Пизы, а пизанцы, боясь гвельфов, особенно флорентийцев, приняли его.

После отбытия в Германию Фридриха, оставившего в Риме своего губернатора, все тосканские и ломбардские гибеллины, бывшие сторонниками императора, стали обращаться к Каструччо, предлагая ему каждый синьорию над своим городом, если он поможет им вернуться. Среди них были Маттео Гвиди, Нардо Сколари, Лапо Уберти, Джероццо Нарди и Пьеро Бонаккорси – все гибеллины и флорентийские изгнанники. Рассчитывая при их помощи и с силами, которыми он располагал, сделаться синьором всей Тосканы, Каструччо, чтобы нагнать на противников еще больше страха, заключил соглашение с Маттео Висконти, государем миланским, и начал вооружать весь город и всю свою территорию. Так как в Лукке было пять ворот, он разделил территорию на пять частей, каждую вооружил и каждой дал начальников и знамена. Таким образом, он сразу сосредоточил в своих руках двадцатипятитысячную армию, не считая той помощи, которую могла послать ему Пиза. В то время как он был окружен своими войсками и своими друзьями, Маттео Висконти подвергся нападению пьячентинских гвель-

фов, которые только что изгнали своих гибеллинов и получили помощь людьми от флорентийцев и короля Роберта. И мессер Маттео просил Каструччо, чтобы он атаковал флорентийцев и вынудил их отозвать свои войска из Ломбардии для защиты собственных очагов. Поэтому Каструччо с большими силами вступил в Вальдарно, занял Фучеккио и Сан-Миниато и причинил большое разорение стране. Флорентийцы действительно вынуждены были, подчиняясь необходимости, отозвать свои войска. Едва они добрались до Тосканы, как другая необходимость заставила Каструччо вернуться в Лукку.

Была в этом городе семья Поджо, пользовавшаяся большим влиянием по той причине, что члены ее содействовали не только возвышению Каструччо, но и провозглашению его государем Лукки. Так как им казалось, что они не получили за свои заслуги достаточного воздаяния, то они сговорились с другими семьями в Лукке взбунтовать город и изгнать Каструччо. И, воспользовавшись однажды утром каким-то случаем, они с оружием в руках напали на заместителя Каструччо, которому он поручил ведение судебных дел, и убили его. Они собирались продолжать свое дело и призвать народ к восстанию, когда навстречу им вышел Стефано ди Поджо, старый и миролюбивый человек, не участвовавший в заговоре, и благодаря своему авторитету заставил своих родичей положить оружие, предлагая им стать посредником между ними и Каструччо и получить от него все, чего они желают. Слагая оружие, они проявили не больше благоразумия, чем поднимая его. Ибо Каструччо, едва узнав о волнениях в Лукке, не теряя времени с частью своих сил поспешил в город, оставив командование армией Паголо Гуиниджи. И, найдя, вопреки своему ожиданию, волнения прекратившимися и усмотрев новую возможность укрепить свое положение, он занял наиболее важные пункты в городе своими вооруженными сторонниками. Стефано ди Поджо, уверенный, что Каструччо должен быть ему признателен, отправился к нему. Он просил не за себя, ибо не думал, что он в этом нуждается, а за своих родичей. Он умолял Каструччо принять во внимание их молодость, старую дружбу его со своей семьей и то, чем он был ей обязан. Каструччо отвечал благосклонно, убеждал его не опасаться ничего, говоря,

что ему более приятно видеть, что волнения улеглись, чем было неприятно узнать, что они вспыхнули. И просил Стефано привести всех к себе, говоря, что он благодарит бога за то, что он дает ему возможность доказать свое милосердие и великодушие. Поверив Стефано и Каструччо, все пришли и были все вместе – Стефано в том числе – заключены в тюрьму и преданы смерти.

За это время флорентийцы взяли обратно Сан-Миниато, и Каструччо решил прекратить эту войну, ибо боялся удалиться из Лукки, пока его положение там не упрочится. Когда он предложил флорентийцам мир, они сейчас же согласились, так как и они были утомлены и хотели положить конец расходам. Мир был заключен на два года, и стороны остались при тех владениях, которые были у каждой из них.

Разделавшись с войною, Каструччо, чтобы не подвергаться больше такой опасности, какой подвергался только что, под разными предлогами и разными способами истребил в Лукке всех, кто мог из честолюбия стремиться к власти. Он не щадил никого, подвергал изгнанию, отнимал имущество, а кого мог захватить – лишал жизни, говоря, что узнал на опыте, что никто из них не может быть ему верен. И для большей своей безопасности он воздвиг в Лукке крепость, на постройку которой пошли камни от башен, принадлежавших изгнанным и казненным.

Пока продолжался мир с флорентийцами и Каструччо укреплял свое положение в Лукке, он не упускал случая увеличить свои владения, не прибегая к открытой войне. У него было большое желание завладеть Пистойей, так как он был уверен, что если она будет принадлежать ему, то он одной ногою уже будет стоять во Флоренции. И всеми способами он старался создать себе друзей повсюду в горах. А с партиями в самой Пистойе он вел себя так ловко, что каждая ему доверяла. В это время, как, впрочем, и всегда, этот город был разделен на две партии: Белых и Черных. Вождем Белых был Бастиано ди Поссенте, Черных – Якопо да Джа. Оба они находились в теснейших сношениях с Каструччо, и каждый желал изгнать из города другого. Взаимные подозрения между ними все увеличивались, и наконец дело дошло до оружия. Якопо укрепился у флорентийских ворот, Бастиано – у лук-

канских. И так как каждый больше возлагал надежд на Каструччо, чем на флорентийцев, и считал его более подвижным и скорым на военные действия, то оба тайно просили его о помощи, и он обещал ее обоим. Якопо он велел передать, что придет сам, а Бастиано – что пришлет Паголо Гуиниджи, своего воспитанника. И, назначив точно время, он послал Паголо к Пистойе через Пешию, а сам двинулся прямо. Ровно в полночь, как было уговорено, Каструччо и Паголо подошли к Пистойе и оба были приняты как друзья. Когда они вошли в город и Каструччо решил, что можно действовать, он дал знак Паголо, и немедленно один заколол Якопо да Джа, другой – Бастиано ди Поссенте. Все их сторонники частью были захвачены, частью перебиты. Вслед за тем город был занят без дальнейшего сопротивления. Синьория была выгнана из дворца, и Каструччо принудил народ подчиниться ему, объявив о сложении старых долгов и пообещав много другого. Так же действовал он и по отношению к области, жители которой сошлись в большом количестве посмотреть нового государя. И все успокоились, полные надежд и больше всего уповая на его доблести.

В это время случилось, что народ римский начал волноваться вследствие дороговизны, причиною которой считал отсутствие папы, находившегося в Авиньоне. Против немецкого губернатора поднимался ропот. Ежедневно происходили убийства и другие беспорядки, а Генрих, губернатор, ничем этому не мог помочь. И начал он бояться, как бы римляне не призвали короля Роберта Неаполитанского, не прогнали его и не вернулись под власть папы. Не имея друга, к которому он мог прибегнуть, более близкого, чем Каструччо, он отправил ему просьбу не просто прислать ему подмогу, а прибыть в Рим самому. Каструччо решил, что откладывать не приходится, как ради того, чтобы оказать услугу императору, так и из того соображения, что пока в Риме не будет императора, дела там не поправятся, если не прибудет туда он. Поэтому, оставив в Лукке Паголо Гуиниджи, он выступил в Рим во главе шестисот конников и был принят Генрихом с величайшим почетом. И в самое короткое время его присутствие так укрепило положение императорской партии, что без насилий и кровопролития улеглись все волнения. Ибо Каструччо приказал доставить морем из Пизы большое

количество хлеба, чем была устранена главная причина ропота, а вожаков города, частью уговорами, частью наказаниями, заставил вновь признать власть Генриха. За это римский народ провозгласил Каструччо сенатором Рима и оказал ему многие другие почести. Новую свою должность Каструччо принял в очень торжественной обстановке. Он был облачен в бархатную тогу с надписями – спереди: «Он стал тем, что хотел бог», а сзади: «Он будет тем, чем захочет бог».

Между тем флорентийцы, негодовавшие на Каструччо за то, что он завладел Пистойей, нарушив мир, думали о том, каким образом можно взбунтовать город против него. Им казалось, что в его отсутствие сделать это будет нетрудно. Среди пистолезских изгнанников во Флоренции находились Бальдо Чекки и Якопо Бальдини, оба люди с большим влиянием и готовые на всякое рискованное предприятие. Они сговорились с друзьями, находившимися в городе, и с помощью флорентийцев однажды ночью ворвались в Пистойю, выгнали оттуда сторонников Каструччо и поставленные им власти, часть которых была перебита, и вернули городу свободу. Известие об этом очень огорчило и разгневало Каструччо. Расставшись с Генрихом, он усиленными маршами прибыл в Лукку. Флорентийцы же, узнав о его возвращении и думая, что он не будет медлить, решили предупредить его и занять своими войсками Вальдиньеволе раньше него. Они были уверены, что если они овладеют этой долиною, они отрежут ему путь к Пистойе. Поэтому, собрав большие силы из всех сторонников гвельфской партии, они двинулись в область Пистойи. Каструччо же со своими людьми подошел к Монте-Карло и, узнав, где находятся флорентийцы, решил не идти навстречу к ним в равнину Пистойи и не ждать их в равнине Пешии, а постараться загородить им дорогу в ущелье Серравалле. Он рассчитывал, в случае удачи этого плана, одержать победу наверняка. У флорентийцев было в общей сложности 30 000 человек, а у него только 12 000, но отборных. И хотя он был уверен в своих способностях и в их доблести, он все-таки боялся, что в открытом поле он будет окружен превосходными силами неприятеля.

Серравалле – замок между Пешией и Пистойей. Он стоит на возвышенности, замыкающей Вальдиньеволе,

не на самом перевале, а над ним в двух полетах стрелы. Проход очень узкий, но не крутой: с обеих сторон подъем отлогий, но настолько тесный, особенно на седле, где водораздел, что его могут занять двадцать человек, поставленные в ряд. Каструччо решил встретить неприятеля как раз в этом месте: во-первых, чтобы его малые силы оказались в наиболее благоприятных условиях, а во-вторых, чтобы они обнаружили противника не раньше, чем завяжется бой, ибо боялся, чтоб его войско, увидя огромную их массу, не заколебалось. Серравалле находился во власти немецкого рыцаря Манфреда, которому был поручен еще до того, как Каструччо сделался синьором Пистойи, лукканцами и пистолезцами, ибо замок принадлежал им совместно. С тех пор он владел замком, не обеспокоенный никем, ибо он всем обещал быть нейтральным и не поддерживать преимущественно ни одну, ни другую сторону. По этой причине, а также потому, что замок был крепкий, Манфред продолжал в нем держаться. Но когда обстоятельства сложились так, как описано, Каструччо решил занять это укрепление. И так как в замке находился один из его близких друзей, он сговорился с ним, что накануне сражения тот впустит в Серравалле четыреста человек его солдат и умертвит его синьора.

Подготовив таким образом все, он продолжал стоять с войском у Монте-Карло, чтобы поощрить флорентийцев двигаться вперед смелее. А они, желая перевести военные действия подальше от Пистойи и сосредоточить их в Вальдиньеволе, разбили лагерь ниже Серравалле, с тем чтобы на другой день переправиться через перевал. Но Каструччо ночью без шума овладел замком и, покинув в полночь Монте-Карло, в полной тишине подошел к подножию Серравалле. Поутру он и флорентийцы, каждый с своей стороны, одновременно начали подниматься к седлу. Пехоту свою Каструччо повел обычным путем, а конный отряд в 400 человек послал в обход замка слева. У флорентийцев впереди двигались 400 человек легкой кавалерии, следом за ними шла их пехота, а замыкала строй тяжелая конница. Они не ожидали встретить Каструччо на перевале и не подозревали, что он успел овладеть замком. Поэтому флорентийские всадники, поднявшись к седлу, неожиданно увидели пехоту Каструччо, которая оказалась так

близко от них, что они едва успели надеть шлемы. И, не ожидая нападения, они были атакованы противником, готовым к их встрече и построенным именно для такого боя; поэтому атака велась с величайшей настойчивостью, а сопротивление было вялое. Некоторая часть все-таки билась хорошо, но когда шум сражения стал доноситься до остальной армии флорентийской, в ней началось смятение. Конницу теснила пехота, пехоту – конница и телеги; вожди вследствие узости прохода не могли пройти ни вперед, ни назад, и никто не знал в суматохе, что нужно делать и что можно. Конница, которая билась с пехотой Каструччо, была разбита и уничтожена, не будучи в состоянии защищаться, скорее из-за неудобства местности, чем из доблести, ибо, имея с боков горы, сзади своих, а впереди неприятеля, они были лишены возможности бежать.

Каструччо, видя, что его сил не хватает для того, чтобы обратить в бегство флорентийцев, послал 1000 пехотинцев в обход через замок. Они спустились вниз вместе с 400 кавалеристов, которые проникли туда раньше, и с такой яростью ударили во фланг неприятелю, что флорентийцы, не будучи в состоянии выдержать их натиск, побежденные больше местностью, чем противником, начали отступать. Первыми обратились в бегство те, которые были в задних рядах, ближе к Пистойе. Они рассыпались по равнине, и каждый старался спастись как только мог лучше.

Поражение было великое и кровопролитное. В плен попали многие из вождей, в том числе Бандино деи Росси, Франческо Брунеллеско и Джованни делла Тоза – все флорентийские дворяне, а с ними и другие, тосканцы и неаполитанцы: последние были посланы королем Робертом в помощь гвельфам и сражались вместе с флорентийцами.

Пистолезцы, узнав о поражении, немедленно выгнали партию, дружественную гвельфам, и сдались Каструччо. Он, не удовлетворившись этим, занял Прато и все укрепленные замки на равнине, как по ту, так и по эту сторону Арно, и расположился с войском у Перетолы, в двух милях от Флоренции. Там он простоял много дней, деля добычу и празднуя победу, чеканя монету, чтобы показать пренебрежение к флорентийцам, и устраивая бега лошадей, женщин легкого поведения и мужчин. Пытался он также подкупить кое-кого из фло-



Юлий II.



Джироламо Савонарола.



Лев X.



Джованни делле Банде Нере.

рентийских дворян, чтобы ему ночью были открыты городские ворота. Но заговор был обнаружен, схвачены и обезглавлены Томмазо Лупаччи и Ламбертуччо Фрескобальди.

В отчаянии от поражения, флорентийцы не находили способа спасти свою свободу. Чтобы обеспечить себе помощь, они отправили послов к Роберту, королю неаполитанскому, с предложением отдать ему город и власть над ним. Предложение королем было принято не потому, что он ценил честь, оказанную ему флорентийцами, а потому, что знал, насколько важно для него самого, чтобы гвельфская партия удержала власть в Тоскане. Он сговорился с флорентийцами, что они будут платить ему ежегодно 200 000 флоринов, и отправил во Флоренцию сына своего Карла с 4000 всадников.

Между тем флорентийцы несколько освободились от людей Каструччо, так как ему пришлось покинуть их территорию и спешить в Пизу, чтобы справиться с заговором против него, устроенным Бенедетто Ланфранки, одним из первых граждан города. Последний, не будучи в состоянии снести, что его родина подпала под иго лукканца, сговорился с другими занять городскую цитадель, прогнать ее охрану и перебить сторонников Каструччо. Но так как в этих делах малое число способствует сохранению тайны, но недостаточно для действия, он стал набирать побольше людей в помощь себе, и нашел такого, который раскрыл все Каструччо. Не обошлось без предательства со стороны Бонифачо Черки и Джованни Гвиди, флорентийских изгнанников, находившихся в Пизе. Каструччо, захватив Ланфранки, умертвил его, остальных членов семьи отправил в ссылку и многим знатным гражданам приказал отрубить головы. А так как ему казалось, что Пистойя и Прато не очень ему верны, он старался ловкостью и силой укрепить в обоих городах свою власть. Все это дало возможность флорентийцам собраться с силами и спокойно ожидать прихода Карла. Когда же он явился, было решено не терять времени. Собрано было много людей, ибо на помощь Флоренции пришли почти все гвельфы Италии. Составилось огромнейшее войско, больше чем в 30 000 пехоты и 10 000 конницы. Посоветовавшись, куда прежде всего направить удар – на Пистойю или на Пизу, решили, что лучше атаковать Пизу, ибо это было легче осу-

ществить вследствие недавнего заговора в городе и потому еще, что в случае захвата Пизы Пистойя не могла не сдаться сама.

Выступив с этим войском в начале мая 1328 года, флорентийцы сразу заняли Ластру, Синью, Монтелупо и Эмполи и подошли со всеми силами к Сан-Миниато. С своей стороны, Каструччо, узнав, какую огромную армию выставили против него флорентийцы, нисколько не испугался, а, наоборот, решил, что настал момент, когда фортуна должна отдать во власть его всю Тоскану. Ибо он был убежден, что неприятель обнаружит не больше доблести, чем при Серравалле, а собраться с силами, как тогда, после нового поражения, он не сможет, и, сосредоточив 20 000 пехоты и 4000 конницы, занял позицию у Фучеккио, а Паголо Гуиниджи отправил с 5000 пехоты в Пизу.

Фучеккио занимает самую крепкую позицию из всех замков Пизанской области. Он стоит на небольшом возвышении в равнине между Гушианой и Арно. Находясь там, можно было беспрепятственно получать провиант из Лукки или из Пизы, ибо, чтобы этому помешать, неприятелю пришлось бы разделить свои силы. И лишь с великой невыгодой он мог атаковать эту позицию или двигаться на Пизу, так как в первом случае он должен был оказаться в клещах между Каструччо и пизанским отрядом, а во втором, вынужденный переправляться через Арно, он должен был оставить противника в тылу и, следовательно, подвергнуться большой опасности. Каструччо хотелось, чтобы флорентийцы решились переправиться через реку, поэтому он не занял берега Арно своими людьми, а стал под самыми стенами Фучеккио, оставив большое пространство между собою и рекой.

Флорентийцы, овладев Сан-Миниато, стали совещаться, что им делать: двигаться на Пизу или атаковать Каструччо, и, взвесив трудности того и другого, решили в конце концов повести наступление на него. Вода в Арно стояла так низко, что можно было перейти реку вброд, хотя все-таки приходилось окунуться пехотинцам по плечи, а лошадям до седла. Утром 10 июня флорентийцы в боевом порядке начали переправлять часть своей кавалерии и пехотный отряд в 10 000 человек. Каструччо, который стоял готовый к бою и имея твердый план в голове, ударил на них

с 5000 пехоты и 3000 конницы. Он завязал бой, не дав всем им выбраться из воды, а одновременно послал по тысячному отряду легкой пехоты вверх и вниз по берегу. Пехота флорентийская была отягчена водою и вооружением и не вся выкарабкалась на берег. Первые лошади, которые прошли по броду, истоптали дно Арно и сделали переправу для других более тяжелой. Лошади теряли дно, и одни поднимались на дыбы, другие увязали в грязи настолько, что не могли вытянуть из нее ноги. Вожди флорентийские, видя, что переправа в этом месте трудная, попробовали передвинуть ее выше по реке, чтобы найти грунт неиспорченный, а противоположный берег более легкий. Но здесь их встретил тот пехотный отряд, который был послан Каструччо вверх по реке. Он был вооружен очень легко – круглыми щитами и длинными галерными копьями. Бойцы с громкими криками кололи лошадей в голову и в грудь, так что те, испуганные и криком и ранами, не хотели идти вперед и опрокидывались одна на другую. Бой между людьми Каструччо и теми, которые успели переправиться, был упорный и страшный. Потери с обеих сторон были огромные: каждый пытался изо всех сил одолеть другого. Воины Каструччо стремились столкнуть флорентийцев в реку, а те – оттеснить противника, чтобы освободить место и дать возможность товарищам, выходившим из воды, принять участие в сражении. Упорство бойцов еще увеличивалось вследствие увещеваний вождей. Каструччо говорил своим, что перед ними те самые противники, которых они не так давно разбили под Серравалле; флорентийцы стыдили солдат тем, что они дают одолеть себя столь малочисленному неприятелю. Однако Каструччо, видя, что сражение затягивается, что и его и флорентийские воины уже устали, что с обеих сторон много убитых и раненых, двинул вперед другой пехотный отряд, в 5000 человек. Когда те подошли вплотную к линии боя, он приказал своим раздаться в обе стороны, как если бы они собирались обратиться в бегство, и выйти из сражения, рассыпавшись частью вправо, частью влево. Этот маневр дал возможность флорентийцам несколько подвинуться вперед. Но когда они, утомленные, сошлись со свежими силами Каструччо, то не выдержали и были сброшены в реку.

Кавалерия билась без какого-либо перевеса на той или на другой стороне, ибо Каструччо, зная, что противник сильнее, приказал своим кондотьерам лишь сдерживать натиск флорентийцев; он надеялся разбить их пехоту и после ее разгрома без большого труда победить конницу. Случилось так, как он рассчитывал. Увидев, что пехота неприятельская оттеснена в реку, он двинул всю пехоту, какая у него оставалась, в тыл флорентийской коннице, и она стала поражать ее копьями и дротиками. Одновременно кавалерия Каструччо с удвоенной яростью нападала на нее спереди, пока не обратила ее в бегство. Вожди флорентийцев, видя, как трудно их коннице перейти через реку, пытались переправить пехоту ниже по течению, чтобы ударить во фланг людям Каструччо. Но так как берег был высокий и, кроме того, занят его воинами, попытка не удалась и здесь. Таким образом, обратилась в бегство вся гвельфская армия, к великой славе и чести Каструччо, и из такого огромного войска спаслась едва треть. Многие из вождей попали в плен. Карл, сын короля Роберта, вместе с Микеланджело Фалькони и Таддео дельи Альбицци, комиссарами флорентийскими, бежали в Эмполи. Добыча была большая и потери людьми огромнейшие, как и можно было ожидать при таком ожесточенном сражении. У флорентийцев было убито 20 231 человек, у Каструччо – 1570.

Но фортуна, противница его славы, отняла у него жизнь тогда, когда как раз нужно было даровать ее ему, и прервала выполнение тех планов, которые за много времени до того он решил осуществить. Только одна смерть и могла помешать ему в этом. Каструччо нес боевые труды в течение целого дня, и когда сражение кончилось, он, утомленный и потный, стал у ворот Фучеккио, чтобы ожидать свои войска, возвращавшиеся после победы, лично их встречать и благодарить и быть к тому же готовым принять меры, если бы неприятель, сопротивляясь еще кое-где, дал повод для тревоги. Он держался того мнения, что долг хорошего полководца первым садиться на коня и последним с него сходить.

Так стоял он на ветру, который очень часто среди дня подымается с Арно и почти всегда несет с собою заразу. Он весь продрог, но не обратил на это никакого внимания, потому что был привычен к неприятностям такого рода, а между тем эта простуда стала

причиною его смерти. В следующую ночь он стал жертвой жесточайшей лихорадки, которая непрерывно усиливалась. Врачи единогласно признали болезнь смертельной. Когда сам он в этом убедился, он призвал к себе Паголо Гуиниджи и сказал ему следующее:

«Если бы я думал, сын мой, что фортуна хотела оборвать посередине мой путь к той славе, которую я обещал себе при столь счастливых моих успехах, я бы трудился меньше, а тебе оставил бы менее обширное государство, но зато и меньше врагов и завистников. Я довольствовался бы властью над Пизой и Луккой, не подчинил бы себе пистолезцев и не раздражал бы флорентийцев бесконечными оскорблениями. Наоборот, тех и других я бы сделал своими друзьями и прожил бы жизнь если и не более долгую, то во всяком случае более спокойную, а тебе оставил бы государство, меньшее размерами, но несомненно более надежное и более крепкое. Но фортуна, которая хочет быть решительницей всего людского, не дала мне ни настолько ясного суждения, чтобы я мог ее разгадать, ни достаточного времени, чтобы я мог ее одолеть. Ты знаешь – об этом многие тебе говорили, и я никогда не отрицал, – как я попал в дом твоего отца совсем юным и чуждым еще тех надежд, которые должны одушевлять всякую благородную натуру; как он воспитал меня и как полюбил больше, чем если бы я был кровным его детищем. Благодаря ему, им руководимый, стал я доблестным и достойным того удела, который ты видел и продолжаешь видеть. И так как перед смертью он вверил мне тебя и все свое имущество, я воспитал тебя с такой любовью, а достояние его умножил с такой добросовестностью, с какой был обязан и обязан еще и сейчас. А для того, чтобы тебе досталось не только то, что оставил тебе отец, а еще и то, что было приобретено моим счастьем и моей доблестью, я не хотел жениться, так как любовь к детям могла в какой-то мере помешать мне выявить к крови твоего отца ту признательность, какую я считал должной. Итак, я оставляю тебе большое государство, и этим я очень доволен. Но я оставляю его тебе слабым и шатким, что повергает меня в великое горе. Тебе достается город Лукка, который никогда не будет очень доволен, что ты им владеешь. Достается тебе Пиза, где имеются люди по природе своей изменчивые и полные вероломства;

она, хотя и привыкла в разное время находиться в порабощении, всегда будет переносить с негодованием господство лукканского синьора. И еще достается тебе Пистойя, недостаточно верная, ибо в ней идет борьба партий, и она раздражена против нашей породы из-за недавних обид. Соседями у тебя – флорентийцы, оскорбленные, претерпевшие от нас тысячи поношений и не истребленные; им известие о моей смерти доставит такую радость, какой не доставило бы завоевание всей Тосканы. На государей миланских и на императора полагаться тебе нельзя: те нерешительны, этот далек, и помощь их никогда не поспеет к тебе вовремя. Вот почему тебе нельзя надеяться ни на что, кроме как на собственное искусство, на память о моей доблести и на славу, которую снискала тебе последняя победа; она, если ты сумеешь умно ее использовать, поможет заключить соглашение с флорентийцами: они пали духом вследствие своего поражения и охотно пойдут на мир. Их я хотел иметь врагами и думал, что их вражда доставит мне могущество и славу. Ты же всеми силами должен стараться, чтобы они стали тебе друзьями, ибо их дружба принесет тебе безопасность и выгоду. Самое важное в этом мире – познать самого себя и уметь взвешивать силы своего духа и своего государства. Кто сознает, что он не создан для войны, должен стараться править мирными средствами. Именно к этому, думается мне, должны быть направлены твои усилия, только этим способом пойдут тебе на пользу мои усилия и опасности, которым я подвергался. Этого ты добьешься легко, если признаешь верными мои заветы. И будешь обязан мне вдвойне: во-первых, тем, что я оставил тебе это государство, а во-вторых, тем, что научил тебя, как его удержать».

После этого Каструччо приказал ввести граждан из Лукки, Пизы и Пистойи, которые сражались вместе с ним; он рекомендовал им Паголо Гуиниджи и заставил их поклясться в покорности ему. И умер, оставив всем, кто слышал о нем, счастливую память о себе, а друзьям своим – такое огорчение, какое никогда не вызывал государь, когда-либо умиравший. Погребение его было совершено с величайшим торжеством, и был он похоронен в церкви Сан Франческо в Лукке.

Но доблесть и фортуна не были так благосклонны к Паголо Гуиниджи, как к Каструччо. Ибо в непродол-

жительном времени он потерял Пистойю, а потом Пизу и с трудом удержал господство над Луккою, которое сохранилось в его роду вплоть до Паголо, его правнука.

Таким образом, из того, что изложено, видно, что Каструччо был не только человеком выдающимся в свое время, но и в прежние времена такие, как он, появлялись не часто. Ростом он был выше среднего и сложен чрезвычайно соразмерно. И столько было изящества в его осанке и так ласково принимал он людей, что никто, поговорив с ним, не уходил недовольным. Волосы его были с рыжеватым оттенком, и носил он их обстриженными выше ушей. И всегда, во всякую погоду, в дождь и снег, ходил с непокрытой головой.

С друзьями он был ласков, с врагами – беспощаден, с подданными – справедлив, с чужими – вероломен. И если мог одержать победу хитростью, никогда не старался одержать ее силою, говоря, что славу дает победа, а не способ, каким она далась.

Никто не бросался в опасность с большей смелостью, чем он, и никто не выходил из опасности с большей осмотрительностью. Он часто говорил, что люди должны отваживаться на все и ни перед чем не падать духом, что бог любит храбрых, ибо нетрудно видеть, что он слабых наказывает руками сильных.

Его замечания и остроты бывали и язвительны и любезны. И так как он сам не спускал никому, то не обижался, когда и ему доставалось от других. Сохранилось много острот, которые были им сказаны или терпеливо выслушаны.

Однажды он велел купить куропатку за дукат, и один из друзей стал его за это упрекать. Каструччо спросил: «Ты бы не дал за нее больше сольдо?» Тот отвечал, что он не ошибается. «Так для меня дукат – гораздо меньше сольдо», – сказал Каструччо.

Около него вертелся один льстец, и он, чтобы показать ему свое презрение, плюнул на него. Льстец сказал: «Рыбаки, чтобы поймать маленькую рыбку, дают морю омыть себя с ног до головы. Я охотно позволю омыть себя плевком, чтобы поймать кита». Каструччо не только выслушал эти слова без раздражения, но еще и наградил говорившего.

Кто-то упрекал его за то, что он живет слишком роскошно. Каструччо сказал: «Если бы в этом было

что-нибудь дурное, не устраивались бы такие роскошные пиры в праздники наших святых».

Проходя по улице, он увидел некоего юношу, выходящего из дома куртизанки. Заметив, что Каструччо его узнал, юноша густо покраснел. «Стыдись не когда выходишь, а когда входишь», – сказал ему Каструччо.

Один из друзей предложил ему развязать узел, хитро запутанный. «Глупый, – сказал Каструччо, – неужели ты думаешь, что я стану распутывать вещь, которая и в запутанном виде так выводит меня из себя».

Говорил Каструччо некоему гражданину, который занимался философией: «Вы – как собаки: бежите за тем, кто вас лучше кормит». Тот ответил: «Скорее мы – как врачи: ходим к тем, кто в нас больше нуждается».

Как-то, когда он ехал морем из Пизы в Ливорно и поднялась свирепая буря, Каструччо сильно смутился. Один из сопровождавших упрекнул его в малодушии и прибавил, что сам он ничего не боится. Каструччо ответил, что его это не удивляет, ибо каждый ценит душу свою, как она того стоит.

У него спросили однажды, как он добился такого уважения к себе. Он ответил: «Когда ты идешь на пир, сделай так, чтобы на дереве не сидело другое дерево».

Кто-то хвалился, что много читал. Каструччо сказал: «Лучше бы ты хвалился, что много запомнил».

Другой хвастал, что он может пить сколько угодно, не пьянея. Каструччо заметил: «И бык способен на это».

Каструччо был близок с одной девушкой. Один из друзей упрекал его за то, что он позволил женщине овладеть собою. «Не она мною овладела, а я ею», – сказал Каструччо.

Другому не нравилось, что ему подают чересчур тонкие кушанья. Каструччо спросил его: «Так ты не стал бы тратить на еду столько, сколько я?» Тот ответил, что, конечно, нет. «Значит, – сказал Каструччо, – ты более скуп, чем я обжорлив».

Пригласил его однажды к ужину Таддео Бернарди, лукканец, очень богатый и живший роскошно. Когда Каструччо пришел, хозяин показал ему комнату, которая вся была убрана тканями, а пол был выложен разноцветными дорогими каменьями, изображавшими цве-

ты, листья и другие орнаменты. Каструччо набрал побольше слюны и плюнул прямо в лицо Таддео, а когда тот стал возмущаться, сказал: «Я не знал, куда мне плюнуть, чтобы ты обиделся меньше».

У него спросили, как умер Цезарь. «Дай бог, чтобы и я умер так же», – сказал он.

Однажды ночью, когда он был у одного из своих дворян на пирушке, где присутствовало много женщин, танцевал и дурачился больше, чем подобало его положению, кто-то из друзей стал его упрекать за это. «Кого днем считают мудрым, не будут считать глупым ночью», – сказал Каструччо.

Кто-то пришел просить его о милости, и так как Каструччо сделал вид, что не слышит его, тот опустился на колени. Каструччо начал выговаривать ему за это. «Твоя вина, – ответил тот, – у тебя уши на ногах». За это Каструччо сделал ему вдвое против того, что он просил.

Он часто говорил, что путь в ад легкий, так как нужно идти вниз и с закрытыми глазами.

Кто-то, обращаясь к нему с просьбой, говорил очень много слов, совсем ненужных. «Когда тебе понадобится от меня еще что-нибудь, – сказал ему Каструччо, – пришли другого».

Другой такой же надоел ему длинной речью и под конец спросил: «Может быть, я утомил вас, проговорил слишком долго?» – «Нет, – отвечал Каструччо, – потому что я не слышал ничего из сказанного тобою».

Про кого-то, кто был красивым мальчиком, а потом стал красивым мужчиной, он говорил, что это очень вредный человек, ибо сначала отнимал мужей у жен, а потом стал отнимать жен у мужей.

Одного завистника, который смеялся, Каструччо спросил: «Почему ты смеешься: потому ли, что тебе хорошо, или потому, что другому плохо?»

Когда он был еще на попечении у Франческо Гуиниджи, один из его сверстников сказал ему: «Что ты хочешь, чтобы я тебе подарил за то, чтобы дать тебе пощечину?» – «Шлем», – сказал Каструччо.

Он послал однажды на смерть некоего лукканского гражданина, который когда-то помог ему возвыситься. Ему стали говорить, что он поступает дурно, убивая одного из старых друзей. Он ответил, что они ошибаются и что убит не старый друг, а новый враг.

Он очень хвалил людей, которые собираются жениться и не женятся, а также тех, которые собираются пуститься в море и никогда не садятся на корабль.

Он говорил, что дивится людям, которые, покупая сосуд, глиняный или стеклянный, пробуют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, а выбирая жену, довольствуются тем, что только смотрят на нее.

Когда он был близок к смерти, кто-то спросил, как он хочет быть погребенным. «Лицом вниз, – сказал Каструччо, – ибо я знаю, что, когда я умру, все в этом государстве пойдет вверх дном».

Его спросили, не было ли у него когда-либо мысли сделаться для спасения души монахом. Он ответил, что нет, ибо ему казалось странным, что фра Ладзаро пойдет в рай, а Угуччоне делла Фаджола – в ад.

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы быть здоровым. Он ответил: «Богатому – когда хочет, бедному – когда может».

Он увидел однажды, что кто-то из его дворян заставил своего слугу зашнуровывать себя. «Дай бог, – сказал Каструччо, – чтобы тебе пришлось заставить кого-нибудь класть себе куски в рот».

Ему как-то бросилась в глаза латинская надпись на доме некоего гражданина: «Да избавит бог этот дом от дурных людей». Каструччо сказал: «В таком случае он не должен ходить туда сам».

Проходя по улице, он увидел маленький дом с огромной дверью. «Дом убежит через эту дверь», – сказал он.

Ему сказали, что один чужестранец соблазнил мальчика. «Должно быть, это перуджинец», – сказал Каструччо.

Он спросил, какой город славится больше всего обманщиками и мошенниками. Ему ответили: «Лукка». Ибо по природе своей все ее жители были таковы, за исключением Буонтуро.

Каструччо спорил однажды с послом неаполитанского короля по вопросам, касавшимся имущества изгнанников, и стал говорить очень возбужденно. Тогда посол спросил, неужели он не боится короля. «А ваш король хороший или дурной?» – спросил Каструччо. Когда тот ответил, что хороший, Каструччо спросил снова: «Почему же ты хочешь, чтобы я боялся хороших людей?»

Можно было бы рассказать многое другое о его

изречениях, и во всех них можно было бы видеть ум и серьезность. Но мне кажется, что и эти достаточно свидетельствуют о его великих достоинствах.

Он жил 44 года и был велик в счастье и несчастье. И так как о счастье его существует достаточно памятников, то он хотел, чтобы сохранились также памятники его несчастья. Поэтому кандалы, которыми он был скован в темнице, можно видеть до сих пор в башне его дворца, где они повешены по его приказанию, как свидетели его бедствий. И так как при жизни он не был ниже ни Филиппа Македонского, отца Александра, ни Сципиона Римского, то он умер в том же возрасте, что и они. И несомненно, он превзошел бы и того и другого, если бы родиной его была не Лукка, а Македония или Рим.





ГОСУДАРЬ

Никколо Макиавелли –
его светлости Лоренцо деи Медичи

Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие, а именно: коней, оружие, парчу, драгоценные камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших. Положив много времени и усердия на обдумывание того, что я успел узнать, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар Вашей светлости. И хотя я полагаю, что сочинение это недостойно предстать перед вами, однако же верю, что по своей снисходительности вы удостоите принять его, зная, что не в моих силах преподнести вам дар больший, нежели средство в кратчайшее время постигнуть то, что сам я узнавал ценой многих опасностей и тревог. Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желал, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета. Я желал бы также, чтобы не сочли дерзостью то, что человек низкого и ничтожного звания берется обсуждать и направлять действия государей. Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу.

Пусть же Ваша светлость примет сей скромный дар с тем чувством, какое движет мною; если вы соизволите внимательно прочитать и обдумать мой труд, вы ощутите, сколь безгранично я желаю Вашей светлости достичь того величия, которое сулит вам судьба и ваши достоинства. И если с той вершины, куда вознесена Ваша светлость, взор ваш когда-либо обратится на ту низменность, где я обретаюсь, вы увидите, сколь незаслуженно терплю я великие и постоянные удары судьбы.

Глава I

СКОЛЬКИХ ВИДОВ БЫВАЮТ ГОСУДАРСТВА И КАК ОНИ ПРИОБРЕТАЮТСЯ

Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными – если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом – таков Милан для Франческо Сфорца; либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания – таково Неаполитанское королевство для короля Испании. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.

Глава II

О НАСЛЕДСТВЕННОМ ЕДИНОВЛАСТИИ

Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом месте. Здесь я перейду прямо к единовластному правлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть.

Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и впослед-

ствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой, но и в этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя.

У нас в Италии примером тому может служить герцог Феррарский, который удержался у власти после поражения, нанесенного ему венецианцами в 1484 году и папой Юлием в 1510-м, только потому, что род его исстари правил в Ферраре. Ибо у государя, унаследовавшего власть, меньше причин и меньше необходимости притеснять подданных, почему они и платят ему большей любовью, и если он не обнаруживает чрезмерных пороков, вызывающих ненависть, то закономерно пользуется благорасположением граждан. Давнее и преемственное правление заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим переменам.

Глава III

О СМЕШАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю, присоединившему новое владение – так что государство становится как бы смешанным, – трудно удержать над ним власть прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно: люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан – ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно

его войско. Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и так же быстро его лишился. И герцогу Лодовико потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и отказался терпеть гнет нового государя.

Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Лодовико пошумел на его границах, но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли и не изгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше. Тем не менее Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал; остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика – и у всякого на его месте, – чтобы упрочить завоевание верней, чем то сделала Франция.

Начну с того, что завоеванное и унаследованное владения могут принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь разные языки. В первом случае удержать завоеванное нетрудно, в особенности если новые подданные и раньше не знали свободы. Чтобы упрочить над ними власть, достаточно искоренить род прежнего государя, ибо при общности обычаев и сохранении старых порядков ни от чего другого не может произойти беспокойства. Так, мы знаем, обстояло дело в Бретани, Бургундии, Нормандии и Гаскони, которые давно вошли в состав Франции; правда, языки их несколько различаются, но благодаря сходству обычаев они мирно уживаются друг с другом. В подобных случаях завоевателю следует принять лишь две меры предосторожности: во-первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен, во-вторых, сохранить прежние законы и подати – тогда завоеванные земли в кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевателя.

Но если завоеванная страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. И одно из самых верных и прямых средств для этого – переселиться туда на жительство. Такая мера упрочит и обезопасит завоевание – именно так поступил с Грецией турецкий султан, который, как бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не перенес туда свою столицу. Ибо только живя в стране, можно заметить начинающуюся смуту и своевременно ее пресечь, иначе узнаешь о ней тогда, когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать меры. Обосновавшись в завоеванной стране, государь, кроме того, избавит ее от грабежа чиновников, ибо подданные получат возможность прямо взывать к суду государя – что даст послушным больше поводов любить его, а непослушным – бояться. И если бы кто-нибудь из соседей замышлял нападение, то теперь он проявит бóльшую осторожность, так что государь едва ли лишится завоеванной страны, если переселится туда на жительство.

Другое отличное средство – учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя. Кроме этой есть лишь одна возможность – разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек, устройство и содержание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повредить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся, да, кроме того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей. Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат и разоряют лишь немногих жителей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому поводу уместно заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Если же вместо колоний поставить в стране войско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит

все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком; к тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постои войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю, а также враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно.

В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха, – так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы, да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. Порядок же вещей таков, что, когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства сразу примыкают к нему – обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой – так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединятся к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они расширялись и крепли, и тогда, своими силами и при их поддержке, нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод.

Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила: учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу; обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев; унизили македонское царство; изгнали оттуда Антиоха. Но, невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и этолийцам расширить свои владения, не поддались на лесть Филиппа и не заключили с ним союза, пока

не сломили его могущества, и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владений в Греции. Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым.

Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет.

Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника. Поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции – чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное время, – они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.

Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике – он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее, – и вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной.

Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не

виню короля за эту сделку: желая ступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии. Завоевав Ломбардию, он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле: Генуя покорилась, флорентийцы предложили союз; маркиз Мантуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольи, графиня Форли, властители Фаэнцы, Пезаро, Римини, Камерино, Пьомбино; Лукка, Пиза, Сиена – все устремились к Людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага: ради двух городов в Ломбардии они отдали под власть короля две трети Италии.

Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество: для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам: многочисленные, но слабые, в страхе кто перед Церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительства; он же мог бы через них обезопасить себя от тех, кто еще оставался в силе. И, однако, не успел он войти в Милан, как предпринял обратное: помог папе Александру захватить Романью. И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество, отталкивает союзников и тех, кто вверился его покровительству, и к тому же значительно укрепляет светскую власть папства, которое и без того крепко властью духовной. Совершив первую ошибку, он вынужден был дальше идти тем же путем, так что ему пришлось самому явиться в Италию, чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой. Но Людовику как будто мало было того, что он усилил Церковь и оттолкнул союзников: домогаясь Неаполитанского королевства, он разделил его с королем Испании, то есть призвал в Италию, где сам был властелином, равного по силе соперника, – как видно, затем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежища. Изгнав короля, который мог стать его данником, он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого.

Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное

и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы попытаться овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами, но она не должна была добиваться его ценою раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан подобной необходимостью.

Итак, Людовик совершил общим счетом пять ошибок: изгнал мелких правителей, помог усилению сильного государя внутри Италии, призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом, не переселился в Италию, не учредил там колоний.

Эти пять ошибок могли бы оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил шестой: не посягнул на венецианские владения. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению Церкви и призвал испанцев, но, совершив обе эти ошибки, нельзя было допускать разгрома Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, чтобы Ломбардия досталась Венеции, а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу. Если же мне возразят, что Людовик уступил Романью Александру, а Неаполь – испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно: что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежишь, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием папе: в обмен на расторжение королевского брака и кардинальскую шапку архиепископу Руанскому помочь захватить Романью, – то я отвечу на это в той главе, где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять.

Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюда-

лись государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного, напротив, все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Руанским, когда Валентино – так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына папы Александра – покорял Романью: кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления Церкви. Как показал опыт, Церковь и Испания благодаря Франции расширили свои владения в Италии, а Франция благодаря им потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся: горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество достается.

Глава IV

ПОЧЕМУ ЦАРСТВО ДАРИЯ, ЗАВОЕВАННОЕ АЛЕКСАНДРОМ, НЕ ВОССТАЛО ПРОТИВ ПРЕЕМНИКОВ АЛЕКСАНДРА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

Рассмотрев, какого труда стоит удержать власть над завоеванным государством, можно лишь подивиться, почему вся держава Александра Великого – после того, как он в несколько лет покорил Азию и вскоре умер, – против ожидания не только не распалась, но мирно перешла к его преемникам, которые в управлении ею не знали других забот, кроме тех, что навлекали на себя собственным честолюбием. В объяснение этого надо сказать, что все единовластно управляемые государства, сколько их было на памяти людей, разделяются на те, где государь правит в окружении слуг, которые милостью и соизволением его поставлены на высшие должности и помогают ему управлять государством, и те, где государь правит в окружении баронов, властвующих не милостью государя, но в силу древности рода. Бароны эти имеют наследные государства и подданных, каковые признают над собой их власть и питают к ним естественную привязанность. Там, где государь правит посредством слуг, он обладает большей

властью, так как по всей стране подданные знают лишь одного властелина; если же повинуются его слугам, то лишь как чиновникам и должностным лицам, не питая к ним никакой особой привязанности.

Примеры разного образа правления являют в наше время турецкий султан и французский король. Турецкая монархия повинуется одному властелину; все прочие в государстве – его слуги; страна поделена на округи – санджаки, куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, признанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть.

Если мы сравним эти государства, то увидим, что монархию султана трудно завоевать, но по завоевании легко удержать; и напротив, такое государство, как Франция, в известном смысле проще завоевать, но зато удержать куда сложнее. Державой султана нелегко овладеть потому, что завоеватель не может рассчитывать на то, что его призовет какой-либо местный властитель, или на то, что мятеж среди приближенных султана облегчит ему захват власти. Как сказано выше, приближенные султана – его рабы, и так как они всем обязаны его милостям, то подкупить их труднее, но и от подкупленных от них было бы мало толку, ибо по указанной причине они не могут увлечь за собой народ. Следовательно, тот, кто нападает на султана, должен быть готов к тому, что встретит единодушный отпор, и рассчитывать более на свои силы, чем на чужие раздоры. Но если победа над султаном одержана и войско его наголову разбито в открытом бою, завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и эта истреблена, то можно никого не бояться, так как никто другой не может увлечь за собой подданных; и как до победы не следовало надеяться на поддержку народа, так после победы не следует его опасаться.

Иначе обстоит дело в государствах, подобных Франции: туда нетрудно проникнуть, вступив в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда найдутся

недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу. Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти.

Если мы теперь обратимся к государству Дария, то увидим, что оно сродни державе султана, почему Александр и должен был сокрушить его одним ударом, наголову разбив войско Дария в открытом бою. Но после такой победы и гибели Дария он, по указанной причине, мог не опасаться за прочность своей власти. И преемники его могли бы править, не зная забот, если бы жили во взаимном согласии: никогда в их государстве не возникало других смут, кроме тех, что сеяли они сами.

Тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь беззаботно. В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима оставалась непрочной; но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где был более прочно укоренен. И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не признавали над собой других правителей, кроме римлян. Если мы примем все это во внимание, то сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств.

Глава V

КАК УПРАВЛЯТЬ ГОРОДАМИ ИЛИ ГОСУДАРСТВАМИ, КОТОРЫЕ, ДО ТОГО КАК БЫЛИ ЗАВОЕВАНЫ, ЖИЛИ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ

Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность города государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом.

Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию, однако впоследствии потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохранили их в своей власти. Грецию они попытались удержать почти тем же способом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам, однако же потерпели неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города.

Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через сто лет после того, как подпала под владычество флорентийцев.

Но если город или страна привыкли состоять под властью государя, а род его истреблен, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиноваться, с другой – не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их или же в них поселиться.

Глава VI

О НОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ СОБСТВЕННЫМ ОРУЖИЕМ ИЛИ ДОБЛЕСТЬЮ

Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве, я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу, но так как невозможно ни неуклонно следовать этими путями, ни сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа. Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела ушла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука, с помощью высокого прицела, попасть в отдаленную цель.

Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводит к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности кто меньше

полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь, за неимением других владений, вынужден поселиться в завоеванном.

Но переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнейших я назову Моисея, Кира, Тезея и им подобных. И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с богом. Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства: их величию нельзя не дивиться, и, как мы видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизнь и подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом, которому можно было придать любую форму: не явись такой случай, доблесть их угасла бы, не найдя применения; не обладай они доблестью, тщетно явился бы случай.

Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был по рождении брошен на произвол судьбы и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были озлоблены господством мидян, а мидяне – расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему отечества их прославились и обрели счастье.

Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать; трудность же состоит прежде всего в том, что им приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех

сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности.

Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо, в добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил.

На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье.

К столь высоким примерам я хотел бы присовокупить пример более скромный, однако же сопоставимый, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю

о Гиероне Сиракузском: из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя судьба не подарила его ничем, кроме благоприятного случая: угнетаемые жители Сиракуз избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, «nihil illi deerat ad regnandum praeter regnum»[1]. Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых – ее удержать.

Глава VII

О НОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЧУЖИМ ОРУЖИЕМ ИЛИ МИЛОСТЬЮ СУДЬБЫ

Тогда как тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с множеством трудностей впоследствии. Я говорю о тех гражданах, которым власть досталась за деньги или была пожалована в знак милости. Такое нередко случалось в Греции в городах Ионии и Геллеспонта, куда Дарий назначал правителей ради своей славы и безопасности; так нередко бывало и в Риме, где частные лица добивались провозглашения себя императорами, подкупая солдат.

В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил крайне непостоянных и прихотливых; удержаться же у власти они не могут и не умеют. Не умеют оттого, что человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю жизнь в скромном звании, негде научиться повелевать; не могут оттого, что не имеют союзников и надежной опоры. Эти невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе,

[1] Для царствования ему недоставало лишь царства *(лат.)*.

что нарождается и растет слишком скоро, не успевают пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой же непогоды. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те основания, которые другие закладывали до того, как достигнуть власти.

Обе эти возможности возвыситься – благодаря доблести или милости судьбы – я покажу на двух примерах, равно нам памятных: я имею в виду Франческо Сфорца и Чезаре Борджа. Франческо стал Миланским герцогом должным образом, выказав великую доблесть, и без труда удержал власть, доставшуюся ему ценой многих усилий. Чезаре Борджа, простонародьем называемый герцог Валентино, приобрел власть благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца; но лишившись отца, он лишился и власти, несмотря на то что, как человек умный и доблестный, приложил все усилия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные корни в государствах, добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. Ибо, как я уже говорил, если основания не заложены заранее, то при великой доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий зодчего и с опасностью для всего здания.

Рассмотрев образ действий герцога, нетрудно убедиться в том, что он подвел прочное основание под будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, ибо не мыслю лучшего наставления новому государю. И если все же распорядительность герцога не спасла его от крушения, то в этом повинен не он, а поистине необычайное коварство фортуны.

Александр VI желал возвысить герцога, своего сына, но предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны Церкви, но всякой попытке отдать одно из них герцогу воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы, которые уже взяли под свое покровительство Фаэнцу и Римини. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления

папы, то есть Орсини, Колонна и их приспешников. Таким образом, прежде всего надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко благодаря тому, что венецианцы, в собственных интересах, призвали в Италию французов, чему папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика.

Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение, но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия: во-первых, войско, казавшееся ему ненадежным, во-вторых, намерения Франции. Иначе говоря, он опасался, что войско Орсини, которое он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног, то есть либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное; и что точно так же поступит король. В солдатах Орсини он усомнился после того, как, взяв Фаэнцу, двинул их на Болонью и заметил, что они вяло наступают; что же касается короля, то он понял его намерения, когда после взятия Урбино двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство.

Первым делом он ослабил партии Орсини и Колонна в Риме: всех нобилей, державших их сторону, переманил к себе на службу, определив им высокие жалованья и, сообразно достоинствам, раздал места в войске и управлении, так что в несколько месяцев они отстали от своих партий и обратились в приверженцев герцога. После этого он стал выжидать возможности разделаться с главарями партии Орсини, еще раньше покончив с Колонна. Случай представился хороший, а воспользовался он им и того лучше. Орсини, спохватившиеся, что усиление Церкви грозит им гибелью, собрались на совет в Маджоне, близ Перуджи. Этот совет имел множество грозных послед-

ствий для герцога, – прежде всего, бунт в Урбино и возмущение в Романье, с которыми он, однако, справился благодаря помощи французов.

Восстановив прежнее влияние, герцог решил не доверять более ни Франции, ни другой внешней силе, чтобы впредь не подвергать себя опасности, и прибег к обману. Он так отвел глаза Орсини, что те сначала примирились с ним через посредство синьора Паоло – которого герцог принял со всевозможными изъявлениями учтивости и одарил одеждой, лошадьми и деньгами, – а потом в Синигалии сами простодушно отдались ему в руки. Так, разделавшись с главарями партий и переманив к себе их приверженцев, герцог заложил весьма прочное основание своего могущества: под его властью находилась вся Романья с герцогством Урбино и, что особенно важно, он был уверен в приязни к нему народа, испытавшего благодетельность его правления.

Эта часть действий герцога достойна внимания и подражания, почему я желал бы остановиться на ней особо. До завоевания Романья находилась под властью ничтожных правителей, которые не столько пеклись о своих подданных, сколько обирали их и направляли не к согласию, а к раздорам, так что весь край изнемогал от грабежей, усобиц и беззаконий. Завоевав Романью, герцог решил отдать ее в надежные руки, дабы умиротворить и подчинить верховной власти, и с тем вручил всю полноту власти мессеру Рамиро де Орко, человеку нрава резкого и крутого. Тот в короткое время умиротворил Романью, пресек распри и навел трепет на всю округу. Тогда герцог рассудил, что чрезмерное сосредоточение власти больше не нужно, ибо может озлобить подданных, и учредил, под председательством почтенного лица, гражданский суд, в котором каждый город был представлен защитником. Но зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав им, что если и были жестокости, то в них повинен не он, а его суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чезене по его приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамиро де Орко рядом с колодой и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила народ.

Но вернемся к тому, от чего мы отклонились. Итак, герцог обрел собственных солдат и разгромил добрую часть тех войск, которые в силу соседства представляли для него угрозу, чем утвердил свое могущество и отчасти обеспечил себе безопасность; теперь на его пути стоял только король Франции: с опозданием заметив свою оплошность, король не потерпел бы дальнейших завоеваний. Поэтому герцог стал высматривать новых союзников и уклончиво вести себя по отношению к Франции – как раз тогда, когда французы предприняли поход на Неаполь против испанцев, осаждавших Гаэту. Он задумывал развязаться с Францией, и ему бы это весьма скоро удалось, если бы дольше прожил папа Александр.

Таковы были действия герцога, касавшиеся настоящего. Что же до будущего, то главную угрозу для него представлял возможный преемник Александра, который мог бы не только проявить недружественность, но и отнять все то, что герцогу дал Александр. Во избежание этого он задумал четыре меры предосторожности: во-первых, истребить разоренных им правителей вместе с семействами, чтобы не дать новому папе повода выступить в их защиту; во-вторых, расположить к себе римских нобилей, чтобы с их помощью держать в узде будущего преемника Александра; в-третьих, иметь в Коллегии кардиналов как можно больше своих людей; в-четвертых, успеть до смерти папы Александра расширить свои владения настолько, чтобы самостоятельно выдержать первый натиск извне. Когда Александр умер, у герцога было исполнено три части замысла, а четвертая была близка к исполнению. Из разоренных им правителей он умертвил всех, до кого мог добраться, и лишь немногим удалось спастись; римских нобилей он склонил в свою пользу; в Коллегии заручился поддержкой большей части кардиналов. Что же до расширения владений, то, задумав стать властителем Тосканы, он успел захватить Перуджу и Пьомбино и взять под свое покровительство Пизу. К этому времени он мог уже не опасаться Франции – после того, как испанцы окончательно вытеснили французов из Неаполитанского королевства, тем и другим приходилось покупать дружбу герцога, так что еще шаг – и он завладел бы Пизой. После чего тут же сдались бы Сиена и Лукка, отчасти из страха,

отчасти назло флорентийцам; и сами флорентийцы оказались бы в безвыходном положении. И все это могло бы произойти еще до конца того года, в который умер папа Александр, и если бы произошло, то герцог обрел бы такое могущество и влияние, что не нуждался бы ни в чьем покровительстве и не зависел бы ни от чужого оружия, ни от чужой фортуны, но всецело от собственной доблести и силы. Однако герцог впервые обнажил меч всего за пять лет до смерти отца. И успел упрочить власть лишь над одним государством – Романьей, оставшись на полпути к обладанию другими, зажатый между двумя грозными неприятельскими армиями и смертельно больной.

Но столько было в герцоге яростной отваги и доблести, так хорошо умел он привлекать и устранять людей, так прочны были основания его власти, заложенные им в столь краткое время, что он превозмог бы любые трудности – если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии или не донимала болезнь. Что власть его покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились: Романья дожидалась его больше месяца; в Риме, находясь при смерти, он, однако, пребывал в безопасности: Бальони, Орсини и Вителли, явившиеся туда, так никого и не увлекли за собой; ему удалось добиться того, чтобы папой избрали если не именно того, кого он желал, то по крайней мере не того, кого он не желал. Не окажись герцог при смерти тогда же, когда умер папа Александр, он с легкостью одолел бы любое препятствие. В дни избрания Юлия II он говорил мне, что все предусмотрел на случай смерти отца, для всякого положения нашел выход, одного лишь не угадал – что в это время и сам окажется близок к смерти.

Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе: лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение. Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хит-

ростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам – послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить; обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так чтобы они либо с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, – всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога.

В одном лишь можно его обвинить – в избрании Юлия главой Церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, отвести неугодного; а раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или, в случае избрания, могли бы бояться его в будущем. Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти. Среди обиженных им были Сан-Пьетро ин Винкула, Колонна, Сан-Джорджо, Асканио; все остальные, взойдя на престол, имели бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский, те – в силу родственных уз и обязательств, этот – благодаря могуществу стоявшего за ним французского королевства. Поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности – кардинала Руанского, но уже никак не Сан-Пьетро ин Винкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Так что герцог совершил оплошность, которая в конце концов и привела его к гибели.

Глава VIII

О ТЕХ, КТО ПРИОБРЕТАЕТ ВЛАСТЬ ЗЛОДЕЯНИЯМИ

Но есть еще два способа сделаться государем – несводимые ни к милости судьбы, ни к доблести; и опускать их, как я полагаю, не стоит, хотя об одном из них уместнее рассуждать там, где речь идет о рес-

публиках. Я разумею случаи, когда частный человек достигает верховной власти путем преступлений либо в силу благоволения к нему сограждан. Говоря о первом способе, я сошлюсь на два случая – один из древности, другой из современной жизни – и тем ограничусь, ибо полагаю, что и этих двух достаточно для тех, кто ищет примера.

Сицилиец Агафокл стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но из низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но смолоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле. Посвятив в этот замысел Гамилькара Карфагенского, находившегося в то время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики; и когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан. И хотя он был дважды разбит карфагенянами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив часть людей защищать его, с другой – вторгся в Африку; в короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенян до крайности, так что они вынуждены были заключить с ним договор, по которому ограничивались владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию.

Вдумавшись, мы не найдем в жизни и делах Агафокла ничего или почти ничего, что бы досталось ему милостью судьбы, ибо, как уже говорилось, он достиг власти не чьим-либо покровительством, но службой в войске, сопряженной с множеством опасностей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решительность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил

невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику, но, памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого.

Уже в наше время, при папе Александре, произошел другой случай. Оливеротто из Фермо, в младенчестве осиротевший, вырос в доме дяди с материнской стороны по имени Джованни Фольяни; еще в юных летах он вступил в военную службу под начало Паоло Вителли с тем, чтобы, освоившись с военной наукой, занять почетное место в войске. По смерти Паоло он перешел под начало брата его Вителлоццо и весьма скоро, как человек сообразительный, сильный и храбрый, стал первым лицом в войске. Однако, полагая унизительным подчиняться другим, он задумал овладеть Фермо – с благословения Вителли и при пособничестве нескольких сограждан, которым рабство отечества было милее его свободы. В письме к Джованни Фольяни он объявил, что желал бы после многолетнего отсутствия навестить дядю и родные места, а заодно определить размеры наследства; что в трудах своих он не помышляет ни о чем, кроме славы, и, желая доказать согражданам, что не впустую растратил время, испрашивает позволения въехать с почетом – со свитой из ста всадников, его друзей и слуг, – пусть, мол, жители Фермо тоже не откажут ему в почетном приеме, что было бы лестно не только ему, но и дяде его, заменившему ему отца. Джованни Фольяни исполнил все, как просил племянник, и позаботился о том, чтобы горожане встретили его с почестями. Тот, поселившись в собственном доме, выждал несколько дней, пока закончатся приготовления к задуманному злодейству, и устроил торжественный пир, на который пригласил Джованни Фольяни и всех именитых людей Фермо. После того как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Оливеротто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии папы Александра и сына его Чезаре. Но когда Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и, заявив, что подобные разговоры лучше продолжить в укромном месте, удалился внутрь покоев,

куда за ним последовал дядя и другие именитые гости. Не успели они, однако, сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни Оливеротто верхом промчался через город и осадил во дворце высший магистрат; тот из страха повиновался и учредил новое правление, а Оливеротто провозгласил властителем города.

Истребив тех, кто по недовольству мог ему повредить, Оливеротто укрепил свою власть новым военным и гражданским устройством и с той поры не только пребывал в безопасности внутри Фермо но и стал грозой всех соседей. Выбить его из города было бы так же трудно, как Агафокла, если бы его не перехитрил Чезаре Борджа, который в Синигалии, как уже рассказывалось, заманил в ловушку главарей Орсини и Вителли; Оливеротто приехал туда вместе с Вителлоццо, своим наставником в доблести и в злодействах, и там вместе с ним был удушен, что произошло через год после описанного отцеубийства.

Кого-то могло бы озадачить, почему Агафоклу и ему подобным удавалось, проложив себе путь жестокостью и предательством, долго и благополучно жить в своем отечестве, защищать себя от внешних врагов и не стать жертвой заговора со стороны сограждан, тогда как многим другим не удавалось сохранить власть жестокостью даже в мирное, а не то что в смутное военное время. Думаю, дело в том, что жестокость жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях – если позволительно дурное называть хорошим, – когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. Действуя первым способом, можно, подобно Агафоклу, с божьей и людской помощью удержать власть; действуя вторым – невозможно.

Отсюда следует, что тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день; тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет,

делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид. Так что обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше. Самое же главное для государя – вести себя с подданными так, чтобы никакое событие – ни дурное, ни хорошее – не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью.

Глава IX

О ГРАЖДАНСКОМ ЕДИНОВЛАСТИИ

Перейду теперь к тем случаям, когда человек делается государем своего отечества не путем злодеяний и беззаконий, но в силу благоволения сограждан – для чего требуется не собственно доблесть или удача, но скорее удачливая хитрость. Надобно сказать, что такого рода единовластие – его можно назвать гражданским – учреждается по требованию либо знати, либо народа. Ибо нет города, где не обособились бы два этих начала: знать желает подчинять и угнетать народ, народ не желает находиться в подчинении и угнетении; столкновение же этих начал разрешается трояко: либо единовластием, либо безначалием, либо свободой.

Единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в зависимости от того, кому первому представится удобный случай. Знать, видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если государь окружен знатью,

которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни иметь независимый образ действий. Тогда как тот, кого привел к власти народ, правит один и вокруг него нет никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться. Кроме того, нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворить притязания знати, но можно – требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным. Сверх того, с враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен, а со знатью – можно, ибо она малочисленна. Народ, на худой конец, отвернется от государя, тогда как от враждебной знати можно ждать не только того, что она отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. И еще добавлю, что государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале.

Эту последнюю часть разъясню подробней. С людьми знатными надлежит поступать так, как поступают они. С их же стороны возможны два образа действий: либо они показывают, что готовы разделить судьбу государя, либо нет. Первых, если они не корыстны, надо почитать и ласкать, что до вторых, то здесь следует различать два рода побуждений. Если эти люди ведут себя таким образом по малодушию и природному отсутствию решимости, ими следует воспользоваться, в особенности теми, кто сведущ в каком-либо деле. Если же они ведут себя так умышленно, из честолюбия, то это означает, что они думают о себе больше, нежели о государе. И тогда их надо остерегаться и бояться не меньше, чем явных противников, ибо в трудное время они всегда помогут погубить государя.

Так что если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если государя привела к власти знать наперекор народу, то первый его долг – заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою защиту. Люди же таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого

ждали зла, особенно привязываются к благодетелям, поэтому народ еще больше расположится к государю, чем если бы сам привел его к власти. Заручиться же поддержкой народа можно разными способами, которых я обсуждать не стану, так как они меняются от случая к случаю и не могут быть подведены под какое-либо определенное правило.

Скажу лишь в заключение, что государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. Набид, правитель Спарты, выдержал осаду со стороны всей Греции и победоносного римского войска и отстоял власть и отечество; между тем с приближением опасности ему пришлось устранить всего нескольких лиц, тогда как если бы он враждовал со всем народом, он не мог бы ограничиться столь малым. И пусть мне не возражают на это расхожей поговоркой, что, мол, на народ надеяться – что на песке строить. Поговорка верна, когда речь идет о простом гражданине, который, опираясь на народ, тешит себя надеждой, что народ его вызволит, если он попадет в руки врагов или магистрата. Тут и в самом деле можно обмануться, как обманулись Гракхи в Риме или мессер Джорджо Скали во Флоренции. Но если в народе ищет опоры государь, который не просит, а приказывает, к тому же бесстрашен, не падает духом в несчастье, не упускает нужных приготовлений для обороны и умеет распоряжениями своими и мужеством вселить бодрость в тех, кто его окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры.

Обычно в таких случаях власть государя оказывается под угрозой при переходе от гражданского строя к абсолютному – так как государи правят либо посредством магистрата, либо единолично. В первом случае положение государя слабее и уязвимее, ибо он всецело зависит от воли граждан, из которых состоит магистрат, они же могут лишить его власти в любое, а тем более в трудное, время, то есть могут либо выступить против него, либо уклониться от выполнения его распоряжений. И тут, перед лицом опасности, поздно присваивать себе абсолютную власть, так как граждане и подданные, привыкнув исполнять распоряжения магистрата, не станут в трудных обстоятельствах подчиняться приказаниям государя. Оттого-то в тяжёлое

время у государя всегда будет недостаток в надежных людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время, когда граждане нуждаются в государстве: тут каждый спешит с посулами, каждый, благо смерть далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за государя, но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих гражданах, их объявляется немного. И подобная проверка тем опасней, что она бывает всего однажды. Поэтому мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве, – только тогда он сможет положиться на их верность.

Глава X

КАК СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ СИЛЫ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ

Изучая свойства государств, следует принять в соображение и такую сторону дела: может ли государь в случае надобности отстоять себя собственными силами или он нуждается в защите со стороны. Поясню, что способными отстоять себя я называю тех государей, которые, имея в достатке людей или денег, могут собрать требуемых размеров войско и выдержать сражение с любым неприятелем; нуждающимися в помощи я называю тех, кто не может выйти против неприятеля в поле и вынужден обороняться под прикрытием городских стен. Что делать в первом случае – о том речь впереди, хотя кое-что уже сказано выше. Что же до второго случая, то тут ничего не скажешь, кроме того, что государю надлежит укреплять и снаряжать всем необходимым город, не принимая в расчет прилегающую округу. Если государь хорошо укрепит город и будет обращаться с подданными так, как описано выше и будет добавлено ниже, то соседи остерегутся на него нападать. Ибо люди – враги всяких затруднительных предприятий, а кому же покажется легким нападение на государя, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен.

Города Германии, одни из самых свободных, имеют

небольшие округи, повинуются императору, когда сами того желают, и не боятся ни его, ни кого-либо другого из сильных соседей, так как достаточно укреплены для того, чтобы захват их всякому показался трудным и изнурительным делом. Они обведены добротными стенами и рвами, имеют артиллерии сколько нужно и на общественных складах держат годовой запас продовольствия, питья и топлива; кроме того, чтобы прокормить простой народ, не истощая казны, они заготовляют на год работы в тех отраслях, которыми живет город, и в тех ремеслах, которыми кормится простонародье. Военное искусство у них в чести, и они поощряют его разными мерами.

Таким образом, государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может подвергнуться нападению. Но если это и случится, неприятель принужден будет с позором ретироваться, ибо все в мире меняется с такой быстротой, что едва ли кто-нибудь сможет год продержать войско в праздности, осаждая город. Мне возразят, что если народ увидит, как за городом горят его поля и жилища, он не выдержит долгой осады, ибо собственные заботы возьмут верх над верностью государю. На это я отвечу, что государь сильный и смелый одолеет все трудности, то внушая подданным надежду на скорое окончание бедствий, то напоминая им о том, что враг беспощаден, то осаживая излишне строптивых. Кроме того, неприятель обычно сжигает и опустошает поля при подходе к городу, когда люди еще разгорячены и полны решимости не сдаваться; когда же через несколько дней пыл поостынет, то урон уже будет нанесен и зло содеяно. А тогда людям ничего не останется, как держаться своего государя, и сами они будут ожидать от него благодарности за то, что, защищая его, позволили сжечь свои дома и разграбить имущество. Люди же по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Так, по рассмотрении всех обстоятельств, скажу, что разумный государь без труда найдет способы укрепить дух горожан во все время осады, при условии, что у него хватит чем прокормить и оборонить город.

Глава XI

О ЦЕРКОВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Нам остается рассмотреть церковные государства, о которых можно сказать, что овладеть ими трудно, ибо для этого требуется доблесть или милость судьбы, а удержать легко, ибо для этого не требуется ни того, ни другого. Государства эти опираются на освященные религией устои, столь мощные, что они поддерживают государей у власти, независимо от того, как те живут и поступают. Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют подданных, но ими не управляют; и однако же, на власть их никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь эти государи неизменно пребывают в благополучии и счастье.

Но так как государства эти направляемы причинами высшего порядка, до которых ум человеческий не досягает, то говорить о них я не буду; лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться рассуждать о том, что возвеличено и хранимо Богом. Однако же меня могут спросить, каким образом Церковь достигла такого могущества, что ее боится король Франции, что ей удалось изгнать его из Италии и разгромить венецианцев, тогда как раньше с ее светской властью не считались даже мелкие владетели и бароны, не говоря уж о крупных государствах Италии. Если меня спросят об этом, то, хотя все эти события хорошо известны, я сочту нелишним напомнить, как было дело.

Перед тем как Карл, французский король, вторгся в Италию, господство над ней было поделено между папой, венецианцами, королем Неаполитанским, герцогом Миланским и флорентийцами. У этих властителей было две главных заботы: во-первых, не допустить вторжения в Италию чужеземцев, во-вторых, удержать друг друга в прежних границах. Наибольшие подозрения внушали венецианцы и папа. Против венецианцев прочие образовали союз, как это было при защите Феррары; против папы использовались римские бароны. Разделенные на две партии — Колонна и Орсини, бароны постоянно затевали свары и, потрясая оружием на виду у главы Церкви, способствовали слабости и не-

устойчивости папства. Хотя кое-кто из пап обладал мужеством, как, например, Сикст, никому из них при всей опытности и благоприятных обстоятельствах не удавалось избавиться от этой напасти. Виной тому – краткость их правления, ибо за те десять лет, что в среднем проходили от избрания папы до его смерти, ему насилу удавалось разгромить лишь одну из враждующих партий. И если папа успевал, скажем, почти разгромить приверженцев Колонна, то преемник его, будучи сам врагом Орсини, давал возродиться партии Колонна и уже не имел времени разгромить Орсини. По этой самой причине в Италии невысоко ставили светскую власть папы.

Но когда на папский престол взошел Александр VI, он куда более всех своих предшественников сумел показать, чего может добиться глава Церкви, действуя деньгами и силой. Воспользовавшись приходом французов, он совершил посредством герцога Валентино все то, о чем я рассказывал выше – там, где речь шла о герцоге. Правда, труды его были направлены на возвеличение не Церкви, а герцога, однако же они обернулись величием Церкви, которая унаследовала плоды его трудов после смерти Александра и устранения герцога. Папа Юлий застал по восшествии могучую Церковь: она владела Романьей, смирила римских баронов, чьи партии распались под ударами Александра, и, сверх того, открыла новый источник пополнения казны, которым не пользовался никто до Александра.

Все это Юлий не только продолжил, но и придал делу больший размах. Он задумал присоединить Болонью, сокрушить Венецию и прогнать французов и осуществил этот замысел, к тем большей своей славе, что радел о величии Церкви, а не частных лиц. Кроме того, он удержал партии Орсини и Колонна в тех пределах, в каких застал их; и хотя кое-кто из главарей готов был посеять смуту, но их удерживало, во-первых, могущество Церкви, а во-вторых – отсутствие в их рядах кардиналов, всегда бывавших зачинщиками раздоров. Никогда между этими партиями не будет мира, если у них будут свои кардиналы: разжигая в Риме и вне его вражду партий, кардиналы втягивают в нее баронов, и так из властолюбия прелатов рождаются распри и усобицы среди баронов.

Его святейшество папа Лев воспринял, таким обра-

зом, могучую Церковь; и если его предшественники возвеличили папство силой оружия, то нынешний глава Церкви внушает нам надежду на то, что возвеличит и прославит его еще больше своей добротой, доблестью и многообразными талантами.

Глава XII

О ТОМ, СКОЛЬКО БЫВАЕТ ВИДОВ ВОЙСК, И О НАЕМНЫХ СОЛДАТАХ

Выше мы подробно обсудили разновидности государств, названные мною в начале; отчасти рассмотрели причины благоденствия и крушения государей; выяснили, какими способами действовали те, кто желал завоевать и удержать власть. Теперь рассмотрим, какими средствами нападения и защиты располагает любое из государств, перечисленных выше. Ранее уже говорилось о том, что власть государя должна покоиться на крепкой основе, иначе она рухнет. Основой же власти во всех государствах – как унаследованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому, минуя законы, я перехожу прямо к войску.

Начну с того, что войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное – неприятель. Объясняется это тем, что не страсть и не какое-либо другое побуждение удерживает их в бою, а только скудное жалованье, что, конечно, недостаточно для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя жизнью. Им весьма по душе служить тебе в мирное время, но стоит начаться войне, как они показывают тыл и бегут.

Надо ли доказывать то, что и так ясно: чем иным вызвано крушение Италии, как не тем, что она долгие годы довольствовалась наемным оружием? Кое для кого наемники действовали с успехом и не раз красовались отвагой друг перед другом, но когда вторгся чужеземный враг, мы увидели, чего они стоят на деле. Так что Карлу, королю Франции, и впрямь удалось захватить Италию с помощью куска мела. А кто говорил, что мы терпим за грехи наши, сказал правду, только это не те грехи, какие он думал, а те, которые я перечислил. И так как это были грехи государей, то и расплачиваться пришлось им же.

Я хотел бы объяснить подробнее, в чем беда наемного войска. Кондотьеры по-разному владеют своим ремеслом: одни превосходно, другие – посредственно. Первым нельзя довериться потому, что они будут сами домогаться власти и ради нее свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя довериться потому, что они проиграют сражение. Мне скажут, что того же можно ждать от всякого, у кого в руках оружие, наемник он или нет. На это я отвечу: войско состоит в ведении либо государя, либо республики; в первом случае государь должен лично возглавить войско, приняв на себя обязанности военачальника; во втором случае республика должна поставить во главе войска одного из граждан; и если он окажется плох – сместить его, в противном случае – ограничить законами, дабы не преступал меры. Мы знаем по опыту, что только государи-полководцы и вооруженные республики добивались величайших успехов, тогда как наемники приносили один вред.

Рим и Спарта много веков простояли вооруженные и свободные. Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны. В древности наемников призывал Карфаген, каковой чуть не был ими захвачен после окончания первой войны с Римом, хотя карфагеняне поставили во главе войска своих же граждан. После смерти Эпаминонда фиванцы пригласили Филиппа Македонского возглавить их войско, и тот, вернувшись победителем, отнял у Фив свободу. Миланцы по смерти герцога Филиппа призвали на службу Франческо Сфорца, и тот, разбив венецианцев при Караваджо, соединился с неприятелем против миланцев,

своих хозяев. Сфорца, его отец, состоя на службе у Джованны, королевы Неаполитанской, внезапно оставил ее безоружной, так что, спасая королевство, она бросилась искать заступничества у короля Арагонского.

Мне скажут, что венецианцы и флорентийцы не раз утверждали свое владычество, пользуясь наемным войском, и однако, кондотьеры их не стали государями и честно защищали хозяев. На это я отвечу, что флорентийцам попросту везло: из тех доблестных кондотьеров, которых стоило бы опасаться, одним не пришлось одержать победу, другие имели соперников, третьи домогались власти, но в другом месте. Как мы можем судить о верности Джованни Аукута, если за ним не числится ни одной победы, но всякий согласится, что, вернись он с победой, флорентийцы оказались бы в полной его власти. Сфорца и Браччо как соперники не спускали друг с друга глаз, поэтому Франческо перенес свои домогательства в Ломбардию, а Браччо – в папские владения и в Неаполитанское королевство. А как обстояло дело недавно? Флорентийцы пригласили на службу Паоло Вителли, человека умнейшего и пользовавшегося огромным влиянием еще в частной жизни. Если бы он взял Пизу, разве не очевидно, что флорентийцам бы от него не отделаться? Ибо перейди он на службу к неприятелю, им пришлось бы сдаться; останься он у них, им пришлось бы ему подчиниться.

Что же касается венецианцев, то блестящие и прочные победы они одерживали лишь до тех пор, пока воевали своими силами, то есть до того, как приступили к завоеваниям на материке. Аристократия и вооруженное простонародье Венеции не раз являли образцы воинской доблести, воюя на море, но стоило им перейти на сушу, как они переняли военный обычай всей Италии. Когда их завоевания на суше были невелики и держава их стояла твердо, у них не было поводов опасаться своих кондотьеров, но когда владения их разрослись – а было это при Карманьоле,– то они осознали свою оплошность. Карманьола был известен им как доблестный полководец – под его началом они разбили Миланского герцога,– но, видя, что он тянет время, а не воюет, они рассудили, что победы он не одержит, ибо к ней не стремится, уволить же они сами его не посмеют,

ибо побоятся утратить то, что завоевали: вынужденные обезопасить себя каким-либо способом, они его умертвили. Позднее они нанимали Бартоломео да Бергамо, Роберто да Сан-Северино, графа ди Питильяно и им подобных, которые внушали опасение не тем, что выиграют, а тем, что проиграют сражение. Как оно и случилось при Вайла, где венецианцы за один день потеряли все то, что с таким трудом собирали восемь столетий. Ибо наемники славятся тем, что медлительно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают. И раз уж я обратился за примером к Италии, где долгие годы хозяйничают наемные войска, то для пользы дела хотел бы вернуться вспять, чтобы выяснить, откуда они пошли и каким образом набрали такую силу.

Надо знать, что в недавнее время, когда империя ослабла, а светская власть папы окрепла, Италия распалась на несколько государств. Многие крупные города восстали против угнетавших их нобилей, которым покровительствовал император, тогда как городам покровительствовала Церковь в интересах своей светской власти; во многих других городах их собственные граждане возвысились до положения государей. Так, Италия почти целиком оказалась под властью папы и нескольких республик. Однако вставшие у власти прелаты и граждане не привыкли иметь дело с оружием, поэтому они стали приглашать на службу наемников. Альбериго да Конио, уроженец Романьи, первым создал славу наемному оружию. Его выученики Браччо и Сфорца в свое время держали в руках всю Италию. За ними пошли все те, под чьим началом наемные войска состоят по сей день. Доблесть их привела к тому, что Италию из конца в конец прошел Карл, разорил Людовик, попрал Фердинанд и предали поруганию швейцарцы.

Начали они с того, что, возвышая себя, повсеместно унизили пехоту. Это нужно было им затем, что, живя ремеслом и не имея владений, они не могли бы прокормить большого пешего войска, а малое не создало бы им славы. Тогда как, ограничившись кавалерией, они при небольшой численности обеспечили себе и сытость, и почет. Дошло до того, что в двадцатитысячном войске не насчитывалось и двух тысяч пехоты. В дальнейшем они проявили необычайную из-

воротливость для того, чтобы избавить себя и солдат от опасностей и тягот военной жизни: в стычках они не убивают друг друга, а берут в плен и не требуют выкупа, при осаде ночью не идут на приступ; обороняя город, не делают вылазок к палаткам; не окружают лагерь частоколом и рвом, не ведут кампаний в зимнее время. И все это дозволяется их военным уставом и придумано ими нарочно для того, чтобы, как сказано, избежать опасностей и тягот военной жизни: так они довели Италию до позора и рабства.

Глава XIII

О ВОЙСКАХ СОЮЗНИЧЕСКИХ, СМЕШАННЫХ И СОБСТВЕННЫХ

Союзнические войска – еще одна разновидность бесполезных войск – это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты. Такими войсками воспользовался недавно папа Юлий: в военных действиях против Феррары он увидел, чего стоят его наемники, и сговорился с Фердинандом, королем Испанским, что тот окажет ему помощь кавалерией и пехотой. Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их грозит государю гибелью, а победа – зависимостью.

Несмотря на то что исторические сочинения содержат множество подобных примеров, я хотел бы сослаться на тот же пример папы Юлия. С его стороны это был крайне опрометчивый шаг – довериться чужеземному государю ради того, чтобы захватить Феррару. И он был бы наказан за свою опрометчивость, если бы, на его счастье, судьба не рассудила иначе: союзническое войско его было разбито при Равенне, но благодаря тому, что внезапно появились швейцарцы и неожиданно для всех прогнали победителей, папа не попал в зависимость ни к неприятелю, ибо тот бежал, ни к союзникам, ибо победа была добыта не их оружием. Флорентийцы, не имея войска, двинули против Пизы десять тысяч французов – что едва не обернулось для них худшим бедствием, чем все, какие случались с ними в прошлом. Император Констан-

тинополя, воюя с соседями, призвал в Грецию десять тысяч турок, каковые по окончании войны не пожелали уйти, с чего и началось порабощение Греции неверными.

Итак, пусть союзническое войско призывает тот, кто не дорожит победой, ибо оно куда опасней наемного. Союзническое войско – это верная погибель тому, кто его призывает: оно действует как один человек и безраздельно повинуется своему государю; наемному же войску после победы нужно и больше времени, и более удобные обстоятельства, чтобы тебе повредить; в нем меньше единства, оно собрано и оплачиваемо тобой, и тот, кого ты поставил во главе его, не может сразу войти в такую силу, чтобы стать для тебя опасным соперником. Короче говоря, в наемном войске опаснее нерадивость, в союзническом войске – доблесть.

Поэтому мудрые государи всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше, полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна та победа, которая добыта чужим оружием. Без колебаний сошлюсь опять на пример Чезаре Борджа. Поначалу, когда герцог только вступил в Романью, у него была французская конница, с помощью которой он захватил Имолу и Форли. Позже он понял ненадежность союзнического войска и, сочтя, что наемники менее для него опасны, воспользовался услугами Орсини и Вителли. Но, увидев, что те в деле нестойки и могут ему изменить, он избавился от них и набрал собственное войско. Какова разница между всеми этими видами войск, нетрудно понять, если посмотреть, как изменялось отношение к герцогу, когда у него были только французы, потом – наемное войско Орсини и Вителли и, наконец – собственное войско. Мы заметим, что, хотя уважение к герцогу постоянно росло, в полной мере с ним стали считаться только после того, как все увидели, что он располагает собственными солдатами.

Я намеревался не отступать от тех событий, которые происходили в Италии в недавнее время, но сошлюсь еще на пример Гиерона Сиракузского, так как упоминал о нем выше. Став, как сказано, волею сограждан военачальником Сиракуз, он скоро понял, что от наемного войска мало толку, ибо тогдашние кондотьеры были сродни теперешним. И так как он заключил, что их нельзя ни прогнать, ни оставить, то

приказал их изрубить и с тех пор опирался только на свое, а не на чужое войско. Приходит на память и рассказ из Ветхого завета, весьма тут уместный. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборца из стана филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи, но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении и что лучше он пойдет на врага с собственной пращой и ножом. Так всегда и бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки.

Карл VII, отец короля Людовика XI, благодаря фортуне и доблести освободив Францию от англичан, понял, как необходимо быть вооруженным своим оружием, и приказал образовать постоянную конницу и пехоту. Позже король Людовик, его сын, распустил пехоту и стал брать на службу швейцарцев; эту ошибку еще усугубили его преемники, и теперь она дорого обходится французскому королевству. Ибо, предпочтя швейцарцев, Франция подорвала дух своего войска: после упразднения пехоты кавалерия, приданная наемному войску, уже не надеется выиграть сражение своими силами. Так и получается, что воевать против швейцарцев французы не могут, а без швейцарцев против других – не смеют. Войско Франции, стало быть, смешанное: частью собственное, частью наемное – и в таком виде намного превосходит целиком союзническое или целиком наемное войско, но намного уступает войску, целиком составленному из своих солдат. Ограничусь уже известным примером: Франция была бы непобедима, если бы усовершенствовала или хотя бы сохранила устройство войска, введенное Карлом. Но неразумие людей таково, что они часто не замечают яда внутри того, что хорошо с виду, как я уже говорил выше по поводу чахоточной лихорадки.

Поэтому государь, который проглядел зарождающийся недуг, не обладает истинной мудростью, – но вовремя распознать его дано немногим. И если мы задумаемся об упадке Римской империи, то увидим, что он начался с того, что римляне стали брать на службу наемников – готов. От этого и пошло истощение сил империи, причем сколько силы отнималось у римлян, столько прибавлялось готам. В заключение

же повторяю, что без собственного войска государство непрочно – более того, оно всецело зависит от прихотей фортуны, ибо доблесть не служит ему верной защитой в трудное время. По мнению и приговору мудрых людей: «Quod nihil sit tam infirmum aut instabile, quam fama potentiae non sua vi nixa»[1]. Собственные войска суть те, которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей, всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к наемным. А какое им дать устройство, нетрудно заключить, если обдумать действия четырех названных мною лиц и рассмотреть, как устраивали и вооружали свои армии Филипп, отец Александра Македонского, и многие другие республики и государи, чьему примеру я всецело вверяюсь.

Глава XIV

КАК ГОСУДАРЬ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ КАСАТЕЛЬНО ВОЕННОГО ДЕЛА

Таким образом, государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого. Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто родился простым смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше об удовольствиях, чем о военных упражнениях, они теряли и ту власть, что имели. Небрежение этим искусством является главной причиной утраты власти, как владение им является главной причиной обретения власти.

Франческо Сфорца, умея воевать, из частного лица стал Миланским герцогом, дети его, уклоняясь от тягот войны, из герцогов стали частными лицами. Тот, кто не владеет военным ремеслом, навлекает на себя много бед, и в частности презрение окружающих, а этого

---

[1] «Нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества» (Тацит. Анналы, XIII, 19; т. 1. Л., 1970, с. 232. Перевод А. С. Бобовича).

надо всемерно остерегаться, как о том будет сказано ниже. Ибо вооруженный несопоставим с безоружным и никогда вооруженный не подчинится безоружному по доброй воле, а безоружный никогда не почувствует себя в безопасности среди вооруженных слуг. Как могут двое поладить, если один подозревает другого, а тот, в свою очередь, его презирает. Так и государь, не сведущий в военном деле, терпит много бед, и одна из них та, что он не пользуется уважением войска и в свою очередь не может на него положиться.

Поэтому государь должен даже в мыслях не оставлять военных упражнений и в мирное время предаваться им еще больше, чем в военное. Заключаются же они, во-первых, в делах, во-вторых – в размышлениях. Что касается дел, то государю следует не только следить за порядком и учениями в войске, но и самому почаще выезжать на охоту, чтобы закалить тело и одновременно изучить местность, а именно: где и какие есть возвышенности, куда выходят долины, насколько простираются равнины, каковы особенности рек и болот. Такое изучение вдвойне полезно. Прежде всего благодаря ему лучше узнаешь собственную страну и можешь вернее определить способы ее защиты; кроме того, зная в подробностях устройство одной местности, легко понимаешь особенности другой, попадая туда впервые, ибо склоны, долины, равнины, болота и реки, предположим, в Тоскане имеют определенное сходство с тем, что мы видим в других краях, отчего тот, кто изучил одну местность, быстро осваивается и во всех прочих. Если государь не выработал в себе этих навыков, то он лишен первого качества военачальника, ибо именно они позволяют сохранять преимущество, определяя местоположение неприятеля, располагаясь лагерем, идя на сближение с противником, вступая в бой и осаждая крепости.

Филопемену, главе ахейского союза, античные авторы расточают множество похвал, и в частности за то, что он и в мирное время ни о чем не помышлял, кроме военного дела. Когда он прогуливался с друзьями за городом, то часто останавливался и спрашивал: если неприятель займет тот холм, а наше войско будет стоять здесь, на чьей стороне будет преимущество? как наступать в этих условиях, сохраняя боевые порядки? как отступать, если нас вынудят к

отступлению? как преследовать противника, если тот обратится в бегство? И так, продвигаясь вперед, предлагал все новые и новые обстоятельства из тех, какие случаются на войне; и после того как выслушивал мнения друзей, высказывал свое и приводил доводы в его пользу. Так постоянными размышлениями он добился того, что во время войны никакая случайность не могла бы застигнуть его врасплох.

Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели войну, что определяло их победы и что – поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать последних. Самое же главное – уподобившись многим великим людям прошлого, принять за образец кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти его подвиги и деяния. Так, по рассказам, Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь – Александру, Сципион – Киру. Всякий, кто прочтет жизнеописание Кира, составленное Ксенофонтом, согласится, что, уподобляясь Киру, Сципион весьма способствовал своей славе и что в целомудрии, обходительности, человечности и щедрости Сципион следовал Киру, как тот описан нам Ксенофонтом. Мудрый государь должен соблюдать все описанные правила, никогда не предаваться в мирное время праздности, ибо все его труды окупятся, когда настанут тяжелые времена, и тогда, если судьба захочет его сокрушить, он сумеет выстоять под ее напором.

Глава XV

О ТОМ, ЗА ЧТО ЛЮДЕЙ, В ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРЕЙ, ВОСХВАЛЯЮТ ИЛИ ПОРИЦАЮТ

Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам. Зная, что об этом писали многие, я опасаюсь, как бы меня не сочли самонадеянным за то, что, избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими. Но, имея намерение на-

писать нечто полезное для людей понимающих, я предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной – в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности.

Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой скуп – если взять тосканское слово, ибо жадный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы называем того, кто слишком держится за свое – один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен; один честен, другой вероломен; один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нечестив и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе все лучшие из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность.

Глава XVI

О ЩЕДРОСТИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ

Начну с первого из упомянутых качеств и скажу, что хорошо иметь славу щедрого государя. Тем не менее тот, кто проявляет щедрость, чтобы слыть щедрым, вредит самому себе. Ибо если проявлять ее разумно и должным образом, о ней не узнают, а тебя все равно обвинят в скупости, поэтому, чтобы распространить среди людей славу о своей щедрости, ты должен будешь изощряться в великолепных затеях, но, поступая таким образом, ты истощишь казну, после чего, не желая расставаться со славой щедрого правителя, вынужден будешь сверх меры обременить народ податями и прибегнуть к неблаговидным способам изыскания денег. Всем этим ты постепенно возбудишь ненависть подданных, а со временем, когда обеднеешь, – то и презрение. И после того как многих разоришь своей щедростью и немногих облагодетельствуешь, первое же затруднение обернется для тебя бедствием, первая же опасность – крушением. Но если ты вовремя одумаешься и захочешь поправить дело, тебя тотчас же обвинят в скупости.

Итак, раз государь не может без ущерба для себя проявлять щедрость так, чтобы ее признали, то не будет ли для него благоразумнее примириться со славой скупого правителя? Ибо со временем, когда люди увидят, что благодаря бережливости он удовлетворяется своими доходами и ведет военные кампании, не обременяя народ дополнительными налогами, за ним утвердится слава щедрого правителя. И он действительно окажется щедрым по отношению ко всем тем, у кого ничего не отнял, а таких бо́льшая часть, и скупым по отношению ко всем тем, кого мог бы обогатить, а таких единицы. В наши дни лишь те совершили великие дела, кто прослыл скупым, остальные сошли неприметно. Папа Юлий желал слыть щедрым лишь до тех пор, пока не достиг папской власти, после чего, готовясь к войне, думать забыл о щедрости. Нынешний король Франции провел несколько войн без введения чрезвычайных налогов только потому, что, предвидя дополнительные расходы, проявлял упорную бережливость. Нынешний ко-

роль Испании не предпринял бы и не выиграл стольких кампаний, если бы дорожил славой щедрого государя.

Итак, ради того чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – это один из тех пороков, которые позволяют ему править. Если мне скажут, что Цезарь проложил себе путь щедростью и что многие другие, благодаря тому, что были и слыли щедрыми, достигали самых высоких степеней, я отвечу: либо ты достиг власти, либо ты еще на пути к ней. В первом случае щедрость вредна, во втором – необходима. Цезарь был на пути к абсолютной власти над Римом, поэтому щедрость не могла ему повредить, но владычеству его пришел бы конец, если бы он, достигнув власти, прожил дольше и не умерил расходов. А если мне возразят, что многие уже были государями и совершали во главе войска великие дела, однако же слыли щедрейшими, я отвечу, что тратить можно либо свое, либо чужое. В первом случае полезна бережливость, во втором – как можно большая щедрость.

Если ты ведешь войско, которое кормится добычей, грабежом, поборами и чужим добром, тебе необходимо быть щедрым, иначе за тобой не пойдут солдаты. И всегда имущество, которое не принадлежит тебе или твоим подданным, можешь раздаривать щедрой рукой, как это делали Кир, Цезарь и Александр, ибо, расточая чужое, ты прибавляешь себе славы, тогда как расточая свое – ты только себе вредишь. Ничто другое не истощает себя так, как щедрость: выказывая ее, одновременно теряешь самую возможность ее выказывать и либо впадаешь в бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности, разоряешь других, чем навлекаешь на себя ненависть. Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться, щедрость же ведет к тому и другому. Поэтому больше мудрости в том, чтобы, слывя скупым, стяжать худую славу без ненависти, чем в том, чтобы, желая прослыть щедрым и оттого поневоле разоряя других, стяжать худую славу и ненависть разом.

Глава XVII
О ЖЕСТОКОСТИ И МИЛОСЕРДИИ И О ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ: ВНУШАТЬ ЛЮБОВЬ ИЛИ СТРАХ

Переходя к другим из упомянутых выше свойств, скажу, что каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. Чезаре Борджа многие называли жестоким, но жестокостью этой он навел порядок в Романье, объединил ее, умиротворил и привел к повиновению. И, если вдуматься, проявил тем самым больше милосердия, чем флорентийский народ, который, боясь обвинений в жестокости, позволил разрушить Пистойю. Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Новый государь еще меньше, чем всякий другой, может избежать упрека в жестокости, ибо новой власти угрожает множество опасностей. Виргилий говорит устами Дидоны:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri[1].

Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных.

По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись.

---

[1] «Молодо царство у нас, велика опасность; лишь это Бдительно так рубежи охранять меня заставляет»

(Вергилий. Энеида, кн. I, 563–564. М., «Художественная литература», 1971. Перевод С. А. Ошерова).

Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся. И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Тем более что причин для изъятия имущества всегда достаточно и если начать жить хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как оснований для лишения кого-либо жизни гораздо меньше и повод для этого приискать труднее.

Но когда государь ведет многотысячное войско, он тем более должен пренебречь тем, что может прослыть жестоким, ибо, не прослыв жестоким, нельзя поддержать единства и боеспособности войска. Среди удивительных деяний Ганнибала упоминают и сле-

дующее: отправившись воевать в чужие земли, он удержал от мятежа и распрей огромное и разноплеменное войско как в дни побед, так и в дни поражений. Что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью, которая вкупе с доблестью и талантами внушала войску благоговение и ужас; не будь в нем жестокости, другие его качества не возымели бы такого действия. Между тем авторы исторических трудов, с одной стороны, превозносят сам подвиг, с другой – необдуманно порицают главную его причину.

Насколько верно утверждение, что полководцу мало обладать доблестью и талантом, показывает пример Сципиона – человека необычайного не только среди его современников, но и среди всех людей. Его войска взбунтовались в Испании вследствие того, что по своему чрезмерному мягкосердечию он предоставил солдатам большую свободу, чем это дозволяется воинской дисциплиной. Что и вменил ему в вину Фабий Максим, назвавший его перед Сенатом развратителем римского воинства. По тому же недостатку твердости Сципион не вступился за локров, узнав, что их разоряет один из его легатов, и не покарал легата за дерзость. Недаром кто-то в Сенате, желая его оправдать, сказал, что он относится к той породе людей, которым легче избегать ошибок самим, чем наказывать за ошибки других. Со временем от этой черты Сципиона пострадало бы и его доброе имя, и слава – если бы он распоряжался единолично; но он состоял под властью Сената, и потому это свойство его характера не только не имело вредных последствий, но и послужило к вящей его славе.

Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся – по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, как о том сказано выше.

Глава XVIII
О ТОМ, КАК ГОСУДАРИ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ СЛОВО

Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?

Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью натуру. Однако натуру эту надо еще

уметь прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить.

Из близких по времени примеров не могу умолчать об одном. Александр VI всю жизнь изощрялся в обманах, но каждый раз находились люди, готовые ему верить. Во всем свете не было человека, который бы так клятвенно уверял, так убедительно обещал и так мало заботился об исполнении своих обещаний. Тем не менее обманы всегда удавались ему, как он желал, ибо он знал толк в этом деле. Отсюда следует, что государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо. Следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла.

Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство.

О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством стоит государство. Один из нынешних государей, которого воздержусь называть, только и делает, что проповедует мир и верность, на деле же тому и другому злейший враг; но если бы он последовал тому, что проповедует, то давно лишился бы либо могущества, либо государства.

Глава XIX

О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ИЗБЕГАТЬ НЕНАВИСТИ И ПРЕЗРЕНИЯ

Наиважнейшие из упомянутых качеств мы рассмотрели; что же касается прочих, то о них я скажу кратко, предварив рассуждение одним общим правилом. Государь, как отчасти сказано выше, должен следить за тем, чтобы не совершить ничего, что могло бы вызвать ненависть или презрение подданных. Если в этом он преуспеет, то свое дело он сделал, и прочие его пороки не представят для него никакой опасности. Ненависть государи возбуждают хищничеством и посягательством на добро и женщин своих подданных. Ибо большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты их честь или имущество; так что недовольным может оказаться лишь небольшое число честолюбцев, на которых нетрудно найти управу. Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегаться как огня, стараясь, напротив, в каждом действии являть великодушие, бесстрашие, основательность и твердость. Решения государя касательно частных дел подданных должны быть бесповоротными, и мнение о нем должно быть таково, чтобы никому не могло прийти в голову, что можно обмануть или перехитрить государя. К правителю, внушившему о себе такое понятие, будут относиться с почтением; а если известно, что государь

имеет выдающиеся достоинства и почитаем своими подданными, врагам труднее будет напасть на него или составить против него заговор. Ибо государя подстерегают две опасности – одна изнутри, со стороны подданных, другая извне – со стороны сильных соседей. С внешней опасностью можно справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников; причем тот, кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников. А если опасность извне будет устранена, то и внутри сохранится мир, при условии, что его не нарушат тайные заговоры. Но и в случае нападения извне государь не должен терять присутствия духа, ибо, если образ его действий был таков, как я говорю, он устоит перед любым неприятелем, как устоял Набид Спартанский, о чем сказано выше.

Что же касается подданных, то когда снаружи мир, то единственное, чего следует опасаться, – это тайные заговоры. Главное средство против них – не навлекать на себя ненависти и презрения подданных и быть угодным народу, чего добиться необходимо, как о том подробно сказано выше. Из всех способов предотвратить заговор самый верный – не быть ненавистным народу. Ведь заговорщик всегда рассчитывает на то, что убийством государя угодит народу; если же он знает, что возмутит народ, у него не хватит духа пойти на такое дело, ибо трудностям, с которыми сопряжен всякий заговор, нет числа. Как показывает опыт, заговоры возникали часто, но удавались редко. Объясняется же это тем, что заговорщик не может действовать в одиночку и не может сговориться ни с кем, кроме тех, кого полагает недовольными властью. Но открывшись недовольному, ты тотчас даешь ему возможность стать одним из довольных, так как, выдав тебя, он может обеспечить себе всяческие блага. Таким образом, когда с одной стороны выгода явная, а с другой – сомнительная, и к тому же множество опасностей, то не выдаст тебя только такой сообщник, который является преданнейшим твоим другом или злейшим врагом государя.

Короче говоря, на стороне заговорщика – страх, подозрение, боязнь расплаты; на стороне государя – величие власти, законы, друзья и вся мощь государства; так что если к этому присоединяется народное благоволение, то едва ли кто-нибудь осмелится соста-

вить заговор. Ибо заговорщику есть чего опасаться и прежде совершения злого дела, но в этом случае, когда против него народ, ему есть чего опасаться и после, ибо ему не у кого будет искать убежища.

По этому поводу я мог бы привести немало примеров, но ограничусь одним, который еще памятен нашим отцам. Мессер Аннибале Бентиволья, правитель Болоньи, дед нынешнего мессера Аннибале, был убит заговорщиками Каннески, и после него не осталось других наследников, кроме мессера Джованни, который был еще в колыбели. Тотчас после убийства разгневанный народ перебил всех Каннески, ибо дом Бентиволья пользовался в то время народной любовью. И так она была сильна, что когда в Болонье не осталось никого из Бентиволья, кто мог бы управлять государством, горожане, прослышав о некоем человеке крови Бентиволья, считавшемся ранее сыном кузнеца, явились к нему во Флоренцию и вверили ему власть, так что он управлял городом до тех самых пор, пока мессер Джованни не вошел в подобающий правителю возраст.

В заключение повторю, что государь может не опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа, и наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. Благоустроенные государства и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, кто правит.

В наши дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством является Франция. В ней имеется множество полезных учреждений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, из которых первейшее – парламент с его полномочиями. Устроитель этой монархии, зная властолюбие и наглость знати, считал, что ее необходимо держать в узде; с другой стороны, зная ненависть народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать. Однако он не стал вменять это в обязанность королю, чтобы знать не могла обвинить его в потворстве народу, а народ – в покровительстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вмешивая короля, обуздывает сильных и поощряет слабых. Трудно вообразить лучший и более разумный порядок, как и более верный за-

лог безопасности короля и королевства. Отсюда можно извлечь еще одно полезное правило, а именно: что дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные – исполнять сами. В заключение же повторю, что государю надлежит выказывать почтение к знати, но не вызывать ненависти в народе.

Многие, пожалуй, скажут, что пример жизни и смерти некоторых римских императоров противоречит высказанному здесь мнению. Я имею в виду тех императоров, которые, прожив достойную жизнь и явив доблесть духа, либо лишились власти, либо были убиты вследствие заговора. Желая оспорить подобные возражения, я разберу качества нескольких императоров и докажу, что их привели к крушению как раз те причины, на которые я указал выше. Заодно я хотел бы выделить и все то наиболее поучительное, что содержится в жизнеописании императоров – преемников Марка-философа, вплоть до Максимина, то есть Марка, сына его Коммода, Пертинакса, Юлиана, Севера, сына его Антонина Каракаллы, Макрина, Гелиогабала, Александра и Максимина.

Прежде всего надо сказать, что если обыкновенно государям приходится сдерживать честолюбие знати и необузданность народа, то римским императорам приходилось сдерживать еще жестокость и алчность войска. Многих эта тягостная необходимость привела к гибели, ибо трудно было угодить одновременно и народу, и войску. Народ желал мира и спокойствия, поэтому предпочитал кротких государей, тогда как солдаты предпочитали государей воинственных, неистовых, жестоких и хищных – но только при условии, что эти качества будут проявляться по отношению к народу, так, чтобы самим получать двойное жалованье и утолять свою жестокость и алчность.

Все это неизбежно приводило к гибели тех императоров, которым не было дано – врожденными свойствами или старанием – внушить к себе такое почтение, чтобы удержать в повиновении и народ, и войско. Большая часть императоров – в особенности те, кто возвысился до императорской власти, а не получил ее по наследству, – оказавшись меж двух огней, предпочли угождать войску, не считаясь с народом. Но другого выхода у них и не было, ибо если государь

не может избежать ненависти кого-либо из подданных, то он должен сначала попытаться не вызвать всеобщей ненависти. Если же это окажется невозможным, он должен приложить все старания к тому, чтобы не вызвать ненависти у тех, кто сильнее. Вот почему новые государи, особенно нуждаясь в поддержке, охотнее принимали сторону солдат, нежели народа. Но и в этом случае терпели неудачу, если не умели внушить к себе надлежащего почтения.

По указанной причине из трех императоров – Марка, Пертинакса и Александра, склонных к умеренности, любящих справедливость, врагов жестокости, мягких и милосердных, двоих постигла печальная участь. Только Марк жил и умер в величайшем почете, ибо наследовал императорскую власть iure hereditario[1] и не нуждался в признании ее ни народом, ни войском. Сверх того, он внушил подданным почтение своими многообразными добродетелями, поэтому сумел удержать в должных пределах и народ, и войско и не был ими ни ненавидим, ни презираем. В отличие от него Пертинакс стал императором против воли солдат, которые, привыкнув к распущенности при Коммоде, не могли вынести честной жизни, к которой он принуждал их, и возненавидели его, а так как к тому же они презирали его за старость, то он и был убит в самом начале своего правления.

Здесь уместно заметить, что добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными, поэтому государь, как я уже говорил, нередко вынужден отступать от добра ради того, чтобы сохранить государство, ибо если та часть подданных, чьего расположения ищет государь, – будь то народ, знать или войско, – развращена, то и государю, чтобы ей угодить, приходится действовать соответственно, и в этом случае добрые дела могут ему повредить. Но перейдем к Александру: кротость его, как рассказывают ему в похвалу, была такова, что за четырнадцать лет его правления не был казнен без суда ни один человек. И все же он возбудил презрение, слывя чересчур изнеженным и послушным матери, и был убит вследствие заговора в войске.

---

[1] По праву наследства *(лат.)*.

В противоположность этим троим Коммод, Север, Антонин Каракалла и Максимин отличались крайней алчностью и жестокостью. Угождая войску, они как могли разоряли и притесняли народ, и всех их, за исключением Севера, постигла печальная участь. Север же прославился такой доблестью, что не утратил расположения солдат до конца жизни и счастливо правил, несмотря на то что разорял народ. Доблесть его представлялась необычайной и народу, и войску: народ она пугала и ошеломляла, а войску внушала благоговение. И так как все совершенное им в качестве нового государя замечательно и достойно внимания, то я хотел бы, не вдаваясь в частности, показать, как он умел уподобляться то льву, то лисе, каковым, как я уже говорил, должны подражать государи.

Узнав о нерадивости императора Юлиана, Север убедил солдат, находившихся под его началом в Славонии, что их долг идти в Рим отомстить за смерть императора Пертинакса, убитого преторианцами. Под этим предлогом он двинул войско на Рим, никому не открывая своего намерения добиться императорской власти, и прибыл в Италию прежде, чем туда донесся слух о его выступлении. Когда он достиг Рима, Сенат, испугавшись, провозгласил его императором и приказал убить Юлиана. Однако на пути Севера стояло еще два препятствия: в Азии Песценний Нигер, глава азийского войска, провозгласил себя императором, на западе соперником его стал Альбин. Выступить в открытую против обоих было опасно, поэтому Север решил на Нигера напасть открыто, а Альбина устранить хитростью. Последнему он написал, что, будучи возведен Сенатом в императорское достоинство, желает разделить с ним эту честь, просит его принять титул Цезаря и по решению Сената объявляет его соправителем. Тот все это принял за правду. Но после того, как войско Нигера было разбито, сам он умерщвлен, а дела на востоке улажены, Север вернулся в Рим и подал в Сенат жалобу: будто бы Альбин, забыв об оказанных ему Севером благодеяниях, покушался на его жизнь, почему он вынужден выступить из Рима, чтобы покарать Альбина за неблагодарность. После чего он настиг Альбина во Франции и лишил его власти и жизни.

Вдумавшись в действия Севера, мы убедимся в том,

что он вел себя то как свирепейший лев, то как хитрейшая лиса; что он всем внушил страх и почтение и не возбудил ненависти войска. Поэтому мы не станем удивляться, каким образом ему, новому государю, удалось так упрочить свое владычество: разоряя подданных, он не возбудил их ненависти, ибо был защищен от нее своей славой. Сын его Антонин также был личностью замечательной и, сумев поразить воображение народа, был угоден солдатам. Он был истинный воин, сносивший любые тяготы, презиравший изысканную пищу, чуждый изнеженности, и за это пользовался любовью войска. Но, проявив неслыханную свирепость и жестокость – им было совершено множество убийств и истреблены все жители Александрии и половина жителей Рима, – он стал ненавистен всем подданным и даже внушил страх своим приближенным, так что был убит на глазах своего войска одним из центурионов.

Здесь уместно заметить, что всякий, кому не дорога жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет верного способа избежать гибели от руки человека одержимого. Но этого не следует так уж бояться, ибо подобные покушения случаются крайне редко. Важно лишь не подвергать оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услужении, то есть не поступать как Антонин, который предал позорной смерти брата того центуриона, каждый день грозил смертью ему самому, однако же продолжал держать его у себя телохранителем. Это было безрассудно и не могло не кончиться гибелью Антонина, что, как мы знаем, и случилось.

Обратимся теперь к Коммоду. Будучи сыном Марка, он мог без труда удержать власть, полученную им по наследству. Если бы он шел по стопам отца, то этим всего лучше угодил бы и народу, и войску, но, как человек жестокий и низкий, он стал заискивать у войска и поощрять в нем распущенность, чтобы с его помощью обирать народ. Однако он возбудил презрение войска тем, что унижал свое императорское достоинство, сходясь с гладиаторами на арене, и совершал много других мерзостей, недостойных императорского величия. Ненавидимый одними и презираемый другими, он был убит вследствие заговора среди его приближенных.

Остается рассказать о качествах Максимина. Это был человек на редкость воинственный, и после того как Александр вызвал раздражение войска своей изнеженностью, оно провозгласило императором Максимина. Но править ему пришлось недолго, ибо он возбудил ненависть и презрение войска тем, что, во-первых, пас когда-то овец во Фракии – это обстоятельство, о котором все знали, являлось позором в глазах его подданных; во-вторых, провозглашенный императором, он отложил выступление в Рим, где должен был принять знаки императорского достоинства, и прославил себя жестокостью, произведя через своих префектов жесточайшие расправы в Риме и повсеместно. После этого презрение к нему за его низкое происхождение усугубилось ненавистью, внушенной страхом перед его свирепостью, так что против него восстала сначала Африка, потом Сенат и весь римский народ, и, наконец, в заговор оказалась вовлеченной вся Италия. К заговору примкнули его собственные солдаты, осаждавшие Аквилею, которые были раздражены его жестокостью и трудностями осады: видя, что у него много врагов, они осмелели и убили императора.

Я не буду касаться Гелиогабала, Макрина и Юлиана как совершенно ничтожных и неприметно сошедших правителей, но перейду к заключению. В наше время государям нет такой уж надобности угождать войску. Правда, войско и сейчас требует попечения; однако эта трудность легко разрешима, ибо в наши дни государь не имеет дела с солдатами, которые тесно связаны с правителями и властями отдельных провинций, как это было в Римской империи. Поэтому если в то время приходилось больше угождать солдатам, ибо войско представляло большую силу, то в наше время всем государям, кроме султанов, турецкого и египетского, важнее угодить народу, ибо народ представляет большую силу.

Турецкий султан отличается от других государей тем, что он окружен двенадцатитысячным пешим войском и пятнадцатитысячной конницей, от которых зависит крепость и безопасность его державы. Такой государь поневоле должен, отложив прочие заботы, стараться быть в дружбе с войском. Подобным же образом султану египетскому, зависящему от солдат, необходимо, хотя бы в ущерб народу, ладить со сво-

им войском. Заметьте, что государство султана египетского устроено не так, как все прочие государства, и сопоставимо лишь с папством в христианском мире. Его нельзя назвать наследственным, ибо наследниками султана являются не его дети, а тот, кто избран в преемники особо на то уполномоченными лицами. Но его нельзя назвать и новым, ибо порядок этот заведен давно, и перед султаном не встает ни одна из тех трудностей, с которыми имеют дело новые государи. Таким образом, несмотря на то, что султан в государстве – новый, учреждения в нем – старые, и они обеспечивают преемственность власти, как при обычном ее наследовании.

Но вернемся к обсуждаемому предмету. Рассмотрев сказанное выше, мы увидим, что главной причиной гибели императоров была либо ненависть к ним, либо презрение, и поймем, почему из тех, кто действовал противоположными способами, только двоим выпал счастливый, а остальным несчастный конец. Дело в том, что Пертинаксу и Александру, как новым государям, было бесполезно и даже вредно подражать Марку, ставшему императором по праву наследства, а Коммоду и Максимину пагубно было подражать Северу, ибо они не обладали той доблестью, которая позволяла бы им следовать его примеру. Соответственно, новый государь в новом государстве не должен ни подражать Марку, ни уподобляться Северу, но должен у Севера позаимствовать то, без чего нельзя основать новое государство, а у Марка – то наилучшее и наиболее достойное, что нужно для сохранения государства, уже обретшего и устойчивость, и прочность.

Глава XX

О ТОМ, ПОЛЕЗНЫ ЛИ КРЕПОСТИ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТО ПОСТОЯННО ПРИМЕНЯЮТ ГОСУДАРИ

Одни государи, чтобы упрочить свою власть, разоружали подданных, другие поддерживали раскол среди граждан в завоеванных городах, одни намеренно создавали себе врагов, другие предпочли добиваться расположения тех, в ком сомневались, придя к власти; одни воздвигали крепости, другие – разо-

ряли их и разрушали до основания. Которому из этих способов следует отдать предпочтение, сказать трудно, не зная, каковы были обстоятельства в тех государствах, где принималось то или иное решение; однако же я попытаюсь высказаться о них, отвлекаясь от частностей настолько, насколько это дозволяется самим предметом.

Итак, никогда не бывало, чтобы новые государи разоружали подданных, – напротив, они всегда вооружали их, если те оказывались невооруженными, ибо, вооружая подданных, обретаешь собственное войско, завоевываешь преданность одних, укрепляешь преданность в других и таким образом обращаешь подданных в своих приверженцев. Всех подданных невозможно вооружить, но если отличить хотя бы часть их, то это позволит с большей уверенностью полагаться и на всех прочих. Первые, видя, что им оказано предпочтение, будут благодарны тебе, вторые простят тебя, рассудив, что тех и следует отличать, кто несет больше обязанностей и подвергается большим опасностям. Но, разоружив подданных, ты оскорбишь их недоверием и проявишь тем самым трусость или подозрительность, а оба эти качества не прощаются государям. И так как ты не сможешь обойтись без войска, то поневоле обратишься к наемникам, а чего стоит наемное войско – о том уже шла речь выше; но, будь они даже отличными солдатами, их сил недостаточно для того, чтобы защитить тебя от могущественных врагов и неверных подданных.

Впрочем, как я уже говорил, новые государи в новых государствах всегда создавали собственное войско, что подтверждается множеством исторических примеров. Но если государь присоединяет новое владение к старому государству, то новых подданных следует разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию, но этим последним надо дать изнежиться и расслабиться, ведя дело к тому, чтобы в конечном счете во всем войске остались только коренные подданные, живущие близ государя.

Наши предки, те, кого почитали мудрыми, говаривали, что Пистойю надо удерживать раздорами, а Пизу – крепостями, почему для укрепления своего владычества поощряли распри в некоторых подвластных им городах. В те дни, когда Италия находи-

лась в относительном равновесии, такой образ действий мог отвечать цели. Но едва ли подобное наставление пригодно в наше время, ибо сомневаюсь, чтобы расколы когда-либо кончались добром; более того, если подойдет неприятель, поражение неминуемо, так как более слабая партия примкнет к нападающим, а сильная – не сможет отстоять город.

Венецианцы поощряли вражду гвельфов и гибеллинов в подвластных им городах – вероятно, по тем самым причинам, какие я называю. Не доводя дело до кровопролития, они стравливали тех и других, затем, чтобы граждане, занятые распрей, не объединили против них свои силы. Но как мы видим, это не принесло им пользы: после разгрома при Вайла сначала часть городов, а затем и все они, осмелев, отпали от венецианцев. Подобные приемы изобличают, таким образом, слабость правителя, ибо крепкая и решительная власть никогда не допустит раскола; и если в мирное время они полезны государю, так как помогают ему держать в руках подданных, то в военное время пагубность их выходит наружу.

Без сомнения государи обретают величие, когда одолевают препятствия и сокрушают недругов, почему фортуна, – в особенности если она желает возвеличить нового государя, которому признание нужней, чем наследному, – сама насылает ему врагов и принуждает вступить с ними в схватку для того, чтобы, одолев их, он по подставленной ими лестнице поднялся как можно выше. Однако многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии.

Нередко государи, особенно новые, со временем убеждаются в том, что более преданные и полезные для них люди – это те, кому они поначалу не доверяли. Пандольфо Петруччи, властитель Сиены, правил своим государством, опираясь более на тех, в ком раньше сомневался, нежели на всех прочих. Но тут нельзя говорить отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств. Скажу лишь, что расположением тех, кто поначалу был врагом государя, ничего не стоит заручиться в том случае, если им для сохранения своего положения требуется его покро-

вительство. И они тем ревностнее будут служить государю, что захотят делами доказать превратность прежнего о них мнения. Таким образом они всегда окажутся полезнее для государя, нежели те, кто, будучи уверен в его благоволении, чрезмерно печется о собственном благе.

И так как этого требует обсуждаемый предмет, то я желал бы напомнить государям, пришедшим к власти с помощью части граждан, что следует вдумываться в побуждения тех, кто тебе помогал, и если окажется, что дело не в личной приверженности, а в недовольстве прежним правлением, то удержать их дружбу будет крайне трудно, ибо удовлетворить таких людей невозможно. Если на примерах из древности и современной жизни мы попытаемся понять причину этого, то увидим, что всегда гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту.

Издавна государи ради упрочения своей власти возводят крепости, дабы ими, точно уздою и поводьями, сдерживать тех, кто замышляет крамолу, а также дабы располагать надежным убежищем на случай внезапного нападения врага. Могу похвалить этот ведущийся издавна обычай. Однако на нашей памяти мессер Никколо Вителли приказал срыть две крепости в Читта́ ди Кастелло, чтобы удержать в своих руках город. Гвидо Убальдо, вернувшись в свои владения, откуда его изгнал Чезаре Борджа, разрушил до основания все крепости этого края, рассудив, что так ему будет легче удержать государство. Семейство Бентивольи, вернувшись в Болонью, поступило подобным же образом. Из чего следует, что полезны крепости или нет – зависит от обстоятельств, и если в одном случае они во благо, то в другом случае они во вред. Разъясню подробнее: тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних врагов, крепости полезны; а тем из них, кто больше боится внешних врагов, чем народа, крепости не нужны. Так семейству Сфорца замок в Милане, построенный герцогом Франческо Сфорца, нанес больший урон, нежели все беспорядки, случившиеся в их государстве. Поэтому лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным

народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо, когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы. В наши дни от крепостей никому не было пользы, кроме разве графини Форли, после смерти ее супруга, графа Джироламо; благодаря замку ей удалось укрыться от восставшего народа, дождаться помощи из Милана и возвратиться к власти; время же было такое, что никто со стороны не мог оказать поддержку народу; но впоследствии и ей не помогли крепости, когда ее замок осадил Чезаре Борджа и враждебный ей народ примкнул к чужеземцам. Так что для нее было бы куда надежнее, и тогда и раньше, не возводить крепости, а постараться не возбудить ненависти народа.

Итак, по рассмотрении всего сказанного выше, я одобрю и тех, кто строит крепости, и тех, кто их не строит, но осужу всякого, кто, полагаясь на крепости, не озабочен тем, что ненавистен народу.

Глава XXI

КАК НАДЛЕЖИТ ПОСТУПАТЬ ГОСУДАРЮ, ЧТОБЫ ЕГО ПОЧИТАЛИ

Ничто не может внушить к государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки. Из нынешних правителей сошлюсь на Фердинанда Арагонского, короля Испании. Его можно было бы назвать новым государем, ибо, слабый вначале, он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира; и все его действия исполнены величия, а некоторые поражают воображение. Основанием его могущества послужила война за Гренаду, предпринятая вскоре после вступления на престол. Прежде всего, он начал войну, когда внутри страны было тихо, не опасаясь, что ему помешают, и увлек ею кастильских баронов так, что они, занявшись войной, забыли о смутах; он же тем временем, незаметно для них, сосредоточил в своих руках всю власть и подчинил их своему влиянию. Деньги на содержание войска он получил от Церкви и народа и, пока длилась война, построил армию, которая впоследствии создала ему славу. После этого, замыслив еще более значительные

предприятия, он, действуя опять-таки как защитник религии, сотворил благочестивую жестокость: изгнал марранов и очистил от них королевство, – трудно представить себе более безжалостный и в то же время более необычайный поступок. Под тем же предлогом он захватил земли в Африке, провел кампанию в Италии и, наконец, вступил в войну с Францией. Так он обдумывал и осуществлял великие замыслы, держа в постоянном восхищении и напряжении подданных, поглощенно следивших за ходом событий. И все эти предприятия так вытекали одно из другого, что некогда было замыслить что-либо против самого государя.

Величию государя способствуют также необычайные распоряжения внутри государства, подобные тем, которые приписываются мессеру Бернабо да Милано, иначе говоря, когда кто-либо совершает что-либо значительное в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое главное для государя – постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, наделенного умом выдающимся.

Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого – это всегда лучше, чем стоять в стороне. Ибо когда двое сильных правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возможный победитель либо опасен для тебя, либо нет. В обоих случаях выгоднее открыто и решительно вступить в войну. Ибо в первом случае, не вступив в войну, ты станешь добычей победителя к радости и удовлетворению побежденного, сам же ни у кого не сможешь получить защиты: победитель отвергнет союзника, бросившего его в несчастье, а побежденный не захочет принять к себе того, кто не пожелал с оружием в руках разделить его участь. Антиох, которого этолийцы призвали в Грецию, чтобы прогнать римлян, послал своих ораторов к ахейцам, союзникам римлян, желая склонить ахейцев к невмешательству. Римляне, напротив, убеждали ахейцев вступить в войну. Тогда, чтобы решить дело, ахейцы созвали совет, легат Антиоха призывал их не браться за оружие, римский легат говорил так: «Quod autem isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis

alienum rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis»[1].

И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него с оружием в руках. Нерешительные государи, как правило, выбирают невмешательство, чтобы избежать ближайшей опасности, и, как правило, это приводит их к крушению.

Зато если ты бесстрашно примешь сторону одного из воюющих и твой союзник одержит победу, то, как бы ни был он могуществен и как бы ты от него ни зависел, он обязан тебе – люди же не настолько бесчестны, чтобы нанести удар союзнику, выказав столь явную неблагодарность. Кроме того, победа никогда не бывает полной в такой степени, чтобы победитель мог ни с чем не считаться и в особенности – мог попрать справедливость. Если же тот, чью сторону ты принял, проиграет войну, он примет тебя к себе и, пока сможет, будет тебе помогать, так что ты станешь собратом по несчастью тому, чье счастье, возможно, еще возродится.

Во втором случае, когда ни одного из воюющих не приходится опасаться, примкнуть к тому или к другому еще более благоразумно. Ибо с помощью одного ты разгромишь другого, хотя тому, будь он умнее, следовало бы спасать, а не губить противника; а после победы ты подчинишь союзника своей власти, он же благодаря твоей поддержке неминуемо одержит победу.

Здесь уместно заметить, что лучше избегать союза с теми, кто сильнее тебя, если к этому не понуждает необходимость, как о том сказано выше. Ибо в случае победы сильного союзника ты у него в руках, государи же должны остерегаться попадать в зависимость к другим государям. Венецианцы, к примеру, вступили в союз с Францией против Миланского герцога, когда могли этого избежать, следствием чего и явилось их крушение. Но если нет возможности уклониться от союза, как обстояло дело у флорентийцев, когда папа и Испания двинули войска на

---

[1] «Что до решения, которое предлагается вам как наилучшее и наивыгоднейшее для вашего государства, а именно не вмешиваться в войну, то нет для вас ничего худшего, ибо, приняв это решение, без награды и без чести станете добычей победителя» *(лат.)*.

Ломбардию, то государь должен вступить в войну, чему причины я указал выше. Не стоит лишь надеяться на то, что можно принять безошибочное решение, наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо.

Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие – открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен располагать наградами для тех, кто заботится об украшении города или государства. Он должен также занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, каковые должны присутствовать в каждом его поступке.

Глава XXII

О СОВЕТНИКАХ ГОСУДАРЕЙ

Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они будут, хороши или плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников. Из тех, кто знал мессера Антонио да Венафро, помощника Пандольфо Петруччо, правителя Сиены, никто не усомнился бы в достоинствах и самого Пандольфо, выбравшего себе такого помощника.

Ибо умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий – сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум – выдающийся, второй – значительный, третий – негодный. Из сказанного неопровержимо следует, что ум Пандольфо был если не первого, то второго рода. Ибо когда человек способен распознать добро и зло в делах и в речах людей, то, не будучи сам особо изобретательным, он сумеет отличить дурное от доброго в советах своих помощников и за доброе вознаградит, а за дурное – взыщет; да и помощники его не понадеются обмануть государя и будут добросовестно ему служить.

Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться. Ибо министр, в чьих руках дела государства, обязан думать не о себе, а о государе, и не являться к нему ни с чем, что не относится до государя. Но и государь со своей стороны должен стараться удержать преданность своего министра, воздавая ему по заслугам, умножая его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним обязанности и почести, чтобы тот видел, что государь не может без него обходиться, и чтобы, имея достаточно богатств и почестей, не возжелал новых богатств и почестей, а также чтобы, занимая разнообразные должности, убоялся переворотов. Когда государь и его министр обоюдно ведут себя таким образом, они могут быть друг в друге уверены, когда же они ведут себя иначе, это плохо кончается либо для одного, либо для другого.

Глава XXIII

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛЬСТЕЦОВ

Я хочу коснуться еще одного важного обстоятельства, а именно одной слабости, от которой трудно уберечься правителям, если их не отличает особая мудрость и знание людей. Я имею в виду лесть и льстецов, которых во множестве приходится видеть при дворах государей, ибо люди так тщеславны и так

обольщаются на свой счет, что с трудом могут уберечься от этой напасти. Но беда еще и в том, что когда государь пытается искоренить лесть, он рискует навлечь на себя презрение. Ибо нет другого способа оградить себя от лести, как внушив людям, что, если они выскажут тебе всю правду, ты не будешь на них в обиде, но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение.

Поэтому благоразумный государь должен избрать третий путь, а именно: отличив нескольких мудрых людей, им одним предоставить право высказывать все, что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чем больше; однако спрашивать надо обо всем и выслушивать ответы, решение же принимать самому и по своему усмотрению. На советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее они выскажутся, тем более угодят государю; но вне их никого не слушать, а прямо идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. Кто действует иначе, тот либо поддается лести, либо, выслушивая разноречивые советы, часто меняет свое мнение, чем вызывает неуважение подданных.

Сошлюсь на один современный пример. Отец Лука, доверенное лицо императора Максимилиана, говоря о его величестве, заметил, что тот ни у кого совета не просит, но по-своему тоже не поступает именно оттого, что его образ действий противоположен описанному выше. Ибо император человек скрытный, намерений своих никому не поверяет, совета на их счет не спрашивает. Но когда по мере осуществления они выходят наружу, то те, кто его окружают, начинают их оспаривать, и государь, как человек слабый, от них отступается. Поэтому начатое сегодня назавтра отменяется, и никогда нельзя понять, чего желает и что намерен предпринять император, и нельзя положиться на его решение.

Таким образом, государь всегда должен советоваться с другими, но только когда он того желает, а не когда того желают другие; и он должен осаживать всякого, кто вздумает, непрошеный, подавать ему советы. Однако сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпеливо выслушивать правдивые

ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, что кто-либо почему-либо опасается говорить ему правду. Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключений, гласит: государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы, если только такой государь случайно не доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения. Но хотя подобное положение и возможно, ему скоро пришел бы конец, ибо советник сам сделался бы государем. Когда же у государя не один советник, то, не обладая мудростью, он не сможет примирить разноречивые мнения; кроме того, каждый из советников будет думать лишь о собственном благе, а государь этого не разглядит и не примет меры. Других же советников не бывает, ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. Отсюда можно заключить, что добрые советы, кто бы их ни давал, родятся из мудрости государей, а не мудрость государей родится из добрых советов.

Глава XXIV

ПОЧЕМУ ГОСУДАРИ ИТАЛИИ ЛИШИЛИСЬ СВОИХ ГОСУДАРСТВ

Если новый государь разумно следует названным правилам, он скоро утвердится в государстве и почувствует себя в нем прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству. Ибо новый государь вызывает большее любопытство, чем наследный правитель, и если действия его исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей, чем древность рода. Ведь люди гораздо больше заняты сегодняшним днем, чем вчерашним, и если в настоящем обретают благо, то довольствуются им и не ищут другого; более того, они горой станут за нового государя, если сам он будет действовать надлежащим образом. И двойную славу стяжает тот, кто создаст государство и укрепит его хорошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и добрыми примерами; так же как двойным позором покроет

себя тот, кто, будучи рожден государем, по неразумию лишится власти.

Если мы обратимся к тем государям Италии, которые утратили власть, таким, как король Неаполитанский, герцог Миланский и другие, то мы увидим, что наиболее уязвимым их местом было войско, чему причины подробно изложены выше. Кроме того, некоторые из них либо враждовали с народом, либо, расположив к себе народ, не умели обезопасить себя со стороны знати. Ибо там, где нет подобных изъянов, государь не может утратить власть, если имеет достаточно сил, чтобы выставить войско. Филипп Македонский, не отец Александра Великого, а тот, что был разбит Титом Квинцием, имел небольшое государство по сравнению с теми великими, что на него напали, – Римом и Грецией, но, будучи воином, а также умея расположить к себе народ и обезопасить себя от знати, он выдержал многолетнюю войну против римлян и греков и хотя потерял под конец несколько городов, зато сохранил за собой царство.

Так что пусть те из наших государей, кто, властвуя много лет, лишился своих государств, пеняют не на судьбу, а на собственную нерадивость. В спокойное время они не предусмотрели возможных бед – по общему всем людям недостатку в затишье не думать о буре, – когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно. Если нет другого выхода, хорош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих, точно так же как не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут. Даже если тебя и выручат из беды, это небезопасно для тебя, так как ты окажешься в положении зависимом и унизительном. А только те способы защиты хороши, основательны и надежны, которые зависят от тебя самого и от твоей доблести.

Глава XXV

КАКОВА ВЛАСТЬ СУДЬБЫ НАД ДЕЛАМИ ЛЮДЕЙ И КАК МОЖНО ЕЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Я знаю, сколь часто утверждалось раньше и утверждается ныне, что всем в мире правят судьба и Бог,

люди же с их разумением ничего не определяют и даже ничему не могут противостоять; отсюда делается вывод, что незачем утруждать себя заботами, а лучше примириться со своим жребием. Особенно многие уверовали в это за последние годы, когда на наших глазах происходят перемены столь внезапные, что всякое человеческое предвидение оказывается перед ними бессильно. Иной раз и я склоняюсь к общему мнению, задумываясь о происходящем.

И однако, ради того, чтобы не утратить свободу воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим людям. Я уподобил бы судьбу бурной реке, которая, разбушевавшись, затопляет берега, валит деревья, крушит жилища, вымывает и намывает землю: все бегут от нее прочь, все отступают перед ее напором, бессильные его сдержать. Но хотя бы и так, – разве это мешает людям принять меры предосторожности в спокойное время, то есть возвести заграждения и плотины так, чтобы, выйдя из берегов, река либо устремилась в каналы, либо остановила свой безудержный и опасный бег?

То же и судьба: она являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений. Взгляните на Италию, захлестнутую ею же вызванным бурным разливом событий, и вы увидите, что она подобна ровной местности, где нет ни плотин, ни заграждений. А ведь если бы она была защищена доблестью, как Германия, Испания и Франция, этот разлив мог бы не наступить или по крайней мере не причинить столь значительных разрушений. Этим, я полагаю, сказано достаточно о противостоянии судьбе вообще.

Что же касается, в частности, государей, то нам приходится видеть, как некоторые из них, еще вчера благоденствовавшие, сегодня лишаются власти, хотя, как кажется, не изменился ни весь склад их характера, ни какое-либо отдельное свойство. Объясняется это, я полагаю, теми причинами, которые были подробно разобраны выше, а именно тем, что если государь всецело полагается на судьбу, он не может выстоять против ее ударов. Я думаю также, что сохраняют

благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени.

Ибо мы видим, что люди действуют по-разному, пытаясь достичь цели, которую каждый ставит перед собой, то есть богатства и славы: один действует осторожностью, другой натиском; один – силой, другой – искусством; один – терпением, другой – противоположным способом, и каждого его способ может привести к цели. Но иной раз мы видим, что хотя оба действовали одинаково, например, осторожностью, только один из двоих добился успеха, и наоборот, хотя каждый действовал по-своему: один осторожностью, другой натиском, – оба в равной мере добились успеха. Зависит же это именно от того, что один образ действий совпадает с особенностями времени, а другой – не совпадает. Поэтому бывает так, что двое, действуя по-разному, одинаково добиваются успеха, а бывает так, что двое действуют одинаково, но только один из них достигает цели.

От того же зависят и превратности благополучия: пока для того, кто действует осторожностью и терпением, время и обстоятельства складываются благоприятно, он процветает, но стоит времени и обстоятельствам перемениться, как процветанию его приходит конец, ибо он не переменил своего образа действий. И нет людей, которые умели бы к этому приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Во-первых, берут верх природные склонности, во-вторых, человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно преуспевал. Вот почему осторожный государь, когда настает время применить натиск, не умеет этого сделать и оттого гибнет, а если бы его характер менялся в лад с временем и обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно.

Папа Юлий всегда шел напролом, время же и обстоятельства благоприятствовали такому образу действий, и потому он каждый раз добивался успеха. Вспомните его первое предприятие – захват Болоньи, еще при жизни мессера Джованни Бентивольи. Венецианцы были против, король Испании тоже, с Францией еще велись об этом переговоры, но папа сам выступил в поход, с обычной для него неукроти-

мостью и напором. И никто этому не воспрепятствовал, венецианцы – от страха, Испания – надеясь воссоединить под своей властью Неаполитанское королевство; уступил и французский король, так как, видя, что папа уже в походе, и желая союза с ним против венецианцев, он решил, что не может без явного оскорбления отказать ему в помощи войсками.

Этим натиском и внезапностью папа Юлий достиг того, чего не достиг бы со всем доступным человеку благоразумием никакой другой глава Церкви; ибо, останься он в Риме, выжидая, пока все уладится и образуется, как сделал бы всякий на его месте, король Франции нашел бы тысячу отговорок, а все другие – тысячу доводов против захвата. Я не буду говорить о прочих его предприятиях, все они были того же рода, и все ему удавались; из-за краткости правления он так и не испытал неудачи, но, проживи он дольше и наступи такие времена, когда требуется осторожность, его благополучию пришел бы конец, ибо он никогда не уклонился бы с того пути, на который его увлекала натура.

Итак, в заключение скажу, что фортуна непостоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому, пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад, благополучию его приходит конец. И все-таки я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна – женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать – таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, – подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укрощают.

Глава XXVI

ПРИЗЫВ ОВЛАДЕТЬ ИТАЛИЕЙ И ОСВОБОДИТЬ ЕЕ ИЗ РУК ВАРВАРОВ

Обдумывая все сказанное и размышляя наедине с собой, настало ли для Италии время чествовать нового государя и есть ли в ней материал, которым мог бы воспользоваться мудрый и доблестный человек, чтобы придать ему форму – во славу себе и на благо отечества, – я заключаю, что столь многое благоприят-

ствует появлению нового государя, что едва ли какое-либо другое время подошло бы для этого больше, чем наше. Как некогда народу Израиля надлежало пребывать в рабстве у египтян, дабы Моисей явил свою доблесть, персам – в угнетении у мидийцев, дабы Кир обнаружил величие своего духа, афинянам – в разобщении, дабы Тезей совершил свой подвиг, так и теперь, дабы обнаружила себя доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего ее позора: до большего рабства, чем евреи; до большего унижения, чем персы; до большего разобщения, чем афиняне: нет в ней ни главы, ни порядка; она разгромлена, разорена, истерзана, растоптана, повержена в прах.

Были мгновения, когда казалось, что перед нами тот, кого Бог назначил стать избавителем Италии, но немилость судьбы настигала его на подступах к цели. Италия же, теряя последние силы, ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграбления Ломбардию, от поборов – Неаполитанское королевство и Тоскану, кто уврачует ее гноящиеся язвы. Как молит она Бога о ниспослании ей того, кто избавит ее от жестокости и насилия варваров! Как полна она рвения и готовности стать под общее знамя, если бы только нашлось, кому его понести!

И самые большие надежды возлагает она ныне на ваш славный дом, каковой, благодаря доблести и милости судьбы, покровительству Бога и Церкви, глава коей принадлежит к вашему дому, мог бы принять на себя дело освобождения Италии. Оно окажется не столь уж трудным, если вы примете за образец жизнь и деяния названных выше мужей. Как бы ни были редки и достойны удивления подобные люди, все же они – люди, и каждому из них выпал случай не столь благоприятный, как этот. Ибо дело их не было более правым, или более простым, или более угодным Богу. Здесь дело поистине правое, – «Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ibi nulla nisi in armis spes est»[1]. Здесь условия поистине благоприятны, а где благоприятны условия, там трудности отступают, особенно если следовать примеру тех мужей, которые названы мною выше. Нам явлены необычай-

---

[1] «Ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда» *(лат.)*.

ные, беспримерные знамения Божии: море расступилось, скала источала воду, манна небесная выпала на землю: все совпало, пророча величие вашему дому. Остальное надлежит сделать вам. Бог не все исполняет сам, дабы не лишить нас свободной воли и причитающейся нам части славы.

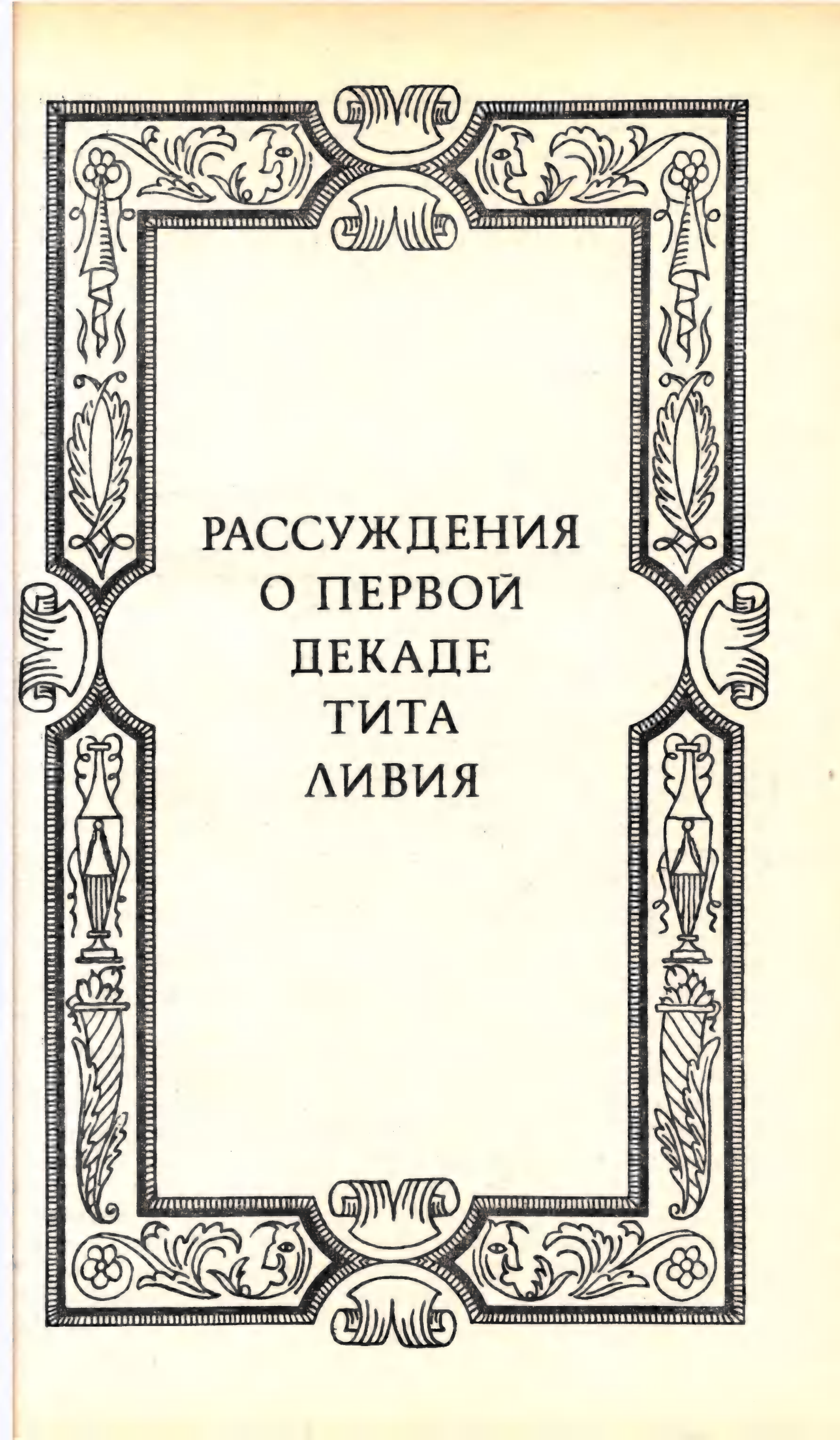
Не удивительно, что ни один из названных выше итальянцев не достиг цели, которой, как можно надеяться, достигнет ваш прославленный дом, и что при множестве переворотов и военных действий в Италии боевая доблесть в ней как будто угасла. Объясняется это тем, что старые ее порядки нехороши, а лучших никто не сумел ввести. Между тем ничто так не прославляет государя, как введение новых законов и установлений. Когда они прочно утверждены и отмечены величием, государю воздают за них почестями и славой; в Италии же достаточно материала, которому можно придать любую форму. Велика доблесть в каждом из ее сынов, но, увы, мало ее в предводителях. Взгляните на поединки и небольшие схватки: как выделяются итальянцы ловкостью, находчивостью, силой. Но в сражениях они как будто теряют все эти качества. Виной же всему слабость военачальников: если кто и знает дело, то его не слушают, и хотя знающим объявляет себя каждый, до сих пор не нашлось никого, кто бы так отличился доблестью и удачей, чтобы перед ним склонились все остальные. Поэтому за прошедшие двадцать лет во всех войнах, какие были за это время, войска, составленные из одних итальянцев, всегда терпели неудачу, чему свидетели прежде всего Таро, затем Алессандрия, Капуя, Генуя, Вайла, Болонья и Местри.

Если ваш славный дом пожелает следовать по стопам величайших мужей, ставших избавителями отечества, то первым делом он должен создать собственное войско, без которого всякое предприятие лишено настоящей основы, ибо он не будет иметь ни более верных, ни более храбрых, ни лучших солдат. Но как бы ни был хорош каждый из них в отдельности, вместе они окажутся еще лучше, если во главе войска увидят своего государя, который чтит их и отличает. Такое войско поистине необходимо, для того чтобы италийская доблесть могла отразить вторжение иноземцев. Правда, испанская и швейцарская пехота считается грозной, однако же в той и другой имеются недостатки,

так что иначе устроенное войско могло бы не только выстоять против них, но даже их превзойти. Ибо испанцы отступают перед конницей, а швейцарцев может устрашить пехота, если окажется не менее упорной в бою. Мы уже не раз убеждались и еще убедимся в том, что испанцы отступали перед французской кавалерией, а швейцарцы терпели поражение от испанской пехоты. Последнего нам еще не приходилось наблюдать в полной мере, но дело шло к тому в сражении при Равенне – когда испанская пехота встретилась с немецкими отрядами, устроенными наподобие швейцарских. Ловким испанцам удалось пробраться, прикрываясь маленькими щитами, под копья и, находясь в безопасности, разить неприятеля так, что тот ничего не мог с ними поделать, и если бы на испанцев не налетела конница, они добили бы неприятельскую пехоту. Таким образом, изучив недостатки того и другого войска, нужно построить новое, которое могло бы устоять перед конницей и не боялось бы чужой пехоты, что достигается как новым родом оружия, так и новым устройством войска. И все это относится к таким нововведениям, которые более всего доставляют славу и величие новому государю.

Итак, нельзя упустить этот случай: пусть после стольких лет ожидания Италия увидит наконец своего избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных вторжений, с какой жаждой мщения, с какой непоколебимой верой, с какими слезами! Какие двери закрылись бы перед ним? Кто отказал бы ему в повиновении? Чья зависть преградила бы ему путь? Какой итальянец не воздал бы ему почестей? Каждый ощущает, как смердит господство варваров. Так пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с тем мужеством и той надеждой, с какой вершатся правые дела, дабы под сенью его знамени возвеличилось наше отечество и под его водительством сбылось сказанное Петраркой:

Доблесть ополчится на неистовство,
И краток будет бой,
Ибо не умерла еще доблесть
В итальянском сердце.



РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Хотя по причине завистливой природы человеческой открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей, ибо люди склонны скорее хулить, нежели хвалить поступки других, я, тем не менее, побуждаемый естественным и всегда мне присущим стремлением делать, невзирая на последствия, то, что, по моему убеждению, способствует общему благу, твердо решил идти непроторенной дорогой, каковая, доставя мне докуки и трудности, принесет мне также и награду от тех, кто благосклонно следил за этими моими трудами. И если из-за скудости ума, недостаточной искушенности в событиях нынешних и слабого знания событий древних попытка моя окажется безуспешной и не слишком полезной, она все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца этот мой замысел; поэтому если я и не удостоюсь за труд мой похвал, то и подвергнуться за него порицанию не должен.

Когда я вспоминаю о том, какие почести воздаются древности и сколь часто, – оставляя сейчас в стороне многие другие примеры, – обломок какой-нибудь античной статуи покупается за огромные деньги, чтобы держать его подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для подражания всем тем, кто занимается таким же искусством, и как эти последние затем изо всех сил стараются воспроизвести его во всех своих произведениях; и когда я, с другой стороны, вижу, что доблестнейшие деяния, о которых

нам повествует история, совершенные в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими людьми, трудившимися на благо отчизны, в наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание, более того, что всякий их до того сторонится, что от прославленной древней доблести не осталось у нас и следа,– я не могу всему этому не изумляться и вместе с тем не печалиться. Мое изумление и печаль только еще больше возрастают оттого, что я вижу, как при несогласиях, возникающих у людей в гражданской жизни, или при постигающих их болезнях они постоянно обращаются к тем самым решениям и средствам, которые выносились и предписывались древними. Ведь наши гражданские законы являются не чем иным, как судебными решениями, вынесенными древними юристами. Будучи упорядоченными, решения эти служат теперь руководством для наших юристов в их судебной практике. Точно так же и медицина является не чем иным, как опытом древних врачей, на котором основываются нынешние врачи, прописывая свои лекарства. Однако, как только дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится ни государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних. Я убежден, что проистекает это не столько от слабости, до которой довела мир нынешняя религия, или же от того зла, которое причинила многим христианским городам и странам тщеславная праздность, сколько от недостатка подлинного понимания истории, помогающего при чтении сочинений историков получать удовольствие и вместе с тем извлекать из них тот смысл, который они в себе содержат. Именно от этого проистекает то, что весьма многие читающие исторические сочинения с интересом воспринимают разнообразие описываемых в них происшествий, но нимало не помышляют о подражании им, полагая таковое подражание делом не только трудным, но вовсе невозможным, словно бы небо, солнце, стихии, люди изменили со времен античности свое движение, порядок и силу. Поэтому, желая избавить людей от подобного заблуждения, я счел необходимым написать о всех тех книгах Тита Ливия, которые не разорвала злокозненность

времени, все то, что покажется мне необходимым для наилучшего понимания древних и современных событий, дабы те, кто прочтут сии мои разъяснения, смогли бы извлечь из них ту самую пользу, ради которой должно стремиться к познанию истории. Дело это, конечно, не легкое; тем не менее с помощью тех, кто побудил меня взять его на себя, я надеюсь продвинуться в нем так далеко, что преемнику моему останется уже немного дойти до положенной цели.

Глава II

СКОЛЬКИХ РОДОВ БЫВАЮТ РЕСПУБЛИКИ И КАКОВА БЫЛА РЕСПУБЛИКА РИМСКАЯ

Я хочу не касаться в своих рассуждениях тех городов, которые с самого начала не были независимыми, и стану говорить лишь о таких, которые у истоков своих были далеки от рабского подчинения иноземцам и которые сразу же управлялись своей волей либо как республики, либо как самодержавные княжества. Такого рода города имели различные основы, разные законы и строй. Некоторые из них еще при своем основании или же вскоре после него получали законы от одного человека, и притом сразу. Так, от Ликурга получили законы спартанцы. Другие, как Рим, получали их от случая к случаю, постепенно, в зависимости от обстоятельств. Подлинно счастливой можно назвать ту республику, где появляется человек столь мудрый, что даваемые им законы обладают такой упорядоченностью, что, подчиняясь им, республика может, не испытывая необходимости в их изменении, жить спокойно и безопасно. Известно, что Спарта свыше восьмисот лет соблюдала свои законы, не извращая их и не переживая гибельных смут. Несколько менее счастлив город, который, не обретя умного и проницательного устроителя, вынужден устраиваться сам собой. И уже совсем несчастен город, который еще дальше ушел от прочного строя, а дальше всего отстоит от него тот город, который во всех своих порядках совершенно сбился с правильного пути, способного привести его к истинной цели и совершенству. Почти невероятно, чтобы подобный город могли бы выправить какие-нибудь обстоятельства. Те же города, которые – пусть даже они и не обладают

совершенным политическим строем – имеют добрую основу, способную к улучшениям, могут при благоприятном стечении обстоятельств достичь совершенства. Правда, однако, переустройства всегда связаны с опасностью, ибо значительная часть людей никогда не соглашается на новый закон, устанавливающий в городе новый порядок, если только необходимость не докажет им, что без этого не обойтись. А так как такая необходимость никогда не возникает без опасности, то может легко случиться, что республика падет еще до того, как будет приведена к совершенному строю. Это превосходно доказывает пример республики во Флоренции, которую во втором году события под Ареццо вновь восстановили, а в двенадцатом события в Прато вынудили опять распасться.

Итак, желая рассмотреть, каков был политический строй города Рима и какие события привели его к совершенству, я отмечу, что некоторые авторы, писавшие о республиках, утверждали, будто существует три вида государственного устройства, именуемые ими: Самодержавие, Аристократия и Народное правление, и что устанавливающие новый строй в городе должны обращаться к тому из этих трех видов, который покажется им более подходящим. Другие же авторы, и, по мнению многих, более мудрые, считают, что имеется шесть форм правления – три очень скверных и три сами по себе хороших, но легко искажаемых и становящихся вследствие этого пагубными. Хорошие формы правления – суть три вышеназванных; дурные же – три остальных, от трех первых зависящие и настолько с ними родственные, что они легко переходят друг в друга: Самодержавие легко становится тираническим, Аристократии с легкостью делаются олигархиями, Народное правление без труда обращается в разнузданность. Таким образом, если учредитель республики учреждает в городе одну из трех перечисленных форм правления, он учреждает ее ненадолго, ибо нет средства помешать ей скатиться в собственную противоположность, поскольку схожесть между пороком и добродетелью в данном случае слишком невелика.

Эти различные виды правления возникли у людей случайно. Вначале, когда обитателей на земле было немного, люди какое-то время жили разобщенно, наподобие диких зверей. Затем, когда род человеческий

размножился, люди начали объединяться и, чтобы лучше оберечь себя, стали выбирать из своей среды самых сильных и храбрых, делать их своими вожаками и подчиняться им. Из этого родилось понимание хорошего и доброго в отличие от дурного и злого. Вид человека, вредящего своему благодетелю, вызывал у людей гнев и сострадание. Они ругали неблагодарных и хвалили тех, кто оказывался благодарным. Потом, сообразив, что сами могут подвергнуться таким же обидам, и дабы избегнуть подобного зла, они пришли к созданию законов и установлению наказаний для их нарушителей. Так возникло понимание справедливости. Вследствие этого, выбирая теперь государя, люди отдавали предпочтение уже не самому отважному, а наиболее рассудительному и справедливому. Но так как со временем государственная власть из выборной превратилась в наследственную, то новые, наследственные государи изрядно выродились по сравнению с прежними. Не помышляя о доблестных деяниях, они заботились только о том, как бы им превзойти всех остальных в роскоши, сладострастии и всякого рода разврате. Поэтому государь становился ненавистным; всеобщая ненависть вызывала в нем страх; страх же толкал его на насилия, и все это вскоре порождало тиранию. Этим клалось начало крушению единовластия: возникали тайные общества и заговоры против государей. Устраивали их люди не робкие и слабые, но те, кто возвышались над прочими своим благородством, великодушием, богатством и знатностью и не могли сносить гнусной жизни государя. Массы, повинуясь авторитету сих могущественных граждан, ополчались на государя и, уничтожив его, подчинялись им, как своим освободителям. Последние, ненавидя имя самодержца, создавали из самих себя правительство. Поначалу, памятуя о прошлой тирании, они правили в соответствии с установленными ими законами, жертвуя личными интересами ради общего блага и со вниманием относясь как к частным, так и к общественным делам. Однако через некоторое время управление переходило к их сыновьям, которые, не познав превратностей судьбы, не испытав зла и не желая довольствоваться гражданским равенством, становились алчными, честолюбивыми, охотниками до чужих жен, превращая таким образом правление Оптиматов в правление немногих, совершенно не считающееся

с нормами общественной жизни. Поэтому сыновей Оптиматов вскоре постигла судьба тирана. Раздраженные их правлением, народные массы с готовностью шли за всяким, кто только не пожелал бы выступить против подобных правителей; такой человек немедленно находился и уничтожал их с помощью масс. Однако память о государе и творимых им бесчинствах была еще слишком свежа; поэтому, уничтожив власть немногих и не желая восстанавливать единовластие государя, люди обращались к народному правлению и устраивали его так, чтобы ни отдельные могущественные граждане, ни государи не могли бы иметь в нем никакого влияния. Так как любой государственный строй на первых порах внушает к себе некоторое почтение, то народное правление какое-то время сохранялось, правда недолго – пока не умирало создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в городе воцарялась разнузданность, при которой никто уже не боялся ни частных лиц, ни общественных; всякий жил как хотел, и каждодневно учинялось множество всяких несправедливостей. Тогда, вынуждаемые к тому необходимостью, или по наущению какого-нибудь доброго человека, или же из желания покончить с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию, а затем мало-помалу снова доходили до разнузданности – тем же путем и по тем же причинам.

Таков круг, вращаясь в котором республики управлялись и управляются. И если они редко возвращаются к исходным формам правления, то единственно потому, что почти ни у одной республики не хватает сил пройти через все вышесказанные изменения и устоять. Чаще всего случается, что в пору мучительных перемен, когда республика всегда бывает ослаблена и лишена мудрого совета, она становится добычей какого-нибудь соседнего государства, обладающего лучшим политическим строем. Но если бы этого не происходило, республика могла бы бесконечно вращаться в смене одних и тех же форм правления.

Итак, я утверждаю, что все названные формы губительны: три хороших по причине их кратковременности, а три дурных – из-за их злокачественности. Поэтому, зная об этом их недостатке, мудрые законодатели избегали каждой из них в отдельности и избирали такую, в которой они оказывались бы переме-

шанными, считая подобную форму правления более прочной и устойчивой, ибо, сосуществуя одновременно в одном и том же городе, Самодержавие, Оптиматы и Народное правление оглядываются друг на друга.

Из создателей такого рода конституций более всех достоин славы Ликург. Давая Спарте законы, он отвел соответствующую роль Царям, Аристократам и Народу и создал государственный строй, просуществовавший свыше восьмисот лет и принесший этому городу великую славу и благоденствие. Совсем иное случилось с Солоном, давшим законы Афинам. Установив там одно лишь Народное правление, он дал ему столь краткую жизнь, что еще до своей смерти успел увидеть в Афинах тиранию Писистрата. И хотя через сорок лет наследники Писистрата были изгнаны и в Афинах возродилась свобода, ибо там было восстановлено Народное правление в соответствии с законами Солона, правление это просуществовало не дольше ста лет, несмотря на то что для поддержания его принимались различные, не предусмотренные самим Солоном постановления, направленные на обуздание наглости дворян и всеобщей разнузданности. Как бы то ни было, так как Солон не соединил Народное правление с сильными сторонами Самодержавия и Аристократии, Афины, по сравнению со Спартой, прожили очень недолгую жизнь.

Обратимся, однако, к Риму. Несмотря на то что в Риме не было своего Ликурга, который бы с самого начала устроил его так, чтобы он мог долгое время жить свободным, в нем создалось множество благоприятных обстоятельств, возникших благодаря разногласиям между Плебсом и Сенатом, и то, чего не совершил законодатель, сделал случай. Поэтому если Риму не повезло вначале, то ему повезло потом. Первые учреждения его были плохи, но не настолько, чтобы свернуть его с правильного пути, могущего привести к совершенству. Ромул и другие цари создали много хороших законов, отвечающих, между прочим, и требованиям свободы, но так как целью их было основание царства, а не республики, то, когда Рим стал свободным, оказалось, что в нем недостает многого, что надо было бы учредить ради свободы и о чем цари не позаботились.

После того как римские цари лишились власти вследствие обсуждавшихся нами причин и рассмотренным выше образом, изгнавшие их сразу же учредили

должность двух Консулов, занявших место Царя, так что из Рима была изгнана не сама царская власть, а лишь ее имя. Таким образом, поскольку в римской республике имелись Консулы и Сенат, она представляла собой соединение двух из трех вышеописанных начал, а именно Самодержавия и Аристократии. Оставалось только дать место народному правлению. Поэтому, когда римская знать по причинам, о которых будет говорено дальше, совсем обнаглела, против нее восстал Народ, и, чтобы не потерять всего, ей пришлось поступиться и предоставить Народу его долю в управлении государством. С другой стороны, у Консулов и Сената сохранилось достаточно власти, чтобы они могли удерживать в республике свое прежнее положение. Так возник институт плебейских Трибунов. После его возникновения состояние римской республики упрочилось, ибо в ней получили место все три правительственных начала. Судьба была столь благосклонна к Риму, что, хотя он переходил от правления Царей и Оптиматов к правлению Народа, проходя через вышеописанные ступени и повинуясь аналогичным причинам, тем не менее царская власть в нем никогда не была полностью уничтожена для передачи ее Оптиматам, а власть Оптиматов не была уменьшена для передачи ее Народу. Смешавшись друг с другом, они сделали республику совершенной. К такому совершенству Рим пришел благодаря раздорам между Плебсом и Сенатом, как это будет подробно показано в двух следующих главах.

Глава III

КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИВЕЛИ К СОЗДАНИЮ В РИМЕ ПЛЕБЕЙСКИХ ТРИБУНОВ, КАКОВОЕ СДЕЛАЛО РЕСПУБЛИКУ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ

Как доказывают все, рассуждающие об общественной жизни, и как то подтверждается множеством примеров из истории, учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Если же чья-нибудь злобность некоторое время не обнаруживается, то происходит это вследствие каких-то неясных причин, пониманию кото-

рых мешает отсутствие опыта; однако ее все равно обнаружит время, называемое отцом всякой истины.

Казалось, что после изгнания Тарквиниев в Риме установилось величайшее согласие между Плебсом и Сенатом; что Знать отказалась от своего высокомерия и настолько прониклась народным духом, что стала выносимой даже для человека из самых низов. Это ее лицемерие не было обнаружено и причины его не были ясны, пока были живы Тарквинии. Боясь их и опасаясь, как бы притесняемый Плебс не примкнул к ним, Знать обращалась с плебеями по-человечески; но едва лишь Тарквинии умерли и у Знати исчез страх перед ними, как она стала извергать на Плебс яд, скопившийся у нее в груди, и угнетать его всеми возможными способами. Это подтверждает сказанное мной выше: люди поступают хорошо лишь по необходимости; когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы – добрыми. Там, где что-либо совершается хорошо само собой, без закона, в законе нет надобности; но когда добрый обычай исчезает, закон сразу же делается необходимым. Поэтому, когда умерли Тарквинии, страх перед которыми обуздывал Знать, пришлось подумать о каком-нибудь новом порядке, который оказывал бы такое же действие, что и Тарквинии, пока они были живы. Поэтому после многих смут, волнений и рискованных столкновений между Плебсом и Знатью для безопасности Плебса были учреждены Трибуны. Им были предоставлены большие полномочия, и они пользовались таким уважением, что могли всегда играть роль посредников между Плебсом и Сенатом и противостоять наглости Знати.

Глава IV

О ТОМ, ЧТО РАЗДОРЫ МЕЖДУ ПЛЕБСОМ И СЕНАТОМ СДЕЛАЛИ РИМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ СВОБОДНОЙ И МОГУЩЕСТВЕННОЙ

Я не хочу оставить без рассмотрения смуты, происходившие в Риме после смерти Тарквиниев и до учреждения Трибунов, и намерен кое-что возразить

тем, кто утверждает, будто Рим был республикой настолько подверженной смутам и до того беспорядочной, что, не исправь судьба и военная доблесть его недостатков, он оказался бы ничтожнее всякого другого государства. Я не могу отрицать того, что счастливая судьба и армия были причинами римского владычества; но в данном случае мне представляется неизбежным само возникновение названных причин, ибо хорошая армия имеется там, где существует хороший политический строй, и хорошей армии редко не сопутствует счастье.

Но перейдем к другим примечательным особенностям этого города. Я утверждаю, что осуждающие столкновения между Знатью и Плебсом порицают, по-моему, то самое, что было главной причиной сохранения в Риме свободы; что они обращают больше внимания на ропот и крики, порождавшиеся такими столкновениями, чем на вытекавшие из них благие последствия; и что, наконец, они не учитывают того, что в каждой республике имеются два различных умонастроения – народное и дворянское, и что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались разногласиями между народом и грандами. В этом легко убедиться на примере истории Рима. От Тарквиниев до Гракхов – а их разделяет более трехсот лет – смуты в Риме очень редко приводили к изгнаниям и еще реже – к кровопролитию. Никак нельзя называть подобные смуты губительными. Никак нельзя утверждать, что в республике, которая при всех возникавших в ней раздорах за такой долгий срок отправила в изгнание не более восьми – десяти граждан, почти никого не казнила и очень немногих приговорила к денежному штрафу, отсутствовало внутреннее единство. И уж вовсе безосновательно объявлять неупорядоченной республику, давшую столько примеров доблести, ибо добрые примеры порождаются хорошим воспитанием, хорошее воспитание – хорошими законами, а хорошие законы – теми самыми смутами, которые многими необдуманно осуждаются. В самом деле, всякий, кто тщательно исследует исход римских смут, обнаружит, что из них проистекали не изгнания или насилия, наносящие урон общему благу, а законы и постановления, укрепляющие общественную свободу.

Возможно, кто-нибудь мне возразит: «Что за стран-

ные, чуть ли не зверские нравы: народ скопом орет на Сенат, Сенат – на народ, граждане суматошно бегают по улицам, запирают лавки, все плебеи разом покидают Рим – обо всем этом страшно даже читать». На это я отвечу: всякий город должен обладать обычаями, предоставляющими народу возможность давать выход его честолюбивым стремлениям, а особливо такой город, где во всех важных делах приходится считаться с народом. Для Рима было обычным, что когда народ хотел добиться нужного ему закона, он либо прибегал к какому-нибудь из вышеназванных действий, либо отказывался идти на войну, и тогда, чтобы успокоить его, приходилось в какой-то мере удовлетворять его желание. Но стремления свободного народа редко бывают губительными для свободы, ибо они порождаются либо притеснениями, либо опасениями народа, что его хотят притеснять. Если опасения эти необоснованны, надежным средством против них является сходка, на которой какой-нибудь уважаемый человек произносит речь и доказывает в ней народу, что тот заблуждается. Несмотря на то что народ, по словам Туллия, невежествен, он способен воспринять истину и легко уступает, когда человек, заслуживающий доверия, говорит ему правду.

Итак, следует более осмотрительно порицать римскую форму правления и помнить о том, что многие хорошие следствия, имевшие место в римской республике, должны были быть обусловлены превосходными причинами. И раз смуты были причиной учреждения Трибунов, они заслуживают высшей похвалы. Учреждение Трибунов не только предоставило народу его долю в управлении государством, но и имело своей целью защиту свободы, как то будет показано в следующей главе.

Глава V

КТО ЛУЧШЕ ОХРАНЯЕТ СВОБОДЫ – НАРОД ИЛИ ДВОРЯНЕ, И У КОГО БОЛЬШЕ ПРИЧИН ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СМУТ – У ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ, ИЛИ ЖЕ У ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ПРИОБРЕТЕННОЕ

Те, кто мудро создавали республику, одним из самых необходимых дел почитали организацию охраны свободы. В зависимости от того, кому она вверялась, дольше

или меньше сохранялась свободная жизнь. А так как в каждой республике имеются люди знатные и народ, то возникает вопрос, кому лучше поручить названную охрану. У лакедемонян, а во времена более к нам близкие у венецианцев, охрана свободы была отдана в руки Нобилей; но у римлян она была поручена Плебсу.

Необходимо поэтому рассмотреть, какая из этих республик сделала лучший выбор. Если вникать в причины, то можно будет много сказать в пользу каждой из них. Если же взглянуть на результаты, то придется, наверное, отдать предпочтение Нобилям, ибо свобода в Спарте и Венеции просуществовала дольше, чем в Риме.

Обращаясь к рассмотрению причин, я скажу, имея в виду сперва римлян, что охрану какой-нибудь вещи надлежит поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ей. А если мы посмотрим на цели людей благородных и людей худородных, то, несомненно, обнаружим, что благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть порабощенными и, следовательно, гораздо больше, чем гранды, любят свободную жизнь, имея меньше надежд, чем они, узурпировать общественную свободу. Поэтому естественно, что когда охрана свободы вверена народу, он печется о ней больше и, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим.

Но с другой стороны, защитники спартанского и венецианского строя говорят, что при вручении охраны свободы людям могущественным и знатным сразу достигаются две важные цели: во-первых, благодаря этому знать удовлетворяет свое честолюбие и, занимая господствующее положение в республике, держа в своих руках дубину власти, имеет все основания чувствовать себя вполне довольной, а во-вторых, этим сильно ослабляется мятежный дух черни, являющийся причиной бесконечных раздоров и беспорядков в республике и способный довести Знать до такого отчаяния, которое со временем принесет дурные плоды. В качестве примера они ссылаются на тот же Рим, где после установления должности плебейских Трибунов чернь, получив в свои руки власть, не довольствовалась одним плебейским Консулом, но пожелала, чтобы оба Консула были плебейскими. Потом она потребовала себе Цензуру, Претуру и все другие высшие правительственные должности в государстве. Но и это ее не удовлетворило;

поэтому, увлекаемая все тем же неистовством, она начала обожать людей, которых считала способными сокрушить знать. Это породило могущество Мария и погубило Рим.

Поистине, тому, кто должным образом взвесит одну и другую возможность, не легко будет решить, кому следует поручить охрану свободы, не уяснив предварительно, какая из человеческих склонностей пагубнее для республики – та ли, что побуждает сохранять приобретенные почести, или же та, что толкает на их приобретение.

Всякий, кто тщательно исследует этот вопрос со всех сторон, придет в конце концов к следующему выводу: ты рассуждаешь либо о республике, желающей создать империю, подобную Риму, либо о той, которой достаточно просто уцелеть. В первом случае надо делать все, как делалось в Риме; во втором – можно подражать Венеции и Спарте по причинам, о которых будет сказано в следующей главе.

Но, возвращаясь к рассмотрению того, какие люди опаснее для республики – те ли, что жаждут приобретать, или же те, кто боится утратить приобретенное, – укажу, что когда для раскрытия заговора, возникшего в Капуе против Рима, Марк Мененип был сделан диктатором, а Марк Фульвий начальником конницы (оба были плебеями), они получили от народа также и полномочия установить, кто в самом Риме с помощью подкупа и вообще незаконными путями затевает получить консульство и другие должности. Знать сочла, что таковые полномочия, данные диктатору, были направлены против нее, и распустила по Риму слухи, будто почетных должностей подкупом и незаконным способом ищут не знатные люди, а худородные, которые, не имея возможности полагаться на происхождение и собственные доблести, пытаются достичь высокого положения незаконным путем. Особенно в этом обвиняли самого диктатора. Обвинения эти были настолько серьезны, что Мененип, созвав сходку и жалуясь на клевету, возведенную на него знатью, сложил с себя диктатуру и отдался на суд народа. Дело его разбиралось, и он был оправдан. На суде много спорили о том, кто честолюбивее – тот ли, кто хочет сохранить приобретенную власть, или же тот, кто стремится к ее приобретению, ибо и то и другое желание легко может стать причиной величайших смут. Чаще всего, однако,

таковые смуты вызываются людьми имущими, потому что страх потерять богатство порождает у них те же самые страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Не говоря уж о том, что более богатые люди имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен. Кроме того, нередко случается, что их наглое и заносчивое поведение зажигает в сердцах людей неимущих желание обладать властью либо для того, чтобы отомстить обидчикам, разорив их, либо для того, чтобы самим получить богатство и почести, которыми те злоупотребляют.

Глава VI

ВОЗМОЖНО ЛИ БЫЛО УСТАНОВИТЬ В РИМЕ ТАКОЙ СТРОЙ, КОТОРЫЙ УНИЧТОЖИЛ БЫ ВРАЖДУ МЕЖДУ НАРОДОМ И СЕНАТОМ

Выше мы рассуждали о последствиях, которые имели раздоры между Народом и Сенатом. Однако, проследив их до времени Гракхов, когда они сделались причиной крушения свободной жизни, вероятно, найдется кто-нибудь, кто пожелает, чтобы Рим достиг великих результатов без того, чтобы в нем существовала вышеназванная вражда. Поэтому мне кажется делом, достойным внимания, посмотреть, можно ли было установить в Риме такой строй, который уничтожил бы упомянутые раздоры. А желая исследовать это, необходимо обратиться к тем республикам, которые долгое время просуществовали свободными без подобной вражды и смут, и посмотреть, каков был у них строй и можно ли было ввести его в Риме. В качестве примера у древних возьмем Спарту, а у наших современников Венецию – государства, о которых я уже говорил.

В Спарте был царь и небольшой Сенат, который ею управлял. Венеция же не имеет различных наименований для членов правительства; все, кто могут принимать участие в управлении, называются там одним общим именем – Дворяне. Такой обычай возник в Венеции больше благодаря случаю, нежели мудрости ее законодателей. Дело обстояло вот как: на небольших клочках

суши, где расположен теперь город, в силу причин, о которых уже говорилось, скопилось много людей. Когда число их возросло настолько, что для продолжения совместной жизни им потребовались законы, они установили определенную форму правления; часто собираясь вместе на советы, на которых решались вопросы, касающиеся города, они в конце концов постановили, что их вполне достаточно для нормальной политической жизни, и закрыли возможность для участия в правлении всем тем, кто поселился бы там позднее. А так как со временем в Венеции оказалось довольно много жителей, не имеющих доступа к правлению, то, дабы почтить тех, кто правил, их стали именовать Дворянами, всех же прочих – Пополанами.

Подобный порядок смог возникнуть и сохраниться без смут, потому что, когда он родился, любой из тогдашних обитателей Венеции входил в правительство, так что жаловаться было некому; те же, кто поселился в ней позднее, найдя государство прочным и окончательно сложившимся, не имели ни причин, ни возможностей для смут. Причин у них не было потому, что никто их ничего не лишил; возможностей же у них не было оттого, что правители держали их прочно в узде и не использовали там, где они могли бы приобрести авторитет. Кроме того, тех, кто поселился в Венеции позднее, не было слишком много, так что не существовало диспропорции между теми, кто правил, и теми, кем управляли: число Дворян либо равнялось числу Пополанов, либо превосходило его. Вот причины того, почему Венеция смогла учредить у себя такой строй и сохранить его в целостности.

Спарта, как я уже говорил, управлялась Царем и небольшим Сенатом. Она смогла просуществовать столь долгое время, потому что в Спарте было мало жителей и потому что в нее был закрыт доступ для чужестранцев, желавших там поселиться, а также потому, что, почитая законы Ликурга (их соблюдение уничтожало все причины для смут), спартанцы смогли долго сохранять внутреннее единство. Ликург своими законами установил в Спарте имущественное равенство и неравенство общественных положений; там все были равно бедны; плебеи не обладали там честолюбием, ибо высокие общественные должности в городе распростра-

нялись на немногих граждан и Плебс не подпускался к ним даже близко; аристократы же своим дурным обращением никогда не вызывали у плебеев желания завладеть этими должностями. Такое положение было создано спартанскими Царями, которые, обладая самодержавной властью и будучи окруженными со всех сторон Знатью, не имели более верного средства для поддержания своего достоинства, нежели предоставление Плебсу защиты от всякого рода обид. Благодаря этому Плебс не испытывал страха и не стремился к государственной власти; а так как у него не было государственной власти и он не испытывал страха, то тем самым не возникло соперничества между ним и Знатью, отпала причина для смут, и Плебс и Знать могли долгое время сохранять единство. Два важных обстоятельства обусловливали это единство: во-первых, в Спарте было мало жителей, и поэтому они могли управляться немногими; во-вторых, не допуская в свою республику иноземцев, спартанцы не имели случая ни развратиться, ни до такой степени увеличиться численно, чтобы для них стало невыносимым управляющее ими меньшинство.

Таким образом, приняв все это во внимание, ясно, что законодателям Рима, дабы в Риме установилось такое же спокойствие, как в вышеназванных республиках, необходимо было сделать одно из двух: либо, подобно венецианцам, не использовать плебеев на войне, либо, подобно спартанцам, не допускать к себе чужеземцев. Вместо этого они делали и то и другое, что придало Плебсу силу, увеличило его численно и предоставило ему множество поводов для учинения смут. Однако если бы римское государство было более спокойным, это повлекло бы за собой следующее неудобство: оно оказалось бы также более слабым, ибо отрезало бы себе путь к тому величию, которого оно достигло. Таким образом, пожелай Рим уничтожить причины смут, он уничтожил бы и причины, расширившие его границы.

Если вглядеться получше, то увидишь, что так бывает во всех делах человеческих: никогда невозможно избавиться от одного неудобства, чтобы вместо него не возникло другое. Поэтому, если ты хочешь сделать народ настолько многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы создать великую державу, тебе придется

наделить его такими качествами, что ты потом уже не сможешь управлять им по своему усмотрению. Если же ты сохранишь народ малочисленным или безоружным, дабы иметь возможность делать с ним все, что угодно, то когда ты придешь к власти, ты либо не сможешь удержать ее, либо народ твой станет настолько труслив, что ты сделаешься жертвой первого же, кто на тебя нападет. При каждом решении надо смотреть, какой выбор представляет меньше неудобств, и именно его считать наилучшим, ибо никогда не бывает так, чтобы все шло без сучка без задоринки.

Рим, таким образом, мог по образу Спарты установить у себя пожизненную власть государя и учредить небольшой Сенат, но, желая создать великую державу, он не мог, подобно Спарте, не увеличивать число своих граждан; по этой причине пожизненный Царь и малочисленный Сенат мало способствовали бы его единству.

Вот почему если кто пожелает заново учредить республику, ему надо будет прежде всего поразмыслить над тем, желает ли он, чтобы она расширила, подобно Риму, свои границы и могущество или же чтобы она осталась в узких пределах. В первом случае необходимо устроить ее как Рим и дать самый широкий простор для смут и общественных несогласий, ибо без большого числа и притом хорошо вооруженных граждан республика никогда не сможет вырасти или, если она вырастет, сохраниться. Во втором случае ее можно устроить наподобие Спарты и Венеции; но так как территориальное расширение – яд для подобных республик, надо, чтобы ее учредитель всеми возможными средствами запретил ей завоевания, ибо завоевания, опирающиеся на слабую республику, приводят к ее крушению. Так было со Спартой и с Венецией. Первая из них, подчинив себе почти всю Грецию, обнаружила при ничтожной неудаче непрочность своих основ: восстания в греческих городах, последовавшие за восстанием в Фивах, поднятым Пелонидом, полностью сокрушили эту республику. То же самое случилось и с Венецией: захватив значительную часть Италии – в большинстве случаев не посредством войн, а благодаря деньгам и хитрости, – она, как только ей пришлось доказать свою силу, в один день утратила все.

Я готов поверить, что можно создать долговечную республику, придав ей такой же внутрен-

ний строй, какой был в Спарте или в Венеции; чтобы помещалась она в укрепленном месте и обладала такой силой, что никто не считал бы возможным тут же ее уничтожить; а с другой стороны, чтобы она не была настолько могущественна, дабы внушать страх своим соседям. В этом случае она могла бы долго наслаждаться своим строем. Ведь война против того или иного государства ведется по двум причинам: во-первых, для того чтобы стать его господином, во-вторых, из боязни, как бы оно на тебя не напало. Обе эти причины почти полностью устраняются вышесказанным способом. Если республику, хорошо подготовленную к обороне, трудно будет одолеть, то, как я полагаю, вряд ли случится, чтобы кто-нибудь задумал ее завоевывать. В то же время если она не будет выходить из своих пределов и опыт докажет, что она лишена честолюбия, никто из страха за себя не начнет против нее войну, особливо если конституция или специальный закон будут запрещать ей захват чужих территорий.

Я твердо верю, что, имейся возможность сохранить состояние подобного равновесия, в городе установилась бы истинная политическая жизнь и полное спокойствие. Однако поскольку все дела человеческие находятся в движении, то, не будучи в состоянии оставаться на месте, они идут либо вверх, либо вниз, и необходимость вынуждает тебя к тому, что отвергает твой разум. Так что, когда республику, не приспособленную к территориальным расширениям, необходимость заставляет расшириться, она теряет свои основы и гибнет еще быстрее. Но, с другой стороны, если бы небо оказалось к ней столь благосклонным, что ей не пришлось бы вести войну, праздность сделала бы ее либо изнеженной, либо раздробленной. То и другое вместе или порознь стало бы причиной ее падения. Потому, так как невозможно, по-моему, ни добиться названного равновесия, ни избрать средний путь, надо при учреждении республики думать о более почетной для нее роли и устраивать республику так, чтобы, когда необходимость вынудит ее к территориальным расширениям, она сумела бы сохранить свои завоевания. Возвращаясь к началу своих рассуждений, скажу, что считаю нужным следовать римскому строю, а не строю всех прочих республик, ибо не думаю, что можно отыскать промежуточную форму правления, и полагаю, что следует

примириться с враждой, возникающей между Народом и Сенатом, приняв ее как неизбежное неудобство для достижения римского величия. Помимо всех прочих доводов, которыми доказывается необходимость трибунской власти для охраны свободы, нетрудно заметить благотворность для республики правомочия обвинять, которым, наряду с другими правами, были наделены Трибуны [...]

Глава IX

О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО БЫТЬ ОДНОМУ, ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ ЗАНОВО ОСНОВАТЬ РЕСПУБЛИКУ ИЛИ ЖЕ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЕЕ, ПОЛНОСТЬЮ ИСКОРЕНИВ В НЕЙ СТАРЫЕ ПОРЯДКИ

Возможно, кому-нибудь покажется, что я слишком углубился в римскую историю, не сказав, однако, ничего ни об основателях римской республики, ни об ее учреждениях, имеющих касательство к религии и армии. Потому, не желая испытывать дольше терпение тех, кто хотел бы узнать кое-что об этом предмете, скажу: многие почтут, пожалуй, дурным примером тот факт, что основатель гражданского образа жизни, каковым был Ромул, сперва убил своего брата, а затем дал согласие на убийство Тита Тация Сабина, избранного ему в сотоварищи по царству. Полагающие так считают, что подданные подобного государя смогут, опираясь на его авторитет, из честолюбия или жажды власти притеснять тех, кто стал бы восставать против их собственного авторитета. Такое мнение было бы справедливым, если бы не учитывалась цель, подвигнувшая Ромула на убийство.

Следует принять за общее правило следующее: никогда или почти никогда не случалось, чтобы республика или царство с самого начала получали хороший строй или же преобразовывались бы заново, отбрасывая старые порядки, если они не учреждались одним человеком. Напротив, совершенно необходимо, чтобы один-единственный человек создавал облик нового строя и чтобы его разумом порождались все новые учреждения. Вот почему мудрый учредитель республики, всей душой стремящийся не к собственному, но к общему

благу, заботящийся не о своих наследниках, но об общей родине, должен всячески стараться завладеть единовластием. И никогда ни один благоразумный человек не упрекнет его, если ради упорядочения царства или создания республики он прибегнет к каким-нибудь чрезвычайным мерам. Ничего не поделаешь: обвинять его будет содеянное – оправдывать результат; и когда результат, как у Ромула, окажется добрым, он будет всегда оправдан. Ибо порицать надо того, кто жесток для того, чтобы портить, а не того, кто бывает таковым, желая исправлять. Ему надлежит быть очень рассудительным и весьма доблестным, дабы захваченная им власть не была унаследована другим, ибо, поскольку люди склонны скорее ко злу, нежели к добру, легко может случиться, что его наследник станет тщеславно пользоваться тем, чем сам он пользовался доблестно. Кроме того, хотя один человек способен создать определенный порядок, порядок этот окажется недолговечным, если будет опираться на плечи одного-единственного человека. Гораздо лучше, если он будет опираться на заботу многих граждан и если многим гражданам будет вверено его поддержание. Ибо народ не способен создать определенный порядок, не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий, но когда благо сего порядка народом познано, он не согласится с ним расстаться. А что Ромул заслуживает извинения за убийство брата и товарища и что содеянное им было совершено во имя общего блага, а не ради удовлетворения личного тщеславия, доказывает, что сразу же вслед за этим он учредил Сенат, с которым советовался и в зависимости от мнения которого принимал свои решения. Всякий, кто посмотрит как следует, какую власть сохранил за собой Ромул, увидит, что она ограничивалась правом командовать войском, когда объявлялась война, и собирать Сенат. Это выявилось позднее, когда в результате изгнания Тарквиниев Рим стал свободным. Тогда римлянами не было обновлено ни одно из древних учреждений, только вместо одного несменяемого Царя появилось два избираемых ежегодно Консула; это доказывает, что все порядки, существовавшие в Риме прежде, более соответствовали гражданскому и свободному строю, нежели строю абсолютистскому и тираническому.

В подтверждение вышесказанного можно было бы привести множество примеров – Моисея, Ликурга, Солона и других основателей царств и республик, которые, благодаря тому что они присвоили себе власть, смогли издать законы, направленные на общее благо, – но я не стану касаться всех этих примеров, считая их широко известными. Укажу лишь на один из них, не очень знаменитый, но достойный внимания тех, кому хотелось бы стать хорошим законодателем.

Агид, царь Спарты, хотел снова ввести спартанцев в те пределы, которые установили для них законы Ликурга, ибо полагал, что, выйдя из них, его город в значительной мере утратил свою древнюю доблесть, а вместе с ней также и свою силу и военное могущество; он был сразу же убит спартанскими Эфорами, как человек, якобы стремящийся к установлению тирании. После него царствовал Клеомен; у него возникло то же самое желание под влиянием найденных им сочинений и воспоминаний об Агиде, из которых он узнал, каковы были у того намерения и помыслы. Но Клеомен понял, что не сможет добиться блага родины, не став единовластным правителем. Он считал, что людское честолюбие помешает ему принести пользу многим вопреки желанию немногих, и приказал убить всех Эфоров, а также некоторых других граждан, могущих оказать ему сопротивление, после чего полностью восстановил законы Ликурга. Такое решение могло возродить Спарту и принести Клеомену не меньшую славу, чем та, какой пользовался Ликург, не будь тогда могучей Македония, а остальные греческие государства слишком слабыми. Ибо после установления в Спарте новых порядков Клеомен подвергся нападению македонян; оказавшись слабее них и не имея к кому обратиться за помощью, он был побежден, а его замысел, справедливый и достойный всяческих похвал, так и остался незавершенным.

Приняв все это во внимание, я прихожу к заключению, что для основания республики надо быть одному. Ромул же за убийство Рема и Тита Тация заслуживает извинения, а не порицания.

Глава X

СКОЛЬ ДОСТОЙНЫ ВСЯЧЕСКИХ ПОХВАЛ ОСНОВАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЦАРСТВА, СТОЛЬ ЖЕ УЧРЕДИТЕЛИ ТИРАНИИ ГНУСНЫ И ПРЕЗРЕННЫ

Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религий. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинули пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели. А так как пишут они о разных вещах, то каждый из писателей бывает знаменит в соответствии с важностью своего предмета. Всем прочим людям, число которых безмерно, воздается та доля похвал, которую приносит им их искусство и сноровка. Наоборот, гнусны и омерзительны искоренители религий, разрушители республик и царств, враги доблести, литературы и всех прочих искусств, приносящих пользу и честь роду человеческому, иными словами – люди нечестивые, насильники, невежды, недотепы, лентяи и трусы.

Нет никого, кто окажется так глуп или же так мудр, так подл или так добродетелен, что, представься ему выбор, он не станет хвалить людей, достойных похвал, и порицать достойных порицания. Тем не менее почти все, обманутые видимостью мнимого блага и ложной славы, вольно или невольно скатываются в число именно тех людей, которые заслуживают скорее порицаний, нежели похвал. Имея возможность заслужить огромный почет созданием республики или царства, они обращаются к тирании и не замечают, какой доброй репутации, какой славы, какой чести, какой безопасности и какого душевного спокойствия, вместе с внутренним удовлетворением, они при этом лишаются, на какое бесславие, позор, опасность, тревоги они себя обрекают.

Невозможно, чтобы люди, как живущие частной жизнью в какой-либо республике, так и те, кто благодаря судьбе и собственной доблести сделались в ней государями, если бы только они читали сочинения историков и извлекали драгоценные уроки из воспоминаний о событиях древности, не пожелали – те, что живут частной жизнью у себя на родине, быть скорее

Сципионами, чем Цезарями, те же, кто стал там государями, оказаться скорее Агесилаями, Тимолеонтами, Дионами, нежели Набидами, Фаларисами, Дионисиями, ибо они увидели бы, что последние страшным образом поносятся, а первые превозносятся до небес. Кроме того, они узнали бы, что Тимолеонт и другие пользовались у себя на родине ничуть не меньшим авторитетом, чем Дионисий и Фаларис, но жили в несравненно большей безопасности.

И пусть никого не обманывает слава Цезаря, как бы сильно ни прославляли его писатели, ибо хваливших Цезаря либо соблазнила его счастливая судьба, либо устрашила продолжительность существования императорской власти, которая, сохраняя его имя, не допускала, чтобы писатели свободно о нем говорили. Однако если кому-нибудь захочется представить, что сказали бы о Цезаре неутесненные писатели, пусть почитает он, что пишут они о Катилине. Цезарь заслужил даже большего порицания; ведь больше надобно порицать того, кто причинил, а не того, кто хотел причинить зло. Пусть почитает он также, какие хвалы воздаются историками Бруту; поскольку могущество Цезаря не позволило им ругать его открыто, они прославляли его врага.

Пусть тот, кто сделался государем в республике, посмотрит, насколько больше похвал воздавалось в Риме, после того как Рим стал Империей, императорам, жившим согласно законам и как добрые государи, по сравнению с теми из них, которые вели прямо противоположный образ жизни. Он увидит, что Тит, Нерва, Траян, Антонин и Марк не нуждались для своей защиты ни в преторианской гвардии, ни во множестве легионов, ибо защитой им служили их собственные нравы, расположение народа и любовь Сената. Он увидит также, что всех западных и восточных армий не хватило для того, чтобы уберечь Калигулу, Нерона, Вителлия и многих других преступных императоров от врагов, которых порождали их пороки и злодейская жизнь. Если бы история римских императоров была как следует рассмотрена, она могла бы послужить хорошим руководством для какого-нибудь государя и показать ему пути славы и позора, безопасности и вечных опасений за собственную жизнь. Ведь из двадцати шести императоров от Цезаря до Максимилиана шестнадцать были

убиты и лишь десять умерли своей смертью. Если в числе убитых оказалось несколько хороших императоров, вроде Гальбы и Пертинакса, то причиной тому было разложение, до которого довели солдат их предшественники. А если среди императоров, умерших естественной смертью, оказался злодей вроде Севера, то объясняется это единственно его величайшим счастьем и доблестью, двумя обстоятельствами, сопутствующими жизни очень немногих людей. Кроме того, прочтя историю римских императоров, государь увидит, как можно образовать хорошую монархию, ибо все императоры, получившие власть по наследству, за исключением Тита, были плохими; те же из них, кто получил власть в силу усыновления, оказались хорошими; пример тому – пять императоров от Нервы до Марка; когда императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок.

Так вот, пусть государь взглянет на время от Нервы до Марка и сопоставит его с временем, бывшим до них и после них; а затем пусть выбирает, в какое время он хотел бы родиться и какому времени – положить начало. Во времена, когда у власти стояли добрые мужи, он увидит ничего не страшащегося государя, окруженного ничего не опасающимися гражданами, жизнь, преисполненную мира и справедливости; он увидит Сенат со всеми его правомочиями, магистратов во всей их славе, богатых граждан, радующихся своему богатству, благородство и доблесть, повсеместно почитаемые; он увидит, что повсюду воцарилось спокойствие и благо; и вместе с тем – что всюду исчезли обиды, разнузданность, разврат и тщеславие; он увидит золотой век, когда всякому человеку предоставлена возможность отстаивать и защищать любое мнение. И, наконец, он увидит торжество мира; государя, почитаемого и прославляемого, народ, преисполненный любви и верности. Если же затем он получше всмотрится во времена иных императоров, то увидит времена те ужасными из-за войн, мятежными из-за пороков, жестокими и в дни войны, и в дни мира; он увидит множество государей, гибнущих от меча, неисчислимые гражданские и внешние войны, Италию, удрученную неслыханными несчастиями, города, разрушенные и разграбленные. Он увидит пылающий Рим, Капитолий, разрушенный собственными гражданами, древние храмы

оскверненные, поруганные обряды, города, наполненные прелюбодеями; он увидит море, покрытое ссыльными, скалы, залитые кровью. Он увидит, как в Риме совершаются бесчисленные жестокости, как благородство, богатство, прошлые заслуги, а больше всего доблесть вменяются в тягчайшие преступления, караемые смертью. Он увидит, как награждают клеветников, как слуг подкупают доносить на господ, вольноотпущенников – на их хозяев и как те, у кого не нашлось врагов, угнетаются своими друзьями. Вот тогда-то он очень хорошо поймет, чем обязаны Цезарю – Рим, Италия, весь мир.

Нет сомнения в том, что если только государь этот рожден человеком, он с ужасом отвратится от подражания дурным временам и воспылает страстным желанием следовать примеру времен добрых. Поистине государь, ищущий мирской славы, должен желать завладеть городом развращенным – не для того, чтобы его окончательно испортить, как это сделал Цезарь, но дабы, подобно Ромулу, полностью преобразовать его. И воистину, ни небеса не способны дать людям большей возможности для славы, ни люди не могут жаждать большего. И если государь, желавший дать городу хороший строй, но не давший его из боязни потерять самодержавную власть, заслуживает некоторого извинения, то нет никакого оправдания тому государю, который не преобразовал город, имея возможность сохранить единодержавие. Вообще пусть помнят те, кому небеса предоставляют такую возможность, что перед ними открываются две дороги: одна приведет их к жизни в безопасности и прославит их после смерти, другая – обречет их на непрестанные тревоги и после смерти покроет их вечным позором.

Глава XI

О РЕЛИГИИ РИМЛЯН

Случилось так, что первым своим устроителем Рим имел Ромула и от него, как если бы он был ему сыном, получил жизнь и воспитание. Однако, решив, что порядки, учрежденные Ромулом, не достаточны для столь великой державы, небеса внушили римскому Сенату решение избрать преемником Ромулу Нуму Пом-

пилия, дабы он упорядочил все то, что Ромул оставил после себя недоделанным.

Найдя римский народ до крайности диким и желая заставить его подчиняться нормам общественной жизни посредством мирных средств, Нума обратился к религии как к вещи совершенно необходимой для поддержания цивилизованности и так укоренил ее в народе, что потом в течение многих веков не было республики, в которой наблюдалось бы большее благочестие; оно-то и облегчило как римскому Сенату, так и отдельным великим римлянам осуществление всех задумываемых ими предприятий. Всякий, кто рассмотрит бесчисленные действия всего народа Рима в целом, а также отдельных римлян, увидит, что римские граждане гораздо больше страшились нарушить клятву, нежели закон, как те, кто почитают могущество бога превыше могущества людей. Это ясно видно на примере Сципиона и Манлия Торквата.

После разгрома, учиненного римлянам при Каннах Ганнибалом, многие римские граждане собрались вместе и, отчаявшись в спасении родины, решили покинуть Италию и уехать в Сицилию. Прослышав про то, Сципион разыскал их и, обнажив меч, заставил их поклясться не покидать родину.

Луций Манлий, отец Тита Манлия, прозванного впоследствии Торкватом, был как-то обвинен плебейским Трибуном Марком Помпонием; однако, прежде чем настал день суда, Тит явился к Марку и, грозя убить его, если только он не поклянется снять с отца обвинение, заставил его дать в том клятву; и тот, поклявшись из страха, отказался потом от обвинения.

Так вот, те самые граждане, которых не могли удержать в Италии ни любовь к родине, ни отеческие законы, были удержаны насильно данною клятвой. А упомянутый Трибун пренебрег ненавистью, обидой, нанесенной ему сыном Луция Манлия, собственной честью, чтобы только никак не нарушить данной им клятвы. Порождалось же это не чем иным, как тою религией, которую Нума насадил в Риме.

Кто хорошо изучит римскую историю, увидит, насколько религия помогала командовать войсками, воодушевлять Плебс, сдерживать людей добродетельных и посрамлять порочных. Так что, если бы зашел спор

о том, какому государю Рим обязан больше, Ромулу или же Нуме, то, как мне кажется, предпочтение следовало бы отдать Нуме, ибо там, где существует религия, легко создать армию, там же, где имеется армия, но нет религии, насадить последнюю чрезвычайно сложно. Известно, что для основания Сената и для установления других гражданских и военных учреждений Ромулу не понадобилось авторитета бога. Однако авторитет сей весьма пригодился Нуме; он делал вид, будто завел дружбу с Нимфой и что именно она советовала ему все то, что он потом рекомендовал народу. Проистекало это из того, что Нума хотел ввести новые, невиданные дотоле порядки и не был уверен, хватит ли для этого его собственного авторитета.

В самом деле, ни у одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибегал бы к богу, ибо в противном случае законы их не были бы приняты; ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые сами по себе не столь очевидны, чтобы и все прочие люди могли сразу же оценить их достоинства. Вот почему мудрецы, желая устранить подобную трудность, прибегают к богам. Так поступал Солон, и так же поступали многие другие законодатели, преследовавшие те же самые цели, что были у Ликурга и у Солона.

Так вот, восхищаясь добротой и мудростью Нумы, римский Народ подчинялся всем его решениям. Правда, времена тогда были весьма религиозные, а люди, над которыми ему приходилось трудиться, были совсем неотесанные. Это сильно облегчало Нуме исполнение его замыслов, ибо он мог лепить из таких людей все, что хотел. Кто захотел бы в наши дни создать республику, нашел бы для нее более подходящий материал среди горцев, которых еще не коснулась культура, а не среди людей, привыкших жить в городах, где культура пришла в упадок. Так скульптору легче извлечь прекрасную статую из неотесанного куска мрамора, нежели из плохо обработанного кем-нибудь другим.

Итак, рассмотрев все сказанное, я прихожу к выводу, что введенная Нумой религия была одной из первейших причин счастия Рима, ибо религия эта обусловила добрые порядки, добрые же порядки породили удачу, а удача приводила к счастливому завершению всякое

предприятие. Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиною их гибели. Ибо там, где отсутствует страх перед богом, неизбежно случается, что царство либо погибает, либо страх перед государем восполняет в нем недостаток религии. Но поскольку жизнь государей коротка, то и случается, что такое царство существует лишь до тех пор, пока существует доблесть его царя. Вот почему царства, зависящие только от доблести одного человека, недолговечны, ибо доблесть эта исчезает с его смертью и весьма не часто воскресает в его наследниках, как о том мудро говорит Данте:

Не часто доблесть, данная владыкам,
Нисходит в ветви; тот ее дарит,
Кто может все в могуществе великом.

Поэтому благо республики или царства состоит вовсе не в том, чтобы обладать государем, который бы мудро правил ими в течение всей жизни, а в том, чтобы иметь такого государя, который установил бы в них такие порядки, чтобы названное благо не исчезло с его смертью. И хотя грубых людей легче убедить принять какой-либо новый порядок или согласиться с каким-нибудь новым мнением, из этого никак не следует, будто вовсе невозможно убедить в том же самом граждан цивилизованных и почитающих себя людьми отнюдь не неотесанными. Народ Флоренции не кажется ведь ни невежественным, ни грубым; тем не менее брат Джироламо Савонарола убедил его в том, что он беседовал с богом. Я не хочу разбирать, правда ли то или нет, ибо о такого рода людях надлежит говорить с почтением. Я говорю лишь, что весьма многие ему верили, без того чтобы какое-либо из ряда вон выходящее знаменье вынудило их к этому; для того, чтобы вызвать к его словам доверие, достаточно было его образа жизни, его учения, предмета, о котором он толковал. Поэтому пусть никто не опасается, что ему не удастся достичь того же, что прежде удавалось достигнуть другим; ведь люди, как было говорено в нашем предисловии, рождаются, живут и умирают, всегда следуя одному и тому же порядку вещей.

Глава XII

О ТОМ, СКОЛЬ ВАЖНО СЧИТАТЬСЯ С РЕЛИГИЕЙ И КАК, ПРЕНЕБРЕГАЯ ЭТИМ, ПО ВИНЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ ИТАЛИЯ ПРИШЛА В ПОЛНЫЙ УПАДОК

Государи или республики, желающие остаться неразвращенными, должны прежде всего уберечь от порчи обряды своей религии и непрестанно поддерживать к ним благоговение, ибо не может быть более очевидного признака гибели страны, нежели явное пренебрежение божественным культом. Это легко уразуметь, зная, на чем основана религия, рождающаяся вместе с людьми; ведь жизнь всякой религии поддерживается каким-нибудь ее главным принципом. Жизнь языческой религии держалась на ответах оракулов и на секте прорицателей и гаруспиков: из этого проистекали все прочие церемонии язычников, их жертвоприношения и их обряды. Ведь нетрудно поверить тому, что бог, который способен предсказать тебе твое грядущее благо или же твое грядущее зло, может также и даровать тебе оные. Отсюда рождались храмы, отсюда – жертвоприношения, отсюда – молитвы и весь прочий ритуал богопочитания. Вот почему оракул Делоса, храм Юпитера Амона и другие прославленные оракулы преисполняли мир восхищением и благоговением. Когда же впоследствии они начали вещать угодное власть имущим и весь этот обман стал явен народу, люди сделались неверующими и готовыми нарушить любой добрый порядок. Поэтому главам республики или царства надобно сохранять основы поддерживающей их религии. Поступая так, им будет легко сохранить государство свое религиозным, а следовательно, добрым и единым. Им надлежит поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, даже если сами они считают явления эти обманом и ложью. И им следует поступать так тем ревностнее, чем более рассудительными людьми они являются и чем более они сильны в познании природы. Именно поэтому, что подобного образа действий придерживались мудрецы, возникла вера в чудеса, которые почитаются всеми религиями, даже ложными. Ведь люди знающие раздувают их, какими бы причинами чудеса сии ни порождались. В Древнем Риме такого рода чудес было пре-

достаточно. Вот одно из них. В то время, как римские солдаты предавали разграблению город вейентов, некоторые из них вошли в храм Юноны и, приблизившись к статуе богини, спросили у нее: «Vis venire Romam?» После этого какому-то из солдат показалось, будто статуя кивнула, другому же, – что она ответила: «Да». Ведь будучи людьми глубоко религиозными (согласно Титу Ливию, они вступили в храм чинно, преисполненные почтения и благочестия), солдаты сочли, будто услышали тот самый ответ, каковой, как им представлялось, предполагал их вопрос. Мнение это и суеверие солдат было полностью одобрено и поддержано Камиллом и прочими начальниками города.

Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с предписаниями, установленными ее основателем, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время. Невозможно представить большего свидетельства упадка религии, нежели указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религиозен. Тот, кто рассмотрит основы нашей религии и посмотрит, насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, первоначальных, придет к выводу, что она, несомненно, близка либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям.

Так как многие придерживаются мнения, будто благо городов Италии проистекает от римской Церкви, я хочу выдвинуть против этого мнения ряд необходимых для меня доводов. Приведу два из них, чрезвычайно сильных и, как мне представляется, неотразимых. Первый: дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии, что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где существует религия, предполагается всякое благо, там же, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле.

Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие – вторая причина нашей погибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной. В самом деле, ни одна страна никогда не бывала единой и счастливой,

если она не подчинялась какой-нибудь одной республике или же какому-нибудь одному государю, как то случилось во Франции и в Испании. Причина, почему Италия не достигла того же самого, почему в ней нет ни республики, ни государя, которые бы ею управляли, – одна лишь Церковь. Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию надо всей Италией и сделаться ее государем; с другой стороны, она не была настолько слаба, чтобы, боясь утратить светскую власть над своими владениями, не быть в состоянии призывать себе на подмогу могущественных союзников, которые защищали бы ее против всякого народа и государства, становящегося в Италии чрезмерно сильным. В давние времена тому бывало немало примеров. Так, при помощи Карла Великого Церковь прогнала лангобардов, бывших чуть ли не королями всей Италии. В наше время она подорвала мощь венецианцев с помощью французов, а потом прогнала французов с помощью швейцарцев. Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и государей. Это породило столь великую ее раздробленность и такую ее слабость, что она делалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть. Всем этим мы, итальянцы, обязаны Церкви, и никому иному. А если кто пожелал бы на опыте проверить истинность вышесказанного, ему следовало бы обладать такой силой, чтобы иметь возможность переселить папскую курию, со всей тою властью, какой она располагает в Италии, на земли швейцарцев, каковые ныне являются единственным народом, живущим на манер древних, касается ли это их религии или же порядков в их армии: он увидел бы, что порочные нравы означенной курии за короткое время внесли бы больший разлад в эту страну, нежели любое другое несчастие, которое могло бы когда-либо выпасть на ее долю.

Глава XVI

НАРОД, ПРИВЫКШИЙ ЖИТЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ГОСУДАРЯ И БЛАГОДАРЯ СЛУЧАЮ СТАВШИЙ СВОБОДНЫМ, С ТРУДОМ СОХРАНЯЕТ СВОБОДУ

Насколько трудно народу, привыкшему жить под властью государя, сохранить затем свободу, если он благодаря какому-нибудь случаю ее обретет, как обрел ее Рим после изгнания Тарквиниев, показывают многочисленные примеры, содержащиеся в сочинениях древних историков. Трудности эти понятны, ибо подобный народ является не чем иным, как грубым животным, которое мало того что по природе своей свирепо и дико, но вдобавок вскармливалось всегда в загоне и в неволе; будучи случайно выпущенным на вольный луг и не научившись еще ни питаться, ни находить места для укрытия, оно делается добычей первого встречного, который пожелает снова надеть на него ярмо.

То же самое происходит с народом, который, привыкнув жить под властью других, не умея взвешивать ни того, что полезно обществу, ни того, что идет ему во вред, не понимая государей и не будучи понятым ими, вскоре снова склоняет выю под иго, зачастую оказывающееся еще более тяжким, нежели то, которое он только что сбросил. С подобного рода трудностями сталкивается народ, не подвергшийся нравственной порче. Ибо народ, полностью развращенный, не то что малое время, но вообще ни минуты не может жить свободным, как об этом и будет сказано несколько дальше. Теперь мы станем рассуждать о народе, в который развращенность не проникла еще достаточно глубоко и который более добр, чем испорчен.

К вышеназванным трудностям следует добавить еще одну. Она заключается вот в чем: государство, ставшее свободным, создает партию своих врагов, а не партию друзей. Партию его врагов образуют все те, кто извлекал для себя выгоду из тиранического строя, кормясь от щедрот государя. Когда у них отнимается возможность для злоупотреблений, они теряют покой и оказываются вынужденными пытаться восстановить тиранию, дабы вернуть себе власть и влияние. Освобо-

дившееся государство не приобретает, как я уже говорил, партии друзей, ибо свободная жизнь предполагает, что почести и награды воздаются за определенные и честные поступки, а просто так никто не получает ни почестей, ни наград; когда же кто-нибудь обладает теми почестями и привилегиями, которые, как ему представляется, он заслужил, он никогда не считает, что чем-то обязан людям, которые его вознаградили.

Кроме того, те общие выгоды, которые проистекают из свободной жизни, никем не сознаются, пока они не отняты; заключаются же они в возможности свободно пользоваться собственным добром, не опасаться за честь жены и детей, не страшиться за свою судьбу; но ведь никто никогда не сочтет себя обязанным тому, кто его не обижает.

Итак, как было выше сказано, свободное, заново созданное государство приобретает партию врагов и не приобретает партии друзей. И если кто пожелает избавиться от такого рода неудобства и устранить неурядицы, которые несут с собой вышеозначенные трудности, то для него нет более действенного, более надежного, более верного, более необходимого средства, нежели убить сыновей Брута. Они, как свидетельствует история, были вместе с другими римскими юношами подвигнуты на заговор против родины только тем, что не могли пользоваться при консульской власти исключительными привилегиями, доступными им при власти царей. Таким образом свобода всего римского народа обернулась для них, как им казалось, рабством. Кто берется направлять народные массы по пути свободы или по пути единодержавия и вместе с тем не предпринимает всего необходимого, чтобы обезопасить себя от врагов нового строя, создает недолговечное государство. Вот почему я почитаю несчастными тех государей, которые, дабы обезопасить свой строй, прибегают к крайним мерам, имея врагом своим народные массы; ибо имеющий своими врагами немногих может обезопасить себя легко и без большого скандала, имеющий же врагом весь народ не обезопасит себя никогда; чем к большим жестокостям будет он прибегать, тем слабее станет его самодержавный строй. Таким образом, лучшее средство для него – попытаться сделать народ своим другом.

И хотя рассуждение это отступает от темы нашего рассуждения, ибо в нем я говорил о республике, теперь же говорю о государе, тем не менее, дабы не возвращаться больше к этому вопросу, я хочу сказать о нем несколько слов. Так вот, желая приобрести расположение народа, государь – я имею в виду государей, сделавшихся тиранами своей родины, – должен прежде всего выяснить, к чему больше всего стремится народ. Он обнаружит, что народ всегда стремится к двум вещам: во-первых, отомстить тем, кто оказался причиной его рабства, во-вторых, вновь обрести утраченную свободу. Первое из этих стремлений государь может удовлетворить полностью, второе – отчасти.

Относительно первого имеется хороший пример. Клеарх, тиран Гераклеи, находился в изгнании. Случилось, что в ходе распрей, возникших между народом и Оптиматами Гераклеи, Оптиматы, чувствуя себя слабее, склонились на сторону Клеарха, составили заговор и послали за ним против воли народа Гераклеи, а затем отняли у народа свободу. Клеарх, очутившись между наглостью Оптиматов, коих он никаким образом не мог ни удовлетворить, ни обуздать, и яростью Пополанов, не способных снести потери свободы, решил одним махом избавиться от бремени грандов и приобрести расположение народа. Воспользовавшись представившимся ему удобным случаем, Клеарх полностью истребил всех Оптиматов к великому удовольствию Пополанов. Таким образом он удовлетворил одно из народных чаяний – желание отомстить.

Что же касается другого стремления народа – вновь обрести утраченную свободу, то, не имея возможности его удовлетворить, государь должен выяснить, какие причины побуждают народ стремиться к свободе. Он обнаружит, что небольшая часть народа желает быть свободной, дабы властвовать; все же остальные, а их подавляющее большинство, стремятся к свободе ради своей безопасности. Так как во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных постов достигает не больше сорока – пятидесяти граждан и так как число это не столь уж велико, то дело вовсе не сложное обезопасить себя от этих людей, либо устранив их, либо воздав им такие почести, какие, сообразно занимаемому ими положению, могли бы их в значительной мере удовлетворить. Что же касается всех про-

чих, которым достаточно жить в безопасности, то удовлетворить их легко, создав порядки и законы, при которых власть государя предполагает общественную безопасность. Когда государь сделает это и когда народ увидит, что никто ни при каких обстоятельствах не нарушает данных ему законов, он очень скоро начнет жить жизнью спокойной и довольной. Пример тому – королевство Франции. Оно живет спокойно прежде всего потому, что его короли связаны бесчисленными законами, в которых заключено спокойствие и безопасность всего народа. Учредитель его строя пожелал, чтобы французские короли войском и казной распоряжались по своему усмотрению, а всем остальным распоряжались бы лишь в той мере, в какой это допускают законы.

Итак, государю или республике, не обеспечившим собственной безопасности при возникновении своего строя, надлежит обезопасить себя при первом же удобном случае, как то сделали древние римляне. Упустивший подобный случай впоследствии пожалеет о том, что не сделал того, что ему следовало бы сделать.

Поскольку римский народ не был еще испорчен, когда он приобрел свободу, то он сумел сохранить ее после казни сыновей Брута и смерти Тарквиниев с помощью тех действий и порядков, о коих мы рассуждали в другом месте. Однако если бы народ этот был развращен, то ни в Риме, ни в какой другой стране не нашлось бы надежных средств для сохранения свободы. Это мы и покажем в следующей главе.

Глава XVII

РАЗВРАЩЕННОМУ НАРОДУ, ОБРЕТШЕМУ СВОБОДУ, КРАЙНЕ ТРУДНО ОСТАТЬСЯ СВОБОДНЫМ

Я вижу необходимость того, что власти царей в Риме пришел конец: в противном случае Рим очень скоро сделался бы слабым и ничтожным. Ибо римские цари дошли до такой развращенности, что если бы царям этим наследовало еще два-три подобных им преемника и заложенная в них порча начала распространяться по всем членам, вследствие чего члены эти оказались бы прогнившими, то восстановить Рим стало бы уже окон-

чательно невозможно. Но потеряв главу, когда тело было еще неповрежденным, римляне смогли легко обратиться к жизни свободной и упорядоченной. Следует принять за непреложную истину, что развращенный город, живущий под властью государя, даже если государь его гибнет вместе со всем своим родом, никогда не может обратиться к свободе. Наоборот, надобно, чтобы одного государя губил в нем другой государь. Без появления какого-нибудь нового правителя город этот никогда не выстоит, если только добродетель и доблесть названного правителя не поддержат в нем свободы. Однако свобода города просуществует лишь столько, сколько продлится жизнь нового государя. Так было в Сиракузах при Дионе и Тимолеонте: их доблесть, пока они были живы, сохраняла этот город свободным, когда же они умерли, город вернулся к давней тирании.

Однако нет более убедительного примера этому, чем тот, что дает Рим: после изгнания Тарквиниев он сумел сразу же обрести и удержать свободу, но после смерти Цезаря, после смерти Гая Калигулы, после смерти Нерона и гибели всего Цезарева рода Рим никогда не мог не только что сохранить свободу, но даже хотя бы попытаться положить ей начало. Такое различие в ходе событий, имевших место в одном и том же городе, порождено не чем иным, как тем обстоятельством, что во времена Тарквиниев римский народ не был еще развращенным, а в более поздние времена он был развращен до крайности. Ведь тогда, для того чтобы поддержать в народе твердость и решимость прогнать царей, достаточно было заставить его поклясться, что он никогда не допустит, чтобы кто-нибудь царствовал в Риме; впоследствии же ни авторитета, ни суровости Брута со всеми его восточными легионами не оказалось достаточным для того, чтобы побудить римский народ пожелать сохранить ту самую свободу, которую он вернул ему, наподобие Брута первого. Произошло это от развращенности, которую внесла в народ партия марианцев. Сделавшись ее главой, Цезарь сумел настолько ослепить народные массы, что они не признали ярма, которое сами себе надели на шею.

И хотя этот пример из истории Рима можно было бы предпочесть всякому другому примеру, я все-таки

хочу по данному поводу сослаться также на опыт современных нам народов. Я утверждаю, что никакие события, сколь бы решительны и насильственны они ни были, не смогли бы сделать Милан или Неаполь свободными, ибо все члены их прогнили. Это обнаружилось после смерти Филиппо Висконти: те, кто тогда пожелали вернуть Милану свободу, не смогли и не сумели ее сохранить. Поэтому для Рима было великим счастьем то, что его цари быстро развратились; вследствие этого они были изгнаны еще до того, как их растленность перекинулась на чрево города. Неразвращенность Рима была причиной тому, что бесчисленные смуты не только не вредили, а, наоборот, шли на пользу Республике, ибо граждане ее преследовали благие цели.

Итак, можно сделать следующий вывод: там, где материал не испорчен, смуты и другие раздоры не приносят никакого вреда; там же, где он испорчен, не помогут даже хорошо упорядоченные законы, если только они не предписываются человеком, который с такой огромной энергией заставляет их соблюдать, что испорченный материал становится хорошим. Однако я не знаю, случалось ли это когда-либо и вообще возможно ли, чтобы это случилось. Ибо очевидно, как я уже говорил несколько выше, что город, пришедший в упадок из-за испорченности материала, если когда и поднимается, то только благодаря доблести одного человека, в то время живущего, а не благодаря доблести всего общества, поддерживающего в народе добрые порядки. Едва лишь человек этот умирает, как город тут же возвращается к своему извечному состоянию. Так было с Фивами, которые благодаря доблести Эпаминонда, пока он был жив, могли сохранять форму республики и обладать империей; однако как только он умер, Фивы вернулись к своим прежним неурядицам. Причина этому та, что не существует столь долговечного человека, чтобы ему хватило времени хорошо образовать город, бывший долгое время плохо образованным. И если чрезвычайно долголетний правитель или же два поколения доблестных его наследников не подготовят город к свободной жизни, то, как мною уже было сказано выше, он неминуемо погибнет, если только его не заставят возродиться великие опасности и великая кровь. Ибо сказанная

развращенность и малая привычка к свободной жизни порождаются неравенством, царящим в этом городе, и желающий создать в нем равенство неизбежно должен был бы прибегнуть к самым крайним, чрезвычайным мерам, каковыми немногие сумеют или захотят воспользоваться. Подробно об этом будет сказано в другом месте.

Глава XVIII

КАКИМ ОБРАЗОМ В РАЗВРАЩЕННЫХ ГОРОДАХ МОЖНО СОХРАНИТЬ СВОБОДНЫЙ СТРОЙ, ЕСЛИ ОН В НИХ СУЩЕСТВУЕТ, ИЛИ СОЗДАТЬ ЕГО, ЕСЛИ ОНИ ИМ НЕ ОБЛАДАЮТ

Я полагаю, не будет ни неуместным, ни идущим вразрез с вышеприведенным рассуждением рассмотреть, возможно ли в развращенном городе сохранить свободный строй, буде он в нем существует, или же, когда его в нем не существует, можно ли его создать. Я утверждаю, что и то и другое сделать крайне трудно. И хотя дать здесь правило – вещь почти немыслимая, ибо пришлось бы пройти по всем ступеням развращенности, я все-таки, поскольку обсудить надо все, не хочу обойти этот вопрос молчанием.

Возьмем город совершенно развращенный, дабы увидеть наибольшее нагромождение рассматриваемых трудностей: в нем не существует ни законов, ни порядков, способных обуздать всеобщую испорченность. Ибо как добрые нравы, для того чтобы сохраниться, нуждаются в законах, точно так же и законы, для того чтобы они соблюдались, нуждаются в добрых нравах. Кроме того, порядки и законы, установленные в республике в пору ее возникновения, когда люди были добрыми, оказываются неуместными впоследствии, когда люди делаются порочными. Но если законы в городе меняются в зависимости от обстоятельств, то порядки его не меняются никогда или меняются крайне редко. Вследствие сего одних новых законов еще недостаточно, ибо их ослабляют нерушимые порядки.

Дабы все это стало понятнее, скажу, что в Риме

существовал порядок правления или, вернее, государственного строя, а кроме того – законы, которые при посредстве магистратов обуздывали граждан. Порядок государственного строя составляли: власть Народа, Сената, Трибунов, Консулов, способы выдвижения и выборов магистратов, форма принятия законов. Эти порядки мало или вовсе не менялись в зависимости от внешних обстоятельств. Менялись законы, обуздывающие граждан, – закон о прелюбодеянии, закон против роскоши, закон против злоупотреблений и многие другие; они возникали постепенно, по мере того как граждане становились испорченными. Однако поскольку оставались нерушимыми порядки государственного строя, которые при общественной испорченности перестали быть добрыми, то одного изменения законов не оказалось достаточным для того, чтобы сохранить добрыми людей. Изменения эти сослужили бы хорошую службу, если бы вместе с введением новых законов менялись бы также и порядки.

Справедливость того, что названные порядки в развращенном городе переставали быть добрыми, обнаруживается на примере двух главных проявлений политической жизни – избрания магистратов и принятия законов. Римский народ предоставлял консулат и другие важные государственные должности только тем лицам, кто их домогался. Такой порядок был вначале хорош, ибо сих должностей домогались только такие граждане, которые почитали себя их достойными: получить отказ считалось в то время позором; так что для того, чтобы быть признанным достойным занять государственную должность, каждый старался вести себя хорошо. Потом же, в развращенном городе, этот обычай стал чрезвычайно вредным, ибо магистратур в нем домогались люди не самые добродетельные, а самые могущественные; не обладающие же силой граждане, даже если они бывали людьми доблестными, из страха воздерживались от того, чтобы требовать себе должностей. Зло это укоренилось не вдруг, а постепенно, как всегда укореняется зло.

Покорив Африку и Азию, подчинив себе почти всю Грецию, римляне почитали свободу свою обеспеченной и не думали, что у них есть враги, которых им следовало бы опасаться. Эта уверенность народа в обес-

печенности своей свободы, а также слабость внешних врагов привели к тому, что, предоставляя консулат, римский народ обращал внимание уже не на доблесть, а на обходительность и выбирал на эту должность тех, кто умел лучше умасливать сограждан, а не тех, кто умел лучше побеждать врагов. Затем от людей наиболее обходительных римский народ опустился до людей наиболее могущественных и стал делать их консулами. Таким образом, из-за недостатка одного из порядков государственного строя добрые граждане оказались полностью отстраненными от государственных должностей.

Некогда Трибун, да и вообще любой гражданин мог предлагать Народу закон; за этот закон или против него мог высказываться всякий гражданин, пока относительно предложенного закона не принималось определенное решение. И такой порядок был добр, пока добрыми были граждане, ибо всегда хорошо, когда любой человек, имеющий в виду общественное благо, обладает возможностью выносить на обсуждение свои предложения; и хорошо, когда всякий может высказывать о них свое мнение, дабы народ, выслушав всех, мог остановиться на лучшем. Однако когда граждане сделались дурными, таковой порядок оказался чрезвычайно плох, ибо законы предлагали теперь только могущественные граждане, и не во имя общей свободы, а ради собственного могущества: из страха перед ними никто не мог возражать против предлагаемых ими законов. Таким образом, народу приходилось – либо потому, что он бывал обманут, либо же потому, что его вынуждали к этому, – выносить решения, ведущие к его гибели.

Следовательно, для того чтобы Рим и в развращенности сохранял свободу, необходимо было, чтобы, создавая в ходе своей жизни новые законы, он создавал бы вместе с ними и новые порядки; ибо надлежит учреждать различные порядки и образ жизни для существа дурного и доброго: не может быть сходной формы там, где материя во всем различна. Однако, поскольку таковые порядки надо обновлять либо все сразу, когда очевидно, что они перестали быть пригодными, либо мало-помалу, по мере того как познается непригодность каждого из них, то я скажу, что и то и другое – вещь почти невозможная. Ибо для постепен-

ного обновления государственного строя необходимо, чтобы они осуществлялись проницательным человеком, который бы загодя видел недостаток той или иной из сторон государственного строя, когда недостаток этот только еще зародился. Весьма вероятно, что такого человека в городе никогда не найдется; а если он даже и найдется, ему все равно ни за что не удастся убедить других в том, что для него самого совершенно ясно, ибо люди, привыкнув к определенному укладу жизни, не любят его менять, особенно когда они не сталкиваются со злом лицом к лицу, и поэтому им приходится говорить о нем, основываясь на предложениях. Что же касается внезапного обновления названных порядков, когда уже всякому ясна их непригодность, то я скажу, что ту самую их порчу, которую нетрудно понять, трудно исправить; ибо для этого недостаточно использования обычных путей, так как обычные формы стали дурными — здесь необходимо будет обратиться к чрезвычайным мерам, к насилию и к оружию, и сделаться прежде всего государем этого города, чтобы иметь возможность распоряжаться в нем по своему усмотрению. Поскольку же восстановление в городе политической жизни предполагает доброго человека, а насильственный захват власти государя в республике предполагает человека дурного, то поэтому крайне редко бывает, чтобы добрый человек пожелал, даже преследуя благие цели, встать на путь зла и сделаться государем. Столь же редко случается, чтобы злодей, став государем, пожелал творить добро и чтобы ему когда-либо пришло на ум использовать во благо ту самую власть, которую он приобрел дурными средствами.

Из всего вышесказанного следует, что в развращенных городах сохранить республику или же создать ее — дело трудное, а то и совсем невозможное. А ежели все-таки ее в них пришлось бы создавать или поддерживать, то тогда необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской. Стремиться сделать их добрыми иными путями было бы делом крайне жестоким или же вовсе невозможным, как я уже

говорил раньше, ссылаясь на опыт Клеомена. Он, дабы одному обладать властью, убил Эфоров. По той же причине Ромул убил брата и Тита Тация Сабина. И хотя и Ромул и Клеомен впоследствии хорошо использовали свою власть, я тем не менее не могу не отметить, что оба они не имели дела с материалом, испорченным той развращенностью, о которой мы рассуждали в этой главе. Поэтому они смогли проявить волю и, пожелав, довести до конца свои замыслы.

Глава XXV

КТО ХОЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ СТАРЫЙ СТРОЙ В СВОБОДНОЕ ГОСУДАРСТВО, ПУСТЬ СОХРАНИТ В НЕМ ХОТЯ БЫ ТЕНЬ ДАВНИХ ОБЫЧАЕВ

Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй какого-нибудь города и желает, чтобы строй этот был принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние. Ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Вот почему римляне, познав необходимость этого в самом начале своей свободной жизни, заменив одного царя двумя выборными Консулами, не захотели, чтобы у Консулов было более двенадцати ликторов, дабы число этих последних не превышало числа прислуживавших царям. Кроме того, так как в Риме совершалось ежегодное жертвоприношение, которое могло совершаться только лично самим царем, римляне, не желая, чтобы из-за отсутствия царя народ пожалел бы о старом времени, избрали главу сказанного жертвоприношения, назвав его Царь-жертвоприноситель, и подчинили его верховному Жрецу. Таким образом народ получил для себя вышеупомянутое жертвоприношение и не имел никакой причины из-за отсутствия его желать возвращения царя. Этого должны придерживаться все те, кто хотят уничтожить в городе старый строй и установить в нем новую, свободную жизнь. Поэтому, хотя новые порядки и

изменяют сознание людей, надлежит стараться, чтобы в своих изменениях порядки сохраняли как можно больше от старого. Если меняется число, полномочия и сроки магистратур, надо, чтобы у них сохранялось от старых их наименование. Всему этому, как я уже сказал, должен следовать тот, кто желает установить политическую жизнь посредством создания республики или монархии; но тому, кому угодно учредить абсолютную власть, именуемую писателями тиранией, надобно переделать все, как о том будет сказано в следующей главе.

Глава XXVI

НОВЫЙ ГОСУДАРЬ В ЗАХВАЧЕННОМ ИМ ГОРОДЕ ИЛИ СТРАНЕ ДОЛЖЕН ВСЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПО-НОВОМУ

Когда кто-нибудь становится государем какой-нибудь страны или города, особенно не имея там прочной опоры, и не склоняется ни к монархическому, ни к республиканскому гражданскому строю, то для него самое надежное средство удержать власть – это, поскольку он является новым государем, переделать в этом государстве все по-новому: создать в городах новые правительства под новыми наименованиями, с новыми полномочиями и новыми людьми; сделать богатых бедными, а бедных богатыми, как поступил Давид, став царем: алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, а кроме того – построить новые города и разрушить построенные, переселить жителей из одного места в другое, – словом, не оставить в этой стране ничего нетронутым. Так, чтобы в ней не осталось ни звания, ни учреждения, ни состояния, ни богатства, которое не было бы обязано ему своим существованием. Он должен взять себе за образец Филиппа Македонского, отца Александра, который именно таким образом из незначительного царя стал государем всей Греции. Писавший о нем автор говорит, что он перегонял жителей из страны в страну подобно тому, как пастухи перегоняют свои стада.

Меры эти до крайности жестоки и враждебны всякому образу жизни, не только что христианскому,

но и вообще человеческому. Их должно избегать всякому: лучше жить частной жизнью, нежели сделаться монархом ценой гибели множества людей. Тем не менее тому, кто не желает избрать вышеозначенный путь добра, надобно погрязнуть во зле.

Но люди избирают некие средние пути, являющиеся самыми губительными; ибо они не умеют быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими, как то и будет показано на примере в следующей главе.

Глава XXVII

ЛЮДИ ЛИШЬ В РЕДЧАЙШИХ СЛУЧАЯХ УМЕЮТ БЫТЬ СОВСЕМ ДУРНЫМИ ИЛИ СОВСЕМ ХОРОШИМИ

В 1505 году папа Юлий II пошел походом на Болонью, дабы выгнать оттуда род де Бентиволыи, владевший этим городом около ста лет. Ополчившись против всех тиранов, занимавших церковные земли, он решил также выкинуть Джовампаголо Бальони из Перуджи, тираном которой тот был. Подойдя к Перудже, папа Юлий II с его хорошо всем известной смелостью и решительностью не стал дожидаться войска, которое должно было подоспеть ему на помощь, но вошел в город безоружным, несмотря на то что Джовампаголо собрал в нем довольно много людей для своей защиты. Увлекаемый тем яростным пылом, благодаря которому он подчинял себе все обстоятельства, Юлий II, сопровождаемый только свитой, отдался в руки своего врага, которого затем увел с собой, оставив в Перудже собственного губернатора, установившего в ней власть Церкви.

Людьми рассудительными, находившимися тогда подле папы, была отмечена дерзновенная отвага папы и жалкая трусость Джовампаголо; они не могли уразуметь, как получилось, что человек с репутацией Джовампаголо разом не подмял под себя врага и не завладел богатой добычей, видя, что папу сопровождают все его кардиналы со всеми их драгоценностями. Люди эти не могли поверить, что его остановила доброта или что в нем заговорила совесть; ведь в груди негодяя, который сожительствовал с сестрой и ради

власти убил двоюродных братьев и племянников, не могло пробудиться какое-либо благочестивое чувство. Вот почему и приходится сделать вывод, что люди не умеют быть ни достойно преступными, ни совершенно хорошими: злодейство обладает известным величием или является в какой-то мере проявлением широты души, до которой они не в состоянии подняться.

Так вот, Джовампаголо, не ставивший ни во что ни кровосмешение, ни публичную резню родственников, не сумел, когда ему представился к тому удобный случай, или, лучше сказать, не осмелился совершить деяние, которое заставило бы всех дивиться его мужеству и оставило бы по себе вечную память, ибо он оказался бы первым, кто показал прелатам, сколь мало надо почитать всех тех, кто живет и правит подобно им, и тем самым совершил бы дело, величие которого намного превысило бы всякий позор и связанную с ним, возможно, опасность.

Глава XXXIV

ДИКТАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ ПРИЧИНИЛА РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ БЛАГО, А НЕ ВРЕД: ГУБИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ТА ВЛАСТЬ, КОТОРУЮ ГРАЖДАНЕ ПРИСВАИВАЮТ, А НЕ ТА, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИМ НА ОСНОВЕ СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ

Некоторые писатели осуждают Римлян за то, что те ввели в Риме обычай избрания Диктатора: обстоятельство это оказалось-де со временем причиной тирании в Риме. Названные писатели ссылаются на то, что первый тиран, бывший в сем городе, распоряжался в нем, прикрываясь диктаторским званием. Они говорят, что, не будь его, Цезарь не смог бы приукрасить свою тиранию никаким общественным саном. Все это придерживающимися подобного мнения писателями не было должным образом рассмотрено и находится вне доводов разума. Ибо не сан и не звание Диктатора поработили Рим, а полномочия, присваивавшиеся гражданами вледствие длительности военной власти. И если бы в Риме отсутствовало звание Диктатора, граждане

Рима воспользовались бы каким-нибудь другим. Ведь это сила легко получает наименования, а не наименования силу. Не трудно увидеть, что Диктатура, пока она давалась согласно установленным общественным порядкам, а не вследствие личного авторитета, всегда приносила пользу городу. Ибо губят республики те магистратуры и власть, которые создаются и даются незаконным, экстраординарным путем, а не те, что получаются путем обычным. Пример тому – Рим: за много времени ни одни Диктатор не причинил Республике ничего, кроме блага.

Почему это так – совершенно ясно. Во-первых, для того, чтобы какой-либо гражданин мог угнетать других и захватить чрезвычайную власть, ему надобно обладать многими качествами, которыми в неразвращенной республике обладать он не в состоянии: ему надо быть очень богатым и иметь достаточное количество приспешников и сторонников, которых у него не может появиться там, где соблюдаются законы; когда же они у него появляются, люди эти наводят такой страх, что оказывается невозможно провести свободные выборы. Кроме того, Диктатор назначался на определенный срок, а не навечно и только для предупреждения той самой опасности, по причине которой он бывал избираем. Его полномочия давали ему право единолично принимать решения относительно средств, направленных на пресечение названной смертельной опасности, действовать во всем, не советуясь с Народом и другими магистратами, и наказывать любого гражданина без права последнего на апелляцию. Но он не мог сделать ничего в ущерб государственному строю: он не мог бы, например, лишить Сенат и Народ их полномочий, уничтожить в городе старые порядки и создать новые. Так что при кратковременности его диктатуры и ограниченности предоставленных ему полномочий, а также при тогдашней неразвращенности римского народа ему было бы невозможно преступить положенные для него пределы и повредить городу. Опыт показывает, что Диктатура всегда оказывалась полезна.

И действительно, среди прочих римских учреждений Диктатура заслуживает того, чтобы ее рассмотрели и причислили к тем из них, которые были причиной величия столь огромной державы. Ибо без подобного учреждения города с трудом справились бы с чрез-

вычайными обстоятельствами. Ведь обычные учреждения действуют в республиках медленно (так как и советы и магистраты не имеют возможности во всем поступать самостоятельно, но нуждаясь друг в друге для решения многих вопросов, а также потому, что для вынесения совместных решений потребно время) и предлагаемые ими меры оказываются крайне опасными, когда им приходится лечить болезнь, требующую незамедлительного вмешательства. Вот почему республики должны иметь среди своих учреждений нечто подобное Диктатуре. Именно поэтому Венецианская республика, каковая среди нынешних республик является самой замечательной, предоставила полномочия нескольким немногим гражданам в случаях крайней необходимости принимать совместное решение помимо Большого совета. Ибо, когда в республике отсутствует такого рода институт, неизбежно приходится либо гибнуть, соблюдая установленные порядки, либо ломать их, дабы не погибнуть. Но в республике всегда нежелательно возникновение обстоятельств, для совладания с которыми приходится обращаться к чрезвычайным мерам. Ибо хотя чрезвычайные меры в определенный момент оказывались полезными, сам пример их бывал вреден. Ведь едва лишь устанавливается обыкновение ломать установленные порядки во имя блага, как тут же, прикрываясь благими намерениями, их начинают ломать во имя зла. Так что республика никогда не будет совершенной, если ее законы не будут предусматривать всего и если против каждого неожиданного обстоятельства у нее не найдется средства и способа с этим обстоятельством совладать. Поэтому в заключение я скажу, что те республики, которые в минуту крайней опасности не прибегают к Диктатуре или к подобной ей власти, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, неминуемо погибнут.

Следует также отметить в этом институте обычай его избрания, мудро предусмотренный Римлянами. Так как назначение Диктатора было сопряжено с некоторым позором для Консулов, которые из глав государства становились такими же подчиненными Диктатору гражданами, как и все остальные, и предполагая, что из-за этого может возникнуть у граждан возмущение, Римляне решили, что полномочия избирать Диктатора будут предоставляться Консулам. Римляне

считали, что когда случится так, что Риму понадобится подобного рода царская власть, Консулы создадут ее таким способом охотнее, а создав ее сами, будут менее страдать от нее. Ибо человек от ран и прочих бед, которые он нанес себе сам, по собственной воле и выбору, страдает гораздо меньше, чем от тех, что ему наносят другие. Однако в дальнейшем, в последние годы Республики, у Римлян вошло в необыкновение вместо Диктатора предоставлять подобного рода полномочия Консулу, пользуясь такими словами: «Videat Consul, ne Respublica quid detrimenti capiat»[1].

Дабы вернуться к нашей теме, замечу, что соседи Рима, пытаясь раздавить его, заставили Рим создать порядки не только способные защитить его от них, но и давшие ему возможность самому нападать на соседей с большею силой, с большей мудростью и с большим авторитетом.

Глава XXXVII

О ТОМ, КАКИЕ РАЗДОРЫ ПОРОДИЛ В РИМЕ АГРАРНЫЙ ЗАКОН, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ПРИНИМАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАКОН, ИМЕЮЩИЙ БОЛЬШУЮ ОБРАТНУЮ СИЛУ И ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ДАВНИМ ОБЫЧАЯМ ГОРОДА,— ДЕЛО, ЧРЕВАТОЕ МНОГИМИ РАЗДОРАМИ

Мнение древних писателей таково, что люди обычно печалятся в беде и не радуются в счастье и что обе эти склонности порождают одни и те же последствия. Ибо едва лишь люди перестают бороться, вынуждаемые к борьбе необходимостью, как они тут же начинают бороться, побуждаемые к тому честолюбием. Последнее столь сильно укоренилось в человеческом сердце, что никогда не оставляет человека, как бы высоко он ни поднялся. Причина этому та, что природа создала людей таким образом, что люди могут желать всего, но не могут всего достигнуть. А так как желание приобретать всегда больше соответственной возможности, то следствием сего оказывается их не-

---

[1] «Пусть позаботится Консул, чтобы Республика не понесла какого-нибудь урона» *(лат.)*.

удовлетворенность тем, чем они владеют, и недовольство собственным состоянием. Этим порождаются перемены в человеческих судьбах, ибо по причине того, что одна часть граждан жаждет иметь еще больше, а другая боится утратить приобретенное, люди доходят до вражды и войны, каковая одну страну губит, а другую возвеличивает.

Я привел это рассуждение потому, что римскому Плебсу мало было обезопасить себя от патрициев посредством выборов Трибунов, добиваться которых плебеев вынуждала необходимость: добившись этого, Плебс начал бороться из честолюбия и пожелал делить со Знатью почести и богатство, ибо то и другое почитается людьми превыше всего. Это породило беду хуже чумы, вызвавшую распри вокруг аграрного закона, которые стали в конце концов причиной крушения Республики.

В хорошо устроенных республиках все общество – богато, а отдельные граждане – бедны. В Риме случилось так, что названный закон не соблюдался. Он либо с самого начала был сформулирован таким образом, что его каждодневно приходилось перетолковывать, либо настолько изменился в процессе применения, что обращение к его первоначальной форме оказалось чреватым многими раздорами, либо же, будучи хорошо сформулированным вначале, исказился затем от употребления. Как бы то ни было, в Риме никогда не заговаривали об аграрном законе, без того, чтобы город не переворачивался вверх дном.

Названный закон имел две главных статьи. Одна из них указывала, что никто из граждан не может владеть больше, чем определенным количеством югеров земли; другая – предписывала, чтобы поля, отнятые у врагов, делились между всем римским народом. Отсюда проистекало для Знати двоякое утеснение: тем из нобилей, которые имели больше земель, чем допускал закон (а среди Знати таковых было большинство), приходилось их лишаться; распределение же среди плебеев отнятых у врагов благ закрывало нобилям путь к дальнейшему обогащению. Поэтому, так как утеснения эти были направлены против сильных мира сего и так как, сопротивляясь им, последние уверяли, будто они отстаивают общее благо, нередко случалось, что весь город, как уже говорилось, переворачивался вверх дном.

Знать терпеливо и хитро оттягивала применение аграрного закона, либо затевая войну вне пределов Рима, либо противопоставляя Трибуну, предлагающему аграрный закон, другого Трибуна, либо, сделав частичные уступки, выводя колонию в то самое место, которое подлежало разделу. Так случилось с землями Антия. Когда в связи с ними возникла тяжба об аграрном законе, в Антий были посланы из Рима колонисты, которым предоставлялись названные земли. Говоря, что в Риме с трудом отыскались люди, согласившиеся отправиться в упомянутую колонию, Тит Ливий употребляет примечательное выражение: оказалось, что имеется множество плебеев, которые предпочитают желать благ в Риме, нежели владеть ими в Антии.

Лихорадочная жажда аграрного закона некогда столь сильно мучила город, что Римляне стали вести войны на отдаленных землях Италии или же вообще за ее границами. После этого лихорадка сия на некоторое время, по видимости, прекратилась. Произошло это потому, что земли, которыми владели враги Рима, не находясь под носом у плебеев и располагаясь в местах, где их трудно было возделывать, оказались для плебеев менее желанными. Поэтому же и Римляне стали по отношению к своим врагам менее жестокими, и когда они все же отрезали земли от их владений, то отдавали эти земли под колонии. Так что, в силу названных причин, аграрный закон находился под спудом вплоть до времени Гракхов. Именно Гракхи снова извлекли его на свет и тем погубили римскую свободу. Ибо к тому времени сила противников аграрного закона удвоилась. Поэтому он разжег между Плебсом и Сенатом столь сильную ненависть, что она вылилась в потоки крови и вооруженные столкновения, выходившие за рамки нравов и обычаев цивилизованного общества. Так как должностные лица не могли с ними справиться и так как на магистратов не надеялась больше ни одна из группировок, враждующие партии стали прибегать к собственным средствам и каждая из них обзавелась главарем, который бы ее защищал.

Зачинщиками этой смуты и беспорядков были плебеи. Они возвеличили Мария, притом настолько, что четырежды делали его Консулом. Они возобновляли его консулат через столь малые промежутки времени, что затем он уже сам смог сделаться Консулом еще три

раза. Против подобной беды у Знати не было иного средства, как начать поддерживать Суллу. Сделав его главой своей партии, Знать развязала гражданскую войну и, пролив много крови, испытав различные превратности судьбы, одержала в ней верх.

Те же самые распри возникли во времена Цезаря и Помпея: Цезарь сделался главой партии Мария, а Помпей – Суллы. В схватке между ними верх одержал Цезарь. Он был первым тираном в Риме. После него город этот никогда уже не был свободным.

Вот какое начало и вот какой конец имел аграрный закон.

В другом месте мы доказывали, что вражда между Сенатом и Плебсом поддерживала в Риме свободу, ибо из вражды сей рождались законы, благоприятные свободе. И хотя, как кажется, результаты аграрного закона противоречат подобному выводу, я все-таки заявляю, что не намерен из-за этого отказываться от своего мнения. Ведь жадность и надменное честолюбие грандов столь велико, что, если город не обуздает их любыми путями и способами, они быстро доведут этот город до погибели. Распрям вокруг аграрного закона понадобилось триста лет для того, чтобы сделать Рим рабским, но Рим был бы порабощен много скорее, если бы плебеи с помощью аграрного закона и других своих требований постоянно не сдерживали жадность и честолюбие нобилей. Ибо римская Знать всегда без большого шума уступала плебеям почести, но как только дело дошло до имущества, она бросилась защищать его с таким упорством, что плебеям, дабы удовлетворить собственные аппетиты, пришлось прибегнуть к вышерассмотренным чрезвычайным мерам.

Зачинщиками этих беспорядков были Гракхи, каковых следует хвалить скорее за их намеренья, нежели за их рассудительность. Ведь желать уничтожить возникшие в городе непорядки и принимать ради этого закон, имеющий большую обратную силу, – дело весьма неблагоразумное. Поступить так – об этом много уже говорилось выше – значит только ускорить то самое зло, к которому ведут названные непорядки. Если же повременить и выждать, зло либо придет позднее, либо, со временем, исчезнет само собой.

Глава LV

О ТОМ, КАК ЛЕГКО ВЕДУТСЯ ДЕЛА В ГОРОДЕ, ГДЕ МАССЫ НЕ РАЗВРАЩЕНЫ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ТАМ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ РАВЕНСТВО, НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ САМОДЕРЖАВИЕ, ТАМ ЖЕ, ГДЕ ЕГО НЕТ, НЕВОЗМОЖНО УЧРЕДИТЬ РЕСПУБЛИКУ

Несмотря на то что выше мы довольно подробно рассуждали о том, чего надобно опасаться городам развращенным и на что им можно надеяться, мне все же представляется нелишним рассмотреть решение Сената относительно обета Камилла отдать Аполлону десятую часть добычи, захваченной у вейентов. Добыча эта попала в руки римского Плебса и, так как не было никакой возможности ее сосчитать, Сенат издал постановление о том, чтобы каждый выложил в общий котел десятую часть того, что им было награблено. И хотя решение это не было проведено в жизнь, ибо Сенат впоследствии нашел средство по-другому ублажить Аполлона, не чиня обиды Плебсу, оно все-таки показывает, насколько Сенат верил в добродетель плебеев, полагая, что не найдется ни одного из них, кто не представил бы ровно столько добычи, сколько предписывалось названным сенатским решением. С другой стороны, Плебс не подумал как-либо обойти постановление Сената, отдав меньше, чем следовало, но решил освободиться от него, открыто обнаружив недовольство.

Пример этот, так же как и многие другие, о которых говорилось выше, показывает, сколь добродетелен и благочестив был римский народ и сколь много хорошего можно было от него ожидать. И действительно, где нет подобной добродетели, невозможно ожидать чего-либо хорошего, как нечего ждать от стран, которые в последнее время совершенно развратились, — прежде всего от Италии. Даже Франции и Испании коснулась та же самая развращенность. Если в них не видно таких же раздоров, каковые каждодневно возникают в Италии, то проистекает это не столько от добродетели их народов, каковая у названных народов по большей части отсутствует, сколько потому, что во Франции и Испании имеется король, поддерживающий их внутреннее единство не только благодаря собствен-

ной доблести, но главным образом благодаря политическому строю этих королевств, не подвергшемуся еще порче.

Добродетель и благочестие народа очень хорошо видны в Германии, где они все еще очень велики. Именно добродетель и благочестие народа делают возможным существование в Германии многих свободных республик, которые так строго соблюдают свои законы, что никто ни извне, ни изнутри не дерзает посягнуть на их независимость. В подтверждение истинности того, что в тех краях сохранилась добрая часть античной добродетели, я хочу привести пример, похожий на приведенный выше пример с римским Сенатом и Плебсом. В германских республиках существует обычай, что когда надо получить и израсходовать из общественных средств определенное количество денег, магистраты и советы, обладающие в сказанных республиках полномочиями власти, облагают всех жителей города податью, равною одному-двум процентам от состояния каждого. И как только принимается подобное постановление, каждый, согласно порядкам своей земли, является к сборщикам подати; дав клятву уплатить должную сумму, он бросает в предназначенный для этого ящик столько денег, сколько велит ему совесть: свидетелем уплаты выступает только сам плательщик. Из этого можно заключить, как много добродетели и как много благочестия сохранилось еще у этих людей. Мы вынуждены предположить, что каждый из них честно уплачивает подобающую ему сумму, ибо если бы он ее не уплачивал, подать не достигала бы тех размеров, которые устанавливались для нее давними обычаями налогообложения, а если бы она их не достигала, обман был бы обнаружен и, будучи обнаруженным, заставил бы изменить способ сбора податей.

Подобная добродетель в наши дни тем более удивительна, что встречается она до крайности редко: по-видимому, сохранилась она теперь только в Германии.

Порождается это двумя причинами. Во-первых, германцы не имеют широких сношений с соседними народами. Ни соседи не наведываются к ним в гости, ни они сами не наведываются к соседям, ибо довольствуются теми благами, теми продуктами питания и теми шерстяными одеждами, которые изготовляются в их стране. Тем самым устраняется причина для внешних

сношений и начало всяческой развращенности: германцы не усвоили нравов ни французов, ни испанцев, ни итальянцев, каковые нации вкупе являются развратителем мира. Во-вторых, германские республики, сохранившие у себя свободную и неиспорченную политическую жизнь, не допускают, чтобы кто-либо из их граждан был дворянином или же жил на дворянский лад. Больше того, они поддерживают у себя полнейшее равенство и являются злейшими врагами господ и дворян, живущих в тамошней стране; если те случайно попадают к ним в руки, то они уничтожают их как источник разложения и причину смут.

Дабы стало совершенно ясно, кого обозначает слово «дворянин», скажу, что дворянами именуются те, кто праздно живут на доходы со своих огромных поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. И теми и другими переполнены Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. Именно из-за них в этих странах никогда не возникало республики и никогда не существовало какой-либо политической жизни: подобная порода людей решительный враг всякой гражданственности. В устроенных наподобие им странах при всем желании невозможно учредить республику. Если же кому придет охота навести в них порядок, то единственным возможным для него путем окажется установление там монархического строя. Причина этому такова: там, где развращенность всех достигла такой степени, что ее не в состоянии обуздать одни лишь законы, необходимо установление вместе с законами превосходящей их силы; таковой силой является царская рука, абсолютная и чрезвычайная власть которой способна обуздывать чрезмерную жадность, честолюбие и развращенность сильных мира сего.

Правильность такого рода рассуждений подтверждает пример Тосканы: там на небольшом расстоянии друг от друга долгое время существовало три республики — Флоренция, Сиена и Лукка; остальные же города этой страны, хотя и были в какой-то мере порабощены, всем духом и строем своим обнаруживали, что они сохра-

нили или хотели бы сохранить свою свободу. Произошло сие потому, что в Тоскане не было ни одного владельца замка и имелось очень мало дворян. Там существовало такое равенство, что мудрому человеку, знающему гражданские порядки древних, было бы очень просто устроить там свободную гражданскую жизнь. Однако несчастие Тосканы столь велико, что по сей день в ней не нашлось ни одного человека, который сумел бы или же знал бы, как это сделать.

Так вот, из всего вышеприведенного рассуждения вытекает следующий вывод: желающий создать республику там, где имеется большое количество дворян, не сумеет осуществить свой замысел, не уничтожив предварительно всех их до единого; желающий же создать монархию или самодержавное княжество там, где существует большое равенство, не сможет этого сделать, пока не выведет из сказанного равенства значительное количество людей честолюбивых и беспокойных и не сделает их дворянами по существу, то есть пока он не наделит их замками и имениями, не даст им много денег и крепостных, с тем чтобы, окружив себя дворянами, он мог бы, опираясь на них, сохранить свою власть, а они, с его помощью, могли бы удовлетворять свою жадность и свое честолюбие; в этом случае все прочие граждане оказались бы вынуждены безропотно нести то самое иго, заставить переносить которое способно одно лишь насилие. Именно таким образом устанавливается равновесие между обращающимися к насилию и теми, на кого насилие это направлено, и каждый человек прочно прикрепляется к своему сословию. Превращение страны, приноровленной к монархическому строю, в республику и установление монархии в стране, приспособленной к республиканскому строю, – дело, требующее человека редкостного ума и воли. Поэтому, хотя брались за него весьма многие, лишь очень немногим удавалось довести его до конца. Огромность встающей перед ними задачи отчасти устрашает людей, отчасти сковывает их – в результате они на первых же шагах спотыкаются и терпят неудачу.

Возможно, высказанное мною мнение о том, что невозможно создать республику там, где имеются дворяне, покажется противоречащим опыту Венецианской республики, где одни лишь дворяне допус-

каются на общественные и государственные должности. Но на это я возражу, что пример Венеции моему мнению отнюдь не противоречит, ибо в республике сей дворяне являются дворянами больше по имени, чем по существу: они не получают там больших доходов с поместий, так как источник их богатства — торговля и движимость; кроме того, никто из них не владеет замками и не обладает никакой вотчинной властью над крестьянами; слово «дворянин» является в Венеции почетным званием, никак не связанным с тем, что в других городах делает человека дворянином. Подобно тому как в других республиках жители делятся на различные группы, поразному именуемые, жители Венеции делятся на дворян и на народ. Дворяне там обладают или могут обладать всеми почестями; народ же к ним совершенно не допускается. Благодаря этому, в силу причин, о которых уже говорилось, в Венеции не возникает смут.

Итак, пусть устанавливается республика там, где существует или создано полное равенство. И наоборот, пусть учреждается самодержавие там, где существует полнейшее неравенство. В противном случае будет создано нечто несоразмерное и недолговечное.

Глава LVII

ПЛЕБЕИ В МАССЕ СВОЕЙ КРЕПКИ И СИЛЬНЫ, А ПО ОТДЕЛЬНОСТИ СЛАБЫ

Многие римляне, после того как нашествие французов опустошило их родину, переселились в Вейи, вопреки постановлению и предписанию Сената. Дабы исправить такой непорядок, Сенат специальными общественными эдиктами повелел всем к известному сроку и под страхом определенного наказания вернуться в Рим. Те, против кого были направлены указанные эдикты, сперва потешались над ними, но потом, когда настал срок повиноваться, подчинились. Тит Ливий говорит по этому поводу: «Ex ferocibus universis singuli metu suo obidientes fuere»[1].

---

[1] «Будучи все вместе храбрыми, они стали покорными, ибо каждый боялся сам за себя» *(лат.)*.

И действительно, нельзя лучше показать природу народных масс, чем показано в приведенном тексте. Массы дерзко и многократно оспаривают решения своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно им повинуются. Таким образом, можно считать непреложным, что тому, что народ говорит о своих добрых или дурных настроениях, не стоит придавать слишком большого значения; ведь ты в состоянии поддержать его, если народ настроен хорошо; если же он настроен дурно, ты можешь заранее помешать ему причинить тебе вред.

Говоря здесь о дурных настроениях народа, я имею в виду все его недовольства, помимо тех, которые вызываются потерей свободы или утратой любимого государя, все еще находящегося в живых: недовольства, порожденные такого рода причинами – вещь очень страшная, и для обуздания их требуются крайние меры. Все же прочие народные недовольства легко устранимы – в тех случаях, когда у народа нет вождей. Ибо не существует ничего более ужасного, чем разнузданные, лишенные вождя массы, и вместе с тем – нет ничего более беспомощного: даже если народные массы вооружены, их несложно будет успокоить при условии, что тебе удастся уклониться от их первого натиска; ведь когда горячие головы малость поостынут и все разойдутся по домам, каждый начнет сомневаться в своих силах и позаботится о собственной безопасности, либо обратившись в бегство, либо пойдя на попятный.

Вот почему взбунтовавшимся массам, если они только желают избегнуть подобной опасности, надобно сразу же избрать из своей среды вождя, который бы направлял их, поддерживал их внутреннее единство и заботился об их защите. Именно так поступили римские плебеи, когда после смерти Виргинии они покинули Рим и ради своего спасения избрали из своей среды двадцать Трибунов. В тех же случаях, когда они этого не делали, с ними всегда случалось то, о чем говорит Тит Ливий в вышеприведенной фразе. Все вместе они бывают храбрыми, когда же каждый из них начинает думать о грозящей лично ему опасности, они становятся слабыми и трусливыми.

Глава LVIII

НАРОДНЫЕ МАССЫ МУДРЕЕ И ПОСТОЯННЕЕ ГОСУДАРЯ

Нет ничего суетнее и непостояннее народных масс – так утверждает наш Тит Ливий, подобно всем прочим историкам. В повествованиях их о людских деяниях часто приходится видеть, как народные массы сперва осуждают кого-нибудь на смерть, а затем его же оплакивают и весьма о нем сожалеют. Пример тому – отношение римского народа к Манлию Капитолийскому, коего он сперва приговорил к смерти, а потом горько о нем пожалел. Историк так говорит об этом: «Populum brevi, posteaquam ab eo periculum nullum erat, desiderium eius tenuit»[1]. В другом месте, показывая события, развернувшиеся в Сиракузах после смерти Гиеронима, внука Гиерона, он говорит: «Насе natura multitudinis est: aut humiliter servit, aut superbe dominatur»[2].

Не знаю, может быть, я взваливаю на себя тяжелое и трудно исполнимое дело, от которого мне либо придется с позором отказаться, либо вести его под бременем порицаний, но я хочу защищать положение, отвергаемое, как мною только что говорилось, всеми историками. Впрочем, как бы там ни было, я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы.

Так вот, я утверждаю, что тем самым пороком, которым историки попрекают народные массы, можно попрекнуть всех людей вообще и больше всего государей. Всякий человек, не управляемый законами, совершил бы те же самые ошибки, которые допускают разнузданные массы. В этом легко убедиться: немало есть и было разных государей, но добрые и мудрые государи – наперечет. Я говорю о государях, сумевших разорвать сдерживающую их узду; в этот разряд не входят ни государи, существовавшие в

[1] «Вскоре народ, которому не угрожало уже ни малейшей опасности, горько о нем пожалел» (*лат.*).

[2] «Такова натура толпы: она или рабски прислуживает, или надменно властвует» (*лат.*).

Египте и в пору самой древней древности управлявшие этой страной с помощью законов, ни государи, существовавшие в Спарте, ни государи, ныне существующие во Франции. Монархическая власть сдерживается во Франции законами более, чем в каком-либо из известных нам нынешних царств. Цари эти, правившие согласно конституционным законам, не входят в названный разряд, поскольку нам хотелось бы рассмотреть природу всякого человека, взятого самого по себе, и посмотреть, сходна ли она с природой народных масс. В противовес же названным царям можно было бы поставить массы, так же как и цари, управляемые законами: в этом случае мы обнаружили бы у народных масс те же самые добродетели, что и у царей, и увидели бы, что массы и не властвуют надменно, и не прислуживают рабски.

Именно таким был римский народ, который, пока Республика сохранялась неразвращенной, никогда рабски не прислуживал и никогда надменно не властвовал, но с помощью своих учреждений и магистратов честно и с достоинством играл отведенную ему общественную роль. Когда необходимо было выступать против одного из сильных мира сего, он делал это – пример тому Манлий, Децимвиры и другие, пытавшиеся угнетать народ; когда же необходимо было во имя общественного блага повиноваться Диктаторам и Консулам, он повиновался. И если римский народ горько сожалел о смерти Манлия Капитолийского, то особенно удивляться тут нечему: он сожалел об его доблести, которая была столь велика, что воспоминания о ней вызывали у каждого слезы. Точно так же поступил бы любой государь, ведь все историки уверяют, что следует прославлять всякую доблесть и восхищаться ею даже у наших врагов. Тем не менее если бы среди проливаемых по нему слез Манлий вдруг воскрес, народ Рима вынес бы ему тот же самый приговор; он точно так же освободил бы его из тюрьмы, а некоторое время спустя осудил бы его на смерть. В противоположность этому можно видеть, как государи, почитаемые мудрыми, сперва убивали какого-нибудь человека, а потом крайне о том сожалели. Так поступил Александр с Клитом и другими своими друзьями, а Ирод – с Мариамной.

Но то, что говорит нам историк о природе на-

родных масс, он говорит не о массах, упорядоченных законами, вроде римского народа, а о разнузданной толпе, каковой была сиракузская чернь. Эта последняя совершает ошибки, совершаемые людьми вспыльчивыми и необузданными, вроде Александра Великого и Ирода. Поэтому не следует порицать природу масс больше, нежели натуру государей, ибо и массы и государи в равной степени заблуждаются, когда ничто не удерживает их от заблуждений. В подтверждение этого, помимо приведенных мною примеров, можно сослаться на пример римских императоров и на других тиранов и государей; у них мы увидим такое непостоянство и такую переменчивость, каких не найти ни у одного народа.

Итак, я прихожу к выводу, противоречащему общему мнению, полагающему, будто народ, когда он находится у власти, непостоянен, переменчив и неблагодарен. Я утверждаю, что народ грешит названными пороками ничуть не больше, нежели любой государь. Тот, кто предъявит обвинение в указанных пороках в равной мере и народу и государям, окажется прав; избавляющий же от них государей допустит ошибку. Ибо властвующий и благоустроенный народ будет столь же, а то и более постоянен, благоразумен и щедр, что и государь, притом государь, почитаемый мудрым. С другой стороны, государь, сбросивший узду закона, окажется неблагодарнее, переменчивее и безрассуднее всякого народа. Различие в их действиях порождается не различием их природы – ибо природа у всех одинакова, а если у кого здесь имеется преимущество, то как раз у народа, – но большим или меньшим уважением законов, в рамках которых они живут. Всякий, кто посмотрит на римский народ, увидит, что в продолжение четырехсот лет народ этот был врагом царского звания, страстным почитателем славы своей родины и поборником ее общественного блага, – он увидит множество примеров и тому и другому. А если кто сошлется на неблагодарность, проявленную римским народом по отношению к Сципиону, то в ответ я приведу тот же самый довод, который подробно рассматривался мною прежде, когда показывалось, что народ менее неблагодарен, нежели государь.

Что же до рассудительности и постоянства, то

уверяю вас, что народ постояннее и много рассудительнее всякого государя. Не без причин голос народа сравнивается с гласом божьим: в своих предсказаниях общественное мнение достигает таких поразительных результатов, что кажется, будто благодаря какой-то тайной способности народ ясно предвидит, что окажется для него добром, а что – злом. Лишь в самых редких случаях, выслушав речи двух ораторов, равно убедительные, но тянущие в разные стороны, народ не выносит наилучшего суждения и не способен понять того, о чем ему говорят. А если он, как отмечалось, допускает ошибки, принимая решения излишне смелые, хотя и кажущиеся ему самому полезными, то ведь еще большие ошибки допускает государь, движимый своими страстями, каковые по силе много превосходят страсти народа. При избрании магистратов, например, народ делает несравнимо лучший выбор, нежели государь; народ ни за что не уговоришь, что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговорить в том можно без всякого труда.

Коли уж что-то внушило ужас народу, то мнение его по этому поводу не изменяется веками. Совсем не то мы видим у государей. Для подтверждения правильности обоих вышеизложенных положений мне было бы достаточно сослаться на римский народ. На протяжении сотен лет, много раз избирая Консулов и Трибунов, он и четырежды не раскаялся в своем выборе.

Народ Рима, как я уже говорил, настолько ненавидел титул царя, что никакие заслуги гражданина, домогавшегося этого титула, не могли спасти его от заслуженного наказания.

Помимо всего прочего, города, в которых у власти стоит народ, за короткое время сильно расширяют свою территорию, много больше, чем те, которые всегда находились под властью одного государя. Так было с Римом после изгнания из него царей; так было с Афинами после освобождения их от Писистрата. Причина тому может быть только одна: народное правление лучше правления самодержавного.

Я не хочу, чтобы этому моему мнению противопоставлялось все то, о чем говорит нам историк

в вышеупомянутой фразе или в каком-нибудь другом месте, ибо если мы сопоставим все беспорядки, произведенные народом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все славные деяния народа со всеми славными деяниями государей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в добродетели, и в славе. А если государи превосходят народ в умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь, устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный строй. Тем самым он приобщается к славе его учредителей.

Одним словом, дабы заключить мои рассуждения о сем предмете, скажу, что много было долговечных монархий и много было долговечных республик; тем и другим потребно было подчинение законам, ибо государь, который способен делать все, что ему заблагорассудится, – безумен, народ же, который способен делать все, что ему угодно, – не мудр. Однако если мы сопоставим государя, уважающего закон, с подчиняющимся законам народом, то убедимся, что у народа доблести больше, чем у государя. Если же мы сопоставим необузданного государя с тоже необузданным народом, то увидим, что и в этом случае народ допускает менее серьезные ошибки, для исправления которых необходимы более легкие средства. Ведь достаточно доброму человеку поговорить с разнузданным и мятежным народом, и тот тут же опять встанет на правый путь. А с дурным государем поговорить некому – для избавления от него потребно железо. По этому можно судить о степени серьезности заболевания. Раз для излечения болезни народа довольно слов, а для излечения болезни государя необходимо хирургическое вмешательство, то не найдется никого, кто не признал бы, что там, где лечение труднее, допущены и более серьезные ошибки.

Когда народ совершенно сбрасывает с себя всякую узду, опасаться надо не безумств, которые он творит, и не нынешнего зла страшиться, – бояться надо того, что из этого может произойти, ибо общественные беспорядки легко порождают тирана. С дурными государями происходит как раз обратное: тут страшатся теперешнего зла и все надежды возлагают

на будущее; люди успокаивают себя тем, что сама дурная жизнь государя может возродить свободу. Итак, вот к чему сводится различие между народом и государем: это отличие существующего от того, что будет существовать.

Жестокость народных масс направлена против тех, кто, как опасается народ, может посягнуть на общее благо; жестокость государя направлена против тех, кто, как он опасается, может посягнуть на его собственное, личное благо.

Неблагоприятные народу мнения о нем порождены тем, что о народе всякий говорит плохое свободно и безбоязненно даже тогда, когда народ стоит у власти; о государях же всегда говорят с большим страхом и с тысячью предосторожностей [...]

КНИГА ВТОРАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Люди всегда хвалят – но не всегда с должными основаниями – старое время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, что восхваляют не только те давние эпохи, которые известны им по свидетельствам, оставленным историками, но также и те времена, которые они сами видели в своей молодости и о которых вспоминают, будучи уже стариками. В большинстве случаев таковое их мнение оказывается ошибочным. Мне это ясно, потому что мне понятны причины, вызывающие у них подобного рода заблуждение.

Прежде всего, заблуждение это порождается, по-моему, тем, что о делах далекого прошлого мы не знаем всей правды: то, что могло бы очернить те времена, чаще всего скрывается, то же, что могло бы принести им добрую славу, возвеличивается и раздувается. Большинство историков до того ослеплено счастьем победителей, что, дабы прославить их победы, не только преувеличивает все то, что названными победителями было доблестно совершено, но также и действия их врагов разукрашивает таким образом, что всякий, кто потом родится в любой

из двух стран, победившей или побежденной, будет иметь причины восхищаться тогдашними людьми и тогдашним временем и будет принужден в высшей степени прославлять их и почитать. Кроме того, поскольку люди ненавидят что-либо по причине либо страха, либо зависти, то, сталкиваясь с делами далекого прошлого, они теряют две важнейшие причины, из-за которых они могли бы их ненавидеть, ибо прошлое не может тебя обижать и у тебя нет причин ему завидовать. Иное дело события, в которых мы участвуем и которые находятся у нас перед глазами: познание открывает тебе их со всех сторон; и, познавая в них вместе с хорошим много такого, что тебе не по нутру, ты оказываешься вынужденным оценивать их много ниже событий древности даже тогда, когда, по справедливости, современность заслуживает гораздо больше славы и доброй репутации, нежели античность. Я говорю это не о произведениях искусства, которые столь ясно свидетельствуют сами за себя, что время мало может убавить или прибавить к той славе, коей они заслуживают, – я говорю это о том, что имеет касательство к жизни и нравам людей и чему нет столь же неоспоримых свидетелей.

Итак, повторяю: невозможно не признать, что у людей имеется обыкновение хвалить прошлое и порицать настоящее. Однако нельзя утверждать, что, поступая так, люди всегда заблуждаются. Сама необходимость требует, чтобы в каких-то случаях они судили верно. Ведь, находясь в вечном движении, дела человеческие идут либо вверх, либо вниз. Бывает, что город или страна упорядочивается для гражданской жизни каким-нибудь выдающимся человеком и известное время, благодаря его личной доблести, дела в них развиваются к лучшему. Кто, родившись в ту пору, при тогдашнем строе станет хвалить древность больше, чем современность, допустит ошибку, и причиной его ошибки будут выше рассмотренные обстоятельства. Но родившиеся после него в том же городе или стране, когда этот город или страна вступят в полосу упадка, судя так же, как он, будут судить правильно.

Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается одинаковым, –

что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и добро перекочевывает из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница состояла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде помещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в Персию, а из нее перешла в Италию и Рим. И хотя за Римской Империей не последовало империи, которая просуществовала бы длительное время и в которой мир сохранил бы всю свою доблесть целостной, мы все-таки видим ее рассеянной среди многих наций, живущих доблестной жизнью. Пример тому дают королевство Франции, царство турок и царство султана, а ныне – народы Германии и прежде всего секта сарацинов, которая совершила многие великие подвиги и захватила значительную часть мира после того, как она сокрушила Восточную Римскую империю. Так вот, во всех этих странах, после падения римлян, и во всех этих сектах сохранялась названная доблесть, и в некоторых из них до сих пор имеется то, к чему надобно стремиться и что следует по-настоящему восхвалять. Всякий, кто, родившись в тех краях, примется хвалить прошлые времена больше, нежели нынешние, допустит ошибку. Но тот, кто родился в Италии и в Греции и не стал – в Италии французом или германцем, а в Греции – турком, имеет все основания хулить свое время и хвалить прошлое. Ибо некогда там было чем восхищаться; ныне же ничто не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в странах сих не почитается религия, не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь они замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто восседает pro tribunali, кто командует другими и кто желает быть боготворимым.

Но вернемся к нашему рассуждению. Если, как утверждаю я, люди ошибаются, определяя, какой век лучше, нынешний или древний, ибо не знают древности столь же хорошо, как свое время, то, казалось бы, старикам не должно заблуждаться в оценках поры собственной юности и старости – ведь

и то и другое время известно им в равной мере хорошо, так как они видели его собственными глазами. Это было бы справедливо, если бы люди во все возрасты жизни имели одни и те же суждения и желания; но поскольку люди меняются скорее, чем времена, последние не могут казаться им одинаковыми, ибо в старости у людей совсем не такие желания, пристрастия и мысли, какие были у них в юности. Когда люди стареют, у них убывает сила и прибавляется ума и благоразумия. Поэтому неизбежно, что все то, что в юности казалось им сносным или даже хорошим, в старости кажется дурным и невыносимым. Однако вместо того, чтобы винить свой рассудок, они обвиняют время.

Кроме того, так как желания человеческие ненасытны и так как природа наделила человека способностью все мочь и ко всему стремиться, а фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то следствием сего оказывается постоянная духовная неудовлетворенность и пресыщенность людей тем, чем они владеют. Именно это заставляет их хулить современность, хвалить прошлое и жадно стремиться к будущему даже тогда, когда у них нет для этого сколько-нибудь разумного основания.

Не знаю, возможно, и я заслужил того, чтобы быть причисленным к заблуждающимся, ибо в этих моих рассуждениях я слишком хвалю времена древних римлян и ругаю наше время. Действительно, не будь царившая тогда доблесть и царствующий ныне порок яснее солнца, я вел бы себя более сдержанно, опасаясь впасть в ту самую ошибку, в которой я обвиняю других. Но так как все это очевидно для каждого, то я стану говорить смело и без обиняков все, что думаю о той и о нашей эпохе, дабы молодежь, которая прочтет сии мои писания, могла бежать от нашего времени и быть готовой подражать античности, как только фортуна предоставит ей такую возможность. Ведь обязанность порядочного человека – учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, способных к добру, некоторые из них – те, что будут более всех любезны небу, – смогут претворить это добро в жизнь.

Поскольку в рассуждениях предыдущей книги говорилось о решениях, принимавшихся римлянами по вопросам, касавшимся внутренних дел города, то в этой книге мы поговорим уже о том, что предпринял римский народ для расширения своей державы.

Глава II

С КАКИМИ НАРОДАМИ РИМЛЯНАМ ПРИХОДИЛОСЬ ВЕСТИ ВОЙНУ И КАК НАЗВАННЫЕ НАРОДЫ ОТСТАИВАЛИ СВОЮ СВОБОДУ

Ничто так не затрудняло римлянам покорение народов соседних стран, не говоря уж о далеких землях, как любовь, которую в те времена многие народы питали к своей свободе. Они защищали ее столь упорно, что никогда не были бы порабощены, если бы не исключительная доблесть их завоевателей. Многие примеры свидетельствуют о том, каким опасностям подвергали себя тогдашние народы, дабы сохранить или вернуть утраченную свободу, как мстили они тем, кто лишал их независимости.

Уроки истории учат также, какой вред наносит народам и городам рабство. Там, где теперь имеется всего лишь одна страна, о которой можно сказать, что она обладает свободными городами, в древности во всех странах жило множество совершенно свободных народов.

В те далекие времена, о которых мы сейчас говорим, в Италии, начиная от Альп, отделяющих ныне Тоскану от Ломбардии, и до ее оконечности на юге, жило много свободных народов. Это были тосканцы, римляне, самниты и многие другие народы, населявшие остальную Италию. Нет никаких указаний на то, что в Италии тогда имелись какие-либо цари за исключением тех, что правили в Риме, да еще Порсены, царя Тосканы, род которого угас, но как и когда – история о том умалчивает. Тем не менее совершенно очевидно, что в пору, когда римляне осаждали Вейи, Тоскана была уже свободной и так радовалась свободе, до такой степени ненавидела само имя государя, что когда вейенты для своей защиты избрали в Вейях царя, а затем обратились к тоскан-

цам за помощью против римлян, тосканцы после долгих совещаний решили не помогать вейентам, пока те будут жить под властью царя, полагая, что нехорошо защищать родину тех, кто уже подчинил ее чужой воле.

Нетрудно понять, почему у народа возникает такая любовь к свободной жизни. Ведь опыт показывает, что города увеличивают свои владения и умножают богатства только будучи свободными. В самом деле, диву даешься, когда подумаешь, какого величия достигли Афины в течение ста лет, после того как они освободились от тирании Писистрата. Еще больше поражает величие, достигнутое Римом, освободившимся от царей. Причину сего уразуметь несложно: великими города делает забота не о личном, а об общем благе. А общее благо принимается в расчет, бесспорно, только в республиках. Ибо все то, что имеет его своей целью, в республиках проводится в жизнь, даже если это наносит урон тому или иному частному лицу; граждане, ради которых делается сказанное благо, столь многочисленны, что общего блага можно достигнуть там вопреки немногим, интересы которых при этом ущемляются.

Обратное происходит в землях, где власть принадлежит государю. Там в большинстве случаев то, что делается для государя, наносит урон городу, а то, что делается для города, ущемляет государя. Так что когда свободную жизнь сменяет тирания, наименьшим злом, какое проистекает от этого для городов, оказывается то, что они не могут больше ни развиваться, ни умножать свою мощь и богатство. Чаще же всего и даже почти всегда они поворачивают вспять. Если по воле случая к власти и приходит доблестный тиран, который, обладая мужеством и располагая силой оружия, расширяет границы своей территории, то это идет на пользу не всей республике, а только ему одному. Тиран не может почтить ни одного из достойных и добрых граждан, над которыми он тиранствует, без того, чтобы тот тут же не попал у него под подозрение. Он не может также ни подчинять другие города тому городу, тираном которого он является, ни превращать их в его данников, ибо не в его интересах делать свой город сильным: ему выгодно держать

государство раздробленным, так чтобы каждая земля и каждая область признавала лишь его своим господином. Вот почему из всех его завоеваний выгоду извлекает один только он, а никак не его родина. Кто пожелает подкрепить это мнение многими другими доводами, пусть прочтет, что пишет Ксенофонт в трактате «О тирании». Не удивительно поэтому, что древние народы с неумолимой ненавистью преследовали тиранов и так любили свободную жизнь, что само имя свободы пользовалось у них большим почетом. Вот пример того: когда в Сиракузах погиб Гиероним, внук Гиерона Сиракузского, и весть о его смерти дошла до его войска, стоявшего неподалеку от Сиракуз, войско поначалу принялось волноваться и ополчилось против убийц Гиеронима, но, услышав, что в Сиракузах провозглашена свобода, отложило гнев против тираноубийц и принялось думать, как бы в означенном городе устроить свободную жизнь.

Не удивительно также, что народ жестоко мстит тем, кто отнимает у него свободу. Примеров тому достаточно; я хочу указать лишь на события, имевшие место в Керкире, греческом городе, во время Пелопоннесской войны. Тогда вся Греция разделилась на две партии, одна из которых была на стороне афинян, другая – спартанцев; следствием сего было то, что из многих городов, разделенных на партии, одни стремились к дружбе со Спартой, а другие – с Афинами. Случилось так, что когда в упомянутом городе верх одержали нобили и отняли у народа свободу, народная партия с помощью афинян собралась с силами, захватила всю знать и заперла нобилей в тюрьму, способную вместить их всех. Затем их начали выводить оттуда по восемь – десять человек зараз под предлогом отправки в изгнание и убивать, проявляя при этом большую жестокость. Проведав про то, оставшиеся в тюрьме решили по возможности избежать столь позорной смерти и, вооружившись чем попало, принялись защищать дверь в тюрьму, отбиваясь от тех, кто хотел в нее ворваться. Сбежавшийся на шум народ сломал крышу тюрьмы и похоронил заключенных в ней нобилей под ее обломками.

Потом в Греции было много других не менее ужасных и примечательных событий. Из всего этого

явствует, что за похищенную свободу люди мстят более энергично, чем за ту, которую у них еще только собираются отнять.

Размышляя над тем, почему могло получиться так, что в те стародавние времена народ больше любил свободу, чем теперь, я прихожу к выводу, что произошло это по той же самой причине, из-за которой люди сейчас менее сильны, а причина этого кроется, как мне кажется, в отличии нашего воспитания от воспитания древних и в основе ее лежит отличие нашей религии от религии античной. Наша религия, открывая истину и указуя нам истинный путь, заставляет нас мало ценить мирскую славу. Язычники же ставили ее весьма высоко, видя именно в ней высшее благо. Поэтому в своих действиях они оказывались более жестокими. Об этом можно судить по многим установлениям и обычаям, начиная от великолепия языческих жертвоприношений и кончая скромностью наших религиозных обрядов, в которых имеется некоторая пышность, скорее излишняя, чем величавая, однако не содержится ничего жестокого или мужественного. В обрядах древних не было недостатка ни в пышности, ни в величавости, но они к тому же сопровождались кровавыми и жестокими жертвоприношениями, при которых убивалось множество животных. Это были страшные зрелища, и они делали людей столь же страшными. Кроме того, античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы – полководцев и правителей республик. Наша же религия прославляет людей скорее смиренных и созерцательных, нежели деятельных. Она почитает высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим; тогда как религия античная почитала высшее благо в величии духа, в силе тела и во всем том, что делает людей чрезвычайно сильными. А если наша религия и требует от нас силы, то лишь для того, чтобы мы были в состоянии терпеть, а не для того, чтобы мы совершали мужественные деяния. Такой образ жизни сделал, по-моему, мир слабым и отдал его во власть негодяям: они могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том,

как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них расплатиться. И если теперь кажется, что весь мир обабился, а небо разоружилось, то причина этому, несомненно, подлая трусость тех, кто истолковывал нашу религию, имея в виду праздность, а не доблесть. Если бы они приняли во внимание то, что религия наша допускает прославление и защиту отечества, то увидели бы, что она требует от нас, чтобы мы любили и почитали родину и готовили себя к тому, чтобы быть способными встать на ее защиту. Именно из-за такого рода воспитания и столь ложного истолкования нашей религии на свете не осталось такого же количества республик, какое было в древности, и следствием сего является то, что в народе не заметно теперь такой же любви к свободе, какая была в то время. Я полагаю также, что в огромной мере причиной тому было также и то, что Римская Империя, опираясь на свои войска и могущество, задушила все республики и всякую свободную общественную жизнь. И хотя Империя эта распалась, города, находящиеся на ее территории, за очень редким исключением, так и не сумели ни вместе встать на ноги, ни опять наладить у себя гражданский общественный строй.

Как бы там ни было, римляне в каждой, даже самой отдаленной части света встречали вооруженное сопротивление со стороны отдельных республик, которые, объединившись вместе, яростно отстаивали свою свободу. Если бы римский народ не обладал редкой и исключительной доблестью, ему никогда не удалось бы их покорить. В качестве примера достаточно, по-моему, сослаться на самнитов. Они были поразительным народом, и Тит Ливий это признает. Они были столь могущественны и обладали такой хорошей армией, что могли оказывать сопротивление римлянам вплоть до консульства Папирия Курсора, сына первого Папирия (иными словами, на протяжении сорока шести лет), и это после многих поражений, после того, как их земли не раз опустошались, а страна отдавалась на поток и разграбление. Теперь эта страна, где некогда было множество городов и жило много народа, являет вид чуть ли не пустыни; тогда же она была столь благоустроена и столь сильна, что ее не одолел бы никто, если бы не обрушившаяся

на нее римская доблесть. Нетрудно уразуметь, откуда проистекала ее тогдашняя благоустроенность и что породило ее нынешнюю неблагоустроенность: тогда все в ней имело своим началом свободную жизнь, теперь же – жизнь рабскую. А все земли и страны, которые полностью свободны, как о том уже было говорено, весьма и весьма преуспевают. Население в них многочисленнее, ибо браки в них свободнее и поэтому заключаются более охотно; ведь всякий человек охотнее рождает детей, зная, что сумеет их прокормить, и не опасаясь того, что наследство у них будет отнято, а также если он уверен не только в том, что дети его вырастут свободными людьми, а не рабами, но и в том, что благодаря своей доблести они смогут сделаться когда-нибудь первыми людьми в государстве. В таких странах богатства все время увеличиваются – и те, источником которых является земледелие, и те, которые создаются ремеслами. Ибо каждый человек в этих странах не задумываясь приумножает и приобретает блага, которыми рассчитывает затем свободно пользоваться. Следствием этого оказывается то, что все граждане, соревнуясь друг с другом, заботятся как о частных, так и об общественных интересах и что общее их благосостояние на диво растет.

Прямо противоположное происходит в странах, живущих в рабстве. Там тем меньше самых скромных благ, чем больше и тягостнее рабство. Из всех же видов рабства самым тягостным является то, в которое тебя обращает республика. Во-первых, потому, что оно самое продолжительное и не дает тебе надежды на освобождение. Во-вторых, потому, что ради собственного усиления республика стремится всех других измотать и обессилить. Никакой государь не сможет подчинить тебя себе в такой же мере, если только он не является государем – варваром, разорителем стран и разрушителем человеческих цивилизаций, наподобие восточных деспотов. Однако если государь человечен и не обладает противоестественными пороками, то в большинстве случаев он любит, как свои собственные, покорившиеся ему города и сохраняет в них все цехи и почти все старые порядки. Так что, если города эти и не могут расти и развиваться так же хорошо, как свободные, то по

крайней мере они не гибнут, подобно городам, обращенным в рабство. Говоря здесь о рабстве, я имею в виду города, порабощенные чужеземцем, ибо о городах, порабощенных своим собственным гражданином, мною было говорено выше.

Так вот, кто примет во внимание все вышесказанное, не станет удивляться тому могуществу, каким обладали самниты, будучи свободными, и их слабости в ту пору, когда они были уже порабощены. Тит Ливий свидетельствует об этом во многих местах, особенно повествуя о войне с Ганнибалом. Там он рассказывает, как притесняемые стоявшим в Ноле легионом самниты отправили к Ганнибалу послов просить его о помощи. В своей речи послы сказали, что самниты около ста лет сражались с римлянами, силою собственных солдат и собственных полководцев, что некогда они не однажды давали отпор сразу двум консульским армиям и двум Консулам, но что теперь они впали в такое ничтожество, что лишь с огромным трудом могут защитить себя от маленького римского легиона, находящегося в Ноле.



КОММЕНТАРИИ

МАНДРАГОРА

«Мандрагора» создана в период вынужденного политического бездействия Макиавелли: реставрация Медичи (1512 г.) лишила его места секретаря второй флорентийской канцелярии, и только в сентябре 1520 года он получает новую должность – государственного историографа. Эти восемь лет, поневоле отданные досугу, стали самыми плодотворными в жизни Макиавелли: именно в это время написаны «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «Бельфагор», «Золотой осел». То же восьмилетие породило «Мандрагору», но это единственный бесспорный факт в неразрешенном до сих пор вопросе датировки комедии. Из всех существующих датировок наименее уязвимо для критики начало 1518 года, однако прямыми историческими подтверждениями и эта дата не располагает.

Не менее запутанна и история первых постановок. Точно известно, что «Мандрагору» играли, и с огромным успехом, в 1522 году в Венеции. В 1520 году готовилось ее представление в Риме, при дворе Льва X, но описаний спектакля до нас не дошло. Нет никаких известий и о флорентийской постановке, хотя можно предполагать, что комедией украсили празднества по случаю бракосочетания Лоренцо ди Пьеро Медичи в 1518 году.

«Мандрагора» располагается у истоков ренессансного театра и ренессансной комедии. Всего несколькими годами опередил Макиавелли Лодовико Ариосто, вписавший в марте 1508 года представлением своей «Комедии о сундуке» первую страницу в историю жанра. Пройдет еще пять лет, и во дворце урбинских герцогов предстанет перед зрителями первый шедевр итальянской комедии – «Каландро» кардинала Биббиены. Так что как ни молода была комедия к моменту создания «Мандрагоры», ей уже удалось достичь выдающихся художественных результатов и уже определились основные проблемы, которые предстояло решать комедиографам XVI века: освоение и модернизация сюжетного и стилевого наследия античной комедийной классики (Ариосто), драматизация национальной комиче-

ской традиции, которая до той поры существовала в повествовательной – новеллистической по преимуществу – форме (Биббиена).

Макиавелли блестяще решает обе эти задачи. Он отказывается от традиционных сюжетных моделей и выбирает совершенно оригинальную фабулу, но в то же время вводит в свой художественный язык чуть ли не весь жанровый диапазон римской классики: он не только ассимилирует стилистику Теренция, в чем уже однажды себя испытал (Макиавелли принадлежит перевод «Девушки с Андроса»), но и постоянно играет реминисценциями римской элегии, эпоса (Лукреций), истории (фра Тимотео, укрощая Лукрецию, «цитирует» Тита Ливия), жизнеописания (в сюжете комедии воспроизводится эпизод из «Жизни Клавдия» Светония). Вся эта система реминисценций упрятана очень глубоко, а не выступает на поверхность, как у Ариосто, и оттого сам принцип подражания классике, жизненно важный для литературы Возрождения, приобретает в «Мандрагоре» невиданную органичность.

Не менее органично воспринят «Мандрагорой» и дух комических новелл Боккаччо: Макиавелли не только воспроизводит сюжетные мотивы «Декамерона» (например, III, 6), не только создает виртуозную вариацию на тему «розыгрыша» – излюбленную тему ренессансной новеллистики, не только воскрешает в своем мессере Ниче постаревшего и утратившего обаяние наивности Каландрино, – он – и это главное – дает разуму ту же, что и у Боккаччо, роль организатора и демиурга, властно овладевающего событиями и превращающего тяжелую инерцию действия в свободную игру интриги.

Однако Макиавелли не ограничивается переводом комического мира Боккаччо на язык драматургии – он постоянно его опровергает, предлагая зрителю подойти к комедии с ключом «Декамерона» и тут же захлопывая перед ним дверь. Каллимако появляется в первой сцене во всем традиционном декоруме героя любовной новеллы, образцового любовника, которому обеспечены сочувствие и солидарность публики тем большие, чем ближе герой к своему предначертанному жанровыми канонами триумфу. Однако каждый новый шаг дискредитирует все более бесповоротно этот привычный образ: Лигурио отнимает у Каллимако роль организатора и вообще выбрасывает его из действия, в кульминационный момент интриги отправляя его гулять по Флоренции; тот же Лигурио заставляет его явиться к возлюбленной в шутовской маске; и наконец, Лукреция вместо того, чтобы покорно склониться перед победителем, окончательно отбирает у него инициативу и берет его судьбу в свои руки.

Макиавелли не просто переставляет акценты в традиционной сюжетной схеме – он развенчивает положительный персонаж, сам его принцип и вносит тревожное напряжение в мирный контакт

зрителя со сценой. «Мандрагора» опрокидывает всякий автоматизм восприятия, обескураживая зрителя целой системой идеологических и эстетических провокаций. Он уже лишен привычной возможности идентифицировать себя с первым любовником; он уже не знает, как ему расценить Лигурио, совершенно утратившего нормативные приметы образа «парасита», гипертрофированный культ чрева в частности; он не без тайного негодования замечает, что традиционная партия шута отдана не лишенному респектабельности горожанину, который возымел дерзость сохранить вполне различимое социальное лицо. И брат Тимотео тоже заставляет задуматься, он тоже не вмещается в привычные границы антиклерикальной сатиры. Так и остается непонятным, где в нем кончается сознательный цинизм и где начинается наивность, воспитанная религиозным формализмом. Мало этого, само его положение в структуре комедии двусмысленно: с одной стороны, он является необходимым орудием интриги и всецело действием поглощен, с другой стороны, он критикует действие и свое место в нем со стороны, измеряет и регулирует его ритм, делится своими наблюдениями со зрителями, иной раз чуть ли не покидает сцену и не смешивается с публикой в зале, так что зритель в конце концов начинает подозревать, что эта смесь врожденной нравственной атрофии и благоприобретенной склонности к святотатству мыслится автором как его, зрителя, точка зрения.

И окончательно его сбивает с толку Лукреция, которой он заранее отвел в пьесе роль пассивной жертвы и которая вдруг выказывает ошеломляющую способность к оценке ситуации и к ее использованию, круто пересматривая свои взгляды, захватывая инициативу и выдвигаясь на место центрального персонажа комедии. Исходная ситуация по достижении финала переворачивается: Лукреция не следует покорно за колесницей триумфатора, а сама ведет его на поводке.

Тот факт, что в «Мандрагоре» последовательно оспаривается и опрокидывается целая система устойчивых идеологических и эстетических нормативов, позволяет говорить о ее связи с «карнавальной» традицией в литературе, выявленной М. М. Бахтиным. Недаром перу Макиавелли принадлежат «Карнавальные песни» и «Золотой осел», и не случайно в последних сценах комедии так настойчиво звучит мотив смерти и воскресения («сегодня утром ты все равно что снова родилась на свет... а вчера казалась полумертвой»). В этом плане «Мандрагора» предстает драмой вечно обновляющейся молодости (ср.: «...вы привили новый росток к старому дереву»), что связывает ее с мифотворчеством «Государя»: фортуна, как замечает Макиавелли в этом сочинении, покоряется молодым.

«Мандрагора» неоднократно и не без основания рассматривалась в контексте политических и историко-философских идей Макиавелли.

Однако она не столько иллюстрирует в бытовом плане рецепты «Государя», сколько опирается на общие для всего творчества Макиавелли антропологические принципы, в частности на принцип динамического равновесия внутренней и внешней природы, души и судьбы. Способность перестраивать свое поведение сообразно с логикой объективных обстоятельств оказывается доступна в комедии одной Лукреции, все действие «Мандрагоры» с этой точки зрения организуется как испытание «мудрости» героини (центральное понятие макиавеллиевского учения о человеке), ее готовности к метаморфозе. Все остальные персонажи навеки срослись со своими социальными и бытовыми масками.

«Мандрагора» несколько раз переводилась на русский язык (А. Н. Островским, А. В. Амфитеатровым, Н. Ракинтом, А. К. Дживелеговым).

Стр. 131. *Канцона* – написана вместе с четырьмя стихотворными интермедиями для намечавшегося представления комедии в Фаэнце на карнавале 1526 г. Представление не состоялось, так как его инициатор, Франческо Гвиччардини, в то время губернатор Романьи, был отозван в Рим.

Стр. 132. *Мандрагора* – растение из семейства пасленовых, корень которого имеет форму человеческого тела. Мандрагора широко использовалась в магической и медицинской практике, ей приписывались целебные и смертоносные свойства, о ее способности стимулировать плодородие писал еще Авиценна.

Стр. 135. *«...королю Карлу угодно было...»* – Карл VIII – король Франции (1483 – 1498), вел войны в Италии в 1494 – 1495 гг. (см. о них более подробно примеч. к «Клиции»).

Стр. 138. *Сан-Филиппо, Порретта, Вилла* – курортные места недалеко от Флоренции, знаменитые минеральными источниками.

Веррукола – гора к востоку от Флоренции.

Стр. 151. *Сервиты* (слуги Марии) – католический орден, основанный во Флоренции в 1240 г. и канонизированный Бенедиктом XI в 1304 г.

Стр. 152. *«...турок нагрянет в этом году в Италию?»* – Страх перед турецким нашествием стал повсеместным после падения Константинополя (1453 г.). В 1518 г. папа римский распорядился ввести специальные службы для отвращения турецкой опасности. Некоторые исследователи видят здесь намек на это событие и датируют комедию 1518 г.

Стр. 156. *«Как сказала жаба бороне».* – Намек на сюжет басни, в которой жаба, поплатившись за свое любопытство ободранной спиной, заявила бороне: «Уходи и не возвращайся».

«...подобно некоему герою рыцарских романов...» – Уджьери Данезе

(Датчанин), персонаж рыцарских романов, которому в одном из его приключений приходится залепить уши смолой.

Стр. 159. *Дочери Лота* – Библия, Бытие, IX, 30 – 38.

Стр. 160. «*...молитва ангелу Рафаилу...*» – весьма вольный намек на Благовещенье (Лука, I, 28 – 38). Используются также мотивы книги Товита, где с помощью ангела Рафаила невеста главного героя освобождается от власти демона, погубившего семерых ее мужей (ср. с ядом мандрагоры)

КЛИЦИЯ

«Клиция», одно из последних произведений Макиавелли, написана в начале 1525 года и поставлена в доме Якопо Фальконетти, по прозвищу Форначайо, на празднестве по случаю окончания срока его изгнания из Флоренции 13 января 1525 года. Постановку оформлял Бастиано да Сан-Галло, о чем упоминает в своих жизнеописаниях Вазари.

Сюжет своей комедии Макиавелли взял у Плавта: начиная с четвертого явления третьего акта, «Клиция» довольно близко следует за «Казиной», порой оборачиваясь переводом. Однако буквальные переводы в «Клиции» – редкость; сохраняя общий порядок перипетий, Макиавелли существенно корректирует плавтовскую образную систему, не увлекается безудержной языковой игрой и остается равнодушным к прославлению чрева. И, что главное, он резко меняет интонацию, сообщая комедии отчетливый меланхолический колорит.

Смех «Клиции» лишен беззаботности, потому что это смех над собой: имя героя легко прочитывается как аббревиатура имени автора – Ник-кол-о Мак-иавелли, а любовные безумства почтенного старца пародируют страстное увлечение Макиавелли певицей Барбарой Раффакани Салютати, захватившее его на закате жизни. Но дело не только в бытовом автобиографическом подтексте – в комедии чувствуется усталость человека, убедившегося в иллюзорности большинства своих надежд, в непосильности поднятого груза, в прочности ненавистного порядка. Агрессия, полемический задор, риск «Мандрагоры» в «Клиции» исчезают: она реставрирует тот респектабельный этический универсум, над которым первая комедия безжалостно издевалась. В какой-то степени «Клиция» – отречение от «Мандрагоры», но отречение не безусловное, не лишенное оговорок и оставляющее простор для маневра. Хотя конформистский порядок, олицетворенный Софронией и ее подручными, Клеандро и Эустакьо, в конце концов торжествует и возвращает в свое лоно блудного сына, Никомако, он все же остается эстетически

скомпрометированным: его победа омрачается трагическими нотками, зазвучавшими в финале комедии.

Если «партия» нормы, возглавляемая Софронией, безлика, компактна, составлена из традиционных комедийных типов, не углубленных какой-либо оригинальной характерологией, что вполне соответствует безликости самой нормы, то образ Никомако никак не исчерпывается традиционной маской похотливого старика. Из монолога его супруги (II, 4) мы узнаем, что он сам недавно был сторонником нормы, более того – был ее образцом и если теперь он так круто с ней порвал, то причины нужно искать не столько в нем самом, сколько в ущербности и недостаточности нормы. Конечно, в уклонении Никомако с привычной стези есть и глубокий архетипический подтекст (постоянно обыгрываемые попытки омоложения), но главное здесь – сквозная макиавеллиевская тема активного контакта с судьбой, невозможного без постоянной смены внутренних регистров, без готовности к переходу из области возвышенного и серьезного в область низкого и комического. Обрести свободу Никомако не удается, он не рассчитал ни сил сопротивления, ни собственной слабости и подвергается закономерному осмеянию. Однако и в последних сценах комедии в монолитность смеха вкрадываются трагические нотки, и зритель уходит, недоумевая, над чем он смеялся: над трагедией состарившейся Лукреции или над фарсом о мессере Ниче, решившем испробовать себя в роли Каллимако. Образ Никомако раздваивается между двумя этими полюсами мира характеров «Мандрагоры».

«Клиция» на русский язык переводится впервые.

Стр. 182. *Монсеньор де Фуа* – Жан де Фуа (ум. ок. 1500), граф Нарбонны, во время итальянского похода Карла VIII командовал отрядом в 50 копьеносцев.

«...захватил королевство Неаполя...» – Карла VIII призвали в Неаполь беженцы, которые покинули город, спасаясь от репрессий, введенных Фердинандом I Арагонским после так называемого «заговора баронов». Карл воспользовался этим предлогом, надеясь вернуть наследство анжуйской династии, и завоевал Неаполитанское королевство с легкостью, вошедшей в пословицу.

Стр. 183. *«...папа, император, венецейцы и герцог Миланский соединились против него».* – Антифранцузский союз был заключен в Вероне 31 марта 1495 г. Войско коалиции во главе с Франческо Гонзага, маркизом Мантуи, вынудило Карла VIII оставить Неаполь. 6 июля 1495 г. под Форново произошло сражение (здесь битва на Таро), в котором ни одна из сторон не получила решительного перевеса, но тем не менее ночью Карл начал отход в Пьемонт, откуда вернулся во Францию. Он скончался от

удара 7 апреля 1498 г. в разгар приготовлений к новому походу в Италию.

«...через Пизу и Понтремоли спуститься в Ломбардию». – Из Пизы Карл пошел на Сарцану, Аппенины преодолел по Чизанскому перевалу и оказался в 30 км от Форново-ди-Таро, где его поджидало неприятельское войско.

Стр. 203. *«...пресвятая Аполлония».* – Аполлония – провербиальное имя сводницы.

Стр. 205. *«...о Фортуна, будучи женщиной, уж ты-то должна была охранить молодых!»* – Ср.: «Государь», XXV.

Стр. 206. *Сатирион* – экстракт одного из видов орхидеи, возбуждающий чувственность.

СКАЗКА. ЧЕРТ, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ

«Сказка», как она озаглавлена в рукописи, или «Бельфагор», как ее нередко называют, создана в тот период активного творческого досуга, которым стали для Макиавелли годы, проведенные в имении близ Сан-Кашано. Она написана до 1520 года – более точными датировками наука не располагает. Сюжет «Сказки» немолод (тематическая оригинальность ренессансной новелле вообще не свойственна): зародившись в Индии, он через арабский Восток проникает в Европу, где фиксируется в средневековых латинских текстах и до Макиавелли доходит во французском переводе.

«Сказка» осталась единственным новеллистическим опытом Макиавелли, хотя к этому жанру он явно был неравнодушен и работать в нем умел: свидетельством тому – многие страницы жизнеописания Каструччо Кастракани и «Истории Флоренции», блестящие комические зарисовки в письмах. Макиавелли был, видимо, рассказчиком виртуозным: Маттео Банделло возводит одну из своих новелл (сороковую первой части) к рассказу, которым Макиавелли привел в восхищение Джованни Медичи делле Банде Нере, знаменитого кондотьера. В своей единственной новелле Макиавелли с присущим ему остроумием разрабатывает мизогинический («женоненавистнический») мотив, который безустанно на самые разные лады варьировался средневековой и ренессансной литературой (в своей классической форме он представлен «Вороном» Боккаччо). Однако не в очередной, пусть и предельно изящной вариации на традиционную тему соль и смысл «Бельфагора»: сатира на женский нрав, совладать с которым не под силу и черту, организует повествование лишь в его поверхностном слое. Комизм ситуации здесь, как и в «Мандрагоре», маскирует невеселое мироощущение автора, и за его смехом прячется язвительный и горький сарказм. Макиавелли отводит

своему архидьяволу ту роль, которую Вольтер в свое время даст Простодушному: роль пробного камня для царящего в мире зла. Бельфагор не столько проверяет «клевету на женский род», сколько вызывает на себя концентрированный удар человеческой хитрости и коварства, притягивая его, как магнитом, своей наивностью и привычкой к джентльменским правилам игры. Черту не внове оказываться в дураках – в сказках он, собственно, другого положения и не знает, – но здесь он не столько обманут, сколько затравлен: женой, родственниками, кредиторами, всем жизненным укладом, к которому он не может приспособиться и которому ему нечего противопоставить. Для черта адом оказывается земля, а ад кажется раем. Плутон вместе со всей своей державой безнадежно отстал от жизни, проглядев, что зло давно покинуло его царство и переселилось на землю.

«Сказка» Макиавелли образовала даже некоторую сюжетную традицию, ее использовали венецианский новеллист Джованфранческо Страпарола («Приятные ночи»), Ганс Сакс (шванк «О том, как черт женился на старухе»), Лафонтен, английский драматург Джон Уилсон («Бельфагор, женитьба дьявола»). Настоящий перевод впервые опубликован в кн.: Макиавелли Н. Сочинения. М. – Л., Academia, 1934, т. 1.

Стр. 224. *Бельфагор* – в греческом переводе Библии (Септагвинта) так зовется бог моавитов и мадианитов (в русском синодальном переводе – Ваал-Фегор). Иероним считал Бельфагора иудейским эквивалентом Приапа, а Исидор Севильский в своих «Этимологиях» интерпретировал это имя как образ нечестия.

Стр. 228. *Перетола* – местечко в 6 км от Флоренции.

Стр. 230. *«...с дочерью короля Карла».* – Карл Анжуйский, брат короля Франции Людовика IX Святого, граф Прованса (с 1246 г.), неаполитанский король (1265 – 1285).

Стр. 231. *«...одна из дочерей Людовика VII...»* – описка Макиавелли или сознательный анахронизм. С Карлом, королем Неаполя, может сочетаться только Людовик IX, король Франции в 1226 – 1270 гг. Людовик VII правил Францией в 1137 – 1180 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Поэзии принадлежит в творчестве Макиавелли отнюдь не главная роль, большим поэтом он не был: и со складом его характера, и со складом его ума поэтическому вдохновению ужиться было трудно. Впрочем, какой-то стороной своей весьма неоднозначной личности он тягу к поэзии ощущал, и настолько могучую, что, испробовав

в ней силы на пороге юности, он постоянно к ней возвращался и в зрелые годы, и в старости, и загруженный сверх сил государственными делами, и угнетенный тяжким обвинением, и увлеченный становлением своих истинных шедевров. Здесь не обошлось и без самообмана: Макиавелли явно переоценивал свои возможности как стихотворца и жестоко обиделся, когда Ариосто пропустил его имя, перечисляя известнейших современных поэтов в «Неистовом Орландо». Потомки согласились с Ариосто и притязания Макиавелли на место в первом ряду поэтической когорты отвели за полной их несостоятельностью.

Если вычеркнуть стихотворения Макиавелли из итальянской литературы, то большого урона это ей не причинит, но образ великого флорентийца в нашем сознании серьезно исказится и утратит какие-то немаловажные черты. Прежде всего, станет однобоким наше представление о генезисе историко-философских идей Макиавелли. Как рождался и оттачивался концептуальный аппарат «Государя» и «Рассуждений», нам известно из официальных донесений, легаций, деловых писем, но это чисто интеллектуальный процесс, лаборатория мысли, постепенно набирающей силу. Каковы были человеческие предпосылки этого могучего становления идей, здесь узнать невозможно. Рассказывает о них дидактическая поэзия Макиавелли, несмотря на свою сухость и отвлеченность. В этом жанре Макиавелли дебютировал в 1504 году, написав первое «Десятилетие» (второе написано ок. 1514 г.) – стихотворный компендиум итальянской истории за десять лет и первый опыт синтетического осмысления современной истории, подготавливающий виртуозную историческую аналитику «Государя» и «Рассуждений» вместе с шедевром ренессансной историографии «Историей Флоренции». В несколько ином плане написаны четыре капитоло (капитоло – небольшая поэма в терцинах, которая в течение XIII – XVI веков постепенно меняла свою первоначальную дидактико-политическую тематику на сатирическую и бурлескную): «О неблагодарности» (1507 – 1512), «О судьбе» (кон. 1512 – нач. 1513), «О тщеславии» (ок. 1516), «О случае» (после 1516). Первые два предшествуют «Государю», и Макиавелли как будто нащупывает в них структуру глав своего будущего трактата и его метод, сочетающий дедукцию и индукцию: общие положения тут же иллюстрируются конкретным историческим материалом, черпая в нем энергию для своего дальнейшего развертывания, а сам этот материал, попав в поле тяготения отвлеченной мысли, приобретает обобщенно-символический характер. Конечно, этот новаторский стиль Макиавелли здесь пока едва намечен и лишь с помощью ретроспекции угадывается за вполне традиционными приемами поэтической морализации – точно так же и его идейное новаторство едва различимо в ставших почти ритуальными жалобах на ковар-

ство фортуны и неблагодарность сильных мира сего. Однако то, что для менее смелого мыслителя так и осталось бы формальным литературным шаблоном, для Макиавелли становится жизненно важной проблемой: доставшаяся ему по наследству тема судьбы разрешается в поиски реальных сил, которые способны судьбе противостоять, – так рождается сюжет «Государя». Капитоло доносят до нас память о критическом моменте этого процесса – о начале перерождения традиции, воспринятой с небывало острым личным интересом.

Помимо дидактической поэзии Макиавелли уделял внимание поэзии бурлескной и любовной. Наименее удачна последняя, беспощадно оголяющая все дефекты скромного дарования, однако и здесь у Макиавелли есть свои успехи: он сумел кое-что сказать о своей душе в страстном косноязычии страмботто (стихотворение в одну строфу, обычно октаву, во Франции носившее сатирический характер и приобретшее любовный после перемещения в XIV в. на итальянскую почву). Для Макиавелли с его склонностью к иронии, рискованным двусмысленностям, язвительному и желчному острословию более благодарным материалом был бурлеск, блестящие образцы которого он создал и в своих письмах. Среди поэтических опытов в этом жанре выделяются шесть карнавальных песен, демонстрирующих не только мастерское владение диалектикой текста и подтекста, но и живую заинтересованность Макиавелли праздничной хроникой Флоренции, а также незаконченная аллегорическая поэма «Золотой осел» (после 1512).

О неблагодарности

Первый из четырех капитоло Макиавелли, написан после 1507 г. и до реставрации Медичи во Флоренции в сентябре 1512 г. На русский язык переводится впервые.

Стр. 236. *Джованни* ди Симоне дей *Фольки* (ум. 1518) – друг Макиавелли, обвиненный, как и он, в заговоре против Медичи, умер в заключении.

Геликон – гора в Беотии, приют муз и Аполлона.

Стр. 237. *«Тот, кто настигнут первою стрелою..»* – О двух первых типах неблагодарности Макиавелли прочитал у Сенеки («О благодеяниях», III, I), а о третьем – у Валерия Максима («О достопамятных деяниях и изречениях», V, III, 3).

Стр. 238. *«Италия покой и сон забыла...»* – Здесь и далее Макиавелли перечисляет основные события жизни Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего, черпая материал у Тита Ливия: Сципион родился (235 г. до н. э.) в период между первой (264 – 241) и второй Пунической войнами (218 – 201); во время битвы с Ганнибалом на Тицине (218) спас своего отца; после поражения

римлян при Каннах (216) был одним из тех, кто остановил начавшуюся панику и покончил с призывами к эвакуации Рима; был послан в Испанию (210 – 209), где положение римлян стало катастрофическим и где погибли в сражениях с карфагенянами (211) его отец и дядя, и за два года (к 206) полностью очистил ее от карфагенских войск; в Африке он победил нумидийского царя Сифакса (203) и битвой при Заме (202) победоносно закончил вторую Пуническую войну; в Азии он воевал вместе с братом, Луцием Корнелием Сципионом, и разбил при Магнезии (190) Антиоха III Великого; после этой победы заключил с Антиохом мир, по которому Риму отходила вся Малая Азия, но был обвинен в подкупе и вынужден удалиться из Рима на свою виллу в Литерно, где и умер (183), завещав не хоронить свое тело в Риме.

Стр. 240. *Фокион* (ок. 402 – 318 гг. до н. э.) – афинский полководец и оратор, победитель ряда сражений в войне с Македонией; был обвинен в предательстве и выпил яд.

Мильтиад (540 – ок. 489 гг. до н. э.). – афинский полководец, победитель персов при Марафоне (490), обвинен в злоупотреблении общественным доверием, умер после вынесения обвинительного приговора.

Аристид (ок. 540 – ок. 468 гг. до н. э.) – афинский полководец и государственный деятель, участвовал в битвах при Марафоне и Платеях (479), был подвергнут остракизму и умер в бедности.

Стр. 241. Кедук-*Ахмет-паша* (ум. 1482) – турецкий военачальник, возглавлял войска Байазида II во время его войн с братом и был по его приказу убит вскоре после восшествия Байазида на престол Османского султаната.

Гонсальво Фернандес де Кордова – испанский полководец, изгнавший французов из Неаполя (1503), был отстранен от командования Фердинандом Католиком (1507) и фактически подвергся изгнанию.

О фортуне

Второй капитоло Макиавелли написан в конце 1512 – начале 1513 г. К проблеме судьбы он вернется, значительно углубив ее, в «Государе» (XXV) и в «Рассуждениях» (II, 29; III, 9). На русский язык переводится впервые.

Стр. 242. *Джован Баттиста Содерини* – брат Пьеро Содерини, великого гонфалоньера Флоренции, бежавший, как и все это семейство, после возвращения во Флоренцию Медичи.

Стр. 246. *«Фортуне вдруг Египет стал немил...»* – Египет был завоеван персами (525 г. до н. э.), у которых его отобрал Александр Македонский (332 г. до н. э.), от наследников Александра, Лагидов, он перешел к римлянам (31 г. до н. э.), и, наконец, его захватили арабы (642). Ассирийская империя, включавшая в себя одно

время большую часть западной Азии, была разрушена мидянами (614 – 612 гг. до н. э.). Мидийская империя прекратила свое существование и уступила место персидской империи после переворота, осуществленного Киром Великим (556 – 550 гг. до н. э.). Персидское царство, в свою очередь, пало под ударами Александра Македонского (334 – 330 гг. до н. э.). Созданная им держава распалась сразу после его смерти, а собственно Греция стала римской провинцией в 146 г. до н. э.

«Недолго Мемфис был непобедим...» – Мемфис – столица Египта в период Древнего царства (III тыс. до н. э.), с основанием Александрии (332 – 331 гг. до н. э.) начинает хиреть и окончательно разрушается арабами. Вавилон знал много возвышений и унижений, окончательно исчез с исторической сцены, когда Селевк I основал новую столицу (300 г. до н. э.). Карфаген был разрушен после третьей Пунической войны (146 г. до н. э.). Упадок Афин датируется поражением в Пелопоннесской войне (404 г. до н. э.). Упадок Спарты начинается тридцатью годами позже – с возвышением Фив. Ромул Августул, последний император Рима, был лишен трона в 476 г.

Стр. 247. *«У ног убитого врага упал...»* – Юлий Цезарь был заколот у статуи Помпея, своего противника в борьбе за власть в Риме.

Гней *Помпей* Великий (106 – 48 гг. до н. э.) – римский государственный деятель и полководец, побежден Цезарем и предательски убит людьми Птолемея XIII.

Кир (424 – 401 гг. до н. э.) – сын персидского царя Дария II, погиб, сражаясь за трон со своим братом Артаксерксом.

Гай *Марий* (157 – 86 гг. до н. э.) – римский полководец, семь раз избиравшийся консулом, победитель Югурты, тевтонов и кимвров, дважды изгонялся из Рима Суллой.

Марк Туллий *Цицерон* (106 – 43 гг. до н. э.) – римский политический деятель, оратор и философ, был убит по приказу Марка Антония.

Карнавальные песни

I. Поют бесы, изгнанные с неба. Написана ок. 1506.

II. Поют, полные отчаяния, влюбленные и дамы. Написана ок. 1514. На русский язык переводится впервые.

III. Поют блаженные духи. Написана ок. 1513. На русский язык переводится впервые.

Стр. 250. *«Новый пастырь»* – Лев X, избранный папой римским 11 марта 1513 г.

«Чужая воля рада унизить край...» – Макиавелли имеет в виду франко-испанскую войну (1513).

Стр. 251. *«...султан оружие нетерпеливо точит...»* – Селим I Явуз

(«Грозный»), османский султан (1512–1520), присоединивший к своим владениям Египет и Сирию (1517).

IV. Поют пустынники. Написана ок. 1524. На русский язык переводится впервые.

V. Поют торговцы сосновыми шишками. Написана, видимо, еще при жизни Лоренцо Медичи Великолепного (до 1492 г.), который сам писал в том же жанре и карнавальную культуру Флоренции всячески поощрял. Настоящий перевод впервые опубликован в кн.: «Европейские поэты Возрождения» (БВЛ). М., 1974.

VI. Поют заклинатели змей. Время написания то же, что и у предыдущей песни. На русский язык переводится впервые.

Стр. 254. *«Мы от святого Павла род ведем...»* – Павел Фиванский (III–IV вв.) – по традиции, первый христианский отшельник. «Шарлатаны» (заклинатели змей) считали его своим покровителем, а своей родиной – горный скит, который называли «домом Павла».

«Надеюсь – и надежда муку множит...», «У всех опасных тварей злой расчет...». Время создания обоих страмботто неизвестно. На русский язык переводятся впервые.

Сонет. Сонет предположительно датируется 1514 г. На русский язык переводится впервые.

К Джулиано ди Лоренцо Медичи. I («В колодках ноги, плечи вперехват...»). Написано между февралем и мартом 1513 г., когда Макиавелли находился в заключении по обвинению в заговоре против Медичи. На русский язык переводится впервые.

Стр. 256. *Джулиано Медичи* (1479–1516) – герцог Немурский, третий сын Лоренцо Великолепного.

Ронсеваль – место в Пиренеях, где в 778 г. баски разбили арьергард Карла Великого. Ронсевальская битва легла в основу множества поэтических сюжетов (в том числе «Песни о Роланде»). Макиавелли скорее всего имеет в виду описание побоища, сделанное Луиджи Пульчи (Большой Морганте, XXVII, 56).

«...и на сардинских свалках меньше смрад». – Сардиния поименована среди самых нездоровых мест Италии еще Данте (Ад, XXIX, 48–51), но, возможно, Макиавелли имеет в виду одноименное место под Флоренцией, где обдирали скотину.

«Я к вам пришел, дабы молиться с вами...» – Молились за приговоренных к смерти, возможно, за руководителей заговора Агостино Каппони и Пьера Паоло Босколи.

К Джулиано ди Лоренцо Медичи. II («Быть может, Музы к вам найдут подход...»). Дата написания та же. На русский язык переводится впервые.

Стр. 257. Андреа *Даццо* – посредственный флорентийский литератор, ученик канцлера Марчелло Вирджилио.

К Джулиано ди Лоренцо Медичи. III («Я Вашему Великолепью шлю...»). Написан вскоре после освобождения из тюрьмы (март 1513). Перевод впервые опубликован в кн.: «Европейские поэты Возрождения» (БВЛ).

Эпиграмма. Датируется по смерти Пьеро Содерини (13 июня 1522). В других произведениях Макиавелли отзывался о великом гонфалоньере Флоренции более благожелательно, но суждение, высказанное о нем в «Рассуждениях» (III, 3,9), т. е. уже после падения его режима, по смыслу совпадает с настоящим. На русский язык эпиграмма переводится впервые.

О ТОМ, КАК НАДЛЕЖИТ ПОСТУПАТЬ С ВОССТАВШИМИ ЖИТЕЛЯМИ ВАЛЬДИКЬЯНЫ

Меморандум Макиавелли написан летом 1503 года (начало июня – середина августа) и является откликом на события в Ареццо, где 4 июня 1502 г. вспыхнуло восстание против власти Флоренции, подавленное с помощью французских войск в августе того же года. Восстание было инспирировано Чезаре Борджа, который к этому времени овладел Романьей и стремился подорвать позиции Флоренции в Тоскане, не решаясь пока на открытую конфронтацию и на прямое вмешательство в дела соседней области (на волнения в Ареццо он воздействовал через своего кондотьера Вителлоццо Вителли).

Это маленькое сочинение Макиавелли резко выделяется в огромном массиве его официальной служебной переписки, и не только тем, что он дает в нем волю своей страсти к «излишне смелым умозаключениям», которые были не по душе высокопоставленным флорентийским чиновникам (друг и сослуживец Макиавелли Бьяджо Буонаккорси специально просил его ими не увлекаться). Многие из «умозаключений» настоящего трактата стали спустя десять лет бессмертными афоризмами «Государя»: среди них и высказывание о необходимости во всяком деле идти до конца, и о том, что своих врагов нужно или привлекать к себе благодеяниями, или истреблять под корень, и о великом искусстве действовать в точно пойманный момент капризного времени. Но самое примечательное в этом меморандуме – методика. Здесь она впервые в творчестве Макиавелли принимает форму, которая кристаллизуется затем в его зрелых трактатах. Впервые римской истории отводится роль хранительницы абсолютного исторического опыта, которым надлежит поверять опыт текущей истории. Призыв учиться у истории был вполне банальным в начале XVI века, но старшие гуманисты, предшественники Макиавелли в деле ренессансной историографии, извлекали из этого учения смысл, по преимуществу нравственный, тогда как Макиавелли понимает школу истории как школу максимально эффективного политического действия: для любой реальной или гипотетической ситуации

найдется римский прецедент, позволяющий безошибочно ее оценить и найти в ней единственно верную линию поведения. Конечно, в этом убеждении Макиавелли отразилась ренессансная вера в неизменность человеческой природы и ренессансное преклонение перед античностью, но никакого догматизма, никакого слепого подчинения авторитету здесь нет: Макиавелли не подчиняет настоящее прошлому, а извлекает из настоящего тот смысл, который из прошлого уже извлечен политическим гением римского народа и интеллектуальным гением римских историков. Макиавелли, иначе говоря, создает здесь первый образец рационального метода исторического познания.

Настоящий русский перевод впервые опубликован в книге: Макиавелли Н. Сочинения. М.–Л., Academia, 1934, т. 1.

Стр. 260. *Луций Фурий Камилл* – консул 338 г. до н. э., покоритель Лация.

Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский историк, автор «Истории Рима от его основания». Далее цитируется «История Рима», VIII, 13, 11–18.

Пед – древний город в Лации к востоку от Рима.

Астура – река, остров и город в Лации.

Антий (ныне Порто д'Анцо) – город вольсков, древнеиталийского племени, обитавшего на юго-востоке Лация на границе с Кампаньей.

Стр. 261. *Ланувийцы* – жители Ланувия, древнелатинского города на Альбанской горе, к юго-востоку от Рима.

Арицины – жители Ариции, города в Лации на Аппиевой дороге к юго-востоку от Рима.

Номентаны – жители Номента (ныне Ментана), города в Лации к северо-востоку от Рима.

Педаны – жители Педа (см. выше).

Тускуланцы – жители Тускула, города в Лации (ныне Фраскати).

Велитерны – жители Велитров (ныне Веллетри), города вольсков.

Ареццо – город в Тоскане.

Вальдикьяна – долина р. Кьяна.

Стр. 262. *Кортона, Кастильоне* (Фьорентино), *Борго* (Сансеполькро), *Фойано* (делла Кьяна) – небольшие города в области Ареццо.

«...венецианцы подошли к Биббиене...» – В 1498 г. венецианцы, которые поддерживали Пизу, осажденную флорентийским войском, вторглись в Тоскану и захватили Биббиену, городок в области Ареццо, надеясь, что флорентийцы снимут часть своих войск из-под Пизы.

Герцог Миланский – Лодовико Сфорца (1451–1508), по прозвищу Моро («мавр»), захватил власть в Милане по смерти своего старшего брата, Галеаццо Мария (1476), и после устранения своего племянника,

Джан Галеаццо (1480). Он призвал в Италию Карла VIII, был лишен престола Людовиком XII (1498), на короткое время его вернул, но вскоре был взят французами в плен (1500). В 1498 г. выступил на стороне флорентийцев, своих извечных врагов.

Граф Рануччо (да Марчано) – флорентийский военачальник в 1498 г., остановивший продвижение венецианцев.

Паоло Вителли – флорентийский военачальник, сменивший на этом посту Рануччо да Марчано и казненный по обвинению в измене (1499).

Стр. *263. Чезаре Борджа* (1476 – 1507) – с 1498 г. герцог Валентинуа (в итальянской транскрипции – Валентино), герцог Романьи (1501). Сын папы Александра VI, он стал епископом в шестнадцать лет, кардиналом в восемнадцать, затем снял с себя религиозный сан, был назначен гонфалоньером церкви (1499), захватил Романью, но смерть отца положила конец его честолюбивым замыслам, а избрание папой Юлия II (1503) лишило его всех завоеваний. Конец жизни провел в Наварре. Макиавелли наблюдал Борджа дважды, во время посольства к нему в июне и октябре 1502 г.

Кардинал Содерини – Франческо Содерини (1453 – 1524), брат Пьеро Содерини, великого гонфалоньера Флоренции, епископ Вольтерры, кардинал с 1503 г. Он был главой посольства к Чезаре Борджа в июне 1502 г.

Папа – Родриго Борджа (1431 – 1503), с 1492 г. – папа Александр VI, скандально прославлен святокупством, любовными похождениями, отравлением своих политических противников. Вначале противник, затем сторонник французского присутствия в Италии, всеми средствами способствовал деятельности своего сына, Чезаре Борджа, по «собиранию» итальянских земель вокруг Рима. По слухам, умер, отравившись ядом, приготовленным для его гостей.

ОПИСАНИЕ ТОГО, КАК ИЗБАВИЛСЯ ГЕРЦОГ ВАЛЕНТИНО ОТ ВИТЕЛЛОЦЦО ВИТЕЛЛИ, ОЛИВЕРОТТО ДА ФЕРМО, СИНЬОРА ПАОЛО И ГЕРЦОГА ГРАВИНА ОРСИНИ

Настоящее сочинение создано раньше, чем предыдущее (в январе 1503 г.), но события, в нем описанные, относятся к более позднему времени: коалиция мелких итальянских тиранов, направленная против Чезаре Борджа, сложилась в конце сентября 1502 года, т. е. спустя месяц после подавления восстания в Вальдикьяне. Макиавелли был направлен флорентийским правительством к Борджа в октябре 1502 года и получил инструкции вести себя крайне осторожно и никаких обязательств на себя не брать. Из донесений Макиавелли составилась «Легация к герцогу Валентино», сравнение которой с на-

стоящим «Описанием» показывает, как постепенно формировался в сознании и под пером автора образ безукоризненного государственного мужа. Путь от «Легации» к «Описанию» – это не только путь от хроники к истории, от эмпирического наблюдения к синтезу, но и путь от истории к литературе. Вполне понятно, что в «Описании» вырос уровень обобщения, проступила на поверхность логика событий, скрытая поначалу их стремительным течением, стало явным бывшее до поры тайным, но было бы ошибочным считать, что Макиавелли увлечен здесь только возможностями исторической ретроспекции. Реконструкция – не главная его цель, иной раз исторический факт ему просто мешает, и он от него отмахивается, главное для него – выверенность сюжета, продуманность идеи и убедительность образа. «Описание», таким образом, – это первый подступ к «Государю», где литературные задачи уже полностью возобладают над историческими (в строгом смысле) и образ Чезаре Борджа еще дальше отодвинется от своего реального прототипа. Здесь этот разрыв пока еще не велик, и атмосфера здесь еще царит мажорная: Борджа на подъеме, в поединке государя с судьбой очередной раз (один из последних) верх взял государь, драма еще не окрасилась в цвета трагедии.

Настоящий перевод впервые опубликован в кн.: Макиавелли Н. Сочинения. М. – Л., Academia, 1934, т. 1.

Стр. 266. *Людовик* – Людовик XII (1462 – 1515) – король Франции (с 1498 г.), продолжил итальянскую политику Карла VIII, опирался в Италии на Флоренцию и на семейство Борджа.

«Мятеж в Ареццо» – см. предыдущее сочинение.

Имола – город в Романье (Болонская область), захвачен Борджа в 1500 г.

Джованни Бентивольи (1443 – 1508) – правитель Болоньи, отлученный и изгнанный папой Юлием II (1506).

Вителли – знатный итальянский род.

Орсини – римский княжеский род, борьба которого с родом Колонна на протяжении многих веков определяла политическую историю Рима. Ожесточенно преследовался Александром VI, возвратил свои позиции с Юлием II.

Маджоне – вилла Бальони на берегу Тразименского озера.

Кардинал – Джованни Баттиста Орсини (ум. 1503), кардинал с 1483 г., отравлен Александром VI.

Паоло – Паоло Орсини (ум. 1503), кондотьер на службе Пьеро Медичи, Венеции и Чезаре Борджа.

Герцог Гравина Орсини – Франческо Орсини (ум. 1503).

Вителлоццо Вителли (ум. 1502) – правитель Читта ди Кастелло, кондотьер на флорентийской службе (1498 – 1499), затем на службе у Чезаре Борджа.

Оливеротто да Фермо – Оливеротто Эуфредуччи (1475–1502), кондотьер на службе у Чезаре Борджа, овладел городом Фермо, убив своего дядю (см. «Государь», VIII).

Джампаоло Бальони (ум. 1520) – кондотьер, правитель Перуджи (с 1500), изгонялся из нее Чезаре Борджа и Юлием II, обезглавлен по приказу Льва X.

Антонио да Венафро (1459–1530) – профессор Сиенского университета, советник Пандольфо Петруччи.

Пандольфо Петруччи (ок. 1450–1512) – правитель Сиены, изгнан оттуда Чезаре Борджа и возвращен французами (1503).

«...на собрании речь шла...» – Съезд в Маджоне состоялся 9 октября 1502 г.

«...у жителей Урбино... появилась надежда на перемены». – Урбино был завоеван Борджа совсем недавно (в июне 1502).

Стр. 267. *«Старый герцог»* – Гвидобальдо да Монтефельтро, герцог Урбино (1482–1508), дважды уступал Урбино Чезаре Борджа (1502–1503), окончательно вернул власть после его падения.

«...флорентийцы, ненавидевшие по разным причинам Вителли и Орсини...» – Паоло Вителли (см. примеч. к с. 262) был флорентийцами казнен, а его брат, Вителлоццо, вместе с Орсини подготовил мятеж в Ареццо. Кроме того, Вителли и Орсини были тесно связаны с Медичи.

«...послали к герцогу своего секретаря, Никколо Макиавелли...» – в октябре 1502 г. (второе посольство к Борджа).

«...отряды герцога, которые и были разбиты Вителли и Орсини». – 17 октября 1502 г.

Стр. 268. *«...заключил с ними мир...»* – 28 октября 1502 г.

«...даже породнился с Джованни...» – Было условлено, что племянник Джованни Бентивольи, Костанцо, возьмет в жены Анджелу Борджа, племянницу Александра VI.

Чезена – город в Романье (область Форли).

Монсеньор ди Кандалес – Жан де Фуа, сын графа де Кандаль, он и Борджа были женаты на сестрах.

Стр. 269. *Дон Микеле* (да Корелиа) – доверенное лицо Чезаре Борджа, которому он поручал самые «деликатные» миссии.

Монсеньор д'Эуна – Франческо де Лори (ум. 1506), секретарь и генеральный казначей Александра VI.

Стр. 271. *«...велел их удавить».* – В ночь с 31 декабря 1502 на 1 января 1503 г.

Кардинал Орсини – Ринальдо Орсини.

Мессер Джакомо ди Санта Кроче (ум. 1503) – один из помощников Александра VI в расправе над Орсини, казнен по его приказу.

«Восемнадцатого января 1502 года». – Начало флорентийского года считалось не с рождества, а с благовещенья (25 марта).

ЖИЗНЬ КАСТРУЧЧО КАСТРАКАНИ ИЗ ЛУККИ

«Жизнью Каструччо Кастракани» завершается деревенский досуг Макиавелли, его «болдинская осень», растянувшаяся на восемь лет: «Жизнь» написана в июле – августе 1520 года, а в ноябре Макиавелли возвращается на государственную службу в должности историографа. Можно подумать, что жизнеописание знаменитого кондотьера предвосхищает новый этап творчества Макиавелли, прошедший под знаком его последнего шедевра – «Истории Флоренции» (1525). Однако это далеко не так – летом 1520 года Макиавелли меньше всего был историком. Биография герцога Лукки совершенно фантастична, даже те реальные факты, которые в ней сохранились, компрометируются их окружением – вымышленным событийным рядом, сражениями, которые не происходили, людьми, которые не существовали, допотопными изречениями, выданными за экспромт. История присутствует в этом сочинении Макиавелли на тех же правах и в той пропорции, в которых она присутствует в историческом романе. Его и нужно расценивать как роман (вернее, как новеллу), написанный под биографию. По своему пафосу, по своему идейному строю «Жизнь Каструччо Кастракани» принадлежит творческой эпохе «Государя» – новелла рассказывает о том же идеальном правителе, о котором рассказывал трактат, только зовут его на этот раз не Чезаре Борджа, а Каструччо Кастракани. Герцог Лукки, также как гонфалоньер церкви, соединяет в себе силу льва с хитростью лисицы; ведет политическую игру, не заботясь о спасении души; умеет быть великим во зле; никогда не упускает из виду главной цели, выбирая самый прямой к ней путь, хотя бы и обильнее всего политый кровью; яростным напором воли подчиняет себе государство, превращая его в послушный и пассивный материал, которым распоряжается с артистическим своеволием. И с неуклонной верностью собирает под свою руку разрозненные земли Италии. Так же, как у герцога Валентино, у Каструччо один достойный противник – судьба, которую он бьет и гонит, не давая передышки, покоряя ее своей молодой силой, а она, отступая, огрызается, наносит удары исподтишка и, поймав Каструччо в момент рассеянного наслаждения триумфом, берет его врасплох. Так же как у Чезаре Борджа, судьба отняла у Каструччо главное – время, чтобы окончательно ее раздавить, и победила его единственным оружием, против которого у него не было защиты, – смертью. Единоборство человека с судьбой является истинным сюжетом этого произведения Макиавелли, стилизованного под античное жизнеописание, но на деле ближе всего напоминающего античную трагедию рока.

Настоящий русский перевод впервые опубликован в книге. Макиавелли Н. Сочинения. М. – Л., Academia, 1934, т. 1.

Стр. 274. *«Дорогие Дзаноби и Луиджи...»* – Дзаноби Буондельмонте, друг Макиавелли, меценат, ему же посвящены «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»; Луиджи Аламанни (1495–1566) – лирический и эпический поэт, комедиограф.

Стр. 275. *«Они его окрестили и назвали именем своего отца – Каструччо».* – Весь рассказ о рождении Каструччо вымышлен Макиавелли и стилизован под «Жизнь Агафокла» Диодора Сицилийского и «Киропедию» Ксенофонта. В действительности Каструччо родился в 1281 г. в семье Джерио (Руджеро) Кастракане из богатого рода Антельминелли, его матерью была Пучча дельи Стреги. В 1300 г. он надолго покинул Лукку, так как его семейство было изгнано черными гвельфами и переселилось в Анкону, где его отец вскоре умер.

Стр. 276. *«...дворянин из рода Гуиниджи, по имени мессер Франческо...»* – Франческо Гуиниджи, как и его сын Паголо (см. далее) – вымышленные лица. Род Гуиниджи, богатых купцов и банкиров, действительно существовал. В 1308 г. его члены были изгнаны из Лукки. Заметную роль в политической жизни города начинает играть только в конце XIV – первой половине XV в., когда Франческо Гуиниджи посмертно (1384) провозглашается отцом отечества, а Паоло Гуиниджи (ум. 1432) становится правителем Лукки (1400–1430).

Стр. 277. *«На помощь им Висконти Миланским был послан Франческо Гуиниджи».* – Когда Каструччо было восемнадцать лет, т. е. ок. 1300 г., в Милане правил Маттео I Висконти (1255–1322). В начале XIV в. Каструччо действительно служил Висконти (кроме того, у правителя Вероны Кангранде делла Скала). В 1310 г. присягнул императору Священной Римской империи Генриху VII.

«Вернулся в Лукку Каструччо...» – 25 апреля 1314 г. Однако не из военной экспедиции, а из изгнания.

Стр. 278. *Джорджо дельи Опици* – род Опици (или Обицци) возглавлял в Лукке партию черных гвельфов. Семья Кастракани была изгнана в 1300 г. из Лукки как раз вследствие убийства одного из Обицци.

«...у викария короля Роберта Неаполитанского...» – В июне 1313 г. Флоренция, которой угрожали войска Генриха VII, обратилась за помощью к Роберту Анжуйскому (1278–1343), королю Неаполя с 1309 г., и он назначил своего викария в Тоскану.

Угуччоне делла Фаджола (ок. 1250–1319) – предводитель тосканских гибеллинов, государь Пизы (1313–1316), после свержения получил от Кангранде делла Скала должность подесты в Виченце (1317).

«Губернатор был изгнан». – Джерардо да Сан-Лупидио, викарий Роберта Анжуйского. Переворот в Лукке произошел 14 июня 1314 г.

Стр. 280. *«Поражение было полное и потери гвельфов огромны».* –

Битва при Монтекатини (29 августа 1315 г.), в которой на стороне Флоренции приняли участие войска Болоньи, Сиены, Губбио, Пистойи, Перуджи, а на стороне Угуччоне – тосканские гибеллины и подкрепления от Висконти, происходила совершенно иначе, чем это описано Макиавелли. Не флорентийцы захватили Монтекатини, а Угуччоне его осадил, завладев Луккой; в день битвы он не был болен и лично командовал войсками; Каструччо был в сражении на вторых ролях; убито было около двух тысяч гвельфов и взято в плен полторы тысячи.

«...сына своего Нери, которого он назначил перед тем синьором Лукки...» – Вместо старшего сына Франческо, павшего при Монтекатини.

«...пригласив под каким-нибудь предлогом Каструччо, схватить его...» – Причиной ареста Каструччо в действительности было недовольство Угуччоне его самоволием: он расправился с несколькими людьми, не имея на то приказа Угуччоне.

Стр. 281. *«...пизанцы восстали с оружием в руках...»* – 10 апреля 1316 г.

Граф Гаддо делла Герардеска. – После восстания подестой Пизы стал Франческо Пико делла Мирандола, а Гаддо был избран военачальником. Власть в городе ему досталась только в 1320 г.

«К синьорам делла Скала...» – к Кангранде делла Скала (1291–1329), правителю Вероны (с 1312), покровителю Данте. Умер Угуччоне не в бедности.

«...был избран начальником вооруженных сил города сроком на один год». – В июне 1316 г. сроком на шесть месяцев, спустя этот срок – еще на год, а по истечении его – на десять лет.

«...в короткое время завладел всей Луниджаной...» – Замки в Гарфаньяне и Луниджане были захвачены Каструччо в 1320–1321 гг.

Стр. 282. *«Народ в торжественном собрании провозгласил его государем».* – 26 апреля 1320 г.

«Король римский Фридрих...» – Фридрих, герцог Австрийский (1286–1333), в 1314 г. избран римским королем врагами Людвига Баварского, разбит и пленен последним (1322), затем исполнял роль его местоблюстителя во время пребывания Людвига в Италии.

«...сделал своим викарием в Тоскане». – В мае 1328 г.; на самом деле это сделал не Фридрих Австрийский (Красивый), а Людвиг Баварский.

«...король сделал Каструччо синьором Пизы». – 29 апреля 1328 г.

Стр. 284. *«...заключены в тюрьму и преданы смерти».* – Этот заговор произошел в 1321 г., и Стефано ди Поджо стоял во главе его. Макиавелли вновь вдохновляется в своем рассказе Диодором Сицилийским и строит образ Каструччо по Агафоклу и Чезаре Борджа.

Стр. 285. *«Вслед за тем город был занят без дальнейшего сопро-*

тивления». – Все подробности рассказа о взятии Пистойи вымышлены Макиавелли. На самом деле Каструччо был впущен в Пистойю (5 мая 1325 г.) Филиппо Тедичи, за что тот получил дочь Кастракани в жены и несколько тысяч золотых.

«...отсутствие папы, находившегося в Авиньоне». – Речь идет о так называемом «авиньонском пленении» пап (1309 – 1377). В описываемое время папой римским был Иоанн XXII (1316 – 1334).

Стр. 286. *«Он будет тем, чем захочет бог».* – И эти девизы, и избрание Каструччо сенатором Рима – истинная правда, но весь сюжет римского эпизода вымышлен Макиавелли. Каструччо сопровождал Людвига Баварского во время его итальянского похода, в октябре 1327 г. осаждал вместе с ним Пизу, после взятия которой получил титул герцога Лукки (17 ноября 1327 г.), присутствовал на коронации Людвига 17 января 1328 г. в Риме, после чего был пожалован титулом римского сенатора и графа Священного Латеранского дворца.

«...вернули городу свободу». – 27 января 1328 г.

«...он усиленными маршами прибыл в Лукку». – Получив известие о взятии Пистойи флорентийцами, Каструччо отправился из Рима в Тоскану, в феврале овладел Пизой (в апреле Людвиг утвердил его власть), осадил Пистойю и взял ее 3 августа.

Стр. 288. *«...каждый старался спастись как только мог лучше».* – Сражение при Серравалле, как и описанное ниже сражение при Фучеккио – плод фантазии Макиавелли, который слил в этих двух вымышленных битвах некоторые реальные факты, относящиеся к битве при Альтопашо (сентябрь 1325 г.). Описание сражений имеет целью пропаганду излюбленных тактических идей Макиавелли.

«...сражались вместе с флорентийцами». – При Альтопашо на стороне Флоренции действительно сражались неаполитанские подкрепления (шестьсот французов и двести немцев), а среди взятых в плен были Брунеллески и делла Тоза.

«...бега лошадей, женщин легкого поведения и мужчин» – исторический факт (4 октября 1325 г.).

Стр. 289. *«...но заговор был обнаружен...»* – попытка заговора во Флоренции имела место в апреле 1325 г.

«...отправил во Флоренцию сына своего Карла...» – После поражения при Альтопашо правителем Флоренции был избран в декабре 1325 г. сын Роберта Анжуйского, Карл Калабрийский.

«...и многим знатным гражданам приказал отрубить головы». – Заговор Ланфранки относится к октябрю 1325 г., составлен он был в интересах Каструччо.

Стр. 290. *«Выступив с этим войском в начале мая 1328 года...»* – Выступление флорентийцев следует отнести к июню 1325 г., так как дальнейший рассказ не очень точно воспроизводит события от взятия (первого, в мае 1325 г.) Пистойи до битвы при Альтопашо.

Стр. 292. *«У флорентийцев было убито 20 231 человек, у Каструччо – 1570».* – Вымышленная битва при Фучеккио – это снова битва при Альтопашо с принадлежащей Макиавелли тактической картиной сражения и сильно завышенными цифровыми показателями.

Стр. 293. *«...и я не хотел жениться...»* – Каструччо был женат на Пине Стреги и имел девять детей – эта цифра принадлежит Никколо Тегрими, сочинение которого («Жизнь Каструччо Антельминелли Кастракани герцога Луккского», 1496) служило основным источником для Макиавелли.

Стр. 294. *«...и умер, оставив всем, кто слышал о нем, счастливую память о себе...»* – Каструччо умер от лихорадки 3 сентября 1328 г.

Стр. 295. *«...и вплоть до Паголо, его правнука».* – См. прим. к стр. 274.

«Сохранилось много острот...» – Подавляющее большинство нижеследующих изречений заимствовано из Диогена Лаэртского («Жизнь Аристиппа, Биона, Аристотеля, Диогена»).

Стр. 298. *«...за исключением Буонтуро».* – Ср.: «Там лишь Бонтуро не живет на взятки» (Данте. Ад, XXI, 41). Буонтуро Дати – луккский пополан, прославлен своим взяточничеством.

Стр. 299. *«...он умер в том же возрасте, что и они».* – Каструччо было сорок семь лет (а не сорок четыре), когда он умер, Филиппу Македонскому – сорок шесть, Сципиону – пятьдесят два.

ГОСУДАРЬ

Самое знаменитое произведение Макиавелли, которому была суждена беспримерная и почти всегда скандальная слава, с которым связано само понятие «макиавеллизма» и которое породило в сознании потомков два несовместимых образа – коварного, беспринципного, жестокого политика и пламенного пророка национальной свободы, – это произведение создано в самом начале восьмилетней ссылки Макиавелли, в июле – декабре 1513 года. Сейчас почти единодушно признается, что Макиавелли начал писать «Государя», прервав работу над «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия», и даже указывается, в каком именно месте «Государь» вклинился в «Рассуждения». Это место – главы с XVI по XVIII первой книги, т. е. те главы, в которых Макиавелли рассуждает о «развращенных» народах и государствах. Такая тема не могла не связываться в сознании Макиавелли с наиболее очевидным примером политической «развращенности», которую он познал на собственном опыте и наблюдал своими глазами, – с современной Италией. Для человека с таким темпераментом, с такой одержимостью политикой, как Макиавелли, не было ничего естественнее того душевного движения, которое понудило его забросить на время высокую теорию ради теории прикладной, ради попытки создать из безнадежно прогнив-

шего материала, каковым он сам его в «Рассуждениях» признал, силу, способную воскресить политические организмы Италии и вернуть им здоровье. Эту силу, называемую им «доблестью», он конструирует в полном согласии с положением, выдвинутым в XVII главе первой книги «Рассуждений»: «Там, где (материал) испорчен, не помогут даже хорошо упорядоченные законы, если только они не предписываются человеком, который с такой огромной энергией заставляет их соблюдать, что испорченный материал становится хорошим». Выход к проблематике «Государя» здесь очевиден, так же как очевидно единство политических убеждений Макиавелли: нет никаких оснований говорить о разноречивости двух трактатов, если уже в республиканских «Рассуждениях» итальянским городам-государствам отказано в народовластии как в реальной перспективе и единственной политической формой, способной затормозить процесс деградации, признано самодержавие. И при этом Макиавелли продолжает считать тиранию временной мерой, горьким, но необходимым лекарством, надобность в котором отпадет, как только будет остановлено развитие болезни.

Это не значит, что разницы между трактатами нет вообще. Напротив, она весьма существенна. Концепция государственной жизни, как она представлена в «Рассуждениях», в «Государе» теряет полноту, органичность и многоплановость: из сферы политической жизнедеятельности полностью исключается народ, который начисто утрачивает приданную ему «Рассуждениями» роль активного политического агента и выступает лишь в качестве материи, пассивно принимающей любую форму. Вся политическая энергия, автором «Рассуждений» равномерно распределенная по слоям и сословиям общества, здесь персонализируется и сосредоточивается в лице единовластного государя. Овладев государством, он гнет его напором своей воли и лепит из него свое подобие – в конечном счете государство совпадает с государем-демиургом, творцом, зодчим. Нелепо, конечно, предполагать, что автор «Государя» внезапно отрекся от сказанного им в первых семнадцати главах «Рассуждений». Этот резкий крен политических концепций в сторону волюнтаризма и концепций государства в сторону антропоморфности объясняется изменением установок и целей Макиавелли. В «Рассуждениях» современная политическая ситуация Италии рассматривалась им как безнадежно завершенная, в «Государе» он переступает через этот совершенно справедливый диагноз и пытается воздействовать на реальность, так, как будто какие-то средства могут еще оказаться целебными. «Государь» – это не столько политическая теория, сколько политический акт. Это воззвание, если не сказать заклинание, попытка гальванизировать итальянский политический труп. И вполне понятно, что, перейдя границу, отделяющую

теорию от практики, Макиавелли вынужден был ограничиться тем, что практика ему предоставляла: практика политического авантюризма, практика мелких и крупных итальянских тиранов. И Макиавелли строит из этого материала, хотя не раз обличал его негодность; из яда, отравившего Италию, он пытается извлечь лекарство, способное вернуть ее к жизни.

В каком-то отношении «Государь» – утопия, ибо Макиавелли приходится заглушать в себе сомнения в осуществимости своей программы, сомнения, со всей определенностью высказанные в «Рассуждениях». Но вместе с тем Макиавелли не поддался иллюзии, не закрыл глаза на действительность, ибо при всей той беспримерной энергии, с которой он выстраивает идеальный образ государя, он ни на минуту не забывает о его идеальности и не пытается выдать мечту за реальность. До конца сомнения подавить ему не удалось, и они тайно следуют за развитием его идей, образуя наиболее глубокий и менее всего заметный пласт трагического в «Государе». Наиболее же очевидный его пласт представлен картиной политической деятельности, которая происходит на грани предельного риска, где каждый поступок должен быть единственным и где любой неверный шаг оказывается шагом в пропасть. Смыкаются две эти линии возрастающего трагического напряжения во второй части XXV главы, когда выходят на поверхность невыговоренные до тех пор сомнения и одновременно выясняется, что фортуна, эта беспощадная соревнительница князей, обитает не в надмирных высотах, а в глубине человеческой природы, в той ее темной, неподвластной контролю и расчету неизменности, которая препятствует человеку, сколь угодно мудрому и доблестному, во всех случаях сообразовывать свой образ действий с состоянием времени. Эта концепция судьбы, с одной стороны, проникнута всепобеждающим ренессансным рационализмом, ибо отрицает наличие в мире какой-либо непознаваемой силы и предполагает картину мира, во всех его деталях соизмеримого с человеком, но, с другой стороны, она предвосхищает его близящийся кризис, ибо трансцендентность, снятую на уровне космоса, воспроизводит на уровне личности, утверждая власть одной части души (неизменной психологической структуры) над другой (волей и разумом).

Понятие доблести, которое Макиавелли так виртуозно конструировал, оказывается скомпрометированным, и в этом нет ничего неожиданного, к этому вела вся логика трактата, балансировавшего на тонкой грани между беспощадным реализмом и безоглядной идеализацией. Напряжение должно было как-то разрешиться, и оно выливается в удар такой силы, от которого Макиавелли не может оправиться и вынужден, заканчивая главу, воззвать к инстинктам, к неукротимому натиску молодости, к случайному сочетанию при-

родных особенностей – и это после того, как он на протяжении всего трактата искал для своей доблести абсолютные основания, способные лишить случай всякой власти над человеком. Но закончить свою политическую акцию такой сомнительной нотой Макиавелли никак не может, как не может он вернуться к уже скомпрометированному идеалу, и поэтому финальный апофеоз по необходимости переворачивает исходную установку трактата, приписывая времени те исключительные качества, груза которых не выдержала доблесть.

Подкосила ее именно все нараставшая сублимация, а вовсе не то право на зло, которое Макиавелли дал своему государю. Тут для него нет ни проблемы, ни трагедии. Вернее сказать, трагедия стоит у истоков зла: это трагедия риска, изначально присущего любому деянию – его можно уменьшить, лишь отказавшись от представления о добре и зле как об абсолютных категориях и приняв их относительность, признав их укорененность в конкретной жизненной ситуации. Политика не отделяется у Макиавелли от морали, она полностью ее поглощает, не остается такой области, которая была бы независима от политики и, с другой стороны, по отношению к которой политика могла бы утверждать свою автономность. Политика всеобъемлюща и превращает в свое орудие любую мыслимую ценность кроме пользы, которая и есть политика. Такая постановка вопроса позволяет говорить о Макиавелли как о первом политическом мыслителе нового времени, но эта вполне справедливая характеристика не должна заслонять иного аспекта его главного произведения – художественной природы «Государя», для которой диалектика политики и морали имеет не первостепенное значение. Художественность «Государя» создается не только его могучим, красочным, образным стилем, но и пронизывающим его трагическим сюжетом, в котором есть и экспозиция, и завязка, и кульминация, и катастрофа, и просветленный хоровой финал. В XVI веке в Италии имелись незаурядные трагедии, но «Государь» – единственная, достигающая почти шекспировской силы.

«Государь» неоднократно переводился на русский язык: Ф. Затлером и Н. Курочкиным в XIX веке (с немецкого и французского), С. Роговиным и М. Фельдштейном в XX веке. Публикуемый перевод выполнен специально для настоящего издания.

Стр. 302. *«Никколо Макиавелли – его светлости Лоренцо деи Медичи»* – посвящение трактата относится ко времени между сентябрем 1515 и сентябрем 1516 г. Лоренцо Медичи (1492–1519) – сын Пьеро Медичи, племянник Льва X, номинальный правитель Флоренции (с 1513), герцог Урбино (с 1516).

Стр. 303. *Франческо Сфорца* (1401–1466) – знаменитый кон-

дотьер. Амброзианская республика, образовавшаяся в Милане после смерти последнего Висконти (Филиппо Мария, в 1447 г.), назначила его главнокомандующим в войне с Венецией, но он, заключив с венецианцами союз, повернул оружие против Милана и захватил в нем власть (1450).

«...Неаполитанское королевство для короля Испании». – Испанский король, Фердинанд Католик, заключил с Людовиком XII договор о разделе Неаполя (Гренада, 11 ноября 1500 г.), с помощью французов отобрал королевство у правившего им Федерико Арагонского, а затем изгнал из него и французов (1502–1504).

«...ибо подробно говорю о них в другом месте» – в первой книге «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия».

Стр. 304. *«У нас в Италии примером тому может служить герцог Феррарский...»* – Речь идет об Эрколе I д'Эсте (1471–1505) и Альфонсо I д'Эсте (1505–1534). Эрколе в войне с Венецией (1482–1484) понес территориальный ущерб, а Альфонс, приняв участие в войнах Святой Лиги на стороне Франции (1510–1512), на некоторое время лишился своего герцогства.

Папа Юлий – Джулиано делла Ровере (1443–1513), папа римский (с 1503 г.) под именем Юлия II.

«...исстари правил в Ферраре». – Род д'Эсте владел Феррарой с 1208 г.

Стр. 305. *«...в первый раз Франция сдала Милан... и прогнали их из Италии...»* – Первый раз Людовик XII (см. прим. к стр. 264) послал войска в Италию в феврале 1499 г. (его род по женской линии восходил к правителю Милана Джан Галеаццо Висконти), захватил Милан в сентябре, но вскоре против французов вспыхнуло восстание, и Лодовико Моро (см. прим. к стр. 260) смог на короткое время вернуть себе власть. Второй раз Франция потеряла Милан, потерпев поражение под Равенной в апреле 1512 г., где ее противником были войска Святой Лиги.

«Так обстояло дело в Бретани, Бургундии, Гаскони и Нормандии...» – Нормандия была присоединена к Франции Филиппом II Августом (1204), Гасконь – Карлом VII (1453), Бургундия – Людовиком XI (1477), Бретань – при Карле VIII (1491) как приданое его жены.

Стр. 306. *«...Именно так поступил с Грецией турецкий султан... если бы не перенес туда свою столицу».* – Османы переправились в Европу в 1357 г. и постепенно захватили весь Балканский полуостров, который Макиавелли называет Грецией.

Стр. 307. *«...римлян в Грецию призвали этолийцы...»* – Поводом к I Македонской войне (215–205 гг. до н. э.) была помощь, оказанная Филиппом V, царем Македонии, Карфагену. В этой войне римляне опирались на Этолийский союз (политическое объединение

государств Средней Греции), тогда как Ахейский союз поддерживал Филиппа.

«Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев... над каким-либо государством Греции». – Римляне получали поддержку от Этолийского союза во время II Македонской войны против Филиппа V, но, победив в ней (197 г. до н. э.), никак этолийцев не вознаградили. Затем Этолийский союз выступил на стороне Антиоха III, царя Сирии (223 – 187 гг. до н. э.), и способствовал его вступлению в Грецию (192 г. до н. э.). После поражения Антиоха (189 г. до н. э.) Филипп V и Ахейский союз, поддерживавшие римлян в этой войне, также никаких выгод не обрели. Этолийский союз был распущен в 167 г. до н. э.

Стр. 308. *«...он дольше удерживался в Италии».* – О Карле VIII см. прим. к стр. 133 и к стр. 181.

«Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам». – Венеция рассчитывала расширить свои материковые владения, по соглашению в Блуа (апрель 1499 г.) ей должны были отойти Кремона и Гьяра д'Адда.

Стр. 309. *«...Генуя покорилась...»* – Генуя перешла под прямое начало Франции, в нее был назначен французский губернатор.

«...Флорентийцы предложили союз...» – Флоренция обязалась оказывать поддержку Людовику XII в Ломбардии и Неаполе с тем, что он поможет ей овладеть Пизой.

Маркиз Мантуанский – Франческо Гонзага (1466 – 1519), победитель Карла VIII при Форново.

Герцог Феррарский – Эрколе I д'Эсте.

Дом Бентивольи – Джованни Бентивольи (см. прим. к стр. 264).

Графиня Форли – Катерина Сфорца Риарио (1463 – 1509), правившая Имолой и Форли после смерти мужа, Джироламо Риарио (1488).

Властители Фаэнцы – Асторре Манфреди (1488 – 1502), ставший правителем города в тринадцатилетнем возрасте после гибели отца. Удавлен в Риме по приказу Чезаре Борджа.

Пезаро – Джованни Сфорца (1466 – 1510), первый муж Лукреции Борджа.

Римини – Пандольфо Малатеста (1475 – 1534), последний представитель этой династии.

Камерино – Джулио Чезаре да Варано, удавлен вместе с сыновьями после взятия города Чезаре Борджа в июне 1502 г.

Пьомбино – Якопо IV д'Аппиано (ум. 1510).

«...отдали под власть короля две трети Италии...» – Венецианские приобретения были на самом деле весьма внушительны (Крема, Кремона, Бергамо, Брешия), тогда как Людовику XII досталась остальная часть Миланского герцогства.

«...так что ему пришлось самому явиться в Италию...» – Людовик XII приехал в Италию в июле 1502 г., но причиной его приезда были не угрозы Тоскане со стороны Чезаре Борджа, а необходимость готовиться к войне с Испанией.

«...домогаясь Неаполитанского королевства...» – По соглашению в Гренаде (11 ноября 1500 г.) Людовику XII должен был достаться титул неаполитанского короля вместе с северной частью королевства, а Фердинанду Католику – титул герцога Пульи и Калабрии вместе с этими областями.

«...который мог стать его данником...» – Федерико I Арагонский, король Неаполя (1496 – 1501), лишенный престола, получил от Людовика XII титул графа Мена (ум. 1504).

Стр. 310. *«...не посягнул на венецианские владения».* – Людовик XII вступил в Камбрейскую лигу 10 декабря 1508 г. и, разбив венецианцев при Аньяделло (14 мая 1509 г.), завладел Брешией, Бергамо, Кремоной.

«...расторжение брака...» – Людовик XII развелся с Жанной, сестрой Карла VIII, и женился на его вдове, Анне Бретанской. Папское разрешение на развод было доставлено королю лично Чезаре Борджа 12 октября 1498 г.

«...кардинальскую шапку архиепископу Руанскому...» – Жорж д'Амбуаз (1460 – 1510) возведен в кардиналы в сентябре 1498 г.

«...то я отвечу на это в той главе...» – см. гл. XVIII.

Стр. 311. *«Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Руанским...»* – в ноябре 1500 г. во время первого посольства во Францию.

«Александр Великий... в несколько лет покорил Азию...» – в 334 – 327 гг. до н. э.

«...кроме тех, что навлекали на себя собственным честолюбием». – В результате войн семерых преемников Александра Македонского (диадохов) его империя распалась на одиннадцать царств.

Стр. 312. *Санджаки* – административные единицы турецкой империи.

Стр. 313. *«...государство Дария...»* – Дарий III, царь Персии (336 – 330 гг. до н. э.), последний представитель династии Ахеменидов.

«...в Испании, Франции, Греции... вспыхивали восстания...» – Имеются в виду восстания кельтиберов (195 – 179 гг. до н. э.), кельтиберов и лузитанов (155 – 154 и 149 – 133 гг. до н. э.), восстание Верцингеторикса в Галлии (53 – 52 гг. до н. э.), а также антиримская позиция Этолийского союза во время войны с Антиохом Великим и Ахейского союза во время трех македонских войн, завершившихся аннуляцией греческих свобод (146 г. до н. э.).

Пирр – царь Эпира (295 – 272 гг. до н. э.), вел войны в Италии (280 – 275 гг. до н. э.) и Сицилии (277 – 276 гг. до н. э.), одержал

в них ряд тяжелых побед («пиррова победа»), но в итоге утратил все им завоеванное.

Стр. 314. *«Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию...»* – После победы в Пелопоннесской войне Спарта установила в Афинах правительство тридцати тиранов (404 – 403 гг. до н. э.); в Фивах проспартанское правительство существовало в 382 – 379 гг. до н. э. и было свергнуто Пелопидом и Эпаминондом.

«Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их...» – Капуя не была разрушена, за то что она поддерживала Ганнибала, римляне лишили ее всех муниципальных привилегий, конфисковали общественную и частную собственность, казнили отцов города (211 г. до н. э.); о Карфагене см. прим. к стр. 244. Нуманция, город в древней Кельтиберии (северная Испания) был разрушен в 133 г. до н. э.

«...чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города». – Разрушены были Фивы (167 г. до н. э.) и Коринф (146 г. до н. э.) и многие города разграблены.

«...как сделала Пиза». – Пиза была куплена Флоренцией у Висконти (1405 г.), взбунтовалась в 1494 г. и вновь была подчинена в 1509 г.

Стр. 316. *Моисей* (XIII в. до н. э.) – полулегендарный израильский законодатель.

Кир Великий. – См. прим. к стр. 246.

Ромул (VIII в. до н. э.) – легендарный основатель Рима.

Тезей (XII в. до н. э.) – мифический герой и царь Афин.

«...мидяне – расслаблены и изнежены от долгого мира» – длившегося сорок лет, до 560 г. до н. э.

Стр. 317. *Джироламо Савонарола* (1452 – 1498) – доминиканский монах, религиозный оратор, один из вождей и организаторов флорентийской республики после изгнания Медичи (1494 г.), вызвал своими обличениями и призывами к церковной реформе ненависть римской курии, был отлучен от церкви (1497 г.) и сожжен (23 мая 1498 г.).

Стр. 318. *Гиерон Сиракузский Младший* (ок. 306 – 215 гг. до н. э.) – сиракузский стратег, затем тиран (с 265 г. до н. э.), союзник карфагенян в I Пунической войне. Сведения о нем Макиавелли берет у Полибия (VII, 8).

«По словам древнего автора...» – Цитата из «Всемирной истории» Юстина (XXIII, 4), латинского историка, жившего во II в.

«...в Греции... куда Дарий назначал правителей...» – Персидская империя была разделена на двадцать сатрапий, в число которых входили греческие города в Малой Азии (Иония) и близ Дарданеллов.

«...добивались провозглашения себя императорами...» – см. гл. XIX.

Стр. 319. *«...воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы».* – Лодовико Моро поддерживал свою племянницу Катерину, «графиню Форли», и своего родственника Джованни Сфорца, правителя Пезаро, а Венеция сама стремилась к захвату Романьи.

Стр. 320. *Орсини, Колонна.* – См. прим. к стр. 266.

«...захватил Романью...» – Чезаре Борджа овладел Романьей в ноябре 1499 – апреле 1501 г.

«...взяв Фаэнцу...» – 25 апреля 1501 г.

«...двинул их на Болонью...» – 30 апреля 1501 г. Чезаре Борджа захватил Болонский замок, но вынужден был замириться с Джованни Бентивольи, так как Людовик XII отнесся неодобрительно к этому его предприятию.

«...после взятия Урбино...» – в июне 1502 г.

«Орсини... собрались в Маджоне». – Об этом заговоре см. «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини».

Стр. 321. *Рамиро де Орко* – Рамиро де Лорква (ум. 1502), мажордом Чезаре Борджа, затем наместник Романьи, был обвинен в связи с заговорщиками Маджоне и в спекуляции продовольствием.

Стр. 322. *«...герцог стал высматривать новых союзников...»* – В 1503 г. в разгаре франко-испанской войны за Неаполь Александр VI вступил в переговоры с Испанией, которые были прерваны его смертью.

«...успел захватить Перуджу и Пьомбино и взять под свое покровительство Пизу». – Пьомбино Чезаре Борджа завладел 3 сентября 1501 г., Перуджей – 6 января 1503 г. и вел переговоры о том, чтобы ему была отдана синьория в Пизе. Флоренция оказывалась в клещах.

Стр. 323. *«Романья дожидалась его больше месяца...»* – Александр VI умер 18 августа 1503 г., а Юлий II добился от Чезаре Борджа приказа губернаторам романских городов о сдаче в декабре.

«В дни избрания Юлия II...» – Джулиано делла Ровере, кардинал Сан-Пьетро ин Винкула, был избран папой 28 октября 1503 г., после двадцатишестидневного понтификата Пия III. В прошлом враг Борджа, он, чтобы заручиться голосами испанских кардиналов, обещал Чезаре сохранение поста гонфалоньера церкви и подтверждение прав на Романью.

«...он говорил мне...» – Макиавелли присутствовал на конклаве с 23 октября по 18 декабря 1503 г.

Стр. 324. *Сан-Пьетро ин Винкула* – будущий Юлий II; *Колонна* – Джованни Колонна (ум. 1508), кардинал с 1480 г., апостолический пронотарий; *Сан-Джорджо* – Раффаэлло Риарио (ум. 1521), кардинал Сан-Джорджо-ин-Велабро, деверь Катерины Форлийской; *Асканио* – Асканио Сфорца (ум. 1505), сын герцога Франческо Сфорца.

Стр. 325. *Агафокл* (ок. 361 – 289 гг. до н. э.) – тиран Сиракуз (с 317 г. до н. э.). Источник Макиавелли здесь – Юстин (XXII).

Гамилькар (ум. 309 г. до н. э.) – карфагенский военачальник, воевал в Сицилии в 319 – 313 гг. до н. э.

Стр. 326. *Оливеротто из Фермо.* – См. прим. к стр. 266.

Паоло... (и) *Вителлоццо Вителли.* – См. прим. к стр. 262 и 266.

Стр. 327. *«...а Оливеротто провозгласил властителем города».* – Захват Фермо произошел 26 декабря 1501 г.

Стр. 330. *Набид* – тиран Спарты (ок. 205 – 192 гг. до н. э.), противник Ахейского союза, выступал вначале на стороне Филиппа Македонского и римлян, затем переметнулся на сторону Антиоха III. Осажденный в Спарте римлянами, был вынужден принять их условия мира (195 г. до н. э.). Источник Макиавелли – Тит Ливий (XXIV, 22 – 40).

«...как обманулись Гракхи в Риме...» – Тиберий Семпроний *Гракх* (162 – 133 гг. до н. э.), народный трибун в 133 г. до н. э., инициатор демократической земельной реформы, убит патрициями; Гай Семпроний *Гракх* (154 – 121 гг. до н. э.) – народный трибун в 123 г. до н. э., продолжил дело брата и так же, как он, погиб в бою с оптиматами. См. о них: «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», I, XXXVII.

Джорджо Скали – один из вождей пополанов во время восстания чомпи во Флоренции (1378), обезглавлен в 1382 г.

Стр. 331. *«Города Германии...»* – В самой Германии Макиавелли не был, во время своего посольства к императору Максимилиану он посетил Швейцарию и Тироль (январь – июнь 1508 г.).

Стр. 333. *«...удалось изгнать его из Италии...»* – организовав Святую лигу (1511).

«...разгромить венецианцев» – с помощью Камбрейской лиги (1508).

«...как это было при защите Феррары» – во время «соляной» войны (1482), в которой на стороне Феррары выступили Неаполь, Флоренция, Милан, Мантуя, Урбино и затем Сикст IV, вначале союзник венецианцев. Война завершилась Баньольским миром (1484), по которому Венеции отошли Полезина и Ровиго.

Стр. 334. *Сикст* – Франческо делла Ровере (1414 – 1484), генерал францисканцев, папа под именем Сикста IV с 1471 г., известен своим непотизмом.

«...задумал присоединить Болонью» – Юлий II вступил в Болонью 11 ноября 1506 г.

«Его святейшество папа Лев» – Джованни Медичи (1475–1521), сын Лоренцо Великолепного, папа (с 1513 г.) под именем Льва X.

Стр. 336. *«...удалось захватить Италию с помощью куска мела»* – которым квартирьеры отмечали дома, отведенные под постой. Острота эта, по сообщению французского историка Филиппа де Коммина, принадлежит Александру VI.

«А кто говорил, что мы терпим за грехи наши, сказал правду...» – это говорил Савонарола в проповеди, произнесенной 1 ноября 1494 г., когда Карл VIII приближался к Флоренции.

«...Карфаген, каковой чуть не был ими захвачен...» – после окончания I Пунической войны карфагенские войска были отправлены на родину из Сицилии и, не получив жалованья, восстали. К ним присоединились ливийские племена, и восстание было подавлено лишь после долгой и ожесточенной войны (241–237 гг. до н. э.).

«...фиванцы пригласили Филиппа Македонского возглавить их войско...» – Филипп II, царь Македонии (356–336 гг. до н. э.), возглавлял фессалийцев и фиванцев во время III Священной войны (ок. 354 г. до н. э.), но затем выступил против Фив и покорил их (346 г. до н. э.).

«...по смерти герцога Филиппа...» – Филиппо Мария Висконти, герцог Миланский (1412–1447), последний представитель династии Висконти.

«...разбив венецианцев при Караваджо...» – 15 сентября 1448 г.

Стр. 337. *«Сфорца, его отец, состоя на службе Джованны, королевы Неаполитанской... бросилась искать заступничества у короля Арагонского».* – Муцио Аттендоло Сфорца (1369–1424), кондотьер на службе у неаполитанского короля Владислава и его сестры и наследницы Джованны II (1414–1435), в 1420 г. перешел к папе Мартину V. В 1421 г. Джованна усыновила и объявила наследником Альфонса V Арагонского (ок. 1396–1458).

Джованни Аукута – сэр Джон Хоквуд, англичанин, кондотьер, воевавший в Италии в 1361–1393 гг. вначале на службе у Висконти, затем (с 1377 г.) – у Флоренции.

Браччо (да Монтоне) – Андреа Фортебраччи (1368–1424), кондотьер, служивший папе и Альфонсу Арагонскому.

Карманьола – Франческо Буссоне, граф Карманьола (ок. 1380–1432), кондотьер, служивший у Висконти, затем ставший венецианским военачальником, разбил миланские войска при Маклодио (11 октября 1427 г.), завоевав для Венеции Брешию и Бергамо, в 1431–1432 гг. безуспешно пытался овладеть Лоди и Кремоной, обвинен в измене и казнен.

Стр. 338. *Бартоломео да Бергамо* – Бартоломео Коллеони (1400–1475), кондотьер, служивший у венецианцев в 1431, 1437–1441, 1448 гг. и у Висконти в 1442 г., проиграл битву при Караваджо (см. выше).

Роберто да Сан Северино (1418–1487) – кондотьер на службе у Франческо Сфорца и Лодовико Моро, венецианский военачальник в «соляной» войне (см. выше).

Граф ди Питильяно (ум. 1510) – Никколо Орсини, венецианский военачальник в войнах против Камбрейской лиги.

«...как оно и случилось при Вайла...» – При Вайла (или Аньяделло, место в северной Италии близ Лоди) 14 мая 1509 г. венецианские войска потерпели поражение от войск Камбрейской лиги.

Альбериго да Конио – Альбериго да Барбиано, граф Кунио (ум. 1409), кондотьер на службе у Урбана VI, Неаполя, Джан Галеаццо Висконти.

«...предали поруганию швейцарцы» – выигравшие сражение у итальянских наемных войск при Новаре (1500) и Равенне (1512).

Стр. 339. *«В военных действиях против Феррары он увидел, чего стоят его наемники...»* – Юлий II способствовал учреждению Святой лиги (5 октября 1511 г.) после того, как Альфонс д'Эсте вернул себе Феррару и вынудил папу оставить также и Болонью (1510).

«...при Равенне...» – 11 апреля 1512 г. французы разбили соединенные силы папы и испанцев, но гибель их полководца, Гастона де Фуа, и неожиданное подкрепление, полученное противником, вынудили их оставить Романью и Ломбардию.

«Флорентийцы... двинули против Пизы десять тысяч французов». – В июне 1500 г. Людовик XII дал флорентийцам восемь тысяч швейцарских и гасконских солдат.

«Император Константинополя... десять тысяч турок». – Иоанн VI Кантакузен, император Византии (1347–1355), борясь за престол с Иоанном V Палеологом, обратился за помощью к османскому султану Орхану (1353).

Стр. 341. *«...рассказ из Ветхого завета»* – см.: Первая Книга Царств, XVII, 38–40.

«Карл VII... приказал образовать постоянную конницу и пехоту». – Карл VII, король Франции (1422–1461), при котором закончилась Столетняя война (1453), учредил так называемые ордонансовые роты (1445), кавалерийские корпуса, вместе с пехотой «вольных стрелков» составившие ядро постоянной армии. Его сын, Людовик XI (король в 1461–1483 гг.), отменил набор вольных стрелков, заменив их швейцарскими пехотинцами.

«...воевать против швейцарцев французы не могут...» – Имеется в виду поражение французов при Новаре (июнь 1513 г.).

Стр. 342. *«По приговору мудрых людей...»* – Далее следует цитата из «Анналов» Тацита (XIII, 19).

«...дети его из герцогов стали частными лицами». – Речь идет о Лодовико Моро (см. прим. к стр. 260), но можно считать, что Макиавелли предсказал судьбу другого сына Франческо Сфорца, Массимилиано, который вернул себе герцогство с помощью Святой лиги в 1512 г., но вновь его утратил после победы Франциска I при Мариньяно (13 сентября 1515 г.).

Стр. 343. *Филопемен* (ок. 252 – 183 гг. до н. э.) – восьмикратный стратег Ахейского союза. Источник Макиавелли – Тит Ливий (XXXV, 28) и Плутарх («Жизнь Филопемена», IV).

Стр. 344. *«...Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь Александру, Сципион Киру».* – Источники Макиавелли соответственно: Плутарх. Жизнь Александра, VIII; Курций Руф. История Александра, IV, 6; Светоний. Божественный Юлий, 7; Цицерон. К брату Квинту, I, 8 – 23.

«...жизнеописание Кира, составленное Ксенофонтом...» – Имеется в виду «Киропедия».

Стр. 346. *«Нынешний король Франции»* – Людовик XII.

«Нынешний король Испании» – Фердинанд Католик.

Стр. 348. *«Флорентийский народ... позволил разрушить Пистойю»* – не препятствуя партийной борьбе, которая вылилась в ряд беспорядков и убийств (1501 – 1502).

«Молодо царство у нас... охранять меня заставляет». – Вергилий. Энеида, I, 563 – 564.

Стр. 350. *«Что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью...»* – выражение Тита Ливия (XXI, 4).

«Его войска взбунтовались в Испании» – в 206 г. до н. э. (см: Тит Ливий, XXVIII, 24).

Фабий Максим – Квинт Фабий Максим (ок. 275 – 203 гг. до н. э.), прозванный Кунктатором («медлителем»), пятикратный консул, диктатор 217 г. до н. э., обязанный прозвищем своей тактике в борьбе с Ганнибалом.

«Сципион не вступился за локров...» – Локры Эпизеферийские («западные»), город на юге Калабрии (в Бруттии), был разграблен пропретором Сципиона Квинтом Племинием.

Стр. 353. *«Один из нынешних государей»* – Фердинанд Католик.

Стр. 355. *«Мессер Аннибале Бентивольи... явились к нему во Флоренцию и вверили ему власть...»* – Аннибале Бентивольи был убит 24 июня 1445 г. Баттистой Каннески, и ему наследовал Санти Бентивольи (1426 – 1462), сын Эрколе, двоюродного брата Аннибале. «Нынешним» мессером Аннибале Макиавелли называет Аннибале II Бентивольи (1469 – 1540), правившего Болоньей в 1510 – 1512 гг. и утратившего власть после битвы при Равенне.

«...парламент с его полномочиями». – Французские генеральные штаты были впервые созваны в 1302 г. Филиппом Красивым.

Стр. 356. *«...что содержится в жизнеописании императоров...»* – Источник сведений об императорах – «История от кончины божественного Марка» Геродиана, известная Макиавелли в латинском переводе Анджело Полициано.

Марк – Марк Аврелий, римский император (161 – 180), философ-стоик.

Коммод – Луций Элий Аврелий Коммод, император в 180 – 192 гг., задушен по приказу его любовницы, Марции.

Пертинакс – Публий Эльвий Пертинакс, император в январе – марте 193 г., пытался поднять авторитет Сената, убит преторианцами через восемьдесят семь дней после вступления на престол.

Дидий Юлиан – Марк Юлиан Север Дидий, император в 193 г., отказался выдать преторианцам обещанный денежный подарок и убит ими спустя шестьдесят шесть дней после вступления на престол.

Септимий Север – Луций Септимий Север Аврелий Антонин, император в 193 – 211 гг., провозглашен императором иллирийскими легионами после смерти Пертинакса, боролся за власть с Дидием, Песценнием Нигером, Альбином, провел несколько победоносных войн с Парфией, умер, воюя в Британии.

Антонин – Марк Аврелий Антонин Каракалла, император в 211 – 217 гг., вначале вместе с братом Гетой, которого он убил через год, воевал в Галлии, на Дунае, в Египте, в Сирии, где и убит Макрином.

Макрин – Марк Опеллий Макрин, император в 217 – 218 гг., провозглашенный таковым восточными легионами после убийства Каракаллы. Убит своими солдатами после заключения позорного мира с Парфией.

Гелиогабал – Секст Варий Авиций Гелиогабал, император в 218 – 222 гг., провозглашен императором в Сирии, реальная власть принадлежала его матери и бабушке, пытался избавиться от своего двоюродного брата и преемника, Александра Севера, после чего убит вместе с матерью преторианцами.

Александр – Марк Аврелий Север Александр, император в 222 – 235 гг., от его имени правила его бабушка вместе с двумя его советниками, Ульпианом и Павлом; убит своими солдатами на Рейне во время войны с германцами.

Максимин – Гай Юлий Вер Максимин Фракийский, император в 235 – 238 гг., в юности пастух, затем кавалерийский офицер. Убит своими солдатами.

Стр. 358. *Славония* – Иллирия.

Альбин – Децим Клавдий Альбин, римский военачальник, провозглашен императором после смерти Пертинакса, покончил жизнь самоубийством после поражения от Септимия Севера (197).

Нигер – Гай Песцинний Нигер, сирийский легат, убит в 195 г.

Стр. 361. *«Государство султана египетского».* – Имеется в виду государство мамлюков, основанное в 1250 г. и присоединенное к Турции в 1517 г.

Стр. 362. *«...когда Италия находилась в относительном равновесии...»* – от Лодийского мира (1454) до вступления в Италию Карла VIII.

Стр. 363. *«...а затем и все они, осмелев, отпали от венецианцев».* – Имеются в виду Брешия, Верона, Виченца, Падуя и др.

Пандольфо Петруччи. – См. прим. к стр. 266.

Стр. 364. *Никколо Вителли* (ум. 1497) – отец Паоло и Вителлоццо, кондотьер, правитель Читта ди Кастелло, изгнанный оттуда Сикстом IV (1474) и возвращенный флорентийцами (1482).

«Бентивольи, возвратившись в Болонью...» – в 1511 г.

Стр. 365. *Граф Джироламо* – Джироламо Риарио, правитель Имолы и Форли, племянник Сикста IV, пал от руки заговорщиков 14 апреля 1488 г.

«...но впоследствии и ей не помогли крепости...» – Восстание в Форли вспыхнуло 15 декабря 1499 г., Чезаре Борджа вошел в город 19 декабря и 21 декабря взял замок.

«Война за Гренаду...» – Завоевание Гренады продолжалось двенадцать лет (1480 – 1492), ее взятие завершило реконкисту.

Стр. 366. *«...изгнал марранов...»* – В 1501 – 1502 гг. Марраны – мавры и евреи, принявшие христианство.

«...он захватил земли в Африке» – в 1509 г., оккупировав североафриканское побережье от Орана до Триполи.

«...вступил в войну с Францией». – В 1512 г., захватив Наварру.

Мессер Бернабо да Милано – Бернабо Висконти (ум. 1385), после смерти архиепископа Джованни Висконти (1354) правил Миланом вместе с братьями, Маттео II и Галеаццо II, с 1378 г. единовластный правитель, отравлен племянником, Джан Галеаццо.

Стр. 367. *«Что до решения... станете добычей победителя».* – Цитата из Тита Ливия (XXXV, 49).

«...Если нет возможности уклониться от союза, как обстояло дело у флорентийцев...» – Флорентийцы не решились открыто стать на сторону Людовика XII и в то же время не поддерживали Святую лигу. Эта неопределенная позиция привела в итоге к падению республики.

Стр. 368. *Антонио да Венафро* – см. прим. к стр. 264.

Стр. 369. *«Умы бывают трех родов...»* – Тит Ливий (XXII, 29).

Стр. 370. *Отец Лука* – Лука Ринальди, епископ Триеста (1500 – 1502), доверенное лицо и посол императора Максимилиана I Габсбурга (1493 – 1519).

Стр. 372. *Филипп Македонский* – Филипп V, царь Македонии

(221 – 179 гг. до н. э.), воевавший с римлянами в 216 – 205 гг. до н. э. (I Македонская война) и в 200 – 197 гг. до н. э. (II Македонская война) и в результате утративший все свои внемакедонские владения.

Тит Квинций Фламинин (ум. 175 г. до н. э.) – победитель Филиппа при Киноскефалах (197 г. до н. э.).

Стр. 375. *«...воссоединить под своей властью Неаполитанское королевство».* – Фердинанд Католик стремился получить портовые города Пульи, которые с 1495 г. были в руках Венеции.

Стр. 376. *«...и Церкви, глава коей принадлежит к вашему дому...»* – Лев X Медичи.

«Ибо та война справедлива, которая необходима...» – Цитата из Тита Ливия (IX, I).

Стр. 377. *«...море расступилось... манна выпала на землю...»* – знамения, сопровождавшие исход израильтян из Египта.

Таро. – См. прим. к стр. 183.

Алессандрия – город в Ломбардии, взятый французами в 1499 г.

Капуя – взята и разграблена французами в 1501 г.

Генуя – сдалась французам в 1507 г.

Вайла. – См. прим. к стр. 338.

Болонья. – См. прим. к стр. 339.

Местри – местечко близ Виченцы, сожженное испанцами перед битвой при Ла Мотта (7 октября 1513 г.). Вероятно, Макиавелли эту битву и имеет в виду.

Стр. 378. *«Доблесть ополчится на неистовство...»* – Цитата из канцоны Петрарки «Моя Италия» (стр. 93 – 96).

РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ

Согласно наиболее авторитетной в современной науке точке зрения, «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» были написаны в 1513 – 1517 годах, причем где-то в районе XVII – XVIII гл. первой книги работа над ними была прервана на несколько месяцев (июль – декабрь 1513 г.), отданных созданию «Государя». «Рассуждения» состоят из трех книг, в первой из которых анализируется внутреннее устройство Римской республики, во второй – ее внешняя политика и в третьей – роль, принадлежащая в римской истории ее героям. Эта композиция трактата довольно точно соответствует динамике идей Макиавелли, его целям и установкам, меняющимся с течением времени, истории его надежд и разочарований. Первая книга, и в особенности ее начальные восемнадцать глав, – это вершина политической мысли Макиавелли, синтез его наиболее конструктивных идей о природе и функциях государства. Во второй книге пафос научного конструирования резко идет на убыль, уступая место анализу (вернее сказать, обличению) причин, приведших Италию к современному состоянию

политического маразма. Система идей, выработанная в первой книге, здесь практически ничем не обогащается, но и никакую конкретную политическую перспективу, никакую картину возможного в будущем возрождения инвектива, обращенная к итальянским правителям, здесь (в отличие от «Государя») даже не намечает – атмосфера, господствующая во второй книге, проникнута абсолютной безнадежностью, которую только усугубляет сравнение с идеалом римской государственной мудрости, используемое исключительно в полемических целях. В третьей книге напряжение политической мысли и политической страсти ослабевает, здесь нет того организующего начала, которое сообщало целостность первым двум частям трактата: Макиавелли лишь добавляет отдельные штрихи к уже завершенному произведению и ведет к концу третью книгу без особого вдохновения.

В настоящем издании приводится около трети глав первой книги и две главы второй – это те главы трактата, где теория государства, созданная Макиавелли, находит свое наиболее полное выражение и где развиваются две его самые плодотворные и перспективные идеи – о сословной борьбе как принципе и основе римской свободы и о социальных функциях религии. Народ здесь, по сравнению с «Государем», из пассивного материала превращается в активного и полноправного участника политической жизни, в гаранта жизнеспособности и стабильности государственного организма. В соответствии с этим перестраивается и концепция государства, которое более не отождествляется с волей и разумом правителя, а понимается как материализация коллективной воли. Однако было бы неверным противопоставлять «Государя» «Рассуждениям» как теорию тирании – теории народовластия. Дело в том, что приверженность Макиавелли республиканскому строю объясняется вовсе не идеологическими соображениями и не стремлением отстоять попранные абсолютизмом гражданские права и свободы. Позиция Макиавелли – сугубо прагматична или, если угодно, научна. Политическая свобода созидает такой государственный организм, в котором имеются пути и средства самовыражения для всех существующих социальных сил, политическое рабство сводит государство к самовыражению его главы. Первый вариант значительно более устойчив, действен и жизнеспособен, нежели второй. Макиавелли ратует не за республику (или, наоборот, за монархию) как изначально, принципиально и постоянно наилучшую форму правления, а за наиболее эффективный государственный строй, прекрасно сознавая, что рецептов на все времена не существует и что в разных исторических условиях таким строем может оказаться как республиканский, так и монархический. При известных условиях (например, в условиях современной Италии) гарантировать хоть какую-то нормальную жизнедеятельность государства может только самодержавие.

В Риме условия были иные, там народа не коснулось развра-

щение, он был искренне и глубоко религиозен. Хорошо известно, с какой ненавистью Макиавелли относился к католицизму и к католической церкви, этой язве на теле Италии, но его отношение к религии этим не исчерпывается. Древнеримскую религию, в частности, он считает одним из главных факторов, способствовавших преуспеванию республики. При этом вопрос ее истинности или ложности его совершенно не занимает, религия для него – форма регламентации и освящения системы общественных ценностей и связей. Религия укоренена в сфере частного права и составляет необходимую моральную основу для государственного строительства и для функционирования государственных учреждений. Религия – это та область, где смыкаются личное и социальное, нравственность и политика, «добрый» порядок и «добрый» закон. Впрочем, полностью устранить антиномию этих понятий Макиавелли не удается: закон, иначе говоря – государственное право, все равно остается продуктом индивидуальной акции и дается обществу извне, как бы это общество ни было добронравно, религиозно и свободно. Движения вверх, от здоровой социальности к здоровой государственности, Макиавелли себе не представляет: политическая активность народа ограничивается сохранением и защитой институтов общественной свободы, введенных по воле единоличного законодателя. Полностью преодолеть концепцию «Государя», концепцию формообразующей активности, являющейся неотчуждаемым достоянием правителя, Макиавелли не смог, но это не его личный предел, не внутренний изъян его теоретических построений, – это предел исторический, поставленный перед ним эпохой окончательного краха итальянского муниципального республиканства.

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» полностью переводились на русский язык в XIX веке (под ред. Н. Курочкина, 1869).

М. Андреев

Стр. 380. *«...кто благосклонно следил за этими моими трудами».* – Имеются в виду прежде всего Дзаноби Буондельмонте и Козимо Ручеллаи, которым Макиавелли посвятил «Рассуждения».

Стр. 381. *«...нынешние врачи, прописывая свои лекарства».* – Макиавелли говорит о современной ему медицине, опиравшейся главным образом на авторитет античных врачей – Гиппократа (ок. 460 – 377 гг. до н. э.) и Клавдия Галена (ок. 130 – 200 гг. н. э.).

«*...нынешняя религия...*» – См. дальше в гл. XII (кн. I).

«*...тщеславная праздность...*» – Макиавелли имеет в виду феодальное дворянство. Ср. гл. V (кн. I).

Стр. 382. *«...как самодержавные княжества».* – «Княжеством» («принципатом») Макиавелли называет всякое государство (но не

царство), в котором власть принадлежит одному государю. Она может быть наследственной или приобретенной. См. «Государь».

«*...от Ликурга... спартанцы*». – Ликург – полулегендарный законодатель древней Спарты (VIII в. до н. э.).

«*...гибельных смут*». – Макиавелли, по-видимому, считал, что спартанская конституция утратила силу лишь в 27 г. н. э., когда Спарта вошла в состав Римской империи, сохранив, однако, статус вольного города. Как станет видно из дальнейшего, Макиавелли далеко не все гражданские «смуты» считал гибельными для свободного государства.

Стр. 383. *«...пример республики во Флоренции... опять распасться»*. – В 1502 г. Флоренция подавила восстание в Ареццо; после этого во Флоренции был установлен пожизненный гонфалоньерат Пьеро Содерини. В 1512 г. Прато был захвачен и разграблен испанцами. Это привело к гибели режима пожизненного гонфалоньерата и к реставрации во Флоренции власти Медичи.

«*...Самодержавие, Аристократия, Народное правление...*» – В данном случае, как и в дальнейших рассуждениях этой главы, Макиавелли довольно точно следует Полибию (см. «Всеобщая история», IV, 3,5).

«*...Шесть форм правления...*» – Ср.: П о л и б и й, IV, 4, 6. О шести формах правления говорится у Платона в «Законах» и у Аристотеля в «Политике».

«*...различные виды правления возникли у людей случайно*». – Излагаемая далее теория круговорота в своих главных чертах заимствована у Полибия (см. VI, 5, 4 – VI, 9, 10), в свою очередь заимствовавшего ее у стоиков. Она излагается также в диалогах Цицерона «О государстве».

Стр. 386. *«...Самодержавие, Оптиматы и Народное правление оглядываются друг на друга»*. – Представление об идеальном государственном строе, основанном на соединении монархии, аристократии и демократии, также восходит непосредственно к Полибию (ср. VI, 3). Оно было свойственно также Платону, Аристотелю и Цицерону.

«*...Солоном, давшим законы Афинам*». – Солон – политический деятель, поэт, один из семи мудрецов древней Греции. Законы Солона (594 г. до н. э.) положили начало афинской демократии. Не разделяя общей антидемократической тенденциозности Полибия, Макиавелли следовал его оценкам государственного строя Афин в пору расцвета там демократии.

«*...Афины... прожили очень недолгую жизнь...*» – Утверждение Макиавелли, что демократия в Афинах просуществовала не более ста лет, не соответствует действительности.

«*...рассмотренным выше образом*». – То есть в соответствии с теорией круговорота. Уничтожение царской власти в Риме (по Титу Ливию в 510 г. до н. э., по Полибию – в 507-м) было, согласно

концепции Макиавелли, следствием превращения ее в тиранию при Тарквинии Гордом. См.: Тит Ливий. Римская история от основания города, I, 49–60.

Стр. 387. *«...институт плебейских Трибунов...»* – Магистратура плебейских (народных) трибунов возникла в 494 г. до н. э. в результате борьбы между патрициями («Знать» Макиавелли) и плебеями. Первоначально плебеям было разрешено избирать двух трибунов, которые должны были ограничивать власть консулов и защищать плебеев от произвола патрициев. См.: Тит Ливий, II, 33.

«...сделали республику совершенной». – Представление о Римской республике как о совершенной форме государства было унаследовано Макиавелли от Полибия и Цицерона. Однако, в отличие от них, Макиавелли считал, что совершенство Римской республики было историческим следствием борьбы между плебеями и сенатом, между народом и знатью. В этом – оригинальность и смелость его демократической мысли.

Стр. 388. *«...время, называемое отцом истины».* – Выражение «veritas temporis filia» приводится Авлом Геллием («Аттические ночи», XX, II).

Стр. 389. *«...до Гракхов».* – См. прим. к стр. 328.

«...смутами, которые многими необдуманно осуждаются». – Мысль о зависимости нравов от законов получила распространение уже у древних историков (см.: Полибий, VI, 47). Но смелая концепция зависимости «добрых законов» от борьбы между народом и знатью принадлежала целиком Макиавелли.

Стр. 390. *«...все плебеи разом покидают Рим».* – В 494 г. до н. э., после того как патриции отказались удовлетворить ряд требований плебеев, последние покинули Рим и удалились на Священную гору. Патриции вынуждены были вступить с плебеями в переговоры и предоставить им участие в управлении государством. Так возникла должность плебейских трибунов (см.: Тит Ливий, II, 32–33). В дальнейшем плебеи несколько раз прибегали к подобного рода «забастовке» (449, 445, 342, 287 гг. до н. э.).

«...говорит ему правду». – В данном случае Макиавелли не цитирует Марка Туллия Цицерона, а вольно пересказывает одну из его мыслей (см. «О дружбе», XXV, 95).

Стр. 391. *«...пожелала, чтобы оба Консула были плебейскими».* – После долгой борьбы между плебеями и Сенатом в 367 г. до н. э. был принят закон Луция Секстия, по которому один из двух консулов должен был быть плебеем. В 356 г. до н. э. плебей впервые был избран диктатором, в 351 г. – цензором, в 337 г. – претором.

Стр. 392. *«...породило могущество Мария и погубило Рим».* – Гай Марий (156–86 гг. до н. э.) – полководец и политический деятель, один из вождей так называемой партии популяров. Борьба между

Марием и Суллой, опиравшимся на армию, положила начало длительным гражданским войнам, закончившимся установлением военно-диктаторского режима Гая Юлия Цезаря.

«...в первом случае... во втором...» – Противопоставление Рима Спарте восходит к Полибию (VI, 50).

«...с помощью подкупа и вообще незаконными путями...» – См.: Тит Ливий, IX, 26, где, однако, говорится о диктаторе Гае Мении и начальнике конницы Марке Фолии. Начальником конницы (magister equitum) был в Риме помощник диктатора, который официально именовался начальником народа (magister populi).

«На суде много спорили о том, кто честолюбивее...» – О такого рода спорах на суде у Тита Ливия не говорится. Это одно из тех мест, где Макиавелли, якобы опираясь на Ливия, развивает собственные антифеодальные идеи.

Стр. 393. *«...людьми имущими...»* – Здесь Макиавелли говорит уже не о грандах и не о знати, а о богатеях, которые таким образом вместе с дворянством противопоставляются им неимущим городским низам, народным массам.

«В Спарте был Царь и небольшой Сенат». – Высшим политическим органом в Спарте был совет старейшин, герусия (Макиавелли называет его Сенатом). В него входили 28 геронтов и 2 царя.

Дворяне. – Дворянами Макиавелли называет венецианских патрициев, входивших в высший правительственный орган Венеции, в «Большой совет», который избирал пожизненного главу государства – дожа.

Стр. 394. *«...причин, о которых уже говорилось, скопилось много людей».* – В главе I первой книги «Рассуждений» Макиавелли рассказывал, что Венецию основали на островах Адриатики жители Италии, спасавшиеся от вторжений варваров в период падения Римской империи.

«...закрыли ...кто поселился бы там позднее». – Так называемое «закрытие Большого совета» было проведено в 1297 г. дожем Пьетро Градинего.

Стр. 396. *«...полностью сокрушили эту республику».* – После разгрома Афин в Пелопоннесской войне (431–404 гг. до н. э.) Спарта установила свою гегемонию над Элладой. В 379 г. до н. э. в Фивах произошел государственный переворот, в результате которого из Фив был изгнан спартанский гарнизон. В 371 г. до н. э. фиванский полководец Эпаминонд нанес сокрушительное поражение спартанцам при Левктрах, и это привело к уничтожению спартанской гегемонии.

«...в один день утратила все». – См. прим. к стр. 338.

В данном переводе опущены главы: VII. Насколько необходимы в республике обвинения для сохранения ее свободы; VIII. Насколько полезны для республик обвинения, настолько же губительна для них клевета.

Стр. 398. *«Ромул сперва убил своего брата, а затем дал согласие на убийство Тита Тация Сабина...»* – Брата-близнеца Ромула звали Рем. Ср.: «Рем, смеясь над братом, перепрыгнул через новые стены; разгневанный этим Ромул убил его, сказав: «Так будет со всяким, кто перепрыгнет через мои стены». Таким образом Ромул один завладел царством, а город был назван именем основателя» (Тит Ливий, I, 7). *Тит Таций* – царь сабинов. После объединения римлян и сабинов в одну общину он стал соправителем Ромула. О гибели Тита Тация Тит Ливий сообщает: «...прибыв в Лавиний для торжественного жертвоприношения, он был убит напавшею на него толпой. Рассказывают, что Ромул отнесся к этому случаю более спокойно, чем следовало бы, или потому, что управление сообща заключает в себе начало неверности, либо потому, что считал это убийство совершенно справедливым» (Тит Ливий, I, 14, ср.: Плутарх. Ромул, XXIII).

Стр. 400. *Агид, царь Спарты* – Агид (Агис) IV, спартанский царь-реформатор (245 – 241 гг. до н. э.). Пытался провести земельную реформу и преобразовать общественный строй Спарты. По словам Плутарха, Агид стремился не только воскресить законы Ликурга, но и установить «между граждан имущественное равенство» (Плутарх. Агид и Клеомен, VII).

«Убит... Эфорами». – Эфоры – пять должностных лиц, ведавшие в Спарте почти всеми государственными делами. Во времена Агида и Клеомена эфоры были оплотом аристократии.

Клеомен – спартанский царь Клеомен III (235 – 221 гг. до н. э.), продолжатель дела Агида IV. Убив эфоров, он осуществил земельную реформу и на некоторое время возродил военное могущество Спарты в пределах Пелопоннеса.

Стр. 401. *«...собственного царства или же своей родины».* – Понятие «родина» связано для Макиавелли прежде всего с «республикой», т. е. с таким государственным строем, при котором народ имеет возможность заботиться об «общем деле» (res publica).

Стр. 402. *«...скорее Агесилаями... чем... Дионисиями».* – Агесилай – спартанский царь (398 – 360 гг. до н. э.) и полководец. Древнегреческие историки, прежде всего Ксенофонт и Плутарх, изображали его идеальным правителем. *Тимолеонт* – коринфский полководец, окончательно уничтоживший тиранию Дионисия Младшего в Сиракузах (344 г. до н. э.). *Дион* – сиракузский полководец и политический деятель, борец против тирании Дионисия Младшего. Биографии Агесилая, Тимолеонта и Диона имеются в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. *Набид.* – См. прим. к стр. 330. *Фаларис* (Фаларид) – тиран Агригента (570 – 555 гг. до н. э.). *Дионисий* Старший (406 – 367 гг. до н. э.) и *Дионисий* Младший (367 – 344 гг. до н. э.) – сиракузские тираны.

«...сохраняя его имя». – Римские императоры носили титул «цезаря» («кесаря»).

«...что пишут они о Катилине». – Луций Сергий Катилина (108 – 62 гг. до н. э.) – организатор антиправительственного заговора в Риме в год консульства Марка Туллия Цицерона. Его история описана Гаем Саллюстием Криспом (86 – 35 гг. до н. э.) в политическом памфлете «Заговор Катилины». Тенденциозная характеристика Катилины содержится также в речах Цицерона.

Брут – Марк Юний Брут (85 – 42 гг. до н. э.), один из главных заговорщиков, убивших Юлия Цезаря (44 г. до н. э.); для писателей Возрождения он был символом республиканской доблести. Биография Брута имеется у Плутарха.

Тит, Нерва, Траян, Антонин, Марк (Аврелий) – римские императоры (I в. н. э.).

Гай Цезарь Август Германик по прозвищу *Калигула, Нерон, Вителлий* – римские императоры (I в. н. э.).

«...за собственную жизнь». – Ср.: «Государь», глава XIX.

Стр. 403. *«...вроде Гальбы и Пертинакса».* – Сервий Сульпиций *Гальба* – римский император (68 – 69 гг. до н. э.). *Пертинакс.* – См. прим. к стр. 354.

«...вроде Севера». – См. прим. к стр. 356.

«...от Нервы до Марка» – Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, *Марк* Аврелий – римские императоры, так называемые Антонины, преемственность которых была основана не на родстве, а на усыновлении.

Стр. 404. *«...море, покрытое ссыльными, скалы, залитые кровью».* – По-видимому, образы эти были навеяны Макиавелли чтением Тацита (ср.: «История», I, 2).

«...Нуму Помпилия... недоделанным». – См.: Тит Ливий, I, 18 – 20.

Стр. 405. *«...большее благочестие».* – В этой и в последующих главах Макиавелли развивает мысль Полибия (VI, 56).

«...Сципион... заставил их поклясться не покидать родину». – См. прим. к стр. 236.

«...отказался потом от обвинения». – См.: Тит Ливий, VII, 4 – 5.

Стр. 406. *«...завел дружбу с Нимфой... рекомендовал народу».* – По словам Тита Ливия, Нума Помпилий «делал вид, что у него бывают по ночам свидания с нимфой Эгерией; по ее-де совету он учреждает наиболее приятные священнодействия и поставляет для каждого бога особых жрецов» (Тит Ливий, I, 19).

Стр. 407. *«...мудро говорит Данте».* – Данте. Чистилище, VII, 121 – 123. Макиавелли цитирует Данте несколько неточно, но, по-видимому, делает это сознательно: он пишет «нисходит в ветви» (discende per li rami) вместо «восходит в ветви» (risurge per li rami).

«...брат Джироламо Савонарола». – См. прим. к стр. 315.

«...предмета, о котором он толковал». – То есть Библия, которую толковал Савонарола в своих речах и проповедях.

Стр. 408. *«...Прорицателей и гаруспиков».* – Авгуры (у Макиавелли – прорицатели) гадали по полету птиц, гаруспики – по внутренностям животных.

Стр. 409. *«Vis venire Romam?»* (лат.) – «Хочешь отправиться в Рим?» См.: Тит Ливий, V, 22.

«...мучительным испытаниям». – Это было написано накануне Реформации. В декабре 1520 г. Мартин Лютер торжественно сжег папскую буллу, отлучающую его от церкви.

Стр. 410. *«...при помощи Карла Великого...»* – В VI в. лангобарды вторглись в Италию и учредили там свое королевство со столицей в Павии. В VIII в. римские папы, на владения которых неоднократно покушались лангобарды, призвали себе на помощь франков. В 774 г. Карл Великий разбил лангобардского короля Дезидерия, после чего северная и центральная Италия, за исключением папских владений, отошли к франкам. Мысль о том, что римская церковь всегда призывала «варваров» в Италию и была главной виновницей ее порабощения, подробно развивалась в «Истории Флоренции» Макиавелли.

«В наше время... с помощью швейцарцев». – См. прим. к стр. 339.

В данном переводе опущены главы: XIII. О том, как римляне пользовались религией для восстановления в городе порядка, осуществления своих начинаний и прекращения смут; XIV. Римляне истолковывали предсказания смотря по надобности; они мудро делали вид, будто соблюдают религию, когда вынуждены были ее не соблюдать, а если кто-либо нагло ее презирал, то такого человека они наказывали; XV. Самниты в горестных обстоятельствах прибегали к религии как к последнему средству.

Стр. 410. *«...снова надеть на него ярмо».* – См.: Тит Ливий (II, 1), Полибий (VI, 9).

Стр. 412. *«Убить сыновей Брута».* – Речь идет о сыновьях Луция Юния Брута, первого по времени римского консула, инициатора изгнания Тарквиниев и создателя республики. Согласно Титу Ливию, сыновья Брута приняли участие в аристократическом заговоре, имевшем целью реставрацию царской власти. Заговор был раскрыт, и сыновья Брута были осуждены консулами, одним из которых был их отец, к смертной казни (см.: Тит Ливий, II, 3 – 5). Подробно идея антидворянского террора развивается в третьей главе третьей книги «Рассуждений», так и озаглавленной: «О том, что, если желательно сохранить только что завоеванную свободу, необходимо убивать сыновей Брута».

«...для них... рабством». – Тит Ливий: «...свобода едва не была потеряна вследствие коварства и измены. Между римской молодежью

было несколько юношей довольно знатного происхождения, страстям которых во время господства царей было больше простора; то были сверстники и приятели молодых Тарквиниев, привыкшие жить без стеснений. Тогда же при уравнении прав всех, тоскуя по прежней воле, они начали жаловаться, что свобода других обратилась для них в рабство» («Римская история», II, 3).

Стр. 413. *Клеарх, тиран Гераклеи.* – Годы правления: 364 – 352 до н. э. См.: Юстин, XVI, 4.

Гранды. – Типичный и, по-видимому, сознательный анахронизм.

Стр. 415. *«гибели всего Цезарева рода...»* – Нерон Клавдий Цезарь был последним императором, связанным родством с Гаем Юлием Цезарем.

«...не допустит, чтобы кто-нибудь царствовал в Риме». – См.: Тит Ливий (II, 1).

«...суровость Брута со всеми его восточными легионами». – Имеется в виду Марк Юний Брут, один из главных организаторов убийства Гая Юлия Цезаря. Во время борьбы за власть, начавшейся после убийства Цезаря, Брута и Кассия поддерживали легионы, находившиеся в восточных провинциях.

Брут первый – Луций Юний Брут, первый по времени консул.

Стр. 416. *«...не сумели ее сохранить».* – См. прим. к стр. 303.

«...благодаря доблести Эпаминонда». – Эпаминонд – полководец и один из вождей фиванской демократии. Погиб в 362 г. до н. э. в битве при Мантенеи. Эпаминонду удалось разгромить Спарту и установить гегемонию Фив над греческими городами-государствами. Макиавелли следовал здесь мысли Полибия, утверждавшего, что демократические режимы в Фивах и Афинах были крайне непрочными (Полибий, VI, 43).

Стр. 417. *«...в другом месте».* – См. следующую главу.

Стр. 418. *«Закон о прелюбодеянии».* – В 18 г. до н. э. при императоре Августе было принято несколько законов о прелюбодеянии (leges de adulteriis), направленных на укрепление власти отца семейства, особую известность получил lex Julia adulteriis coereendis.

«Закон против роскоши» – Lex Oppia – (215 г. до н. э.).

«Закон против злоупотреблений» – Lex Cornelia Baebia de ambitu – закон, направленный против злоупотреблений при соискании государственных должностей.

Стр. 422. *«Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем...»* – Евангелие от Луки, I, 53. Трудно сказать, почему Макиавелли перенес на царя Давида, который в данном контексте выступает в роли тирана, слова Девы Марии. Правда, они перекликаются с II стихом из 33-го псалма: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе».

«...перегоняют свои стада». – См.: Юстин, VIII, 5, 7.

Стр. 423. *«Людьми рассудительными...»* – Макиавелли, по-видимому, имеет в виду самого себя. В сентябре 1505 г. он находился при Юлии II в качестве флорентийского посланника.

Стр. 424. *«...обычай избрания Диктатора».* – Диктатор – одна из экстраординарных магистратур в Древнем Риме эпохи республики. Время возникновения ее точно не установлено. Тит Ливий считал, что первый диктатор был избран в Риме в 501 г. до н. э. (Тит Ливий, II, 18).

«...длительности военной власти». – Макиавелли имеет в виду диктаторов I в. до н. э. вроде Луция Корнелия Суллы и Гая Юлия Цезаря, превративших армию в орудие самодержавной власти и положивших начало Империи.

Стр. 426. *«...помимо Большого совета».* – Имеется в виду Совет Десяти, созданный в 1310 г.

Стр. 428. *«...больше чем определенным количеством югеров земли».* – По закону народных трибунов Гая Лициния и Луция Секетия (принят в 367 г. до н. э. после упорной десятилетней борьбы) римский гражданин имел право владеть не более чем 500 югерами (около 125 га) государственной земли.

Стр. 429. *«...нежели владеть ими в Антии».* – Ср.: Тит Ливий, III, 1.

Стр. 430. *«...имеющий большую обратную силу».* – Аграрный закон Тиберия Гракха возрождал основные положения аграрного закона Гая Лициния и Луция Секетия.

Стр. 431. *«...решение Сената... отдать Аполлону десятую часть добычи, захваченной у вейентов».* – См.: Тит Ливий, V, 23–25.

Стр. 435. *«Многие римляне... предписанию Сената».* – Имеется в виду взятие Рима галлами в 390 г. до н. э. См.: Тит Ливий, V, 37–42; 51–54. Макиавелли, по-видимому, сознательно допускал анахронизм, именуя галлов французами: это надо было ему для подчеркивания параллели между галльским нашествием на Древний Рим и походом Карла VIII в Италию.

«...вернуться в Рим». – См.: Тит Ливий, VI, 4.

«Будучи все вместе храбрыми, они стали покорными, ибо каждый боялся сам за себя». – Тит Ливий, VI, 4.

Стр. 436. *«...избрали из своей среды двадцать Трибунов».* – Имеется в виду так называемое второе удаление плебеев на Священную гору (449 г. до н. э.). См.: Тит Ливий, III, 44–54.

Стр. 437. *«...к Манлию Капитолийскому».* – Марк Манлий Капитолийский – герой войны с галлами. В 385 г. до н. э. был обвинен патрициями в стремлении к царской власти и казнен. (См.: Тит Ливий, VI, 11–20).

«Вскоре народ, когда ему не угрожало уже ни малейшей опасности, горько о нем пожалел». – Тит Ливий, VI, 20.

«Такова натура толпы... она или рабски прислуживает, или надменно властвует». – Тит Ливий, XXIV, 25.

Стр. 438. *«...с Клитом и другими своими друзьями».* – *Клит* – полководец, соратник и близкий друг Александра Македонского; был убит им в пьяной ссоре. (См.: Плутарх. Александр, 50–51).

«...Ирод с Мариамной». – Мариамна, жена иудейского царя Ирода Великого (I в. до н. э.), была заподозрена им в попытке отравить его и казнена (см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности, XV, 2–7; он же. О иудейской войне, I, 22).

Стр. 439. *«...по отношению к Сципиону».* – См. прим. к стр. 236.

«...народ менее неблагодарен, нежели государь». – См. «Рассуждения», кн. I, XXIX. В этой главе (она озаглавлена «Кто неблагодарнее, народ или государь») Макиавелли писал: «...неблагодарность, проявленная по отношению к Сципиону, была порождена теми подозрениями, которые он, более чем кто-либо до него, стал вызывать у своих сограждан. Подозрения эти порождались величием врага, которого одолел Сципион, славой, принесенной ему победой в столь длительной и опасной войне, стремительностью его военных успехов, всеобщей любовью, которую он приобрел благодаря своей молодости, рассудительности и другим исключительным добродетелям. Именно все это, а не что иное, заставило правительство Рима опасаться его авторитета: ничего подобного в Риме еще не бывало, и это беспокоило людей мудрых. Жизнь Сципиона казалась чем-то из ряда вон выходящим, и Катон Приск, почитавшийся человеком святым, был первым, кто обратил на это внимание, сказав, что не может называться свободным город, в котором живет гражданин, внушающий страх правительству. Так что если народ Рима последовал здесь мнению Катона, он заслужил того же извинения, которого заслуживают другие народы и государи, оказывающиеся неблагодарными по причине своей мнительной бдительности».

Стр. 440. *«...спасти его от заслуженного наказания».* – Имеется в виду, в частности, Марк Манлий Капитолийский. Притязания на царскую власть были приписаны Манлию патрициями, напуганными ростом его популярности. В сословной борьбе, ведшейся в Древнем Риме, это был распространенный и испытанный прием. Он был использован также против Тиберия Гракха.

Стр. 444. *«...царство султана...»* – См. прим. к стр. 361.

«...секта сарацинов...» – То есть мусульмане – турки или, скорее, арабы.

«...кто восседает pro tribunali». – То есть должностные лица. *«Pro tribunali praetoris sedere»* (лат.). – «Исполнять должность претора». Трибуналом в Древнем Риме называлось возвышение, на котором сидели магистраты при исполнении ими служебных обязанностей.

«...кто желает быть боготворимым». – Намек на римских пап и высшее духовенство.

Стр. 446. *«...одна страна... обладает свободными городами».* – Имеется в виду Германия.

«...Порсены, царя Тосканы...» – Тосканой Макиавелли называет Этрурию. О Порсене см.: Тит Ливий, II, 9–14.

«...нехорошо защищать родину тех, кто уже подчинил ее чужой воле». – См.: Тит Ливий, V, 1.

Стр. 448. *«...в трактате «О тирании».* – Имеется в виду диалог Ксенофонта «Гиерон».

«...погиб Гиероним...» – Гиероним, тиран Сиракуз, был убит заговорщиками в 214 г. до н. э. О нем и событиях, развернувшихся в Сиракузах после его убийства, см.: Тит Ливий, XXIV, 4–7, 21–27.

«...во время Пелопоннесской войны». – Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.) – война между демократическими Афинами и олигархической Спартой, в которой принимало участие большинство эллинских городов-государств. *Керкира* – город-государство, расположенный на одноименном острове (совр. Корфу) близ побережья Эпира. События, которые имеет в виду Макиавелли, развернулись на Керкире в 427 г. до н. э. См.. Фукидид, История, III, 69–85; IV, 46–48.

Стр. 449. *«...античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы...»* – Это не анахронизм, а явная ирония, объект которой – христианство.

Стр. 450. *«...и Тит Ливий это признает».* – См.: Тит Ливий, X, 31.

«...на протяжении сорока шести лет». – В 293 г. до н. э. самниты потерпели крупное поражение от римского войска, которым командовал Луций Папирий Курсор. От него они уже не смогли оправиться. Говоря о сорока шести годах сопротивления самнитов, Макиавелли исходит из Тита Ливия (X, 31). Марк Валерий Корв и Авл Корнелий Косс были консулами в 343 г. до н. э. Новейшие историки говорят о трех самнитских войнах. Первая продолжалась с 343 г. по 341 г., вторая – с 328 г. по 304 г. и третья – с 298 г. по 290 г. до н. э.

Стр. 451. *«Из всех видов рабства... в которое тебя обращает республика».* – Макиавелли говорит здесь не об утрате человеком личной свободы, а об утрате городом-государством своей национальной независимости.

«...было говорено выше». – См.: «Государь», IX.

Стр. 452. *«...находящегося в Ноле».* – См.: Тит Ливий, XXIII, 42. Макиавелли довольно точно передает содержание речи самнитских послов.

Р. Хлодовский

СОДЕРЖАНИЕ

Макиавелли Н.

М15 Избранные сочинения: Пер. с ит./Вступит. статья К. Долгова; Сост. Р. Хлодовского; Коммент. М. Андреева и Р. Хлодовского — М.: Худож. лит., 1982. 503 с.

Никколо Макиавелли (1469 – 1527) был не только выдающимся философом и политическим мыслителем эпохи Возрождения, но и одним из наиболее крупных драматургов, поэтов и мастеров прозы своего времени. Его сочинения («Государь», «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки» и др.) считаются вершинами итальянской прозы. Драматические сочинения Макиавелли («Мандрагора», «Клиция») – превосходные образцы самобытной комедии.

М $\frac{4703000000-367}{028(01)-82}$ 138-81 И(Ит)

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Редактор Н. КУЛИШ

Художественный редактор
Л. КАЛИТОВСКАЯ

Технический редактор
Л. ВЕЦКУВЕНЕ

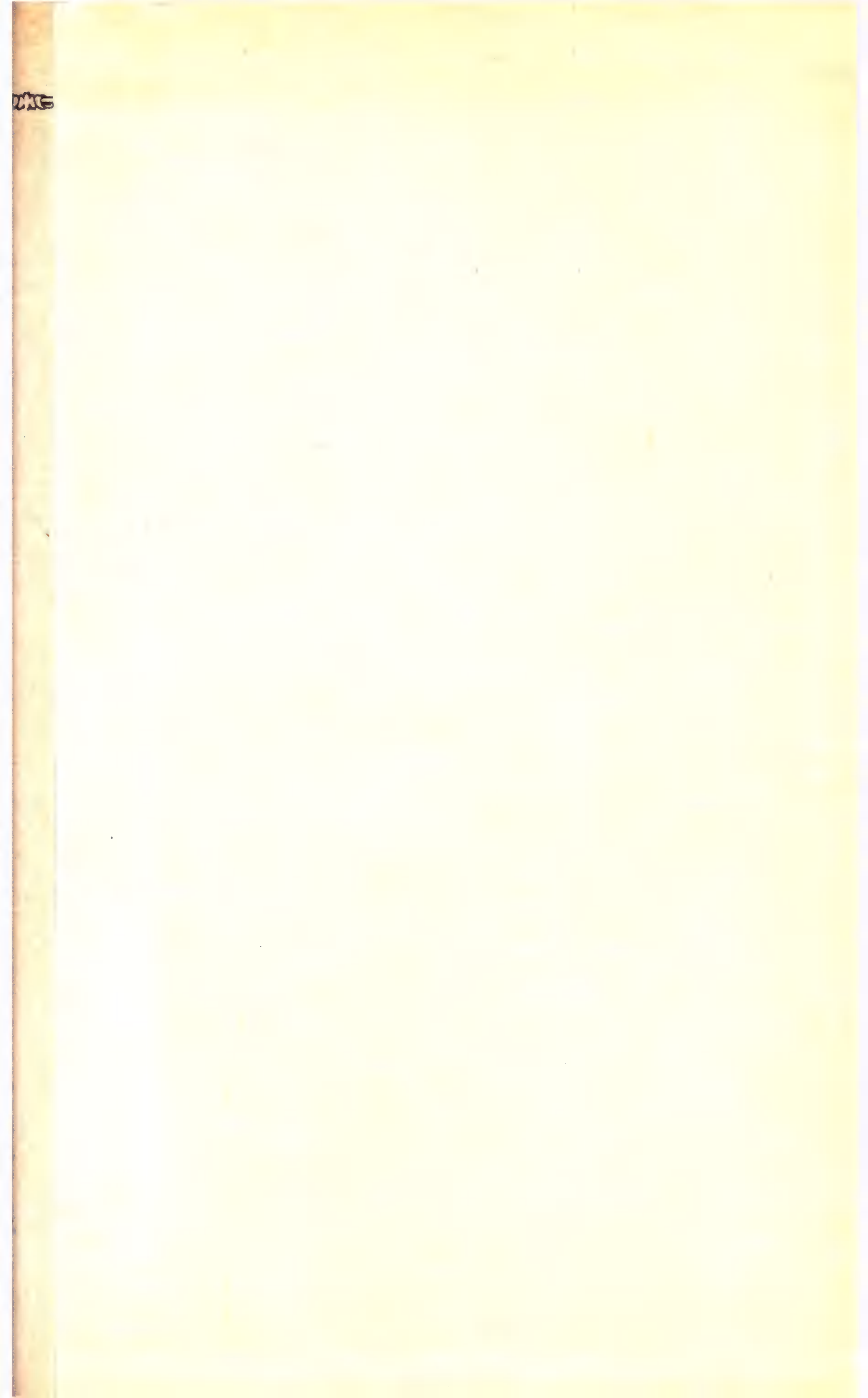
Корректоры
Т. СИДОРОВА
Н. УСОЛЬЦЕВА

ИБ № 1754

Сдано в набор 24.12.80. Подписано в печать 20.10.81. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Плэнтин». Печать высокая. 26,46 + 1 вкл. + альбом = 26,87 усл. печ. л. 27,04 усл. кр.-отт. 28,46 + 1 вкл. + альбом = 28,79 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Изд. № VI-520. Заказ № 1677. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15




НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ